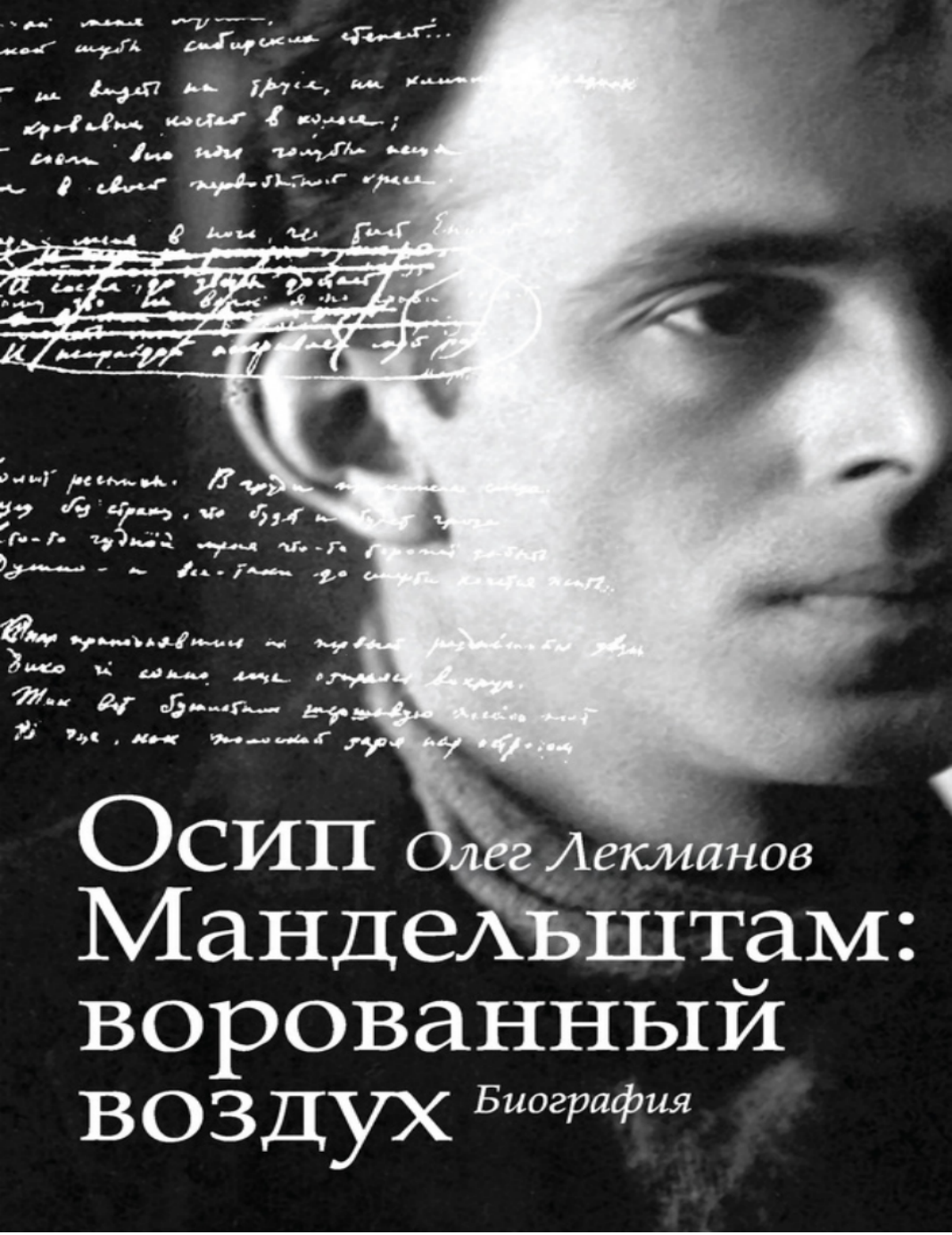


Осип Мандельштам: ворованный воздух

Олег Лекманов

Биография

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Олег Лекманов – литературовед, профессор Школы филологии гуманитарного факультета НИУ ВШЭ, автор многих статей о поэтике О. Мандельштама и первого его жизнеописания, которое выдержало три русских издания и одно американское.

В книге «Осип Мандельштам: ворованный воздух» мастерски соединяются «внешняя» и «внутренняя» биографии поэта. Исследователь органично вплетает в ткань повествования анализ стихов, а также малоизвестные факты, по-своему интерпретирует, казалось бы, уже закостеневшие сведения, дает слово непосредственным свидетелям и участникам судьбы поэта – Н.Я. Мандельштам, А. Ахматовой, Э. Герштейн и другим.

- Олег Андершанович Лекманов
  -
  - Предисловие
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Эпилог
  - Избранная библиография
  - Иллюстрации
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105

- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149

- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193

- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237

- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281

- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325

- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369

- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413

- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457

- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501

- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545

- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589

- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603
- ○ 604
- ○ 605
- ○ 606
- ○ 607
- ○ 608
- ○ 609
- ○ 610
- ○ 611
- ○ 612
- ○ 613
- ○ 614
- ○ 615
- ○ 616
- ○ 617
- ○ 618
- ○ 619
- ○ 620
- ○ 621
- ○ 622
- ○ 623
- ○ 624
- ○ 625
- ○ 626
- ○ 627
- ○ 628
- ○ 629
- ○ 630
- ○ 631
- ○ 632
- ○ 633

- ○ 634
- ○ 635
- ○ 636
- ○ 637
- ○ 638
- ○ 639
- ○ 640
- ○ 641
- ○ 642
- ○ 643
- ○ 644
- ○ 645
- ○ 646
- ○ 647
- ○ 648
- ○ 649
- ○ 650
- ○ 651
- ○ 652
- ○ 653
- ○ 654
- ○ 655
- ○ 656
- ○ 657
- ○ 658
- ○ 659
- ○ 660
- ○ 661
- ○ 662
- ○ 663
- ○ 664
- ○ 665
- ○ 666
- ○ 667
- ○ 668
- ○ 669
- ○ 670
- ○ 671
- ○ 672
- ○ 673
- ○ 674
- ○ 675
- ○ 676
- ○ 677

- ○ 678
- ○ 679
- ○ 680
- ○ 681
- ○ 682
- ○ 683
- ○ 684
- ○ 685
- ○ 686
- ○ 687
- ○ 688
- ○ 689
- ○ 690
- ○ 691
- ○ 692
- ○ 693
- ○ 694
- ○ 695
- ○ 696
- ○ 697
- ○ 698
- ○ 699
- ○ 700
- ○ 701
- ○ 702
- ○ 703
- ○ 704
- ○ 705
- ○ 706
- ○ 707
- ○ 708
- ○ 709
- ○ 710
- ○ 711
- ○ 712
- ○ 713
- ○ 714
- ○ 715
- ○ 716
- ○ 717
- ○ 718
- ○ 719
- ○ 720
- ○ 721

- ○ 722
- ○ 723
- ○ 724
- ○ 725
- ○ 726
- ○ 727
- ○ 728
- ○ 729
- ○ 730
- ○ 731
- ○ 732
- ○ 733
- ○ 734
- ○ 735
- ○ 736
- ○ 737
- ○ 738
- ○ 739
- ○ 740
- ○ 741
- ○ 742
- ○ 743
- ○ 744
- ○ 745
- ○ 746
- ○ 747
- ○ 748
- ○ 749
- ○ 750
- ○ 751
- ○ 752
- ○ 753
- ○ 754
- ○ 755
- ○ 756
- ○ 757
- ○ 758
- ○ 759
- ○ 760
- ○ 761
- ○ 762
- ○ 763
- ○ 764
- ○ 765

- ○ 766
- ○ 767
- ○ 768
- ○ 769
- ○ 770
- ○ 771
- ○ 772
- ○ 773
- ○ 774
- ○ 775
- ○ 776
- ○ 777
- ○ 778
- ○ 779
- ○ 780
- ○ 781
- ○ 782
- ○ 783
- ○ 784
- ○ 785
- ○ 786
- ○ 787
- ○ 788
- ○ 789
- ○ 790
- ○ 791
- ○ 792
- ○ 793
- ○ 794
- ○ 795
- ○ 796
- ○ 797
- ○ 798
- ○ 799
- ○ 800
- ○ 801
- ○ 802
- ○ 803
- ○ 804
- ○ 805
- ○ 806
- ○ 807
- ○ 808
- ○ 809

- ○ 810
- ○ 811
- ○ 812
- ○ 813
- ○ 814
- ○ 815
- ○ 816
- ○ 817
- ○ 818
- ○ 819
- ○ 820
- ○ 821
- ○ 822
- ○ 823
- ○ 824
- ○ 825
- ○ 826
- ○ 827
- ○ 828
- ○ 829
- ○ 830
- ○ 831
- ○ 832
- ○ 833
- ○ 834
- ○ 835
- ○ 836
- ○ 837
- ○ 838
- ○ 839
- ○ 840
- ○ 841
- ○ 842
- ○ 843
- ○ 844
- ○ 845
- ○ 846
- ○ 847
- ○ 848
- ○ 849
- ○ 850
- ○ 851
- ○ 852
- ○ 853

- ○ 854
- ○ 855
- ○ 856
- ○ 857
- ○ 858
- ○ 859
- ○ 860
- ○ 861
- ○ 862
- ○ 863
- ○ 864
- ○ 865
- ○ 866
- ○ 867
- ○ 868
- ○ 869
- ○ 870
- ○ 871
- ○ 872
- ○ 873
- ○ 874
- ○ 875
- ○ 876
- ○ 877
- ○ 878
- ○ 879
- ○ 880
- ○ 881
- ○ 882
- ○ 883
- ○ 884
- ○ 885
- ○ 886
- ○ 887
- ○ 888
- ○ 889
- ○ 890
- ○ 891
- ○ 892
- ○ 893
- ○ 894
- ○ 895
- ○ 896
- ○ 897

- ○ 898
- ○ 899
- ○ 900
- ○ 901
- ○ 902
- ○ 903
- ○ 904
- ○ 905
- ○ 906
- ○ 907
- ○ 908
- ○ 909
- ○ 910
- ○ 911
- ○ 912
- ○ 913
- ○ 914
- ○ 915
- ○ 916
- ○ 917
- ○ 918
- ○ 919
- ○ 920
- ○ 921
- ○ 922
- ○ 923
- ○ 924
- ○ 925
- ○ 926
- ○ 927
- ○ 928
- ○ 929
- ○ 930
- ○ 931
- ○ 932
- ○ 933
- ○ 934
- ○ 935
- ○ 936
- ○ 937
- ○ 938
- ○ 939
- ○ 940
- ○ 941

- ○ 942
- ○ 943
- ○ 944
- ○ 945
- ○ 946
- ○ 947
- ○ 948
- ○ 949
- ○ 950
- ○ 951
- ○ 952
- ○ 953
- ○ 954
- ○ 955
- ○ 956
- ○ 957
- ○ 958
- ○ 959
- ○ 960
- ○ 961
- ○ 962
- ○ 963
- ○ 964
- ○ 965
- ○ 966
- ○ 967
- ○ 968
- ○ 969
- ○ 970
- ○ 971
- ○ 972
- ○ 973
- ○ 974
- ○ 975
- ○ 976
- ○ 977
- ○ 978
- ○ 979
- ○ 980
- ○ 981
- ○ 982
- ○ 983
- ○ 984
- ○ 985

- ○ 986
- ○ 987
- ○ 988
- ○ 989
- ○ 990
- ○ 991
- ○ 992
- ○ 993
- ○ 994
- ○ 995
- ○ 996
- ○ 997
- ○ 998
- ○ 999
- ○ 1000
- ○ 1001
- ○ 1002
- ○ 1003
- ○ 1004
- ○ 1005
- ○ 1006
- ○ 1007
- ○ 1008
- ○ 1009
- ○ 1010
- ○ 1011
- ○ 1012
- ○ 1013
- ○ 1014
- ○ 1015
- ○ 1016
- ○ 1017
- ○ 1018
- ○ 1019
- ○ 1020
- ○ 1021
- ○ 1022
- ○ 1023
- ○ 1024
- ○ 1025
- ○ 1026
- ○ 1027
- ○ 1028
- ○ 1029

- ○ 1030
- ○ 1031
- ○ 1032
- ○ 1033
- ○ 1034
- ○ 1035
- ○ 1036
- ○ 1037
- ○ 1038
- ○ 1039
- ○ 1040
- ○ 1041
- ○ 1042
- ○ 1043
- ○ 1044
- ○ 1045
- ○ 1046
- ○ 1047
- ○ 1048
- ○ 1049
- ○ 1050
- ○ 1051
- ○ 1052
- ○ 1053
- ○ 1054
- ○ 1055
- ○ 1056
- ○ 1057
- ○ 1058
- ○ 1059
- ○ 1060
- ○ 1061
- ○ 1062
- ○ 1063
- ○ 1064
- ○ 1065
- ○ 1066

Олег Андершанович Лекманов
Осип Мандельштам: ворованный воздух

© Лекманов О.А.
© ООО «Издательство АСТ», 2016

Предисловие

1

Вспомним два поэтических высказывания Осипа Мандельштама «о времени и о себе»:

> Нет, никогда, ничей я не был современник,
> Мне не с руки почет такой.
> О, как противен мне какой-то соименник, —
> То был не я, то был другой.

Такими строками поэт начал одно из своих стихотворений 1924 года. Спустя семь лет, в 1931 году он дезавуировал собственные слова:

> Пора вам знать: я тоже современник,
> Я человек эпохи Москвошвея, —
> Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
> Как я ступать и говорить умею!
> Попробуйте меня от века оторвать, —
> Ручаюсь вам – себе свернете шею!

Противоречие между этими двумя заявлениями кажется разительным, а потому – требующим объяснения.

Необходимо, конечно, учесть, что в первом стихотворении, скорее всего, подразумевается «современник» из дореволюционного прошлого, а во втором – утверждается мандельштамовская единосущность с советским настоящим.

Можно сослаться и на суждение Анны Андреевны Ахматовой, которая по сходному поводу признавалась Павлу Лукницкому, что «никак не может понять в Осипе одной характерной черты»: «Мандельштам восстает прежде всего на самого себя, на то, что он сам делал, и больше всех. <…> Трудно будет его биографу разобраться во всем этом, если он не будет знать этого его свойства – с чистейшим благородством восстать на то, чем он сам занимался или что было его идеей»[1]. Впрочем, ахматовское наблюдение нам поможет мало – ведь поэтесса и сама констатировала, что в данном случае понять логику Мандельштама она «никак не может».

Пожалуй, наиболее правдоподобное объяснение обозначенного противоречия приходит со стороны биографии поэта. В течение всей своей жизни Мандельштам настойчиво искал близости с современностью и современниками, точнее будет сказать – настойчиво искал понимания у современности и современников (отсюда «Пора вам знать: я тоже современник…»). «Разночинская традиция Мандельштама не допускала мысли, что один поручик идет в ногу, а вся рота – не в ногу»[2].

Однако разночинское стремление «быть как все» сочеталось в Мандельштаме с обостренным ощущением собственной особости, непохожести на других людей (отсюда «Нет, никогда, ничей я не был современник…»). И от этого ощущения поэт отказываться тоже не собирался. «Осип Эмильевич всегда оставался самим собой, его бескомпромиссность была абсолютной», – вспоминала хорошо знавшая Мандельштама в последние годы его жизни Наталья Евгеньевна Штемпель[3].

Иногда верх в Мандельштаме брало желание «побыть и поиграть с людьми» («Взять за руку кого-нибудь: “Будь ласков, – / Сказать ему, – нам по пути с тобой…”»). Иногда побеждало стремление обособиться от людей, подчеркнуть свое отщепенство («Живу один – спокоен и утешен»).

Но чаще всего недоверие к современникам и желание найти с ними общий язык каким-то образом уживались в Мандельштаме и в его стихах, начиная уже с самой ранней юности поэта:

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

«Из омута злого и вязкого…», 1910

Стремление поэта «идти в ногу со всей ротой», разумеется, бросалось в глаза не так ярко, как его желание во что бы то ни стало отстоять собственную самобытность. Поэтому в воспоминаниях, дневниках и письмах современников Мандельштам часто предстает нелепым чудаком, этаким Паганелем от поэзии, не имеющим понятия о самых элементарных законах и правилах человеческого общежития. «Рассеянный и бессонный стихотворец Осип Мандельштам будил знакомых и после трех ночи. Это было очень мило и оригинально, и его поклонники, проснувшись, вставали, будили служанку и приказывали ставить самовар. Казалось, быть пиру во время чумы» (М. Лопатто)[4]; «Вбегал Мандельштам и, не здороваясь,

искал “мецената”, который бы заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол» (Г. Иванов)[5]; «Осип Эмильевич “уминал” буханку черного хлеба без единого глотка воды и… грыз, точно белка, колотый сахар. Но такие громадные куски, с которыми бы никакая белка не справилась» (Рюрик Ивнев)[6]; «Дервиш с гранитных набережных холодного Санкт-Петербурга» (Э. Миндлин)[7]; «Мандельштам истерически любил сладкое. Живя в очень трудных условиях, без сапог, в холоде, он умудрялся оставаться избалованным. Его какая-то женская распущенность и птичье легкомыслие были не лишены системы. У него настоящая повадка художника, а художник и лжет для того, чтобы быть свободным в единственном своем деле; он как обезьяна, которая, по словам индусов, не разговаривает, чтобы ее не заставили работать» (В. Шкловский)[8]; «Производил он впечатление человека страшно слабого, худенького, а на голове вместо волос рос рыжеватый цыплячий пух» (А. Седых)[9]; «На допросе Осип Эмильевич прервал следователя: “Скажите лучше, невинных вы выпускаете или нет?..”» (И. Эренбург)[10]; «Всю силу его необыкновенной несопряженности ни с каким бытом я особенно ощутил летом 1922 года» (Н. Чуковский)[11]; «Крайне самолюбивый, подозрительный, он проявлял иногда неприятную заносчивость, проистекавшую, очевидно, из “неприкаянности”» (Н. Смирнов)[12] …

Так, коллективными усилиями нескольких поколений мемуаристов, была создана мифологизированная биография мифического Осипа Мандельштама, которая пополняется еще и посейчас.

Немало сил на развенчание этой биографии в свое время положила вдова поэта – Надежда Яковлевна Мандельштам. В одном из писем она дала жесткую суммирующую оценку большинству воспоминаний о своем муже: «О. М. был не по плечу современникам: свободный человек свободной мысли в наш трудный век. Они и старались подвести его под свои заранее готовые понятия о “поэте”. Нельзя забывать, кто были его современники и что они наделали»[13]. Мемуары самой Надежды Мандельштам, как и Анны Ахматовой, создавались с полемическим намерением дезавуировать ходячие легенды о поэте. «Теперь мы все должны написать о нем свои воспоминания, – в 1956 году наставляла Ахматова Эмму Герштейн. – А то знаете, какие польются рассказы: “хохолок… маленького роста… суетливый… скандалист…” Она имела в виду издавна бытующие в литературной среде анекдоты о

Мандельштаме»[14]. «Остановите “мемуары”» – в черновиках к «Египетской марке» провидчески упрашивал современников сам поэт (III: 574)[15].

И все же опорные эпизоды мифического жизнеописания Мандельштама не следует всегда и полностью игнорировать, как это делали Надежда Яковлевна и Анна Андреевна: ведь некоторые из них совпадают с фактами реальной мандельштамовской биографии.

Только два примера из множества напрашивающихся. Первый пример: разоблачая мемуары Николая Чуковского, которые в целом действительно грешат неточностями и передержками, Надежда Яковлевна с возмущением пересказывает включенный в них эпизод: «Николай Чуковский <…> пишет, например, что О. М. был похож на Пушкина, и знал это, и пришел одетый Пушкиным на костюмированный вечер. На Пушкина он похож не был, имени Пушкина всуе не упоминал и в Пушкина не рядился»[16].

Все дело, однако, в том, что эпизод, запечатленный Н. Чуковским, встречается и в других воспоминаниях, в частности, в мемуарах Д. Слепян, которой мы не имеем оснований не доверять: «Вспоминаю, как среди костюмированных появился Осип Мандельштам, одетый “под Пушкина” в цветном фраке с жабо, в парике с баками и в цилиндре. Он был тогда <…> очень популярен, и в тот вечер в одной из переполненных гостиных я увидела Мандельштама, который, стоя на мраморном подоконнике громадного зеркального окна, выходившего на классическую петербургскую площадь, в белую ночь читал свои стихи. Свет был полупригашен, портьеры раздвинуты, и вся его фигура в этом маскарадном костюме на этом фоне, как на гравюре, осталась незабываемой, вероятно, для всех, кто при этом присутствовал»[17].

Понятно, почему портрет Мандельштама в роли Пушкина не мог радовать Надежду Яковлевну – подобное переодевание было очень к лицу герою мифа о чудаке-поэте. Но поскольку такое событие действительно имело место, приходится признать, что мифический Мандельштам все же чем-то напоминал своего реального прототипа.

Сохранилось, впрочем, еще одно описание костюмированного вечера в бывшем Зубовском особняке на Исаакиевской площади, принадлежащее Людмиле Миклашевской. Вот оно: «Мандельштам спокойно и важно вошел в зал во фраке. Крахмальная манишка подпирала его острый подбородок, черные волосы встрепаны, на щеках бачки. Не знаю, кого он хотел изобразить – Онегина? Но, увы, ничего, кроме слишком широкого для него фрака, он,

видимо, раздобыть не мог, на ногах его были защитного цвета обмотки и грубые солдатские башмаки, но гордое и даже надменное выражение лица не покидало его»[18].

Если поверить Миклашевской, выйдет, что Мандельштам переоделся вовсе не в Пушкина, а в Евгения Онегина, персонажа своих давних и известных многим присутствовавшим «Петербургских строф» (1913):

> Тяжка обуза северного сноба —
> Онегина старинная тоска;
> На площади Сената – вал сугроба,
> Дымок костра и холодок штыка.

А тогда нужно будет признать, что вдова поэта все же была права, и Мандельштам «в Пушкина не рядился».

Второй пример – может быть, еще более выразительный, хотя столь же спорный. Читатель мемуаров Надежды Яковлевны наверняка помнит мастерскую сценку, изображающую престарелого Валерия Брюсова, который не желает благодарить американскую благотворительную организацию (АРА), в голодные советские годы снабжавшую продуктовыми посылками отечественных ученых и деятелей культуры: «Брюсов счел унижением национального, что ли, или своего брюсовского достоинства поблагодарить АРА за банку бледно-белого жира и мешочек муки. В очереди сдержанно сердились за задержку и повторяли, что АРА вовсе не обязана нас подкармливать и что от благодарности язык не отсохнет. Мандельштаму почему-то понравилось упрямство Брюсова, по-моему, бессмысленное. Он любил строптивых людей и с любопытством следил за спором»[19].

Весь фокус состоит в том, что в книге Михаила Пришвина «Сопка Маира», вышедшей при жизни Мандельштама, «бессмысленный» бунт против АРА приписан… самому Мандельштаму: «<О>н опять ставит принципиальный вопрос: Америка выдает помощь писателям, но требует подписи: “благодарю” – не обидно ли так получить помощь русскому поэту? не поднять ли этот вопрос в Союзе писателей?»[20] Кто в данном случае слукавил: Пришвин, сочинивший очередной анекдот о чудаке-Мандельштаме, или вдова поэта, решившая столь хитроумным способом предохранить поэта от пришвинской насмешки? Вопрос остается открытым.

«Однажды в разговоре со мной <Ю.Н.> Тынянов совершенно серьезно советовал такие-то события в жизни Мандельштама “сделать литературными фактами”, а другие игнорировать», –

иронизировала в своей «Второй книге» Надежда Яковлевна[21]. Как видим, эта ирония не помешала мандельштамовской вдове в ряде случаев последовать тыняновскому совету. Что уж тут говорить о других современниках поэта?

Так что каждый конкретный штрих из воспоминаний о Мандельштаме требует к себе особого отношения. Свою главную задачу мы как раз и видели в том, чтобы по возможности вылущить события биографии поэта из той эмоционально-оценочной или установочной шелухи, в которую их обычно облекали авторы мемуаров.

Все мемуарные свидетельства о Мандельштаме по возможности пропускались нами через фильтры предварительной проверки бесспорными фактами. И зачастую выяснялось, что эта проверка сводила их информативную ценность почти к нулю. Только один пример из множества напрашивающихся. Жена стихотворца Д. Петровского, Мария Гонта, в очерке «Из воспоминаний о Пастернаке» сначала датирует свою встречу с «респектабельным и важным» Мандельштамом «зимой 1925 года»[22]. Потом сообщается, что поэт читал собравшимся стихи, и мемуаристке особенно запали в душу строки:

> И отвечал мне заплакавший Тассо:
> Я к величаньям еще не привык,
> Только стихов виноградное мясо
> Мне освежило случайно язык[23].

А еще потом рассказывается, как «вдруг выяснилось, что бездомный Мандельштам, с трудом дотягивавший от аванса до аванса, недавно получил небольшую уютную квартиру в Ленинграде»[24]. Получается, что зимой 1925 года Мандельштам читал слушателям свое стихотворение «Батюшков» 1932 года, причем строка «И отвечал мне *о*плакавший Тасс*а*» комически преобразилась у него в «И отвечал мне *за*плакавший Тассо». «Уютную» же, пусть и «небольшую» квартиру в Ленинграде поэт отродясь не получал; вероятно, подразумевается кооперативная двухкомнатная квартира в Москве, в которую Мандельштамы переехали в октябре 1933 года[25].

Отдельной строкой следует отметить мандельштамовское свойство «во всем видеть фабулу, фабульность своей судьбы» (свидетельство Сергея Рудакова)[26]. «Думаю о своей судьбе, отнятой, как сказал Мандельштам обо всех нас», – цитировал Николай Пунин характерную мандельштамовскую формулу в одном из писем 1929 года[27]. Даже «смерть <любого> художника» автор «Камня» предлагал «рассматривать как

последнее заключительное звено» в «цепи его творческих достижений» (I: 201).

2

Приступая к сверхкраткому обзору литературы о биографии Мандельштама, нужно обязательно учитывать, что его сегодняшнее очень высокое реноме сложилось далеко не сразу, вернее сказать, далеко не сразу немногочисленные, но стойкие ценители и горячие сочувственники автора «Камня» смогли увлечь мандельштамовскими стихами бóльшую часть читателей и любителей русской поэзии. «Мандельштама я получила, спасибо, хотя я им продолжаю не быть очарованной. Очень и очень “так себе”. Чем он вас пленил? – 9 июля 1913 года спрашивала в письме одного из таких сочувственников, Сéргия Каблукова, поэтесса Зинаида Гиппиус. – Я читаю старые книги, опротивел модерн. И стихи тоже старые лучше»[28].

Если уж искушенная Гиппиус так оценивала Мандельштама, чего было ждать от среднестатистического «широкого читателя», чью точку зрения на творчество поэта сформулировал в не слишком остроумной, зато предельно ясной эпиграмме 1923 года некто, укрывшийся под псевдонимом «Юр.»:

> Ах, ведь от самого Адама
> Законам всё подчинено,
> И мы недаром Мандельштама
> Читаем только перед сном[29].

«<Н>ельзя удивляться или негодовать по поводу его непризнания или непопулярности. Едва ли в будущем ждет его громкая слава, – в 1925 году пророчествовал Георгий Адамович. – Вероятно, он останется навсегда заслоненным несколькими поэтами нашей эпохи – теми, которые мною были выше названы и которые имеют все права на “народную любовь”»[30].

Долгое время имелись веские основания полагать, что эти и подобные им предсказания сбудутся и уже сбылись. Ситуация началá достаточно стремительно выправляться лишь в середине 1950-х годов, когда на Западе был издан внушительный однотомник Мандельштама. Основу этого издания составили стихи из вышедших в России мандельштамовских книг стихов, прозы и статей плюс более поздние вещи, также опубликованные при жизни. В свою очередь, это и, главным образом, последующие западные издания Мандельштама послужили основой для

машинописных, рукописных и ротапринтных копий, в огромном количестве наводнивших Советский Союз в 1960—1980-е годы. В 1963 году в мюнхенском альманахе «Мосты» было впервые опубликовано мандельштамовское антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…», переданное на Запад Ю.Г. Оксманом.

И уже меньше чем год спустя Анна Андреевна Ахматова могла с полным на то основанием констатировать: «Сейчас Осип Мандельштам – великий поэт, признанный всем миром. О нем пишут книги, защищают диссертации. Быть его другом – честь, врагом – позор»[31]. Ей вторил выдающийся итальянский кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини в своем эссе 1972 года: «То, чем нас одарил Мандельштам, – легконогий, умный, острый на язык, элегантный, прямо-таки изысканный, жизнерадостный, чувственный, всегда влюбленный, открытый, ясновидящий и счастливый даже в сумерках своего нервного заболевания и политического кошмара, молодой и, можно сказать, моложавый, причудливый и утонченный, преданный и находчивый, улыбающийся и терпеливый, – принадлежит к числу самых счастливых поэтических прозрений XX века»[32].

Мировую официальную и советскую негласную славу Мандельштама упрочили две книги мемуаров Надежды Яковлевны, вышедшие в Нью-Йорке и в Париже в 1970-е годы. На Западе популярность этих книг даже превысила известность стихотворений их главного героя, что и понятно – прозу переводить во много раз легче, чем стихи, да еще такие сложные, как мандельштамовские.

Меж тем вокруг вдовы поэта естественным образом сплотились зачастую лично не знакомые друг с другом исследователи жизни и творчества Мандельштама. Из этого круга сейчас выделим две фигуры – американского слависта Кларенса Брауна, автора неполной, но очень хорошей мандельштамовской биографии, выпущенной на английском языке в 1973 году[33], и Александра Анатольевича Морозова, чьи плодотворные мандельштамоведческие штудии в итоге отлились в замечательную биографическую статью о поэте, напечатанную в авторитетном справочном издании о русских писателях XIX – начала XX веков[34].

В 1988 году в Лондоне и в Бостоне вышли две книги о жизни и творчестве Мандельштама, авторами которых были соответственно Н.А. Струве и Дж. Харрис[35]. В советской России первой ласточкой стал обширный очерк С.С. Аверинцева 1990 года[36]. Отчасти в развитие основных положений этого очерка, отчасти в полемике с ними было написано лучшее, на мой взгляд,

краткое мандельштамовское жизнеописание – статья М.Л. Гаспарова «Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама»[37].

В 2005 году в русском переводе вышла интересная книга стихотворца, переводчика и слависта Ральфа Дутли «“Век мой, зверь мой”. Осип Мандельштам. Биография»[38]. За два года до этого была выпущена написанная по заказу серии журнала «Звезда» биография Осипа Мандельштама моего авторства. В 2004 и в 2009 годах последовали ее дополненные переиздания в серии «Жизнь замечательных людей»[39]. И вот теперь перед вами – новый, четвертый, значительно переработанный вариант этой книги.

Советами, замечаниями и дополнениями со мной щедро делились Андрей Юрьевич Арьев, Николай Алексеевич Богомолов, Леонид Михайлович Видгоф, Михаил Леонович Гаспаров, Борис Аронович Кац, Михаил Анатольевич Мельниченко, Роман Давидович Тименчик[40]. Особое и отдельное спасибо – Юрию Львовичу Фрейдину, не только первому редактору, но и соавтору многих страниц предлежащей биографии Мандельштама. Разумеется, вся ответственность за возможные допущенные ошибки целиком ложится на плечи автора.

Среди использованных биографических источников особая роль принадлежит исследованиям и разысканиям С.С. Аверинцева, Кларенса Брауна, С.В. Василенко, Ральфа Дутли, Г.А. Левинтона, А.Г. Меца, А.А. Морозова, П.М. Нерлера, Омри Ронена, М.Г. Сальман, Д.М. Сегала, Р.Д. Тименчика, Е.А. Тоддеса, Л.С. Флейшмана, Н.И. Харджиева, а также монументальным книгам Э.Г. Герштейн и Н.Я. Мандельштам. В 2014 году в издательстве «Гонза» (Екатеринбург) вышло последнее, тщательно подготовленное издание мемуаров Н.Я. Мандельштам, в 2015-м – солидный том «“Посмотрим, кто кого переупрямит…” Надежда Яковлевна Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах», составленный П.М. Нерлером при участии С.В. Василенко.

Некоторые читатели прежних вариантов этой книги упрекали меня за «сухость изложения» и даже за «отсутствие четкой авторской позиции». Сухость эта – намеренная. Судьба Мандельштама настолько драматична, что вносить еще и дополнительную «лирическую нотку» кажется мне нестерпимой пошлостью и дурным тоном. Что же касается «авторской позиции», то могу лишь, нисколько не преувеличивая, признаться: *каждую* строку этой книги я писал с любовью к Осипу Эмильевичу Мандельштаму.

Его стихи, как правило, приводятся по изданию: *Мандельштам О.* Полное собрание стихотворений. СПб., 1995.

В этой книге использованы результаты проекта «Европейская словесность XIX–XX веков в кросс-культурной перспективе: текст и контекст», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 году.

Глава первая
До первого «Камня» (1891–1913)

1

Осип (Иосиф) Эмильевич Мандельштам, как сказано им самим, родился «в ночь с<о> второго <(14)> на третье <(15)> января» 1891 года в Варшаве.

Согласно семейной легенде, предки Мандельштамов были выходцами из Испании, а основателем рода считается ювелир при дворе курляндского герцога Э.И. Бирона. «Семья дала миру известных врачей и физиков, сионистов и ассимиляционистов, переводчиков Библии и знатоков Гоголя»[41]. «В Киеве старожилы до сих пор вспоминают о профессоре-офтальмологе и общественном деятеле, носившем эту фамилию. В ленинградском медицинском мире почетное место заняли мои сверстники и тоже Эмильевичи – два брата Мориц и Александр Мандельштамы. Один из Мандельштамов заведовал кафедрой в Гельсингфорсском университете. Другой был драгоманом и знатоком арабской культуры. Он работал в русском посольстве в Константинополе», – с гордостью писал в своих воспоминаниях младший брат поэта, Евгений[42].

Немецко-еврейская фамилия «Мандельштам» переводится с идиш как «ствол миндаля» и заставляет внимательного читателя Библии вспомнить о процветшем миндальном жезле первосвященника Аарона (Числа 17, 1—10) и о видении пророка Иеремии: «Я сказал: вижу жезл миндального дерева» (Иер. 1, 11). О происхождении своей фамилии сам поэт никогда не забывал и обыгрывал его в стихах:

> Как царский посох в скинии пророков,
> У нас цвела торжественная боль.
>
> *«Есть ценностей незыблемая скала…», 1914,*

а также в прозе – например, в открытом письме А.Г. Горнфельду, помещенном в «Вечерней Москве» от 12 декабря 1928 года, где Мандельштам отделяет себя – русского поэта от себя же – иудея: «А теперь, когда извинения давно уже произнесены, отбросив всякое *миндальничанье*, я, русский поэт…»

и т. д. (IV: 103). Евгений Мандельштам вспоминал, как они с братом в юности разыгрывали свою фамилию в шуточной шараде: первые два слога – лакомство, третий – часть дерева[43].

Отец Мандельштама Эмиль (Хацкель) Вениаминович родился в 1852 году – если верить аттестату Динабургской ремесленной управы – или в 1856 году, если положиться на память Евгения Мандельштама, в местечке Жагоры Шавельского уезда Ковенской губернии. «Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу» (Из автобиографической прозы О. Мандельштама «Шум времени») (II: 362).

Не выдержав полуголодного, почти нищенского существования в Берлине, юноша отказывается от учебы и в поисках заработка возвращается в Прибалтику. В это же время в Ригу перебрались родители Эмиля Вениаминовича. Здесь также жил один из его братьев. Второй обосновался в Варшаве.

19 января 1889 года в Динабурге (Двинске) состоялось бракосочетание Эмиля Мандельштама с Флорой Осиповной Вербловской. Финансовые дела Мандельштама в этот период его биографии наладились. Эмиль Вениаминович занялся изготовлением перчаток и в конце февраля 1891 года, спустя месяц с небольшим после рождения старшего сына Осипа, получил аттестат «в том, что он признается достойным мастером перчаточного дела с присовокуплением вспомогательного ремесла сортировщика кож»[44]. В семье Мандельштамов до сих пор хранится принадлежавшая Мандельштаму-старшему печатка для маркировки кож.

В 1892 году у Мандельштамов рождается второй сын – Александр, в 1898 году третий – Евгений. К этому времени Эмилю Вениаминовичу удается перевезти семью сначала поближе к столице – в Павловск (1894 год), а затем, около 1897 года – в Петербург.

Почти два десятилетия спустя Мандельштам изобразит Павловск в программном стихотворении «Концерт на вокзале» (1921). Ницшевский образ звезд – «светящихся червячков»[45] будет соседствовать в начальных строках этого стихотворения с отчетливой цитатой из «Выхожу один я на дорогу…» («звезда с звездою говорит») Лермонтова, в котором философ Владимир Соловьев видел «прямого родоначальника»[46] ницшеанства:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,

И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами, —
Дрожит вокзал от пенья аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это – сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и в слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах…

И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит[47].

Надежда Яковлевна Мандельштам полагала, что «родная» и «милая тень» здесь – это мать поэта, Флора Осиповна Вербловская (в честь отца которой Мандельштам, по-видимому, был назван). До замужества она жила в Вильно и получила настолько хорошее музыкальное образование, что даже освоила профессию учительницы музыки (по классу фортепиано). Флора Осиповна была родственницей известного историка литературы Семена Афанасьевича Венгерова. Родным языком матери поэта был русский, хотя с мужем она иногда говорила по-немецки. «Детей воспитывала и вводила в жизнь мать и в какой-то степени бабушка со стороны матери С<офья> Г<ригорьевна> Вербловская, всегда жившая с нами. Матери мы обязаны всем, особенно Осип», – свидетельствовал самый младший брат поэта[48].

Детство Осипа Мандельштама безоблачным не было. «Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком

провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива» («Шум времени») (II: 384). Дело осложнялось еще и тем, что из общины, из ритуала семья Мандельштамов вышла, но клейма еврейства избыть не могла.

Со второй половины 1900-х годов дела Эмиля Вениаминовича шли все хуже, а к 1917 году он разорился окончательно. Любителю эффектных деталей Корнею Чуковскому запомнились «черные руки» мандельштамовского отца, «пострадавшие от постоянной работы над кожами. Это были руки чернорабочего»[49].

«Отец в жизни семьи активного участия не принимал, – вспоминал Евгений Мандельштам. – Он часто бывал угрюм, замыкался в себе, почти не занимался детьми»[50].

Это спустя десятилетия, в 1932 году старший сын напишет отцу: «Я все более убеждаюсь, что между нами очень много общего в интеллектуальном отношении, чего я не понимал, когда был мальчишкой» (IV: 148). А отец, узнав об аресте сына, заплачет: «Нежненький мой Ося»[51]. Понадобились годы и годы, чтобы взаимоотношения между сыном и отцом приобрели наконец ту степень близости, которая в счастливых семьях воспринимается как сама собой разумеющаяся, начиная от рождения ребенка.

Глухие намеки на постоянные размолвки между родителями проникли в повесть Мандельштама «Шум времени». А одной из позднейших собеседниц поэта (Эмме Герштейн) запомнились мандельштамовские «откровенные и тяжелые признания с жалобами на тяжелое детство, неумелое воспитание: его слишком долго брали с собой в женскую купальню, и он тревожно волновался, когда его секла гувернантка»[52].

Вдобавок ко всему мать Мандельштама была одержима почти маниакальной страстью к переездам. «Причины были самые неожиданные, но выяснялись они обычно только к весне, после очередного осеннего переезда. То ее не устраивал этаж, то детям было далеко ездить в школу на Моховую, то мало было солнечных комнат, то неудобной оказывалась кухня и т. п. По моим подсчетам, до Февральской революции мы сменили в Петербурге 17 адресов», – жаловался в своих мемуарах брат поэта, Евгений[53].

Слова «семья» и «дом» были лишены для ребенка Мандельштама того сладкого привкуса, которым они обладали, скажем, для Бориса Пастернака и Марины Цветаевой, еще и потому, что он в свои детские годы мучительно искал и никак не мог найти отчетливой точки зрения на собственное еврейство: «<К>ругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не

очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался – и бежал, всегда бежал» («Шум времени») (II: 354).

Процитируем здесь еще один отрывок из мандельштамовского «Шума времени», где трудный поиск национальной самоидентификации передается через описание реальных блужданий одинокого мальчика на женских хорах петербургской синагоги – по-видимому, Мандельштама привела сюда бабушка, – в то время как все его сверстники вместе со взрослыми славят Господа: «Еврейский корабль, с звонкими альтовыми хорами, с потрясающими детскими голосами, плывет на всех парусах, расколотый какой-то древней бурей на мужскую и женскую половину. Заблудившись на женских хорах, я пробирался, как тать, прячась за стропилами. Кантор, как силач Самсон, рушил львиное здание, ему отвечали бархатные камилавки, и дивное равновесие гласных и согласных в четко произносимых словах сообщало несокрушимую силу песнопениям. Но какое оскорбление – скверная, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит “государь император”, какая пошлость все, что он говорит!» (II: 361). Отметим, что мандельштамовское притяжение к еврейству описывается здесь прежде всего как притяжение к «четко произносимым *словам*», а в мандельштамовском отталкивании от ассимилированного еврейства сквозит в первую очередь раздражение против «скверной, хотя и грамотной *речи* раввина».

Особую драматичность отношению Мандельштама к собственным семейным и национальным корням придавало то обстоятельство, что он всегда отчетливо понимал, какую – почти невероятную – степень уверенности в себе способен обрести человек, четко сознающий свою причастность к определенному семейному или национальному «клану». Хвалу *дому* Мандельштам воспел в заметке 1923 года «Гуманизм и современность»: «<К>то осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?» (II: 287). А о своей родовой принадлежности поэт в 1926 году писал обожаемой жене: «<Я> люблю только тебя <…> и евреев» (IV: 63).

В детские годы и в юности «хаосу иудейскому» в сознании Мандельштама противостоял идеально организованный ампирный Петербург (хотя и архитектуру он в одном из стихотворений 1912 года определит как свой «давний бред»): «Скажу и теперь, не обинуясь, что, семи или восьми лет, весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это

нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Генерального штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным» («Шум времени») (II: 350).

2

Невзирая на материальные трудности, которые к концу 1890-х годов начали преследовать семью Мандельштамов, в сентябре 1899 года любящая мать определила восьмилетнего Осипа в петербургское коммерческое Тенишевское училище, где плата за обучение была довольно высокой. Увы, училище (первоначально именовавшееся общеобразовательной школой князя Тенишева) никогда не стало в глазах Мандельштама подобием пушкинского Лицея, хотя все основания для этого, казалось бы, имелись. Ведь те педагогические новации, которые осуществлялись в Тенишевском училище, с поправкой на время вполне могут быть соотнесены с прекрасными начинаниями Лицея александровской эпохи. Кстати сказать, такое сопоставление Мандельштаму в голову все же приходило. В «Шуме времени» он, пусть иронически, сравнил Тенишевское училище – «самую тепличную, самую выкипяченную русскую школу» – с «пушкинским Лицеем» (II: 375)[54].

К концу 1890-х годов в России назрела настоятельная потребность в коренной реформе школьного образования. Стремясь избежать опеки весьма консервативного Министерства народного просвещения, группа педагогов решила открыть школу под вывеской коммерческого училища (они находились тогда в ведении Министерства финансов). Решающую благотворительную поддержку оказал князь Вячеслав Николаевич Тенишев.

Сначала школа располагалась в небольшой квартире на Загородном проспекте, а затем был куплен земельный участок на Моховой улице, и к 1900 году архитектор Р. Берзен построил на этом участке здание училища – «самое роскошное в те времена, со светлыми классами, большим двором для игр, оранжереей, лабораториями физики, химии и т. д. и даже с двумя театральными залами» (из книги «Над рекою времени» бывшего тенишевца А. Рубакина)[55]. Была в училище собственная небольшая обсерватория и бассейн с рыбками.

В своем педагогическом манифесте директор и учителя с

полным на то основанием горделиво указывали, что «общеобразовательная школа имени кн. Тенишева представляет у нас первый опыт рациональной постановки как умственного, так и телесного воспитания учащихся»[56]. Воспитание гармонически развитой личности действительно ставилось педагогами Тенишевского училища во главу угла, чему немало способствовала царившая здесь атмосфера творческого поиска. «Наказаний у нас не было, в старших классах разрешалось курить, но т. к. это было разрешено – почти никто не курил»[57]. В Тенишевском училище также не было дневников с оценками и классных кондуитов, поощрялось посещение родителями уроков, предпринимались попытки индивидуального подхода к каждому ребенку. Так, в отчете училища за 1901 год трогательно сообщается, что «по темпераментам в смысле Гиппократа (темпераменту физиологическому) учащиеся делятся следующим образом:

1) Сангвиников	12 чел.	или 21,43%
2) холериков	14 чел.	или 25%
3) меланхоликов	14 чел.	или 25%
4) и флегматиков	16 чел.	или 28,57%».

Интересно, в какую из этих групп входил Ося Мандельштам?

Было много экскурсий: Путиловский завод, Горный институт, Ботанический сад, озеро Селигер с посещением Иверского монастыря, на Белое море, в Крым, в Финляндию (доподлинно известно, что Мандельштам участвовал в одной из таких экскурсий – в Великий Новгород и на Валдай).

О том, с каким чувством тенишевцы вспоминали свою школу, можно судить, например, по уже цитировавшейся мемуарной книге А. Рубакина, учившегося на два класса старше Осипа Мандельштама: «Я до сих пор вспоминаю с благодарностью, как много мне дала эта школа. В ней преподавали такие замечательные педагоги, как художник Н.К. Педенко, В.Н. Никонов, В.А. Гердт, В.В. Гиппиус, историки А.Я. Закс, И.М. Гревс, морской офицер, математик, гроза учащихся Н. Бригер, экономист М.И. Туган-Барановский, физики Сазонов, А. Добиаш, географ Э.Ф. Лесгафт и многие другие»[58].

Также хочется привести прочувствованные строки, посвященные Тенишевскому училищу В. Валенковым, учившимся на класс младше Мандельштама: «Среди всей серой, холодной, безразличной обстановки нашей жизни только в нем одном <в Тенишевском училище> я встречал ласку и любовь, ту великую, глубокую, разумную любовь, которая влагает душу в человека,

оберегает заботливо от пошлости и с чудной, непостижимой улыбкой заставляет его бороться за все лучшее, светлое и великое»[59].

О «чеховской невообразимой улыбке» (II: 369) директора Тенишевского училища А.Я. Острогорского сочувственно упоминается в «Шуме времени». «Все училище, со всеми своими гуманистическими турусами на колесах, – пишет Мандельштам, – держалось его улыбкой» (II: 370).

Но мандельштамовское описание «гуманистических турусов на колесах» в целом производит не слишком отрадное впечатление: «<В>оспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на 25 человек <…>. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мученье лягушек, в научном кипячении воды с описанием этого процесса и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках <…>. От тяжелого, приторного запаха в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд <…>. Все время в училище пробивалась военная, привилегированная, чуть ли не дворянская струя; это верховодили мягкотелыми интеллигентами дети правящих семейств, попавшие сюда по странному капризу родителей» (II: 368–369).

Сколько можно судить по сохранившимся обрывкам воспоминаний, Осипу Мандельштаму с трудом удавалось найти общий язык со своими сверстниками. Правда, Надежда Яковлевна Мандельштам со слов одного из мандельштамовских соучеников (В. Жирмунского) писала о том, что «в Тенишевском» «к Мандельштаму сразу отнеслись бережно и внимательно»[60]. Однако другой выпускник Тенишевского училища (А. Рубакин) сообщает, что «Осип был весьма трусоват, чем и славился», и приводит не слишком лестное прозвище Мандельштама тенишевских времен – «Гордая лама»[61].

«Мандельштам – умный и способный мальчик, но вместе с тем и очень самолюбивый», – писал в своем отзыве о поведении учеников 1-го класса 1899/1900 учебного года преподаватель Закона Божьего, священник Дмитрий Гидаспов[62]. «Очень способный и необыкновенно старательный мальчик, правдив, очень впечатлителен и чувствителен к обиде и порицанию». Такими виделись основные свойства характера Мандельштама-третьеклассника тенишевскому преподавателю географии[63]. А вот как об успехах Мандельштама в 1904 году отчитывался

преподаватель Березин: «мат<ематика> – хор<ошо>, фр<анцузский> – хор<ошо>, рис<ование> – стал немн<ого> лучше, физ<ика> – уд<овлетворительно> вп<олне>, рус<ский> – хор<ошо>, геол<огия> – вп<олне> уд<овлетворительно>, геог<рафия> – хор<ошо>, нем<ецкий> – хор<ошо>, оч<ень> мн<ого> раб<отает>»[64].

Почему Мандельштам не слишком уютно чувствовал себя в Тенишевке?

Точно не потому, что он был единственным евреем в классе, – антисемитизм в училище не поощрялся[65].

В качестве ответа на этот вопрос было бы чрезвычайно соблазнительно процитировать язвительного Владимира Набокова, который окончил училище спустя несколько лет после Мандельштама: «Как во всех школах, между мальчиками происходил постоянный обмен непристойных острот и физиологических сведений; и как во всех школах, не полагалось слишком выделяться. Я был превосходным спортсменом; учился без особых потуг, балансируя между настроением и необходимостью; не отдавал школе ни одной крупицы души, сберегая все свои силы для домашних отрад – своих игр, своих увлечений и причуд, своих бабочек, своих любимых книг, – и в общем не очень бы страдал в школе, если бы дирекция только поменьше заботилась о спасении моей гражданской души». «Наибольшее негодование <в учителях> возбуждало то, – продолжает Набоков, – что уже тогда я испытывал непреодолимое отвращение ко всяким группировкам, союзам, объединениям, обществам. Помню, в какое бешенство приходил темпераментный В.В. Гиппиус, один из столпов училища, довольно необыкновенный рыжеволосый человек с острым плечом (тайный автор замечательных стихов), оттого что я решительно отказывался участвовать в каких-то кружках, где избиралось “правление” и читались исторические рефераты, а впоследствии происходили даже дискуссии на политические темы»[66].

Было бы, однако, непростительной ошибкой пользоваться набоковскими «ответами» на вопрос о Мандельштаме. И дело здесь даже не в том, что Мандельштам *не* был отличным спортсменом, что у него *не* было своей коллекции бабочек, короче говоря, *не* было своего домашнего рая. Гораздо важнее понять, что Мандельштам, в отличие от Набокова, свое одиночество среди соучеников должен был воспринимать не столько с показной гордостью, сколько с уже привычной и невеселой обреченностью. Это чувство он впоследствии прекрасно передал в одном из своих стихотворений:

Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!

«Воздух пасмурный влажен и гулок…», 1911

Из сложившейся ситуации для Мандельштама-тенишевца было два выхода. Первый: погружение в ту самую гражданскую активность, над которой потешался Набоков. Этот выход сулил возможность обрести единомышленников в устройстве будущего счастья всего человечества, не утрачивая при этом своей индивидуальности.

Второй выход: писание стихов, поэтическое творчество. Этот выход сулил возможность, не теряя себя, обрести надежных союзников и единомышленников в прошлом, опереться на многовековую литературную традицию. «Итак, ни одного поэта без роду и племени, все пришли издалека и идут далеко» (из заметки Мандельштама «Письмо о русской поэзии», 1922) (II: 239).

3

Так вышло, что первые опыты Мандельштама на поэтическом поприще были окрашены отчетливо личностным влиянием, равно как и начальная пора мандельштамовского лихорадочного увлечения политикой. В тайны поэзии юного Мандельштама посвятил Владимир Васильевич Гиппиус, с 1904 года преподававший в Тенишевском училище русскую литературу. К тайнам политики юного Мандельштама приобщил одноклассник Борис Синани, с народнической семьей которого поэт сблизился осенью 1906 года.

Владимир Васильевич Гиппиус (1876–1941) происходил из того же старинного немецкого рода, к которому принадлежала поэтесса Зинаида Гиппиус. Его товарищем по шестой петербургской гимназии был декадент Александр Добролюбов. Вместе с Добролюбовым и Иваном Коневским – «воинственными молодыми монахами раннего символизма» («Шум времени») (II: 388) Гиппиус пришел к обоснованию декадентства как миросозерцания. Десятилетия спустя, разделываясь со своей юностью, он вспоминал: «В религии я стал атеист, эстетика побеждала религиозность. Политическое безразличие было полное. Мораль отрицалась вся вполне, без уступок»[67].

С поправкой на время эти слова удивительным образом перекликаются с автохарактеристикой молодого Осипа

Мандельштама, данной в письме к Гиппиусу от 19 апреля 1908 года: «Я не имею никаких определенных чувств к обществу, Богу и человеку – но тем сильнее люблю жизнь, веру и любовь» (IV: 11). Можно только догадываться, с каким раздражением Гиппиус читал эти строки, поскольку уже к середине 1890-х годов он ощущал себя «кающимся декадентом». По точному замечанию биографа (А.В. Лаврова), гимназическое преподавание Гиппиус как раз и рассматривал в качестве «своеобразного опыта преодоления декадентства»[68]. Наверное, не будет натяжкой предположить, что раздражение против манерного ученика помешало Гиппиусу по достоинству оценить мандельштамовские стихи – в декабре 1913 года он назовет их «мертвенными»[69].

А в неопубликованном и до сих пор полностью не расшифрованном дневнике 1932 года Гиппиус напишет о Мандельштаме так: «… он – словоблуд. Стихи его мне чужды. Не русского, а еврейского, что ли звучания (?) <крещеного> Еврея. <…> И что-то в наружности очень напоминает Добролюбова, Ал<ександра> Мих<айловича>, за что одно я должен был бы его любить. И не скажу, чтобы терпеть не мог <…>. Мог бы и полюбить… Если бы исправился!»[70] Впрочем, читая эту суровую характеристику, нужно помнить о том, что Владимир Васильевич был глубоко возмущен тем фрагментом книги Мандельштама «Шум времени», в котором идет речь о нем, Гиппиусе. В дневнике того же 1932 года он записал: «Один из моих учеников <…> оказал мне дурную честь, поместив меня частично в свои мемуары, возмутившие меня вообще своим – соблазнительным – по формальной талантливости – но отнюдь не прочему пошлым тоном»[71]. Мандельштам же с поразительной для молодого человека честностью и точностью сформулировал са́мую суть своего отношения к учителю в уже упомянутом выше письме к нему от 19 апреля 1908 года: «С давнего времени я чувствовал к вам особенное притяжение и в то же время чувствовал какое-то особенное расстояние, отделявшее меня от вас <…>. И вы простите мне мою смелость, если я скажу, что вы были для меня тем, что некоторые называют “друго-врагом”» (IV: 11–12).

«Власть оценок В.В. длится надо мной и посейчас. Большое, с ним совершенное, путешествие по патриархату русской литературы от Новикова с Радищевым до Коневца раннего символизма так и осталось единственным. Потом только *почитывал*» («Шум времени») (II: 391). Это мандельштамовское признание заставляет с особым вниманием присмотреться к литературным вкусам Гиппиуса, особенно в отношении современной ему словесности. В «Шуме времени» упоминается о том, что Гиппиус был «отравлен Сологубом», «уязвлен Брюсовым»

и даже «во сне» помнил «дикие стихи Случевского “Казнь в Женеве”» (IV: 388). Сам Гиппиус в мемуарах сообщает о своей человеческой и эстетической близости с четой Мережковских. А вот ранним Блоком Гиппиус, по его собственным словам, «не восхитился» («Я же признал позже – в 1908 году – Блока великим поэтом», – с горечью вспоминал он[72], а мы отметим, что к этому времени Мандельштам уже окончил Тенишевское училище).

«В.В. <Гиппиус> любил стихи, в которых энергично и счастливо рифмовались: пламень – камень, любовь – кровь, плоть – господь» – писал Мандельштам в «Шуме времени» (II: 391).

Следы определяющего влияния оценок и вкусов учителя без труда распознаются в поэзии Мандельштама 1908–1911 годов.

Однако то мандельштамовское стихотворение, которое под характерным псевдонимом «Фитиль» было опубликовано в первом номере журнала Тенишевского училища «Пробужденная мысль» за 1907 год и которым сегодня открывается хронологически выстроенное собрание сочинений поэта, представляет собой типичный образец революционно-народнической лирики конца XIX века в духе кумира эпохи – Семена Надсона. «В ту пору в моей голове как-то уживались модернизм и символизм с самой свирепой надсоновщиной» (II: 381):

Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обагрятся в крови!

«Тянется лесом дороженька пыльная…», 1906[73]

Подобные настроения Мандельштаму были внушены тенишевцем Борисом Синани (1889–1910) – одним из немногих в жизни поэта людей, которых он любил безоговорочно и беспоправочно.

В «Шуме времени» Мандельштам подтрунивает над всеми и вся. И только о Борисе Синани пишет с упоением почти чувственным, не забывая упомянуть об «узком мужественном и нежном лице» (II: 377) своего друга и даже о его «маленькой ступне» (II: 377). «Он вызвался быть моим учителем, – вспоминает Мандельштам, – и я не покидал его, покуда он был жив, и ходил за ним, восхищенный ясностью его ума, бодростью и присутствием духа» (II: 377). В свою очередь Борис Синани очень любил Мандельштама и даже отказался пересесть от него за

другую парту, когда этого потребовали тенишевские педагоги.

Через Бориса Синани Мандельштам приобщился к его семье, а через семью Синани, пусть и почти умозрительно, – к партии эсеров, боровшейся за лучшее будущее для всех российских бедняков. Счастье обретения близкого друга совпало в жизни юного Мандельштама со счастьем обретения, во-первых, семейного круга и, во-вторых, широчайшего круга потенциальных сочувственников.

«Борис Синани, с первых же дней своего сознательного существования и по традициям крепкой и чрезвычайно интересной семьи, считал себя избранным сосудом русского народничества», – свидетельствовал Мандельштам (II: 377). Отец мандельштамовского одноклассника – Борис Наумович Синани (1850–1920) – был известным на всю Россию психиатром, другом и личным врачом Глеба Успенского, а по совместительству – «советчиком и наперсником тогдашних эсеровских цекистов» («Шум времени») (II: 378). «В своих отношениях с людьми этот материалист был бессребреником чистой воды; что же касается вопросов этического порядка, то в его жизненном обиходе они выступали не в качестве более или менее отвлеченных принципов. Для него это был воздух, которым он дышал, – пишет биограф Синани-отца А.Б. Дерман. – Он с презрительной усмешкой и резкими эпитетами отзывался о всякой метафизике, мистике, религии, выводя все это либо из низменной трусости, либо даже из болезненного состояния души»[74]. «Жил он с сыном и двумя дочерьми: старшей, косоглазой, как японка, Женей, очень миниатюрной и изящной, и маленькой горбуньей Леной» («Шум времени») (II: 378). Женя Синани так же, как ее отец, была связана с активистами партии эсеров.

Мандельштам самозабвенно окунулся в новую для себя сферу деятельности. Вместе с Борисом Синани он мечтал вступить в эсеровскую молодежную организацию и даже «занимался пропагандою на массовках» (согласно позднейшей биографической справке)[75].

«<В> подражание Лассалю, мы увлеклись спортом красноречия, ораторской импровизацией <…> – вспоминал Мандельштам в “Шуме времени”. – Особенно в ходу были аграрные филиппики по предполагаемой эсдековской мишени» (II: 380). «В 1907 году я уже работал в качестве пропагандиста в эсеровском рабочем кружке и проводил рабочие летучки», – признавался поэт следователю НКВД многие годы спустя[76].

Дружба с Борисом Синани-младшим и лихорадочное увлечение политикой не замедлили сказаться на учебе Мандельштама. 18 ноября 1906 года поведение двух друзей и еще

нескольких одноклассников даже обсуждалось на заседании педагогического комитета Тенишевского училища. Вот несколько выдержек из этого протокола: «<А.Я.> Острогорский: <…> Приходят они, когда им это угодно, хоть ко 2–3 уроку, причем заходят в класс во время урока, не обращая внимания на преподавателя; уходят часто с последнего урока, опять-таки когда им заблагорассудится <…>. <Преподаватель математики> С.И. Полнер говорит, что класс стал заниматься лучше, за исключением Синани, Мандельштама и Зарубина <…>. <Преподаватель гражданского и торгового права> К.Н. Соколов говорит, что его уроки пропускаются не особенно сильно <…> даже такими, как Синани, Мандельштам, Каменский <…>. По его мнению, рассядка Синани и Мандельштама произвела на них свое действие <…>. А.Я. Острогорский: <…> “Как будут смотреть на школу другие семестры, если мы переведем <из XV в XVI семестр> таких уч<еников>, как Синани, Мандельштам, Зарубин” <…>. <Преподаватель физики> Г.М. Григорьев расходится во взглядах со своими товарищами, указывая, что на устроенной им репетиции Синани, Мандельштам и Корсаков отвечали очень слабо <…>. В.В. Гиппиус предлагает оставить слабых в XV семестре, но так как такового нет, то они могут уйти из школы с тем, чтобы в мае держать выпускные экз<амены>»[77].

15 мая 1907 года Мандельштам все же получил аттестат об окончании Тенишевского училища, но важность этого события, как можно предположить, была едва ли не заслонена в его глазах тенью другого происшествия, случившегося двумя месяцами ранее. 2 марта в зале, где заседала Вторая Государственная Дума, еще до прихода депутатов рухнул потолок. При большом желании в этом можно было усмотреть покушение на жизнь народных избранников, что дало Мандельштаму возможность произнести «рабочим своего района зажигательную речь по поводу провала потолка» (ироничная мандельштамовская реплика, относящаяся уже к 1910 году)[78].

В конце сентября родители, наконец обеспокоившиеся радикальными умонастроениями сына, отправляют Осипа учиться в Париж, на факультет словесности Сорбонны – старейшего университета Франции. Здесь разыгрывается эпилог революционной одиссеи Мандельштама, с юмором описанный в мемуарах его тогдашнего приятеля (Михаила Карповича): «Весной 1908 г. в Париже умер <организатор боевой группы партии эсеров Григорий Александрович> Гершуни, и эсерами было устроено собрание, посвященное его памяти. Мандельштам выразил живейшее желание со мной туда пойти. <…> Главным

оратором на собрании был Б.В. Савинков. Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад – так, что я даже боялся, как бы он не упал. Должен признаться, что вид у него был довольно комический. Помню, как сидевшие с другой стороны прохода А.О. Фондаминская и Л.С. Гавронская, несмотря на всю серьезность момента, не могли удержаться от смеха, глядя на Мандельштама»[79].

4

3 октября 1907 года, еще не добравшись до Франции, Мандельштам отправляет родителям успокоительное письмо: «В дороге чувствую себя отлично <…>. Погода разгулялась, и голова моя тоже почти свободна от мыслей <надо полагать – радикально революционных>» (IV: 9).

Состояние внутренней опустошенности скоро оставит Мандельштама. В мирочувствовании юноши намечается перелом: оттеснив политику, на передний план его жизни решительно выдвигается поэзия. «В 1907 году совершил первое путешествие в Париж; к тому же времени относится поворот к модернизму, сильное увлечение Бодлером и особенно Верленом» (Из биографической справки, составленной Дмитрием Усовым со слов самого поэта)[80].

Впрочем, еще 14 сентября 1907 года, на выпускном акте Тенишевского училища Мандельштам читал стихотворение «Колесница» (не сохранилось), которое училищный журнал оценил «как лучшее, что было написано не только в школе, но и вообще в литературе дня»[81]. А Максимилиану Волошину, впервые увидевшему Мандельштама во второй половине февраля 1907 года, запомнился «мальчик с темными, сдвинутыми на переносицу глазами, с надменно откинутой головой, в черной курточке частной гимназии <…>. Он держал себя очень независимо. В его независимости чувствовалось много застенчивости. “Вот растет будущий Брюсов”, – формулировал я кому-то… свое впечатление. Он читал тогда свои стихи»[82].

Очутившись в Париже, свободный от опеки родителей и преподавателей, Мандельштам впервые полностью отдается настигнувшей его «стихотворной горячке» (из письма к матери) (IV: 10). Он поселяется в Латинском квартале – напротив Сорбонны и Консьержери, записывается на факультет

словесности, но занятия посещает не слишком усердно.

«Мужчины были в котелках, женщины – в огромных шляпах с перьями. На террасах кафе влюбленные преспокойно целовались; я даже перестал отворачиваться. По бульвару Сен-Мишель шли студенты, шли по мостовой, мешая движению, но никто их не разгонял»[83]. Такой изобразил французскую столицу один из создателей богатейшего «парижского текста» русской литературы XX столетия Илья Эренбург. Приблизительно такой же увидел ее молодой Мандельштам.

Кое-какие подробности о его парижской жизни можно почерпнуть из воспоминаний Михаила Карповича, познакомившегося с юным поэтом 24 декабря 1907 года, во время празднования католического Рождества: «<Б>еседы свои мы вели либо сидя в кафе, либо бродя по парижским улицам. Иногда мы ходили вместе на концерты, выставки, лекции <…>. Помню, как он с упоением декламировал “Грядущих гуннов” Брюсова. Но с таким же увлечением он декламировал и лирические стихи Верлена и даже написал свою вариацию Gaspard Hauser’a. Как-то мы были с ним на симфоническом концерте из произведений Рихарда Штрауса под управлением самого композитора. Мы оба (каюсь!) были потрясены “Танцем Саломеи”, а Мандельштам немедленно же написал стихотворение о Саломее»[84].

В письме к матери из Парижа от 7 (20) апреля 1908 года Мандельштам рассказывал: «Утром гуляю в Люксембурге < – в Люксембургском саду>. После завтрака устраиваю у себя вечер – т. е. занавешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа.

Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем, а там и обед… После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера» (IV: 10).

Уточняющие и дополняющие мемуары Карповича сведения о литературных вкусах Мандельштама парижского периода находим в уже цитировавшемся мандельштамовском письме к Вл. В. Гиппиусу от 14 (27) апреля 1908 года. Здесь называются имена Льва Толстого, Гауптмана, Розанова, Роденбаха, Сологуба, Верлена, Кнута Гамсуна и Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924). В последнем Мандельштама «пленила гениальная смелость отрицания, чистого отрицания» (IV: 12), своеобразно преломившаяся некоторое время спустя в собственных мандельштамовских стихах: «Ни о чем не нужно говорить, / Ничему не следует учить, / Ибо, если в жизни смысла нет, / Говорить о жизни нам не след» – из стихотворения Мандельштама 1909 года. Многие годы спустя поэт даст уничижительную оценку «чистому отрицанию» Брюсова: «Это убогое “ничевочество”

никогда не повторится в русской поэзии» (I: 230)[85].

Как и почти для всех модернистов младшего поколения, чтение брюсовских произведений стало важнейшим событием в поэтической биографии Мандельштама. Даже своего любимого Верлена он отчасти воспринимал через посредничество Брюсова. Когда в 1908 (?) году Мандельштам начал одно из своих программных стихотворений строками:

> В непринужденности творящего обмена
> Суровость Тютчева – с ребячеством Верлена,
> Скажите – кто бы мог искусно сочетать,
> Соединению придав свою печать?

он скорее всего помнил о следующих строках брюсовского стихотворения «Измена» (1895):

> О, милый мой мир: вот Бодлер, вот Верлен,
> Вот Тютчев – любимые, верные книги!

Мы не случайно уделяем и будем уделять столько внимания литературным пристрастиям Мандельштама. «Разночинцу не нужна память, – утверждал сам автор “Шума времени”, – ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова» (II: 384).

В мае 1908 года Мандельштам приезжает из Парижа домой. Лето он проводит в путешествиях по Европе: вместе с семьей посещает Францию, Швейцарию, а в конце июля – в одиночестве – Италию (следы этого краткого путешествия различимы во многих позднейших стихотворениях поэта). «Он всегда огорчался, что из-за юношеской внутренней смуты слишком мало видел и плохо использовал поездку» (Н.Я. Мандельштам)[86].

К концу лета Мандельштам возвращается в российскую столицу с твердым намерением поступать в Санкт-Петербургский университет. Однако мандельштамовское стремление превращается в абсолютно бесперспективное после утверждения императором Николаем II положения о трехпроцентной норме в столичных учебных заведениях для лиц иудейского вероисповедания. По всей видимости, Мандельштам весьма тяжело переживает это унижение: конец года ознаменовался очередной ссорой поэта с родителями. Здесь же, в Петербурге, пишутся стихи, в которых неудачные университетские хлопоты преобразуются в сюжет о взаимоотношениях юного поэта с самой жизнью. Наряду с мотивами обиды на нее в этих стихах

неожиданно звучат ноты сочувственной жалости по отношению к жизни:

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

«Только детские книги читать…», 1908

23 апреля следующего, 1909 года Мандельштам впервые пришел на петербургскую квартиру Вячеслава Иванова (Таврическая ул., 25), чтобы вместе с несколькими другими молодыми стихотворцами слушать его лекции о поэтическом искусстве. Квартира торжественно именовалась «башней», а само предприятие, не менее торжественно, – «Про-Академией». Стиховедческие лекции Вячеслава Иванова с разной степенью регулярности посещало около 30 человек. Среди них: Алексей Н. Толстой, Елизавета Дмитриева (Черубина де Габриак), сестры Аделаида и Евгения Герцык, а также Николай Гумилев, еще только начинавший освобождаться из-под всепокоряющего влияния Брюсова. С Гумилевым Мандельштам завязал поверхностное знакомство еще во время своей второй поездки в Париж, что нашло отражение в одном из позднейших шуточных мандельштамовских стихотворений:

Но в Петербурге акмеист мне ближе,
Чем романтический Пьеро в Париже.

Согласно воспоминаниям Евгении Герцык, на чью память, впрочем, не стоит слишком полагаться, Мандельштама представила Иванову бабушка, с родственником которой – пушкинистом Семеном Венгеровым – хозяин «башни» был неплохо знаком: «Однажды бабушка привела внука на суд к Вячеславу Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика Мандельштама»[87].

Так или иначе, но на застенчивого юношу особого внимания сначала никто не обратил. Его реплик стенограммы лекций не

сохранили, и даже сама фамилия «Мандельштам» три раза из четырех в этих стенограммах фигурирует как «Мендельсон»[88]. И только на восьмом, заключительном заседании «Про-Академии», которое состоялось 16 мая 1909 года, «по окончании лекции и ответов <Иванова> на вопросы аудитории» Мандельштаму «предложили прочесть стихи». Продолжим цитату из мемуаров Владимира Пяста: «Не знаю, как другим (Вяч. Иванов, конечно, очень хвалил, – но ведь это было его всегдашним обыкновением!), но мне чрезвычайно понравились его стихотворения»[89]. Много лет спустя Ирина Одоевцева в своих беллетризованных мемуарах со слов самого Мандельштама пересказала похвалы Иванова: «Он очень хвалил мои стихи: “Прекрасно, прекрасно. Изумительная у Вас оркестровка ямбов, читайте еще. Мне хочется послушать Ваши анапесты и амфибрахии”»[90].

Ирония, с которой Пяст описывает восторженную реакцию Вячеслава Иванова на стихи Мандельштама, вряд ли имеет под собой истинные основания (хотя к чрезмерности ивановских похвал с некоторым опасением отнесся и сам Мандельштам, полушутливо подписавший одно из своих эпистолярных посланий к Иванову: «Почти испорченный Вами, но… исправленный Осип Мандельштам» (IV: 13)). По-видимому, именно Иванов поспособствовал появлению первой по-настоящему представительной мандельштамовской подборки стихов на страницах элитарного петербургского журнала «Аполлон». А еще шесть лет спустя, 3 марта 1916 года, Сергей Городецкий раздраженно упрекал Вячеслава Иванова – своего былого покровителя и наставника: «О любом жиденке ты говоришь с большим пиететом за глаза, чем со мной в лицо». По правдоподобному предположению Р.Д. Тименчика, «жиденок» здесь – это Мандельштам[91].

Младший поэт, как и подобает, отнесся к старшему с почтением и любовью. «Иванов в своем уборе из старых слов – точно пышный ассирийский царь. Он весь красота. Мне кажется, что, если бы Иванова не было, – в русской литературе оказалось бы большое пустое место», – такая мандельштамовская характеристика мэтра русского символизма запомнилась случайному собеседнику (В.Ф. Боцяновскому)[92]. Еще более выразительные прямые и косвенные признания в любви рассыпаны в письмах Мандельштама к Иванову: «Ваши семена глубоко запали в мою душу, и я пугаюсь, глядя на громадные ростки» (IV: 13); «<Ч>тобы увидеть вас – я готов проехать большое расстояние, если это понадобится» (IV: 15); «Не могу не сообщить вам свои лирические искания и достижения. Насколько первыми я обязан вам – настолько вторые принадлежат вам по

праву, о котором вы, быть может, и не думаете» (IV: 17).

В стихах Вячеслава Иванова действительно без особого труда отыскиваются строфы и строки, которые многое предсказывают в юном Мандельштаме. Выразительным примером может послужить вторая строфа ивановского стихотворения «Весна вошла в скит белый гор…» 1904 года:

> Жизнь затаил прозрачный лес…
> О, робкий переклик!
> О, за туманностью завес
> Пленительность улик!

Излюбленные ранним Мандельштамом образы тумана и леса соседствуют здесь со столь же характерными для него мотивами робости и нерешительности. Есть и более конкретные переклички: образу «прозрачного леса» из стихотворения Иванова находим прямое соответствие в мандельштамовском стихотворении «Озарены луной ночевья…» (1909): «*Прозрачными* стоят *деревья*». А рифма «лес» – «завес» обнаруживается в зачине стихотворения Мандельштама 1908 года: «Мой тихий сон, мой сон ежеминутный – / Невидимый, завороженный *лес*, / Где носится какой-то шорох смутный, / Как дивный шелест шелковых *завес*»[93].

Но, пожалуй, еще более важно отметить, что получить благословение у Вячеслава Иванова для Мандельштама, помимо всего прочего, означало приобщиться к символизму – первой и последней великой поэтической школе XX века. В течение трех следующих лет Мандельштаму предстояло настойчиво и, как правило, не слишком успешно искать личных контактов с менее доброжелательными и чуткими, чем Иванов, представителями русского символизма.

Зародившийся в самом начале 1890-х годов, русский символизм «сознательно стремился к обновлению поэтических средств с тем, чтобы выразить обновление мировосприятия – смену больших исторических эпох <…>. Социальные, гражданские темы, стоявшие в центре внимания предыдущих поколений, решительно отодвигаются в сторону экзистенциальными темами – Жизни, Смерти, Бога»[94]. Новая тематика потребовала новых художественных средств, и главным среди них стал символ. «Называя явления земного, посюстороннего мира, символ одновременно “знаменует” и все то, что “соответствует” ему в “иных мирах”, а так как “миры” бесконечны, то и значения символа для символиста бесконечны»[95].

Нужно еще сказать, что к тому времени, как Мандельштам вступил в литературу, символизм уже оказался в полосе идеологического кризиса. О сути этого кризиса предельно кратко и внятно написал в своем дневнике Валерий Брюсов: Вячеслав Иванов читал «доклад о символизме. Его основная мысль – что искусство должно служить религии. Я резко возражал. Отсюда размолвка»[96].

Действительно, между старшими и младшими символистами наметился раскол. Старшие (в первую очередь Брюсов и Бальмонт) полагали, что поэт призван решать лишь эстетические задачи; младшие (прежде всего Вячеслав Иванов, Блок и Белый) хотели видеть в поэте-символисте мистика, чья задача состоит ни больше ни меньше как в обновлении языковой коммуникации между людьми и Богом.

Стихотворцам мандельштамовского поколения очень скоро придется либо выбирать из этих двух позиций, либо искать свой собственный, третий путь.

Летом 1909 года, живя с родителями на даче в Царском Селе, Мандельштам наносит визит своего рода антиподу Вячеслава Иванова – замечательному поэту и переводчику Иннокентию Федоровичу Анненскому. «Тот принял его очень дружественно и внимательно и посоветовал заняться переводами, чтобы получить навыки <…>. К Анненскому он прикатил на велосипеде и считал это мальчишеством и хамством»[97]. Как и некоторые другие будущие акмеисты (Ахматова, Гумилев, Михаил Зенкевич), Мандельштам испытал весьма значительное влияние Анненского. От автора «Кипарисового ларца» он, в частности, унаследовал пристрастие к эфемерным, недолговечным природным и рукотворным предметам. Мандельштамовские «игрушечные волки», «быстроживущие стрекозы» и «хрупкой раковины стены» органично вписываются в перечень мотивов, начатый одуванчиками, бабочками и воздушными шариками Анненского. 3 декабря 1911 года Мандельштам выступил на заседании Общества ревнителей художественного слова с прочувствованной речью памяти Анненского. Весьма многозначительным кажется то обстоятельство, что с вырванным из «Аполлона» листком, где было напечатано стихотворение Анненского «Петербург», Мандельштам не расставался в течение всей своей жизни.

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты…
Я не знаю, где *вы* и где *мы*,
Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки…
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отрава бесплодных хотений.

Сам он впервые посетил редакцию «Аполлона» в конце весны – в начале лета 1909 года. В мемуарах Сергея Константиновича Маковского это посещение предстает почти сценой из чеховского водевиля. К склонившемуся «над рукописями и корректурами» редактору заявляются «мамаша и сынок», «невзрачный юноша лет семнадцати». Юноша, «видимо, конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть не держался “за ручку”». Далее «мамаша» разражается таким идеально выдержанным в водевильной стилистике монологом: «– Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать, наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям. Вырастили, воспитали, сколько на учение расходу! Ну

что ж, если талант – пусть талант. Тогда и университет, и прочее. Но если одни выдумки и глупость – ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумаги… Так вот, господин редактор, – мы люди простые, небогатые, – сделайте одолжение, скажите, скажите прямо: талант или нет! Как скажете, так и будет…». Ударный финал сценки: «<Я> готов был отделаться от мамаши и сынка неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости, когда – взглянув опять на юношу – я прочел в его взоре такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону: за поэзию, против торговли кожей.

Я сказал с убеждением, даже несколько торжественно:

– Да, сударыня, ваш сын – талант»[98].

Рассказ Маковского «о “случае” в “Аполлоне”, – вспоминала Надежда Яковлевна, – дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил»[99]. Что́ должно было вызвать негодование поэта в первую очередь? Прямая речь, вложенная Маковским в уста его матери, и самый портрет «немолодой, довольно полной дамы» с «бледным взволнованным лицом», в котором почти невозможно распознать реальные черты Флоры Осиповны Вербловской (зато – с легкостью – типичную для русской литературы карикатуру на чадолюбивую еврейскую мамашу). Не следует также забывать о том, что ко времени первого появления в редакции «Аполлона» Мандельштам уже был обласкан на «башне» у Вячеслава Иванова, а потому совершенно неоправданными выглядят запоздалые претензии Маковского выставить Мандельштама пришедшим, что называется, «с улицы», а себя – проницательным открывателем юных талантов.

Примерно в эту же пору Мандельштам завязал знакомство с Федором Сологубом, который на первых порах отнесся к начинающему поэту весьма приязненно, о чем косвенно свидетельствует финал мандельштамовской заметки 1924 года: «Федор Кузьмич Сологуб – как немногие – любит все подлинно новое в русской поэзии» (II: 409).

А вот с четой Мережковских у Мандельштама заладилось, но не очень. «К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат; тогда она с ним поговорит, а пока что – не стоит, потому что ни из кого не выходит толку»[100]. Так описана первая встреча Мандельштама с Гиппиус в мемуарах Надежды Яковлевны. «Кто-то прислал ко мне юного поэта, маленького, темненького, сутулого, такого скромного, такого робкого, что он читал едва слышно, и руки у него были мокрые и холодные. Ничего о нем раньше мы не знали, кто его прислал – не помню (может быть, он сам пришел), к юным

поэтам я имею большое недоверие, стихи его были далеко не совершенны, и мне все-таки, с несомненностью, показалось, что они не совсем в ряд тех, которые приходится десятками слушать каждый день». Так вспоминала о своей встрече с Мандельштамом сама Зинаида Гиппиус[101].

Вероятно, ее версия была несколько ближе к действительности, чем вариант мандельштамовской вдовы, ведь в дневниковой записи Михаила Кузмина от 15 февраля 1909 года впервые упоминаемый Мандельштам обозван «Зинаидиным жидком»[102]. Выходит, что Гиппиус сочла нужным поделиться с коллегами по цеху своими впечатлениями от знакомства с новым молодым поэтом. Однако в письме Мандельштама к Максимилиану Волошину, отправленном в конце сентября 1909 года, с обидой рассказано о том, что, будучи «проездом в Гейдельберге», Дмитрий Сергеевич Мережковский «не пожелал выслушать ни строчки» (IV: 16) стихов «юного поэта».

В этом же письме, кстати сказать, оставленном адресатом без ответа, Мандельштам подводит горький и – одновременно – горделивый итог своим попыткам освоиться среди модернистов старшего поколения: «Оторванный от стихии русского языка более чем когда-либо, я вынужден составить сам о себе ясное суждение. Те, кто отказывают мне во внимании, только помогают мне в этом» (IV: 16).

«Символисты никогда его не приняли», – категорично утверждала в своих воспоминаниях о Мандельштаме Анна Ахматова[103].

5

В немецком городке Гейдельберге, где состоялось неудачное свидание Мандельштама с Мережковскими, находится один из самых известных в Европе университетов. «Гейдельберг того времени был Меккой, куда стремилась <…> русская учащаяся молодежь» (А.К. Тимирязев)[104]. Мандельштам приехал сюда в конце сентября – в начале октября 1909 года. 12 ноября он подал заявление с просьбой о зачислении в студенты романо-германского отделения философского факультета. «<П>ровел 2 семестра в Гейдельбергском ун<иверсите>те, занимаясь старофранцузским языком у Фрица <правильно: Фридриха Генриха Георга> Неймана» (из словарной справки)[105]. Впрочем, особого рвения к учебе Мандельштам, как и в Париже, не проявлял.

Основным его занятием в Гейдельберге продолжало

оставаться писание стихов. Из них, а также из созданных чуть раньше стихотворений можно понять, какие настроения владели начинающим поэтом.

Наиболее часто повторяющиеся мотивы мандельштамовских стихов 1909 года – это мотивы робости, недоверчивости, хрупкости и тишины. Вслед за Верленом и Анненским ранний Мандельштам стремился писать «о милом и ничтожном»: его «рука» – «нерешительная», его «вдохновения» – «пугливые», да и вдохновляет его «немногое». Поэт осваивался в мире осторожно, почти на ощупь. Сегодняшний день, мгновение в его стихах этого периода почти всегда предпочитаются метафизической вечности. «Не говорите мне о вечности – / Я не могу ее вместить», – признавался Мандельштам[106]. Вместе с тем он уже в первых своих стихотворениях декларировал собственную уникальность как человека и поэта. Развивая андерсеновский образ прозрачной вечности, отогреваемой теплом человеческого дыхания, Мандельштам утверждал в стихотворении «Имею тело – что мне делать с ним…» (1909):

> На стекла вечности уже легло
> Мое дыхание, мое тепло.

Именно об этих стихах восторженно писал в своих мемуарах отнюдь не склонный к излишней сентиментальности Георгий Иванов: «Я прочел это и еще несколько таких же “качающихся”, туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:

– Почему это не я написал?»[107]

Стихи Мандельштама, которые так поразили Георгия Иванова, вошли в уже упоминавшуюся нами дебютную подборку поэта, напечатанную в девятом (июль – август) номере «Аполлона» за 1910 год. Эта подборка обратила на себя внимание многих читателей. «Еще в отцовской библиотеке, – вспоминал сын Леонида Андреева, Вадим, – в одном из номеров “Аполлона” я прочел стихотворение “Имею тело – что мне делать с ним…”, которое меня поразило неприятным оборотом “имею тело” (“имею тело” было впоследствии заменено <на> “дано мне тело”) и удивительным, похожим на мертвую зыбь ритмом, от которого нельзя было отвязаться: помимо воли отдельные строчки возникали в сознании, как цветы в густой траве»[108].

Мандельштам в это время проживал в берлинском пригороде Целендорфе. В Петербург из Германии он вернулся в середине октября 1910 года. На границе с Восточной Пруссией Мандельштам был задержан из-за просроченного паспорта. От

Двинска ехал безбилетным пассажиром в кондукторском купе, так как потерял кошелек с железнодорожным билетом. Недаром еще тенишевский учитель Мандельштама по арифметике отмечал в своем отзыве о мальчике: «Слабая сторона его – рассеянность»[109].

Гейдельберг Мандельштам навсегда покинул гораздо раньше – еще в начале весны 1910 года. Потом были кратковременные поездки в Италию и Южную Швейцарию. Из воспоминаний Евгения Мандельштама: «Мы с Осипом много бродили по альпийским лугам Беатенберга, любовались снеговыми вершинами, раскинувшимся внизу озером, видом чистенького игрушечного городка Интерлакена. Здесь, в Беатенберге, мы были как бы отрезаны от мира. Ведь наверх дорог не было, и поднимались на фуникулере, которого в России почти нигде тогда не было. Хорошие это были дни, и Осип, перед которым только что открылась дорога в жизнь, был улыбчатым и потом не раз вспоминал о Беатенберге»[110].

Больше за дальними рубежами отечества Мандельштаму не суждено было побывать никогда.

В 1910 году от скоротечной чахотки умер Синани-младший. «Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в Райволу и какими-то веревками для упаковки клади. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея» («Шум времени») (IV: 383). В мандельштамовском стихотворении «Слух чуткий парус напрягает…» (1910), которое, по всей видимости, было навеяно кончиной Бориса Синани, взгляд на «простые небеса» передоверен лирическому герою – самому поэту (в юности отличавшемуся слабым здоровьем), через смерть друга еще раз ощутившему хрупкость и недолговечность собственной жизни:

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;

Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

Март – июль 1910 года Осип Мандельштам провел в финском местечке Хангё. Здесь, в июле, он познакомился с тридцатилетним учителем математики, знатоком духовной музыки и секретарем петербургского Религиозно-философского общества, заседания которого Мандельштам будет иногда посещать, Се́ргием Платоновичем Каблуковым (1881–1919).

Человек удивительной чистоты и кристальной ясности сознания, самоотверженно преданный поэзии и поэтам, добрый приятель Мережковских и Вячеслава Иванова, Каблуков на долгое время занял возле Мандельштама место старшего друга и наставника, освободившееся после смерти Бориса Синани. Чем ближе Каблуков Мандельштама узнавал, тем больше к нему привязывался, но и тем строже с молодым поэтом обращался. Из «Второй книги» Н.Я. Мандельштам: Осип «невнятно объяснял мне, что в юности есть потребность, чтобы рядом был кто-то старший. Я не знаю, на сколько был старше Каблуков, но отец Мандельштама был еще жив, и он не мог открыто сказать, что ему не хватало отца»[111].

Приведем здесь выразительную запись из каблуковского дневника от 2 октября 1911 года: «Был у меня И. Мандельштам <Каблуков называл его не Осипом Эмильевичем, а Иосифом Емильевичем>, с которым я беседовал о современной литературе и его личном поведении, выражающемся пока в безделии и нелепом мотовстве. Доказал ему, что прежде всего ему надо учиться, т<о> е<сть> неуклонно бывать на лекциях в Университете»[112].

Но уже в той дневниковой записи Каблукова, где речь идет о знакомстве с Мандельштамом, слышится интонация заботливого опекуна, которая при личном общении, наверное, слегка смешила и раздражала поэта. Однако от роли благодарного слушателя каблуковских наставлений он не отказывался вплоть до трагических октябрьских событий 1917 года.

«Человек он, несомненно, даровитый и глубокий, но малообразованный и довольно безалаберный, легкомысленный по отношению к заботам “суетного мира”, – характеризовал Каблуков Мандельштама. – В Хангё я ежедневно и подолгу беседовал с ним о поэзии, и эта его беззаботность вызывала во мне резкое осуждение, которое я не скрывал от него. Тем не менее я полюбил его за чуткость и тонкость переживаний и вполне соглашаюсь с некоторыми его суждениями об Анненском

и Маллармэ как о великих поэтах, о Бальмонте, как “поэте для толпы”, новом Надсоне, о значении Баратынского и Дельвига»[113].

В конце октября 1910 года Каблуков попросил Зинаиду Гиппиус «обратить внимание» на стихи Мандельштама и «дать ему рекомендацию в “Русскую мысль”, т. е. к Брюсову»[114]. 26 октября Гиппиус отправила Брюсову письмо, в котором Мандельштам и его стихи «отрекомендованы» следующим образом: «Некий неврастенический жиденок, который года два тому назад еще плел детские лапти, ныне как-то развился, и бывают у него приличные строки. Он приходил ко мне с просьбой рекомендовать его стихи вашему вниманию. Я его не приняла (уж очень он устанный <то ли томный, то ли утомительный; а может быть, это – впечатление от стихов юного Мандельштама>), но стихи велела оставить, прочла их и нахожу, что “вниманию” вашему рекомендовать я их могу, а что вы дальше с ними будете делать – это меня уже не трогает и вы лучше знаете»[115]. Брюсов к стихам Мандельштама остался равнодушен, и в «Русской мысли» они не появились. А вот сама Зинаида Николаевна спустя семь лет включила мандельштамовские стихи в свою строго отобранную антологию «Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З.Н. Гиппиус» (вышла в декабре 1917 года). В эту антологию «вошли стихи многих поэтов, знаменитых и малоизвестных, – отмечает современный исследователь. – Но в композиции, выстроенной составительницей, все они доносят звучание ее лирического голоса»[116].

По-видимому, именно в 1910 году Мандельштам переживает острое увлечение поэзией Блока. Некоторая запоздалость этого увлечения, как мы уже отмечали, связана с поздним признанием блоковского таланта учителем Мандельштама – Владимиром Гиппиусом. Отражение этого увлечения – в стихах Мандельштама 1910 года. Так, в мандельштамовском «Змее» возникает реминисценция из блоковской «Незнакомки»: «Я не хочу души своей излучин» (у Блока: «И все души моей излучины»), а в стихотворении «В огромном омуте прозрачно и темно…» изображено «сердце», которое «всею тяжестью» «идет ко дну» (у Блока, в стихотворении «Обреченный»: «<С>ердце хочет гибели, / Тайно просится на дно»). Личная встреча двух поэтов произошла в 1911 году, и особой теплотой со стороны Блока она окрашена не была. «Вечером пьем чай в “Квисисане” – Пяст, я и Мандельштам (вечный)», – записал Блок в своем дневнике 29 октября 1911 года[117]. «*Мандельштамье*» – таким пренебрежительным то ли существительным, то ли притяжательным прилагательным Блок обозначил свою встречу с

младшим поэтом в дневнике от 3 декабря того же года[118]. Мандельштам долго казался автору «Стихов о Прекрасной Даме» всего лишь эпигоном символизма, пусть даже и эпигоном «лучшего сорта» (из письма Блока к Андрею Белому от 6 июня 1911 года)[119].

А вот другое знакомство 1911 года положило начало дружбе, пронесенной через всю жизнь. 14 марта, на «башне» у Вячеслава Иванова, Мандельштам был представлен жене Гумилева, молодой поэтессе Анне Андреевне Гумилевой (Ахматовой). «Тогда он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с пылающими глазами и с ресницами в полщеки, – писала Ахматова. – Второй раз я видела его у Толстых на Старо-Невском, он не узнал меня, и Алексей Николаевич стал его расспрашивать, какая жена у Гумилева, и он показал руками, какая на мне была большая шляпа. Я испугалась, что произойдет что-то непоправимое, и назвала себя»[120].

Сближение Мандельштама с Ахматовой и Гумилевым произошло не сразу: наученный горьким опытом, юный поэт с опаской относился к литературной богеме. 6 апреля 1911 года Каблуков записал в дневнике: «А сегодня вечером Иос<иф> Ем<ильевич> Манд<ельштам> сообщил мне, что стихотв<орный> отдел “Аполлона” отдан в безраздельное ведение недавно вернувшегося из Абиссинии Н. Гумилева, что уже сказалось следующим фактом: предполагавшиеся к напечатанию в апрельской книге “Аполлона” стих<отворения> М<андельшта>ма отложены на май с исключением одного стихотворения, а апрельская книга дает стихи жены Гумилева (рожд. Ахматовой <на самом деле – урожденной Го́ренко>), наивные и слабые в техническом отношении. М<андельштам> указывает на крайнюю невежливость Гумилева и имеет намерение взять стихи обратно, вернув деньги <…>. Я предсказывал, что они перессорятся. Это предсказание сбылось скорее, чем я думал»[121].

Однако в данном случае Каблуков оказался плохим пророком. Не прошло и нескольких месяцев, как Гумилев и Ахматова стали ближайшими друзьями и литературными спутниками Мандельштама. «Анна Андреевна говорила мало и оживлялась, в сущности, только тогда, когда стихи читал Мандельштам, – свидетельствовал в своих мемуарах Георгий Адамович. – Мандельштам ею восхищался: не только ее стихами, но и ею самой, ее личностью, внешностью»[122]. «<М>не часто приходилось присутствовать при разговорах Мандельштама с Ахматовой, – вспоминал Николай Пунин, – это было блестящее собеседование, вызывавшее во мне восхищение и зависть; они

могли говорить часами; может быть, даже не говорили ничего замечательного, но это была подлинно поэтическая игра в таких напряжениях, которые были мне совершенно недоступны»[123]. А вот совершенно иной, бытовой, но ведь тоже немаловажный поворот этой темы из книги мемуаров Надежды Яковлевны Мандельштам: «О. М. очень ценил приготовленную» Ахматовой «селедку – культура дома Пуниных: на обед – любую дрянь, а к водке – отличная закуска»[124].

Остается добавить, что, выстраивая свои отношения с возлюбленными, в частности, с тем же Пуниным, Ахматова прибегала к «помощи» мандельштамовских стихов. Процитируем запись из пунинского дневника от 12 января 1923 года: «На вопрос, почему же хочет расстаться», Ахматова «отвечала, что не может, что запуталась, стихами Мандельштама сказала: “Эта (показала на себя) ночь непоправима, а у Вас (показала на меня) еще светло”» (цитируется мандельштамовское стихотворение 1916 года)[125]. Приведем также дарственную надпись Ахматовой Владимиру Шилейко на «Белой стае», где цитируется первая строка стихотворения Мандельштама 1920 года: «Владимиру Казимировичу Шилейко с любовью Анна Ахматова. 1922. Осень. “В Петербурге мы сойдемся снова”»[126] – и один из инскриптов Павла Лукницкого Анне Ахматовой: «Я забыл мое прежнее “я”», представляющий собой чуть искаженную цитату из стихотворения Мандельштама 1911 года[127].

«Холерик» Мандельштам и «флегматичная» Ахматова замечательно дополняли друг друга в глазах окружающих. «Примерно в 1930 году Анна Ахматова посетила мою мастерскую вместе с поэтом Осипом Мандельштамом и его женой Надей, – вспоминал Александр Тышлер. – Они смотрели вещи <картины> совсем по-разному. Анна Андреевна все виденное как бы вбирала в себя с присущей ей тишиной. Мандельштам, наоборот, бегал, подпрыгивал, нарушал тишину»[128].

А о дружбе Мандельштама с Гумилевым хорошо написал в своих беллетризованных воспоминаниях Георгий Иванов: «В дореволюционный период сильнее всего на него влиял Гумилев. Их отношения в творческом плане (в повседневном плане их связывала ничем не омраченная дружба) были настоящая любовь-ненависть. “Я борюсь с ним, как Иаков с Богом”, – говорил Мандельштам»[129].

6

14 мая 1911 года в Выборге Осип Мандельштам был крещен

пастором Н.И. Розеном по обряду методистской епископской церкви. 10 сентября 1911 года его зачислили студентом Императорского Санкт-Петербургского университета по отделению романских языков историко-филологического факультета. Отчетливую связь между этими двумя событиями не преминул подчеркнуть в своих мемуарах Евгений Мандельштам: «<Д>ля поступления в университет надо было преодолеть одно препятствие: аттестат зрелости у брата был неважный. Он в свое время не придавал значения школьным отметкам, а это, при существовавшей тогда процентной норме для евреев, фактически лишало его возможности попасть в университет. Пришлось подумать о крещении. Оно снимало все ограничения, так как в царской России евреи подвергались гонениям прежде всего как иноверцы. Мать по этому поводу не слишком огорчалась, но для отца крещение Осипа было серьезным переживанием. Процедура перемены веры происходила просто и сводилась к перемене документов и уплате небольшой суммы»[130].

Рассуждениям Евгения Мандельштама нельзя отказать в житейской логике. Однако не следует сбрасывать со счетов трактующие тему Христа стихи поэта 1908–1911 годов, а также его полупризнания, рассыпанные в письмах к знакомым (Владимиру Гиппиусу и Вячеславу Иванову).

Следует также учитывать, что весной 1911 года решение поступать в Петербургский университет, в отличие от решения креститься, еще не созрело у Мандельштама окончательно. Так, 16 мая, то есть через два дня после крещения, в разговоре с Михаилом Кузминым он высказал кажущееся фантастическим «остапбендеровское» намерение «отправиться в Рио-де-Жанейро на купеч<еском> судне»[131].

Самонаблюдению над своими мистическими переживаниями Мандельштам увлеченно предавался уже в юношеском письме к Владимиру Гиппиусу: «Воспитанный в безрелигиозной среде (семья и школа), я издавна стремился к религии безнадежно и платонически – но все более и более сознательно.

Первые мои религиозные переживания относятся к периоду моего детского увлечения марксистской догмой и неотделимы от этого увлечения» (IV: 12).

В стихотворениях раннего Мандельштама христианские мотивы, как правило, возникают в обрамлении вообще-то нехарактерных для поэта мотивов экзальтации и личной вины. По своему всегдашнему обыкновению, Мандельштам одновременно и тянулся к христианству в самых различных его проявлениях, и опасался войти в христианскую жизнь слишком глубоко:

Когда мозаик никнут травы
И церковь гулкая пуста,
Я в темноте, как змей лукавый,
Влачусь к подножию креста…

«Когда мозаик никнут травы…», 1910

В изголовьи черное распятье,
В сердце жар и в мыслях пустота, –
И ложится тонкое проклятье –
Пыльный след – на дерево креста.
<…>
Нет, не парус, распятый и серый,
С неизбежностью меня влечет –
Страшен мне «подводный камень веры»[132],
Роковой ее круговорот!

«В изголовьи черное распятье…», 1910

Но уже в том стихотворении 1910 года, где ветхозаветный образ облака-завесы соседствует с новозаветной символикой, Мандельштам совсем недвусмысленно, хотя еще и не совсем внятно, говорит о Боге как о своем главном «собеседнике»:

Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь:

Какая-то страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.

Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен.
Но тайные ловит приметы
Поэт, в темноту погружен.

Он ждет сокровенного знака,
На песнь, как на подвиг, готов –
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.

Другое дело, что Мандельштам крестился не только в христианство, но и в «христианскую культуру» – перифразированное выражение из письма к Владимиру Гиппиусу, которое очень к месту вспоминает С.С. Аверинцев. «<Е>сли для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, – продолжает исследователь, – не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, – не православие и не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность <…>. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, – позиция комфортабельная»[133].

Кроме того, протестантизм – чья суть для поэта заключалась в формуле «как можно скромнее и пристойнее» – надежно оберегал Мандельштама от той опасной религиозной экзальтации, которая ему чудилась в православных и даже в католических обрядах.

7

13 апреля 1911 года, за месяц до того, как Мандельштам крестился, на заседании Общества ревнителей художественного слова Николай Гумилев прочел свою новую поэму «Блудный сын», которая вызвала резкую отповедь Вячеслава Иванова. Согласно журнальному отчету, мэтр символизма предложил своему былому ученику задуматься «о пределах той свободы, с которой поэт может обрабатывать традиционные темы»[134].

Анна Ахматова вспоминала, что Иванов обрушился на Гумилева «с почти непристойной бранью»: «Я помню, как мы возвращались в Царское <Село>, совершенно раздавленные происшедшим, и потом Н<иколай> С<тепанович> всегда смотрел на В<ячеслава> И<ванова> как на открытого врага»[135].

К осени 1911 года Гумилев и другой, отпавший от Иванова, некогда любимый ученик – Сергей Городецкий, вместе создали поэтический кружок, основу которого составляли молодые, подающие надежду стихотворцы. Это содружество получило подчеркнуто ремесленное наименование «Цех поэтов». «…Часть наших молодых поэтов скинула с себя неожиданно греческие тоги и взглянула в сторону ремесленной управы, образовав свой цех – цех поэтов», – иронически докладывал читателям журнальный

репортер[136]. «…Явилась марка мастерской: “Цех поэтов”. Цех – это очень характерно. Цех сапожников – и цех поэтов. <…> Цех выпускает их книги – старательные, но без аромата, без проблесков индивидуальности», – вторил Ивичу А. Рославлев[137].

Гумилев и его товарищи собирались регулярно, по нескольку раз в месяц. Поэты рассаживались по кругу и, один за другим, вслух читали свои стихи. Затем стихи участников объединения подробнейшим образом обсуждались. Гумилев «требовал при этом “придаточных предложений”, как он любил выражаться: то есть не восклицаний, не голословных утверждений, что одно хорошо, а другое плохо, но мотивированных объяснений, почему хорошо и почему плохо. Сам он обычно говорил первым, говорил долго, разбор делал обстоятельный и большей частью безошибочно верный» (из мемуаров Георгия Адамовича)[138].

Всего с 1911 по 1914 год состоялось около 35 заседаний объединения.

В «Цехе» было продолжено и поставлено на широкую ногу обучение стихотворчеству как ремеслу, а также прививание авторам-дебютантам поэтического вкуса, которое для Гумилева началось с переписки с Брюсовым (с 1906 года) и регулярного посещения вечеров на «башне» Вячеслава Иванова (с 1908 года). Соответственно, если Гумилева часто упрекали в подражательстве Брюсову («Раз навсегда решив, что нет пророка, кроме Брюсова, г. Гумилев с самодовольной упоенностью, достойной лучшего применения, слепо идет за ним»)[139], участников «Цеха» корили уже за эпигонство у самого Гумилева (и Городецкого): «Собранные под заботливым крылом Гумилева и Городецкого, ютятся тут юнцы, в рабских устремлениях старающиеся дать похожесть на “синдиков”»[140].

Первое заседание «Цеха» прошло 20 октября 1911 года. Мандельштам на нем не присутствовал, хотя к этому времени уже вернулся в Петербург из Финляндии, где он жил с марта по сентябрь. Из мемуаров К.И. Чуковского: «Помню, в предосеннюю пору мы вышли с ним и с другими друзьями на пустынный куоккальский пляж.

День был мрачный и ветреный, купальщиков не было. И вдруг Осип Эмильевич молча сбросил с себя легкую одежду, и, не успели мы удивиться, как он оказался в воде и быстро поплыл по направлению к Кронштадту. Плыл он саженками, его сильные руки, казавшиеся белыми на тусклом фоне свинцового моря, ритмически взлетали над водой против ветра.

Не помню, кто был тогда с нами, – кажется, Борис Григорьев, Николай Кульбин, Юрий Анненков. Мы подошли к Мандельштаму, едва только он воротился. Я хотел принести

полотенце и теплую куртку (дом был недалеко, в двух шагах), но Мандельштам, не сказав ни слова, стал бегать по холодному пляжу так быстро, что нельзя было не залюбоваться его здоровьем и молодостью. Бегал он долго – без устали. И оделся лишь после того, как обсушил и согрел свое крепкое тело»[141].

«Цеховой» дебют Мандельштама состоялся 10 ноября 1911 года, и уже «очень скоро» поэт сделался в «Цехе» «первой скрипкой» (формула Ахматовой)[142].

Судя по всему, Мандельштама влекла в «Цех» в той же степени жажда услышать квалифицированное мнение о своих стихах, сколь и царившая на «цеховых» встречах дружеская атмосфера. «Неврастеник» (как аттестовала своего сына Флора Мандельштам)[143], не принятый вполне ни одним сообществом, впервые в жизни обрел круг людей, с которыми он мог объединить себя словом «мы»[144]. Пушкинский лицей, которым не стало для Мандельштама Тенишевское училище, в какой-то мере воплотился в «Цехе поэтов». А это придало молодому стихотворцу чувство уверенности в себе. Случайно встретившийся с ним в ноябре 1912 года Михаил Карпович вспоминал: «Мандельштам показался мне на вид очень изменившимся: стал на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские бачки и вел себя уже как мэтр. Со мною он встретился без особой теплоты и, во всяком случае, без каких-либо следов прежней экспансивности»[145].

Неудивительно, что в три предвоенных года создавались едва ли не самые жизнеутверждающие мандельштамовские стихотворения:

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло, –
Поедем в Царское Село!

«Царское Село», 1912

Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмен веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!

«Теннис», 1913

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.

«“Мороженно!” Солнце. Воздушный бисквит…», 1914

Особенно отчетливо тогдашние настроения поэта отразила его «сонетная серия», в которую вошли стихотворения «Казино» (1912), «Пешеход» (1912), «Паденье – неизменный спутник страха…» (1912) и некоторые другие:

Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа – серое пятно.
Мне, в опьяненьи легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.

Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;

И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, –
Люблю следить за чайкою крылатой!

«Казино»

Как в хрестоматийной лермонтовской «Родине», в этом стихотворении первая половина противопоставлена второй через союз «но» и конструкцию «Я не поклонник…» – «Но я люблю…». Один и тот же пейзаж увиден здесь дважды. Абстрактная «природа», расплывающаяся в «серое пятно» (2-я ст.), противопоставлена конкретным реалиям приморского казино, слитым в богатую цветовую гамму (зеленый, алый, сверкающе-серебристый – финальные строки). Абстрактная «душа», висящая над «бездною проклятой» (8-я ст.), предстает во второй половине стихотворения милой сердцу поэта «чайкою крылатой» (14-я ст.),

а символическое «бездыханное полотно» (7-я ст.) – обыденной «скатертью измятой» (11-я ст.). Горизонталь (10-я ст.) противопоставлена вертикали (5-6-я ст.); ширина – «вышине» и «глубине»: границы окна отсекают от «широкого окна» невидимое и неведомое «морское дно» и укрытое тучами небо (верх и низ, рай и ад, высь и бездну).

Строки из второй половины сонета «Казино» уместно будет сопоставить со следующим фрагментом из письма юного Мандельштама к Вячеславу Иванову из Монтрё, отправленного 13 августа 1909 года: «…Я наблюдаю странный контраст: священная тишина санатории, прерываемая обеденным гонгом, – и вечерняя рулетка в казино: Faites vos jeux, messieurs! – Remarquez, messieurs! rien ne va plus! <Делайте ваши ставки, господа! – Внимание, господа! Ставок больше нет! – *фр.*> – восклицания croupiers, полные символического ужаса.

У меня странный вкус: я люблю электрические блики на поверхности Лимана, почтительных лакеев, бесшумный полет лифта, мраморный вестибюль hotel'я и англичанок, играющих Моцарта с двумя-тремя официальными слушателями в полутемном салоне.

Я люблю буржуазный, европейский комфорт и привязан к нему не только физически, но и сантиментально.

Может быть, в этом виновато мое слабое здоровье? Но я никогда не спрашиваю себя, хорошо ли это» (IV: 15). В свою очередь, этот отрывок из мандельштамовского письма чрезвычайно напоминает «бальбекские» страницы романа Марселя Пруста «Под сенью девушек в цвету»[146].

Возвращаясь в 1911 год, отметим, что помимо Гумилева и Ахматовой в «Цехе» Мандельштам тесно сошелся со своеобразным поэтом, прекрасным человеком и великим переводчиком Михаилом Леонидовичем Лозинским (1886–1955). А также с куда менее симпатичным Георгием Владимировичем Ивановым (1894–1958) – в ту пору эпигоном Михаила Кузмина, а чуть позже – своих старших коллег по «Цеху». Георгий Иванов – «такой молодой поэт, что Анна Ахматова доводится ему почтенной тетушкой, а О. Мандельштам – почтенным дядюшкой», – ехидничала ненавистница акмеистов София Парнок[147]. Пройдут многие десятилетия, прежде чем Иванов напишет свои лучшие, проникнутые едкой горечью и терпкой нежностью стихотворения.

Иванов бравировал своей дружбой с Мандельштамом, «который, в свою очередь, "выставлял напоказ" свою дружбу с Георгием Ивановым, – отмечал в своих мемуарах Рюрик Ивнев. – И тому и другому, очевидно, нравилось "вызывать толки". Они всюду показывались вместе. В этом было что-то смешное, вернее,

смешным было их всегдашнее совместное появление в обществе и их манера подчеркивать то, что они – неразлучны»[148]. «Георгий Иванов был из Пажеского <на самом деле из 2-го Кадетского> корпуса, – рассказывал Михаил Зенкевич Л. Шилову и Г. Левину, – он челочку носил, вроде Ахматовой, он длинноносый тогда был… Недурен собой, грассировал… Они с Мандельштамом часто к Кузмину бегали…»[149]. «Георгий Иванов был неразлучен с Осипом Мандельштамом, одним из самых смешливых – и при том самых умных – людей, которых мне приходилось встречать, – вспоминал Георгий Адамович. – Наперебой они сочиняли экспромты, пародии, стихотворные шутки»[150].

Приятельство с Георгием Ивановым оставило след в творческой биографии поэта: одно из мандельштамовских стихотворений 1913 года не только содержит портрет Иванова, но и отчетливо стилизовано под его несколько жеманную манеру:

От легкой жизни мы сошли с ума.
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи,
И фонари, как факелы, горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка[151].

Вместе с Михаилом Лозинским и Георгием Ивановым Мандельштам щедро участвовал в создании «цеховой» «Антологии античной глупости», в сочинении всевозможных юмористических буриме и акростихов. Хотя недолгий посетитель «Цеха» Михаил Лопатто и писал в своих мемуарах, что Мандельштам «шуток не понимал»[152], остальные знакомые и друзья вспоминали о поэте совсем по-другому. «Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван в “Тучке” и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в “Улиссе” Джойса»[153]. «– Зачем пишется юмористика? – искренне недоумевает Мандельштам. – Ведь и так *всё* смешно»[154]. «Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка лишь изредка с

политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям»[155].

Некоторые из «цеховых» экспромтов писались в петербургском артистическом кабаре «Бродячая собака», открывшемся в ночь на 1 января 1912 года. В эту ночь Мандельштам читал в кабаре свои шуточные стихи. Он быстро сделался завсегдатаем «Собаки», как и Лозинский, как и Иванов, как и многие другие участники «Цеха»[156].

С ностальгической иронией Мандельштам воспроизвел атмосферу, царившую в «Бродячей собаке», в одном из своих очерков начала 1920-х годов: «Что это было, что это было! Из расплавленной остроумием атмосферы горячечного, тесного, шумного, как улей, но всегда порядочного, сдержанно беснующегося гробик-подвала в маленькие сенцы, заваленные шубами и шубками, где проходят последние объяснения, прямо в морозную ночь, на тихую Михайловскую площадь; взглянешь на небо, и даже звезды покажутся сомнительными: остроумничают, ехидствуют, мерцают с подмигиваньем» (II: 243).

В стенах «Бродячей собаки» 27 ноября 1913 года Мандельштам поссорился с Велимиром Хлебниковым, и это чуть не привело двух поэтов к дуэли. Автор «Зверинца» и «Смехачей» позволил себе то ли двусмысленное стихотворение, то ли двусмысленное высказывание по поводу оправдательного приговора по делу М. Бейлиса. По словам Н.И. Харджиева, восходящим к рассказу самого Мандельштама, «одно неправильно понятое суждение Хлебникова вызвало возражения Филонова, Ахматовой и других посетителей подвала. С наибольшей резкостью выступил против Хлебникова Мандельштам. Отвечая ему, Хлебников дал отрицательную оценку его стихам. Заключительная часть выступления Хлебникова озадачила всех присутствующих своей неожиданностью:

– А теперь Мандельштама нужно отправить обратно к дяде в Ригу…»[157]. Далее Харджиев приводит комментарий Мандельштама к этой хлебниковской реплике: «– Это было поразительно, потому что в Риге действительно жили два моих дяди. Об этом ни Хлебников, ни кто-либо другой знать не могли. С дядями я тогда не переписывался. Хлебников угадал это только силой ненависти»[158]. Согласно некоторым сведениям, именно Хлебников придумал Мандельштаму смешное и обидное прозвище «мраморная муха». Этим прозвищем воспользовался, например, Игорь Северянин, характеризуя поэзию Анны Ахматовой в своем стихотворении 1918 года:

И так же тягостен для слуха
Поэт (как он зовется там?!)
Ах, вспомнил: «мраморная муха»,
И он же – Осип Мандельштам.

К словосочетанию «мраморная муха» Северянин сделал такое примечание: «Честь этого обозначения принадлежит кубофутуристам»[159]. Более надежные источники, впрочем, утверждают, что честь изобретения прозвища «мраморная муха» принадлежала эгофутуристу Василиску Гнедову.

В марте 1912 года Николай Гумилев и Сергей Городецкий решили явить литературному миру новое поэтическое направление, пришедшее на смену символизму, – акмеизм и для этого отобрали из числа участников «Цеха» несколько наиболее перспективных стихотворцев: Анну Ахматову, Михаила Зенкевича, Осипа Мандельштама и Владимира Нарбута.

Современниками об акмеизме было написано и наговорено очень много, но, как правило, не очень точно, и виноваты в этом отчасти были вожди акмеистической школы, чьи программные статьи о новом направлении производят впечатление излишне форсированных, второпях написанных текстов[160].

Сами акмеисты больше других заслуженно ценили большую статью об акмеизме «Преодолевшие символизм» (1916), автором которой был Виктор Жирмунский. «По свидетельству Марии Лазаревны Тронской, – указывает Е.Г. Эткинд, – <…> доклад об акмеистах собрал многочисленную аудиторию; в первом ряду сидела Анна Ахматова, которая, едва В.М. Жирмунский кончил говорить, воскликнула: “Он прав!”»[161] А Николай Гумилев 22 января 1917 года так писал о статье Жирмунского Ларисе Рейснер: «По-моему, она лучшая статья об акмеизме, написанная сторонним наблюдателем, в ней так много неожиданного и меткого»[162].

«Кажется, поэты устали от погружения в последние глубины души, от ежедневных восхождений на Голгофу мистицизма, – писал Жирмунский в своей статье об акмеизме. – <…> Хочется говорить о предметах внешней жизни, таких простых и ясных, и об обычных, незамысловатых жизненных делах, не чувствуя при этом священной необходимости вещать последние божественные истины, а внешний мир лежит перед поэтом, такой разнообразный, занимательный и светлый, почти забытый в годы индивидуалистического, лирического углубления в свои собственные переживания»[163].

К сказанному замечательным исследователем, пожалуй,

можно прибавить, что противостояние акмеизма символизму (в первую очередь в его «младосимволистском» изводе) в миниатюре и в очередной раз воспроизвело неизбежный этап действия огромного и древнего культурного механизма. Ведь уже на творчество Альбрехта Дюрера можно взглянуть как на «то заново обретенное сокровище художественного эмпиризма, которому новая эпоха дала возможность выявиться»[164]. Художественный эмпиризм Дюрера при этом отчетливо противостоял установкам германских живописцев более старшего поколения, стремившихся отнюдь не «к освоению новых явлений реальности, к достижению иллюзии трехмерности», а к приданию «прежнему религиозному содержанию новой силы и жизненности»[165]. Важно для нашего дальнейшего разговора и то, что новый эмпиризм Дюрера, ставший «в конце концов основным орудием преодоления средневековых обычаев и традиций», корнями «все же уходил в каменную громаду готического собора с его изумительными по достоверности изображениями растений и реальных, тщательно изученных человеческих лиц во всей их многообразной выразительности. Как это часто бывает в истории, движущие силы новой эпохи созревали в тени уходящей»[166]. Этот пассаж из книги известного австрийского историка искусств Отто Бенеша смотрится как почти прямой комментарий к мандельштамовскому акмеистическому стихотворению «Notre Dame», о котором речь у нас еще впереди.

В статьях и заметках о «Цехе поэтов» и акмеизме 1912 года о Мандельштаме упоминается лишь 6 раз; для сравнения: имя Ахматовой называется 19 раз, Городецкого – 18 раз, Гумилева – 28 раз, Зенкевича – 25 раз, Нарбута – 15 раз.

Столь разительный мандельштамовский «проигрыш» остальным акмеистам объясняется очень просто: он, единственный среди шести перечисленных поэтов, тогда еще не выпустил ни одной книги стихов, так что читающая публика знала Мандельштама только по журнальным публикациям.

Анонс дебютной мандельштамовской книги «Раковина» (которая потом получила название «Камень») был взят с обложки первого номера «Гиперборея» и перепечатан в 11 (ноябрьском) номере «Известий книжных магазинов товарищества М.О. Вольф по литературе, наукам и библиографии». В этом же номере журнала имя Мандельштама было помещено последним в списке поэтов, участников 1 номера «Гиперборея». В специальной заметке о стихах «Гиперборея», помещенной в 87 номере журнала «Театр» (от 25 ноября) Андрей Левинсон, цитируя мандельштамовское стихотворение «Образ твой, мучительный и

зыбкий…», отмечал, что хотя «поэтический облик О. Мандельштама» «нечеток», «его поэтическое волнение» «уже не бесплодно»[167]. Ненавистник модернизма, бульварный фельетонист Аркадий Бухов в 47 номере «Синего журнала» (от 16 ноября), приведя несколько стихотворных строк Мандельштама (из стихотворений «Отчего душа так певуча…» и «Я вздрагиваю от холода…», напечатанных в «Гиперборее»), объявил молодого стихотворца одним из «убийц поэзии»[168]. Он же (под псевдонимом Л. Аркадский) в 25 номере «Воскресной вечерней газеты» (от 11 ноября), процитировав финальные строки стихотворения «Я вздрагиваю от холода…», издевательски отослал читателя к гоголевским «Запискам сумасшедшего»: «В котором году перестали таким молодым людям лить на голову холодную воду?..»[169] Имя Мандельштама фигурировало и в газетном отчете Л. (Иосифа Рабиновича) из 14 номера «Русской молвы» (от 22 декабря) о лекции Городецкого «Символизм и акмеизм», 19 декабря прочитанной в «Бродячей собаке»[170].

Заслуживает быть отмеченным и то обстоятельство, что Мандельштам согласился стать акмеистом только к октябрю 1912 года – не сразу, а после некоторых раздумий (может быть, именно поэтому его имя – единственное среди шести акмеистов – ни разу не было даже упомянуто в акмеистическом манифесте, написанном мстительным Городецким).

Из записей Лидии Гинзбург: «Мандельштам уже после основания “Цеха поэтов” еще упорствовал в символистической ереси. Потом сдался. Гумилев рассказывал своим студийцам: однажды вечером, когда они компанией провожали Ахматову на Царскосельский вокзал, Мандельштам, указывая на освещенный циферблат часового магазина, прочитал стихотворение:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь;
“Который час?” – его спросили здесь,
А он ответил любопытным: “Вечность”.

Строки эти были литературным покаянием Мандельштама»[171].

Разъясняющего комментария требует в этом стихотворении прежде всего образ «млечности звезд». Старшие акмеисты, противопоставляя себя символистам, поспешили провозгласить приоритет земного над небесным, бытового над метафизическим.

В акмеистическом манифесте Гумилева, писавшемся в 1912 году, а опубликованном вместе с манифестом Городецкого в первом номере «Аполлона» за 1913 год, содержится следующее категорическое замечание о пространственном соотношении звезд и человека, живущего на милой акмеистам Земле: «<В>се священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе»[172].

Утверждение Гумилева перекликается с первой строфой стихотворения Городецкого «Звезды»:

> Не хочу читать я в вечных,
> Непонятных мне письменах,
> Что во тьме и в лентах млечных
> Держит звездный небосклон.

Хотя антисимволистская направленность процитированных звездоборческих строк Гумилева и Городецкого очевидна, представления вождей акмеизма о расстоянии между метафизическими звездами и землей вполне вписываются в канон, заданный символистами.

И символисты, и Гумилев с Городецким считали, что метафизические звезды *бесконечно далеки* от земного человека. Только символисты предпочитали писать о метафизических звездах:

> Тени забытой упреки…
> Ласки недавней обман…
> *Звезды* немые *далеки*,
> Ночь завернулась в туман.
>
> *В. Брюсов. «Звезды закрыли ресницы…», 1893,*

а Гумилев с Городецким – о земном человеке.

В первом акмеистическом стихотворении Мандельштама «Нет, не луна, а светлый циферблат…» все совсем не так. Поэт вовсе не отказывается «читать» в бесконечно далеких «звездных письменах», которые на «лентах *млечных*» держит «небосклон», а, напротив, «осязает» «*млечность звезд*». До них, что называется, «рукой подать». И «циферблат» предпочтен «луне» в первую очередь не потому, что луна – это символ, а циферблат – вещь, а потому, что циферблат *ближе* луны.

Так поэт приблизил к Земле недосягаемую метафизическую даль. В его понимании акмеизм – это прежде всего не

противопоставление «звездного» «земному», «млечному», а «живое равновесие» (цитата из самого Мандельштама) (I: 180) между «звездным» и «земным». Иными словами, звезды становятся в стихотворении «Нет, не луна, а светлый циферблат…» своими, потому что и метафизика в понимании поэта – своя, она не отменена, а уравновешена любовью к Земле.

Понятно тогда, почему в первой строфе стихотворения Мандельштама возникает полуизвиняющееся «И чем я виноват…». Ведь поэт в данном случае объяснялся не с символистами, а с соратниками-акмеистами[173].

Следует, конечно, согласиться с исследователем мандельштамовского творчества Е.А. Тоддесом, который полагает, что у Мандельштама «равновесие достигалось скорее в границах того или иного текста, чем действительно управляло внутренней биографией поэта»[174]. И все же обретение спасительного жизненного равновесия на достаточно продолжительное время придало Мандельштаму уверенность в собственных силах и немало поспособствовало его превращению «из утонченнейшего символиста в правоверного акмеиста»[175]. Правоверного настолько, что это не могло не вызывать чувства сильнейшего раздражения у модернистов старшего поколения. Так, между Мандельштамом и Федором Сологубом, если верить Ивану Игнатьеву, в январе 1913 года состоялся следующий телефонный диалог:

«М<андельштам>. Будьте любезны назначить время, когда я бы мог приехать к вам!

С<ологуб>. Зачем?

М<андельштам>. Я хочу прочесть вам мои стихи!

С<ологуб>. Зачем?

М<андельштам>. Хочу узнать ваше мнение!

С<ологуб>. Я не выскажу вам никакого мнения.

М<андельштам>. Я постараюсь прочесть ваш приговор по выражению вашего лица.

С<ологуб>. Мое лицо вам ничего не скажет. (Вешает трубку.)»[176].

Реакция Сологуба на звонок Мандельштама станет более понятной, если привести цитату из письма близкой к дому Сологуба Ал. Н. Чеботаревской к Вячеславу Иванову от 21 января 1913 года: «Мандельштам ходит и говорит: “Отныне ни одна строка Сологуба, Брюсова, Иванова или Блока не будет напечатана в «Аполлоне» – он скоро (это еще оч<ень> проблематично) будет журналом акмеистов”»[177].

Поэт напрасно поспешил объявить журнал Сергея Маковского акмеистическим органом. Хотя Маковский и позволил напечатать

в «Аполлоне» манифесты нового литературного направления, написанные Гумилевым и Городецким, программная статья самого Мандельштама «Утро акмеизма» в этом журнале опубликована не была.

8

«Утро акмеизма» пронизано архитектурной символикой и метафорикой. «Акмеизм – для тех, – пишет Мандельштам, – кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы» (I: 178). Значимые параллели к этому фрагменту исследователи уже давно обнаружили в программном мандельштамовском стихотворении 1912 года «Notre Dame»:

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика – и, радостный и первый, —
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила, —
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Источником образности мандельштамовского «Notre Dame» почти наверняка послужило предисловие Валерия Брюсова к книге стихов сотоварища Мандельштама по «Цеху поэтов» Николая Клюева «Сосен перезвон»: «Прекрасны гигантские готические соборы, строившиеся целый ряд столетий, по одному глубоко обдуманному плану. Мощные колонны вставали там, где им указал быть замысел художника, тяжелые камни, громоздясь

один на другой, образовывали легкие своды, и целое поныне поражает нас своей законченностью, стройностью, соразмерностью всех своих частей. Но прекрасен и дикий лес, разросшийся как попало, по полянам, по склонам, по оврагам. Ничего в нем не предусмотрено, не предрешено заранее, на каждом шагу ждет неожиданность – то причудливый пень, то давно повалившийся, обросший мохом ствол, то случайная луговина, – но в нем есть сила и прелесть свободной жизни»[178].

У Мандельштама, так же как у Брюсова, «тяжелые камни» образуют «легкие своды». У обоих «*непостижимый* лес» соотнесен с выстроенной по «глубоко обдуманному *плану*» архитектурной постройкой. Однако у Мандельштама в итоге лес предстает фрагментом общего архитектурного замысла[179]. В природе, согласно оптимистической концепции Мандельштама-акмеиста, ничто не устроено «как попало», но все подчинено «тайному плану» Архитектора-Создателя, что позволило поэту на некоторое время освободиться от пугающего ощущения хаоса окружающей жизни и начать одно из своих стихотворений строками, где между природой и архитектурой поставлен знак равенства:

> Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
> Мы видим образы его гражданской мощи
> В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
> На форуме полей и в колоннаде рощи.
>
> *«Природа – тот же Рим и отразилась в нем…», 1914*

Поэтому не должно удивлять, что Мандельштам дал своей дебютной книге стихов *«архитектурное»* заглавие «Камень», которым сменился первоначальный, *«природный»* вариант заглавия – «Раковина». Слово «камень» и его контекстуальные синонимы 11 раз встречаются в мандельштамовской книге. Ключ к пониманию смысла ее заглавия содержится во второй строфе четырнадцатого стихотворения:

> Кружевом, камень, будь
> И паутиной стань:
> Неба пустую грудь
> Тонкой иглою рань!

Эта строфа, перекликающаяся с одним из фрагментов романа Пруста «По направлению к Свану» («…колокольня… вонзала

острый свой шпиль в голубое небо…»[180]) и восходящая к строке «На иглы башни кружевной» из стихотворения Сергея Городецкого «Я онемел и не дерзаю…» (1906), выявляет не только архитектурную, строительную функцию мандельштамовского «камня», но и его «кружевную», «узорную» основу. О «несколько кружевной композиции», отличающей стихотворения первого «Камня», писал в своей рецензии на книгу Н. Гумилев[181]. О композиции всей книги, как о «кружевной», следующим образом высказался Н. Апостолов: «“Камень” О. Мандельштама действительно “закружевел”»[182].

Что мы понимаем под «кружевной» композицией книги «Камень»? Ответить на этот вопрос помогут строки самого Мандельштама из стихотворения «Где вырывается из плена…» (1910?), не вошедшего в первую книгу поэта:

> О время, завистью не мучай
> Того, кто вовремя застыл.
> Нас пеною воздвигнул случай
> И кружевом соединил.

Процитируем также один из вариантов мандельштамовского стихотворения «О, небо, небо, ты мне будешь сниться…» (1911), где мотивы «кружева» соседствуют с «жемчужными» оттенками, восходящими к первоначальному варианту названия книги Мандельштама и к одноименному стихотворению – «Раковина»: «Жемчужный почерк оказался ложью, / И кружева не нужен смысл узорный».

Двадцать три стихотворения первой мандельштамовской книги сцеплены друг с другом ключевыми мотивами, подобно тому как волокна шерсти сцеплены узелками, превращающими эти разрозненные нити в кружево, подобно тому как соединялись в сознании Мандельштама-ребенка вещи из кабинета отца: «Уже отцовский домашний кабинет был не похож на гранитный рай моих стройных прогулок <…>, а смесь его обстановки, подбор предметов соединялись в моем сознании *крепкой вязкой*» (II: 354–355).

«Камень» вышел в свет в конце марта 1913 года, и насчитывал он всего лишь тридцать страниц. «Сборник этот составлен слишком скупо даже для первого выступления», – отмечал Сергей Городецкий[183], – и эту “скупость” можно объяснить прежде всего общей для постсимволистов тягой к экономности и сжатости[184]. Недаром акмеист Владимир Нарбут, чья книга стихов «Аллилуйя» (1912) состояла из еще меньшего количества поэтических текстов, чем первый «Камень», бранчливо

обозвал «Cor Ardens» Вячеслава Иванова «двумя грузными томами»[185]. А кубофутурист Алексей Крученых так отзывался о поэтических сборниках символистов: «*Ужасно* не люблю бесконечных произведений и больших книг – их нельзя прочесть зараз, нельзя вынести цельного впечатления. Пусть книга будет маленькая, но никакой лжи; все свое, этой книге принадлежащее вплоть до последней кляксы. Издание Грифа, Скорпиона, Мусагета… большие белые листы… серая печать… так и хочется завернуть селедочку… и течет в этих книгах холодная кровь»[186].

Следует также учесть стесненные материальные обстоятельства Мандельштама. Первый «Камень» он выпустил за свой счет. Из мемуаров Евгения Мандельштама: «Издание “Камня” было “семейным” – деньги на выпуск книжки дал отец. Тираж – всего 600 экземпляров. Помню день, когда Осип взял меня с собой и отправился в типографию на Моховой и мы получили готовый тираж. Одну пачку взял автор, другую – я. Перед нами стояла задача… как распродать книги. Дело в том, что в Петербурге книгопродавцы сборники стихов не покупали, а только брали на комиссию. Исключение делалось для очень немногих уже известных поэтов. Например для Блока. После долгого раздумья мы сдали весь тираж на комиссию в большой книжный магазин Попова-Ясного, угол Невского и Фонтанки, там, где теперь аптека.

Время от времени брат посылал меня узнавать, сколько продано экземпляров, и когда я сообщил, что раскуплено уже 42 книжки, дома это было воспринято как праздник. По масштабам того времени в условиях книжного рынка это звучало как первое признание поэта читателями»[187].

О читательском успехе мандельштамовского «Камня» (1913) писала и Анна Ахматова. В своих воспоминаниях о Мандельштаме она приводит эпизод, напрашивающийся на сопоставление с тем фрагментом письма Гоголя к Пушкину, где с гордостью сообщается о хихиканье наборщиков над первой частью «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Со свойственной ему прелестной самоиронией Осип любил рассказывать, как старый еврей <по фамилии Мансфельд>, хозяин типографии, где печатался “Камень”, поздравляя его с выходом книги, пожал ему руку и сказал: “Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше”»[188].

Глава вторая
Между «Камнем» (1913) и «Tristia» (1922)

1

В статьях и заметках об акмеизме, опубликованных в 1913 году, году «бури и натиска» этой литературной школы и выхода в свет мандельштамовской дебютной книги стихов «Камень», имя нашего поэта встречается 20 раз; для сравнения: об Ахматовой упоминается 55 раз; об авторе широко обсуждавшегося и цитировавшегося акмеистического манифеста Городецком – 188 раз, об авторе второго манифеста, Гумилеве, – 143 раза, о Зенкевиче – 52 раза, о Нарбуте – 66 раз. То есть для читающей публики Мандельштам в 1913 году по-прежнему оставался в тени своих сотоварищей по акмеизму.

Неудивительно, что его имя, даже если и называлось в статьях об акмеизме, зачастую просто входило в список участников группы, предъявляемый критиками читателю, и никак специально не комментировалось. Приведем здесь, учитывая его курьезность, лишь один такой пример, из фельетона И. Накатова (Ильи Василевского) «Балаганчик», помещенного в 320 номере «Столичной молвы» (от 7 августа): «Нет сомнения, что все эти: Василиск Гнедов, Хлебников, Маяковский, Крученых, Широков, Бурлюк, Нарбут, Коневской, Мандельштам, Зенкевич – остались бы совершенно неизвестными широкой читательской массе, если бы газеты от времени до времени не напоминали обществу о существовании в его среде этой беспокойной человеческой породы»[189].

Если же о Мандельштаме и говорилось чуть больше, то эти упоминания, как правило, не были особенно лестными для поэта. Так, Аркадий Долинин (Искоз), в статье «Акмеизм», напечатанной в 5 (майском) номере «Заветов», задавшись вопросом: «Талантливы ли акмеисты?», относительно двух поэтов из списка отвечал следующим образом: «Вл. Нарбут и О. Мандельштам еще под сомнением, несмотря на то что отдельные образы им иногда и удаются»[190]. Тогдашний эгофутурист Вадим Шершеневич в обзоре поэзии «За полгода», появившемся в 254 номере газеты «Нижегородец» (от 22 августа), категорически заявил, что о «Зенкевиче, Мандельштаме и др.» «ничего одобрительного сказать

нельзя»[191]. Он же в брошюре «Футуризм без маски. Компилятивная интродукция» (М., 1913) включил Мандельштама в перечень представителей акмеизма, ничего принципиально нового в своих стихах не открывающих: «В его рядах – те же Н. Гумилев, С. Городецкий, А. Ахматова, В. Нарбут, О. Мандельштам и др., которые уже давно были известны как символисты»[192]. В памфлетной книжке еще одного эгофутуриста, Виктора Ховина, «Модернизированный Адам» (СПб., 1913) коротко и кисловато характеризовался «О. Мандельштам с обычными для него причудливыми переживаниями, блуждающий в “игрушечных чащах” и открывающий там “лазоревые гроты”»[193].

И только Василий Львов-Рогачевский скорее одобрительно процитировал финал мандельштамовского стихотворения «Notre Dame» в заметке «Символисты и наследники их», опубликованной в 7 (июльской) книжке журнала «Современный мир»[194], да Александр Редько в том фрагменте своей статьи «У подножия африканского идола. Символизм. Акмеизм. Эгофутуризм», который был напечатан в 7 (июльском) номере «Русского богатства», безоценочно сослался на эссе Мандельштама «О собеседнике»: «Акмеисты полагают, что творчество, несомненно, удовлетворяет запросам самого художника, но что оно в то же время должно удовлетворять условиям общественного мышления, оказываясь доступным всякому “собеседнику”, желающему понять (Мандельштам)»[195].

На мандельштамовский «Камень» (1913) было опубликовано пять рецензий: все они были благожелательными. Николай Гумилев так оценивал первый, «символистский» раздел книги: «В этих стихах свойственные всем юным поэтам усталость, пессимизм и разочарование, рождающие у других только ненужные пробы пера, у О. Мандельштама кристаллизуются в поэтическую идею-образ: в Музыку с большой буквы»[196]. «С символическими увлечениями О. Мандельштама покончено навсегда»[197] – таким выводом-прогнозом глава «Цеха поэтов» завершил свою рецензию.

Однако этот прогноз оказался несколько скоропалительным: примерно в середине 1913 года Мандельштам – подлинный «виртуоз противочувствия»[198] – предпринял попытку «покончить» не только со своими символическими, но и со своими акмеистическими «увлечениями». К этому времени наметился альянс Михаила Зенкевича, Владимира Нарбута и Мандельштама с кубофутуристами из группы «Гилея» (В. Хлебниковым, В. Маяковским, А. Крученых, Б. Лившицем, братьями Бурлюками). С Бенедиктом Константиновичем Лившицем (1887–1938) Мандельштам сошелся настолько тесно,

что в своих мемуарах Лившиц даже счел возможным назвать поэта-акмеиста «товарищем по оружию»[199].

Из устных воспоминаний Михаила Зенкевича: футуристы «соглашались, чтобы туда, значит, <вошли> я, Нарбут и Мандельштам… Это они соглашались блокироваться. В это время посредником был брат <Давида> Бурлюка – Николай Бурлюк <член “Цеха поэтов”>, и вот тут <на лекции К.И. Чуковского о футуризме 5 октября 1913 года> было первое совместное выступление. Выступал, ну, теоретически больше, а не только со стихами, Мандельштам, готовил выступление. Он ко мне приходил и потом… он говорил: “Я у них был…” Ну, в общем, говорит: “Я их видел. Это такая богема, богема, знаешь. Вот пойдем на вечер… Я заново переписал это выступление” и так далее. <…> Они на лекцию Чуковского пришли… Вот пришел Маяковский, он там выступал, и выступал Мандельштам»[200].

Союз трех акмеистов-отступников с кубофутуристами в итоге не состоялся. Может быть, потому, что уж слишком разными стихотворцами были сами акмеисты. Когда Зенкевич в письме к Нарбуту предложил издать поэтический сборник на троих с Мандельштамом, он получил следующий ответ: «Относительно издания сборника – тоже вполне согласен: да, нужны – и твой, и мой. Можно и вместе (хорошо бы тогда пристегнуть стихи какого-либо примкнувшего к нам кубиста). Мандель мне не особенно улыбается для этой именно затеи. Лучше Маяковский, или Крученых, или еще кто-либо, чем тонкий (а Мандель, в сущности, такой) эстет»[201]. Георгий Иванов вспоминал, что Мандельштама удержал от вступления в группу «Гилея» «Бенедикт Лившиц, кстати, сам кубофутурист»[202].

В своей мемуарной книге «Полутораглазый стрелец» Лившиц, имитируя анафорическую композицию хлебниковского «Зверинца», изобразил Мандельштама в кругу петербургских поэтов-модернистов. Он описал салон «женщины редкой красоты», художницы Анны Михайловны Зельмановой-Чудовской (1891–1952), «где Сологуб неудачно острил и еще неудачнее сочинял экспромты, один из которых начинался буквально следующими строками:

> Вот я вижу, там
> Сидит Мандельштам…

Где автор тоненького зеленого “Камня”, вскидывая кверху зародыши бакенбардов – дань свирепствовавшему тогда увлечению 1830 годом, который обернулся к нему Чаадаевым, – предлагал “поговорить о Риме” и “послушать апостольское credo”.

Где, перекликаясь с ним, Гумилев протяжно читал в нос свой “Ислам”…»[203].

Об увлечении автора «Камня» католическим Римом и Чаадаевым речь пойдет чуть дальше, пока же самое время сказать несколько слов об увлечении Мандельштама Анной Зельмановой-Чудовской.

Из первого мандельштамовского «Камня» тема любви была старательно элиминирована. Лишь в одном стихотворении книги внимательный читатель мог обнаружить едва уловимый намек на присутствие женщины:

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

«Медлительнее снежный улей…», 1910

В тех десяти стихотворениях раннего Мандельштама, которые в первый «Камень» не вошли и которые условно можно причислить к любовной лирике, облик героини также распознать очень трудно. Она или появляется на одно короткое мгновенье («Ты выскользнула в легкой шали»), или даже не появляется совсем, вопреки ожиданиям героя:

Пустует место. Вечер длится,
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим,
Напиток на столе дымится.

Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдешь;
И на стекле не проведешь
Узора спящими губами…

«Пустует место. Вечер длится…», 1909

Довольно часто, как бы стараясь удержать свою возлюбленную «в рамках» стихотворения, поэт напрямую адресуется к ней («Нежнее нежного / Лицо *твое*»; «*Твоя* веселая нежность / Смутила меня»; «*Ты* прошла сквозь облако тумана»). Неудивительно, что реальные имена всех этих «ты» никто из читателей не знал и никогда не узнает.

Именем Анны Зельмановой-Чудовской, «женщины редкой красоты, прорывавшейся даже сквозь ее беспомощные, писанные ярь-медянкой автопортреты»[204], открывается «донжуанский список» Мандельштама, заботливо составленный поздней Ахматовой: «Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица художница. Она написала его портрет на синем фоне с закинутой головой (1914, на Алексеевской улице). Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько жаловался – еще не умел писать любовные стихи»[205]. Впрочем, одно из мандельштамовских стихотворений 1914 года – «Приглашение на луну» – по-видимому, было обращено именно к Анне Зельмановой: вторая половинка ее составной фамилии (Зельманова-*Чудо*вская) напрашивается на сопоставление с первой половинкой составного образа «*чудо*-голубятен» из «Приглашения на луну». А звучание первой половинки фамилии художницы (*Зельма*нова-Чудовская), возможно, отозвалось в первой половинке составной «*земли*-злодейки» из мандельштамовского стихотворения:

У меня на луне
Вафли ежедневно,
Приезжайте ко мне,
Милая царевна!
Хлеба нет на луне –
Вафли ежедневно.

На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки –
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома –
Просто голубятни;
Голубые дома –
Чудо-голубятни.

Убежим на часок
От земли-злодейки!
На луне нет дорог
И везде скамейки,

Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.

Захватите с собой
Молока котенку,
Земляники лесной,
Зонтик и гребенку…
На луне голубой
Я сварю вам жженку.

Процитированное стихотворение правомерно назвать хотя и робким, но все же вполне отчетливым наброском к будущей «любовной лирике» Мандельштама. «Это из “взрослых” стихов, и приглашалась, наверное, вполне взрослая женщина», – проницательно предполагала много лет спустя вдова поэта[206].

Изображенная в «Приглашении на луну» «милая царевна» решительно отличается от пугливых и робких героинь ранних мандельштамовских опытов: она никуда не исчезает из стихотворения – связанные с «милой царевной» мотивы употребляются симметрично, в первой и в последней его строфах. Но ведь и обращение к «милой царевне» на «вы», а не на «ты» («Приезжай*те* ко мне», «Я сварю *вам* жженку»), резко отделяет «Приглашение на луну» от тех «любовных» стихотворений, что писались поэтом раньше. Обратиться к девушке на «ты» для патологически стыдливого юного Мандельштама, скорее всего, было возможно только мысленно. Напротив, адресуясь к Зельмановой-Чудовской на «вы», Мандельштам как бы превращал свое воображаемое «Приглашение на луну» в реально отправленное. Другое дело, что зовет «милую царевну» поэт все-таки не куда-нибудь, а на луну: делая один осторожный шаг в сторону реального любовного послания, Мандельштам немедленно отступает на два шага назад, выбирая для своего стихотворения нарочито инфантильный сюжет и антураж.

Инфантильность фона и тона «Приглашения на луну» бросается в глаза. Более того, вполне правомерным выглядело бы, на наш взгляд, уподобление поэтики мандельштамовского стихотворения поэтике мультфильма. Правомерным еще и потому, что целый ряд мотивов «Приглашения на луну» «рифмуется» с мотивами знаменитой ленты Ж. Мельеса «Путешествие на Луну» (1902), в которой были впервые использованы средства анимации. В частности, в эпизоде «Сон» фильма Мельеса появляется прекрасная *царевна* со звездой-короной на голове, боком, как на качелях, сидящая на месяце. И

уже откровенно позаимствованными из непритязательных детских стишков начала века кажутся те мотивы, которыми сопровождается появление «милой царевны» в финальной строфе «Приглашения на луну».

2

19 июля 1914 года Германия объявила России войну. Большинство друзей и знакомых Мандельштама приняло это событие очень близко к сердцу. Николай Гумилев и Бенедикт Лившиц записались в армию добровольцами. Анна Ахматова в своих «военных» стихах впервые обратилась к теме, которая станет ключевой для ее пореволюционной поэзии: теме христианского самопожертвования ради спасения и процветания любимой Отчизны. А Вячеслав Иванов заклеймил противников России как «наглое племя, пародирующее Рим в сколоченных наскоро подмостках импровизированной и не помнящей родства империи»[207].

Младший поэт, без сомнения, сочувственно прислушивался к призывам старшего: современник (Филипп Гозиассон) вспоминает Мандельштама – «высокого молодого человека с очень еврейским бледным лицом и огромным кадыком» – на лекции Вячеслава Иванова, исполненной «ура-патриотизма невысокого стиля»[208].

Но и все другие перечисленные модели отношения к войне Мандельштам также примерил на себя. Призыву он не подлежал по причине сердечной астении. Тем не менее в конце декабря 1914 года Мандельштам уехал в Варшаву, где по протекции члена «Цеха поэтов» Д.В. Кузьмина-Караваева, назначенного уполномоченным санитарного поезда, он надеялся получить место военного санитара (может быть, побудительным мотивом к этому шагу послужило опубликование в декабрьском номере «Нового журнала для всех» за 1914 год «Записок санитара-добровольца» еще одного участника «Цеха» – Николая Бруни). 25 декабря 1914 года Сергий Каблуков записывал в своем дневнике: «19-го он приехал ко мне внезапно, чтобы объявить о своем решении и проститься. Я начал с того, что нещадно изругал его “последними словами”, ибо истерику иначе не одолеешь. Однако его “истерика” оказалась упрямой. Надеяться, что его не пустили в Варшаву, не приходится, но можно думать, что он, как несомненно умный человек, *на месте* увидит, что ему не быть санитаром, и скоро вернется к своим обычным занятиям, и вернется, Бог даст, здоровым и невредимым. Уезжая 21 дек<абря>, он по телефону прощался со мною и просил

материальной помощи. Я – пусть это жестоко – отказался наотрез»[209]. Каблуков рассчитал все правильно: уже к 5 января 1915 года Мандельштам вернулся в Петербург (по не слишком достоверным сведениям, в Варшаве отчаявшийся поэт предпринял попытку самоубийства). Оставшиеся два года мировой войны он сотрудничает в Союзе городов – вспомогательной военной организации либерального характера.

Политической риторике, в духе любимого им Тютчева[210], Мандельштам в первые месяцы войны тоже отдал щедрую дань. Так, создавая свое дебютное военное стихотворение «Европа», он стремился показать карту боевых действий как бы с высоты птичьего полета, приглашая читателя вглядеться в причудливые очертания Испании и Италии, полюбоваться нежно-салатовой окраской болотистой Польши:

Завоевателей исконная земля —
Европа в рубище Священного союза;
Пята Испании, Италии медуза
И Польша нежная, где нету короля.

Стихотворение «В белом раю лежит богатырь…», писавшееся накануне злополучной поездки поэта в Варшаву, сконцентрировало в себе рекордное для раннего Мандельштама количество официозно-православных формул и образов (влияние Константина Леонтьева, которым Мандельштам зачитывался как раз в 1914 году?):

В белом раю лежит богатырь:
Пахарь войны, пожилой мужик.
В серых глазах мировая ширь:
Великорусский державный лик.
<…>
Разве Россия не белый рай
И не веселые наши сны?
Радуйся, ратник, не умирай:
Внуки и правнуки спасены!

А в стихотворении Мандельштама с тютчевским заглавием «Encyclica» (поводом к написанию которого послужило миролюбивое послание папы Бенедикта XV ко всем воюющим народам) на первый план выступила католическая, «римская» тема:

Есть обитаемая духом
Свобода – избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.

И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит.
В апостольском созвучьи: Roma! –
Он только сердце веселит.

Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!

В последней строфе этого стихотворения речь, по всей видимости, идет о Чаадаеве, «по праву русского человека» вступившем «на священную почву традиции, с которой он не был связан преемственностью» (как писал Мандельштам в статье «Петр Чаадаев» 1914 года) (I: 199). В авторе «Философических писем» Мандельштам, вслед за М.О. Гершензоном, увидел едва ли не единственного русского представителя римского «католического универсализма» (мандельштамовское определение из биографической словарной справки)[211]. Чаадаев поразил воображение поэта в первую очередь сознательным, волевым подчинением всей своей жизни стремлению преобразить управляющий личностью российского человека хаос в архитектурно структурированный космос: «Россия, в глазах Чаадаева, принадлежала еще вся к неорганизованному миру, – писал Мандельштам. – Он сам был плоть от плоти этой России и посмотрел на себя как на сырой материал. Результаты получились удивительные. Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу» (I: 195)[212].

Можно почти не сомневаться в том, что приведенная характеристика личности Чаадаева составляла жизненное кредо Мандельштама-акмеиста. Весьма показательное обстоятельство: в программном мандельштамовском стихотворении «Посох» (1914) без труда отыскиваются многочисленные текстуальные переклички со статьей «Петр Чаадаев», и это позволяет предположить, что «я» «Посоха» – это Чаадаев. Однако тот читатель, который был с текстом статьи не знаком, имел все

основания отождествить лирического героя стихотворения с самим Мандельштамом. А новозаветная символика, использованная в стихотворении, так же как описанная в нем биографическая ситуация («Прежде, чем себя нашел»), провоцирует вспомнить о ключевой для протестантизма и для христианства в целом фигуре апостола Павла:

Посох мой, моя свобода –
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим.
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим![213]

Другой постоянный мандельштамовский «собеседник» этого времени – Пушкин. К нему «у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение», – свидетельствовала Анна Ахматова[214]. Иногда, впрочем, поэт решался вступать со своим великим предшественником в заочный спор. Так, Пушкин, читая статью П.А. Вяземского «О жизни и сочинениях В.А. Озерова», в раздражении зачеркнул его фразу о том, что озеровские трагедии стали «зарею нового дня на русском театре»[215]. Мандельштам в финале своего стихотворения «Есть ценностей незыблемая скала…» (1914) демонстративно восстановил эту фразу в ее правах: «И для меня явленье Озерова – / Последний луч трагической зари».

Трогательную сцену, относящуюся к более позднему периоду (к февралю 1921 года), описывает Надежда Павлович: «Исаакиевский собор тогда функционировал, там церковь была. И Мандельштам придумал, что мы пойдем сейчас служить панихиду по Пушкину. И он раздавал нам свечи. Я никогда не

забуду, как он держался – в соответствии с обстоятельством, когда свечки эти раздавал»[216].

3

Увлечению Мандельштама католическим Римом предшествовало его погружение в античный Рим[217], чью литературу и культуру поэт изучал в петербургском университете, «куда мы попадали, пройдя почти весь длинный коридор здания Двенадцати коллегий и где служитель Михаил потчевал нас стаканом чая со сладкой булкой» (из воспоминаний мандельштамовского сокашника Владимира Вейдле)[218].

Примерным студентом Мандельштам не был: университетскую программу он осваивал рывками, как правило, почти совпадавшими с датой сдачи, а чаще – пересдачи очередного зачета или экзамена.

Летом 1912 года, готовясь к экзамену по греческому языку, Мандельштам воспользовался помощью молодого, но подающего большие надежды филолога Константина Васильевича Мочульского (1892–1948). «Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики, – много лет спустя вспоминал Мочульский. – Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения»[219]. «Мандельштам не выучил греческого языка, но он отгадал его»[220], – проницательно пишет Мочульский, определяя самую суть взаимоотношений поэта с мировой культурой.

25 июля 1913 года постановлением Правления Императорского Санкт-Петербургского университета Мандельштам был исключен из числа студентов как не внесший плату за весну 1913 года. Но уже в августе он направил в университет прошение о разрешении уплатить за весь истекший год, а в сентябре – октябре сдал и пересдал экзамены и зачеты по латинскому языку, логике и творчеству Клемана Маро.

В итоге поэт университета все же не окончил. 18 мая 1917 года он получил университетское выходное свидетельство № 1879 за подписью декана исторического факультета Ф. Брауна: «Имея шесть зачтенных семестров из восьми прослушанных, государственных экзаменов не держал и полного учебного курса не кончил» (IV: 439). И это дало повод многочисленным

мемуаристам, например Владиславу Ходасевичу, прочувствованно рассуждать о мандельштамовской «невозможности сдать хотя бы один университетский экзамен»[221].

Чтобы понять, насколько точно мифическое жизнеописание неприкаянного поэта соотносится с его подлинной биографией, несколько более подробно рассмотрим один из самых курьезных эпизодов университетской эпопеи Мандельштама – его неудачную попытку сдать экзамен по латинским авторам, предпринятую в конце сентября 1915 года.

Для начала приведем обширный отрывок из книги воспоминаний Вениамина Каверина: «Ю.Н. Тынянов рассказал мне, как Мандельштам, студент Петербургского университета, сдавал экзамен по классической литературе. Профессор Церетели, подчеркнуто вежливый, носивший цилиндр, что было редкостью в те времена, попросил Мандельштама рассказать об Эсхиле. Подумав, Мандельштам сказал:

– Эсхил был религиозен.

И замолчал. Наступила длительная пауза, а потом профессор учтиво, без тени иронии продолжал экзаменовать.

– Вы нам сказали очень много, господин студент, – сказал он. – Эсхил был религиозен, и этот факт, в сущности говоря, не нуждается в доказательствах. Но может быть, вы будете так добры рассказать нам, что писал Эсхил, комедии или трагедии? Где он жил и какое место он занимает в античной литературе?

Снова помолчав, Мандельштам ответил:

– Он написал “Орестею”.

– Прекрасно, – сказал Церетели. – Действительно, он написал “Орестею”. Но может быть, господин студент, вы будете так добры и расскажете нам, что представляет собой “Орестея”? Представляет ли она собою отдельное произведение или является циклом, состоящим из нескольких трагедий?

Наступило продолжительное молчание. Гордо подняв голову, Мандельштам молча смотрел на профессора. Больше он ничего не сказал. Церетели отпустил его, и с независимым видом, глядя прямо перед собой, Мандельштам покинул аудиторию»[222].

Изложение тыняновского анекдота Каверин подкрепляет собственным объяснением поведения Мандельштама: «<С>амая обстановка экзамена, роль студента, атмосфера, казалось бы, самая обычная, были чужды Мандельштаму. Он жил в своем отдельном, ни на кого не похожем мире, который был бесконечно далек от этого экзамена, от того факта, что он должен был отвечать на вопросы, как будто стараясь уверить профессора, что он знает жизнь и произведения Эсхила. Он был уязвлен тем, что

Церетели, казалось, сомневался в этом. Конечно, жизнь показала ему, что он причастен к действительности. Хотя бы потому, что она грубо расправилась с ним. Но этот случай глубоко для него характерен»[223]. Интересно, что знание произведений Эсхила предстает у Каверина метафорой, если не обязательным условием, знания жизни. Провал Мандельштама на экзамене мемуарист был склонен интерпретировать как отказ поэта-чудака идти на контакт с жесткой современностью.

Теперь обратимся к дневнику Каблукова, который по свежим следам событий записал рассказ Мандельштама о злополучном происшествии: «Был И<осиф> Е<мильевич> Мандельштам, 29-го сентября неудачно сдававший экзамен по латинским авторам у Малеина.

Малеин требует знания Катулла и Тибулла, Мандельштам же изучил лишь Катулла. Тибулла переводить отказался, за что и был прогнан с экзамена. При этом у него похитили чужой экземпляр Катулла с превосходными комментариями»[224].

Сопоставив объективное описание мандельштамовского экзамена в дневнике Каблукова с беллетризованной версией Каверина, мы получим редкую возможность воочию проследить за тем, как «кусок грубой и бедной жизни» под пером мемуариста преображается в «сладостную легенду».

Великому латинисту Александру Иустиновичу Малеину в воспоминаниях Каверина был предпочтен великий эллинист Григорий Филимонович Церетели (вероятнее всего, потому, что рядом со студентом-чудаком мемуаристу хотелось изобразить профессора-чудака; Церетели такой репутацией обладал, а Малеин – нет). Катуллу и Тибуллу предпочтен Эсхил (вероятнее всего потому, что мемуаристу хотелось подчеркнуть разницу между Мандельштамом-студентом и Мандельштамом-поэтом; имя Эсхила Мандельштам в своих стихах упоминает, а имена Катулла и Тибулла – нет). И, наконец, самое главное – вполне ординарную ситуацию Каверин предпочел изобразить как экстремальную: студент, выучивший первый вопрос и не подготовивший второго, предстал у него рефлектирующим эгоцентриком, мучительно расплачивающимся за свое неумение и нежелание ладить с жизнью.

Характеристика Мандельштама-студента Кавериным, а в еще большей степени – Владиславом Ходасевичем окончательно лишится какой бы то ни было убедительности, если мы вспомним о том, что экзамен по латинским авторам Мандельштам с оценкой «удовлетворительно» пересдал 18 октября 1916 года.

А летом 1915 года, готовясь к злополучному экзамену по античным авторам, поэт жил в Коктебеле, в доме Максимилиана

Волошина и, вероятно, штудировал исследование уже упоминавшегося нами А.И. Малеина «Пушкин и Овидий»[225]. Во всяком случае, в коктебельском мандельштамовском стихотворении «С веселым ржанием пасутся табуны…» облик изгнанника-Овидия[226] совмещен с обликом изгнанника-Пушкина. Можно также отметить, что в своем стихотворении Мандельштам по-акмеистически ненавязчиво, но вполне отчетливо и разнообразно варьирует сочетание букв «с» и «т», как бы намекая на *сто*ле*т*ие, разделяющее его эпоху и эпоху Пушкина[227]:

С веселым ржанием паСуТСя табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
УноСиТ времени прозрачная СТремнина.

Топча по осени дубовые лиСТы,
Что гуСТо СТелюТСя пуСТынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты –
Сей профиль женСТвенный с коварною горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу АвгуСТа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Да будет в СТароСТи печаль моя СвеТла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была,
И – месяц Цезаря – мне авгуСТ улыбнулся[228].

О тогдашнем коктебельском быте Мандельштама хорошее представление дает несколько раздраженное письмо Елены Оттобальдовны Волошиной сыну, Максимилиану, от 14 июля 1915 года: «…Слезно молю, как например, на днях поэта Мандельштама не делать по нескольку раз на день запруд в комнате, не бросать книг на террасе, окурков на диване, и, кажется, мольбы мои на него действуют. Мы прозвали его M-lle Зизи, и он Христом-богом просит не называть его так, боясь, что кличка пристанет к нему, как лист мушиной смерти»[229]. 5 августа она же писала Ю.Л. Оболенской о Мандельштаме: «Он в сущности неплохой человек, талантливый поэт, умен, но за месяц пребывания своего здесь успел всем надоесть своей мнительностью, некоторой бесцеремонностью, а мне – главным

образом неряшливостью и беспамятством относительно некоторых моих требований»[230].

4

14 апреля 1915 года умер выдающийся русский композитор Александр Николаевич Скрябин. «Для людей “аполлоновского” круга, – отмечает Р.Д. Тименчик, – музыка Скрябина была больше чем музыкой – заклинанием и предсказанием судьбы поколения. В день, когда Мандельштам узнал о смерти Скрябина, он, кажется, буквально кинулся к далеко не коротко знакомому Блоку, чтобы с ним поговорить о Скрябине, – именно так можно понять скупую и неприязненную запись в блоковской записной книжке»[231].

Сын преподавательницы музыки, Мандельштам в течение всей своей жизни не оставлял занятий *музыкософией* (по меткому слову Б.А. Каца), то есть попыток «уразумения музыки»[232]. «Мандельштам с сокрушением говорил о теперешнем разрыве литературы с музыкой, об оскудении музыкальной стихии», – 15 февраля 1928 года записал в своем дневнике Иннокентий Оксенов[233].

Можно, конечно, привести мнение придирчивого спутника последних лет жизни Мандельштама, Бориса Кузина, который считал, что «музыка не была» «родной стихией» поэта[234]. Однако хорошо знавший Мандельштама композитор-футурист Артур Лурье полагал совсем иначе. В своих мемуарах он писал: «Мне часто казалось, что для поэтов, даже самых подлинных, контакт со звучащей, а не воображаемой музыкой не является необходимостью и их упоминания о музыке носят скорее отвлеченный, метафизический характер. Но Мандельштам представлял исключение: живая музыка была для него необходимостью. Стихия музыки питала его поэтическое сознание»[235]. «В музыке О<сип> был как дома, и это крайне редкое свойство», – подтверждала Анна Ахматова[236]. «Мне ставили руку по системе <польского пианиста и педагога> Лешетицкого», – не без щегольства сообщал сам поэт в повести «Египетская марка» (II: 481).

Весьма выразительное, хотя, конечно, и не исчерпывающее представление о пристрастиях Мандельштама в музыке способно дать изощренное метафорическое описание разнообразных партитур во все той же «Египетской марке» (1927): «Громадные концертные спуски шопеновских мазурок, широкие лестницы с колокольчиками листовских этюдов, висячие парки с куртинами

Моцарта[237], дрожащие на пяти проволоках, ничего не имеют общего с низкорослыми кустарниками бетховенских сонат.

Миражные города нотных знаков стоят, как скворешники, в кипящей смоле.

Нотный виноградник Шуберта[238] всегда расклеван до косточек и исхлестан бурей.

Когда сотни фонарщиков с лесенками мечутся по улицам, подвешивая бемоли к ржавым крюкам, укрепляя флюгера диезов, снимая целые вывески поджарых тактов, – это, конечно, Бетховен; но когда кавалерия восьмых и шестнадцатых в бумажных султанах с конскими значками и штандартиками рвется в атаку – это тоже Бетховен[239].

Нотная страница – это революция в старинном немецком городе.

Большеголовые дети. Скворцы. Распрягают карету князя. Шахматисты выбегают из кофеен, размахивая ферзями и пешками.

Вот черепахи, вытянув нежную голову, состязаются в беге – это Гендель.

Но до чего воинственны страницы Баха – эти потрясающие связки сушеных грибов[240] <…>.

Пусть ленивый Шуман развешивает ноты, как белье для просушки, а внизу ходят итальянцы, задрав носы; пусть труднейшие пассажи Листа, размахивая костылями, волокут туда и обратно пожарную лестницу» (II: 480–481)[241].

Приведем также упоенный перечень из мандельштамовского воронежского стихотворения 1935 года, посвященного скрипачке Галине Бариновой:

> За Паганини длиннопалым
> Бегут цыганскою гурьбой –
> Кто с чохом – чех, кто с польским балом,
> А кто с венгерской чемчурой.
>
> Девчонка, выскочка, гордячка,
> Чей звук широк, как Енисей,
> Утешь меня игрой своей –
> На голове твоей, полячка,
> Марины Мнишек холм кудрей,
> Смычок твой мнителен, скрипачка.
>
> Утешь меня Шопеном чалым,
> Серьезным Брамсом[242], нет, постой –
> Парижем мощно-одичалым,

Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой –

Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Из австрийских композиторов для Мандельштама был еще важен Глюк, чья опера «Орфей и Эвридика» стала фоном для мандельштамовского стихотворения 1920 года:

Снова Глюк из жалобного плена
Вызывает сладостных теней.
Захлестнула окна Мельпомена
Красным шелком в храмине своей.
<…>
После гама, шелеста и крика
До чего кромешна тьма.
Ничего, голубка, Эвридика,
Что у нас студеная зима[243].

Представление оперы Рихарда Вагнера «Валькирия» в Мариинском театре отразилось в ироническом стихотворении Мандельштама 1914 года:

Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

Это стихотворение представляет собой чуть замаскированный выпад Мандельштама-акмеиста против злоупотреблявшего «большими темами и отвлеченными понятиями» (II: 291) русского символизма. Образ занавеса во второй его строке, вероятно, отсылает разбирающегося читателя к следующему фрагменту статьи Городецкого «Некоторые течения в современной русской

поэзии»: «Катастрофа символизма совершалась в тишине – хотя при поднятом занавесе. Ослепительные “венки сонетов” засыпали сцену. Одна за другой кончали самоубийством мечты о мифе, трагедии, о великом эпосе, о великой в просторе своей лирике»[244]. Напомним, что едва ли не самыми увлеченными пропагандистами Вагнера в России были именно символисты. Достаточно будет указать на «разбавленные вагнеровскими аллегориями»[245] стихи Андрея Белого из книги «Золото в лазури»:

> «Швырну расплавленные гири я
> С туманных башен…»
> Вот мчится в пламени валькирия,
> Ей бой не страшен…

или на стихотворение Александра Блока «Валькирия (на мотив из Вагнера)»[246].

Также в стихах, прозе и письмах Мандельштама упоминается «легкая и воинственная музыка» из оперы Бизе «Кармен» (II: 254); «рассудочная музыка» Дебюсси (II: 591); «славянские танцы № 1 и № 8» Дворжака, в которых поэта привлекли «бетховен<ская> обработка народных тем, богатство ключей, умное веселье и щедрость» (IV: 199); «Палестины песнь», от которой «нисходит благодать» (образ из стихотворения «В хрустальном омуте какая крутизна…»); и, наконец, Чайковский, к чьей музыке отношение Мандельштама с годами слегка менялось. В «Шуме времени» рассказывается о детском мандельштамовском восприятии произведений композитора: «Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желанье Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди <дачного забора> и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра» (II: 364). Но в набросках к несохранившемуся стихотворению 1937 года поэт дал творчеству композитора такую характеристику: «Чайковского боюсь – он Моцарт на бобах…»

Из мандельштамовской некрологической статьи «Пушкин и Скрябин» (1914), тоже сохранившейся только в отрывках, становится понятным, что скрябинская музыка привлекала Мандельштама не в последнюю очередь своей удивительной цельностью, которой, как мы помним, поэт-акмеист был одержим: «Центр тяжести скрябинской музыки лежит в гармонии: гармоническая архитектоника звучного мгновения, великолепная

архитектоника в полуночном разрезе звучности и почти аскетическое пренебрежение к формам» (I: 205).

18 ноября 1915 года Мандельштам вместе с Каблуковым был на концерте дирижера С.А. Кусевицкого, посвященном памяти Скрябина. 30 декабря поэт принес Каблукову в подарок второе издание «Камня», выпущенное акмеистическим «Гипербореем» (на обложке этого издания был проставлен 1916 год). «<П>о внешности оно не очень удачно: жидкая и дряблая бумага типа плохого “верже”, невыдержанный шрифт, более чем достаточно опечаток, иногда явно безобразных», – с огорчением записал в своем дневнике Каблуков[247].

На второй «Камень» в столичной и провинциальной прессе появилось около двадцати рецензий, в основном сдержанно-одобрительных. Своей благожелательностью выделялись отклики Гумилева, Волошина и молодого критика Габриэля Гершенкройна. Своею резкой недоброжелательностью – рецензия пушкиниста-скандалиста Николая Лернера. «У г. Мандельштама есть дарование, но рядовое, незначительное, и принесенный им на алтарь русской музы тяжелый, плохо обтесанный и тусклый “Камень” скоро затеряется в груде таких же усердных, но бедных приношений»[248]. Двадцать лет спустя, даря С.Б. Рудакову второе издание «Камня», Мандельштам снабдил его следующим инскриптом: «Эта книжка доставила большое огорчение моей покойной матери, прочитавшей в “Речи” рецензию Н.О. Лернера»[249] (справедливости ради, необходимо напомнить, что в пореволюционные годы Лернер оценивал творчество Мандельштама – особенно его прозу – куда доброжелательнее).

Многие рецензенты писали о поэзии автора «Камня» как о наиболее характерном явлении акмеизма, хотя акмеизм к этому времени уже изрядно выдохся.

16 апреля 1914 года, на следующий день после очередной встречи с Николаем Гумилевым, Сергей Городецкий отправил ему пространное послание, содержащее обвинения в «уклоне от акмеизма»[250], который Гумилев якобы не считает школой. В ответном письме Гумилев с обидой утверждал: «<Р>ешать о моем уходе из акмеизма или из Цеха поэтов могу лишь я сам, и твоя инициатива в этом деле была бы только предательской <…>. Я всегда был с тобой откровенен и, поверь, не стану цепляться за наш союз, если ему суждено кончиться»[251]. Впоследствии отношения между двумя вождями акмеизма были до некоторой степени восстановлены. «В 1915 году произошла попытка примирения, и мы были у Городецких на какой-то новой квартире (около мечети) и даже ночевали у них, – вспоминает Ахматова, – но, очевидно, трещинка была слишком глубокой, и возвращение к

прежнему было невозможно»[252].

Впрочем, Мандельштам успел поссориться с Городецким еще раньше. 21 октября 1913 года на квартире Николая Бруни состоялось заседание «Цеха», на котором автор «Камня» был временно избран синдиком объединения (вместо отсутствовавшего Городецкого). «Вдруг является Городецкий. Пошла перепалка, во время которой М<андельшта>м и Г<ородецкий> наговорили друг другу массу дерзостей и расстались врагами» (Из письма М. Долинова – к Б. Садовскому)[253]. Как нам еще предстоит убедиться, ссора Мандельштама с Городецким не стала роковой для отношений двух поэтов. Однако домашняя и уютная обстановка акмеистического дружеского кружка, столь ценимая недолгим синдиком объединения, непоправимо потускнела. Из воспоминаний Ахматовой: «Мандельштам довольно усердно посещал собрания Цеха, но в зиму 1913–14 (после разгрома акмеизма) мы стали тяготиться Цехом и даже дали Городецкому и Гумилеву составленное Осипом и мною прошение о закрытии Цеха. Городецкий наложил резолюцию: “Всех повесить, а Ахматову заточить…”»[254]

Из тех рецензий на «Камень», где об акмеизме не говорится ни слова, особого внимания заслуживает отклик на книгу Мандельштама, написанный Максимилианом Волошиным: «<П>ередо мной два сборника стихов, Софии Парнок и О. Мандельштама, вышедшие в этом году, волнующие по-разному, но одним и тем же волнением. Волнением голоса, в который хочется вслушаться, который хочется остановить, но он скользит, как время между пальцев <…>. Рядом с гибким и разработанным женским контральто, хорошо знающим свою силу и умеющим ею пользоваться, юношеский бас О. Мандельштама может показаться неуклюжим и отрочески ломающимся. Но какое богатство оттенков, какой диапазон уже теперь намечены в этом голосе, который будет еще более гибким и мощным»[255].

Обожавший игровую стихию Волошин не случайно совместил свой отзыв о «Камне» с откликом на книгу Парнок «Стихотворения»: именно Мандельштаму в первых числах 1916 года было суждено вытеснить Софию Парнок из сердца и стихов Марины Цветаевой. Шутки на эту тему процветали в кругу Волошина. Из коктебельских воспоминаний Елизаветы Тараховской: «О. Мандельштам очень любил стихи Марины Цветаевой и не любил стихов моей сестры Софьи Парнок. Однажды мы разыграли его: прочитав стихи моей сестры Софии Парнок, выдали их за стихи Марины Цветаевой. Он неистово стал расхваливать стихи моей сестры. Когда розыгрыш был раскрыт, он долго на всех нас злился»[256].

С сестрами Анастасией и Мариной Цветаевыми Мандельштам познакомился еще летом 1915 года в Коктебеле, в гостеприимном доме Волошина (сам хозяин об эту пору проживал в Париже). Особой теплоты между ними тогда не возникло.

В начале января 1916 года Марина Цветаева и Мандельштам вновь встретились в Петрограде, и эта встреча послужила прологом к первой разделенной – пусть и ненадолго – мандельштамовской любви. Вскоре Цветаевой будет вручено второе издание «Камня» с такой дарственной надписью: «Марине Цветаевой – камень-памятка. Осип Мандельштам. Петербург, 10 янв. 1916»[257]. А 20 января Мандельштам впервые в жизни посетил вторую столицу. «<Н>е договорив со мной в Петербурге, приехал договаривать в Москву» (Из письма Цветаевой к М.А. Кузмину)[258].

В стихах Мандельштама и Цветаевой этого периода темы любви и Москвы причудливо наплывают друг на друга, дополняя одна другую. «– Что “Марина” – когда Москва?! “Марина” – когда Весна?! О, Вы меня *действительно* не любите!»[259] Этот относящийся к весне 1916 года свой упрек Мандельштаму вспоминала Цветаева семь лет спустя в письме к А. Бахраху. Ей хотелось, чтобы Мандельштам любил всю Весну, Москву, весь мир в ней одной, в Марине. И в кратком союзе, и в стихотворном диалоге двух поэтов Цветаевой досталась роль «ведущей», а Мандельштаму – роль «ведомого». Ассоциации и мотивы из московских стихов Цветаевой, обращенных к Мандельштаму, варьировались и усложнялись в стихотворениях Мандельштама, обращенных к Цветаевой:

Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По церковке – все сорок сороков,
И реющих над ними голубков.

И Спасские – с цветами – ворота,
Где шапка православного снята.

М. Цветаева. «Из рук моих – нерукотворный град…»

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

О. Мандельштам. «На розвальнях, уложенных соломой…»[260]

Эти и подобные им стихи Мандельштама Цветаева позднее назовет «холодными великолепиями о Москве»[261].

До июня 1916 года Мандельштам посещал Москву столь регулярно, что это дало повод М.Р. Сегаловой пошутить в письме к Сергию Каблукову (хлопотавшему о месте для поэта в одном из московских банков): «Если он так часто ездит из Москвы в Петербург и обратно, то не возьмет ли он место и там, и здесь? Или он уже служит на Николаевской железной дороге? Не человек, а самолет»[262]. Между прочим, в Москве Мандельштам посетил перебравшегося туда Вячеслава Иванова, который «признал» (выражение Каблукова) новые мандельштамовские стихи[263].

Сверхцеломудренного Каблукова настроения, овладевшие поэтом, глубоко расстроили. «Какая-то женщина явно вошла в его жизнь, – записывает он в своем дневнике. – Религия и эротика сочетаются в его душе какою-то связью, мне представляющейся кощунственной. Эту связь признал и он сам, говорил, что пол особенно опасен ему, как ушедшему из еврейства, что он сам знает, что находится на опасном пути, что положение его ужасно, но сил сойти с этого пути не имеет и даже не может заставить себя перестать сочинять стихи во время этого эротического безумия»[264]. Вряд ли Каблукову понравился «кощунственный» цветаевский подарок Мандельштаму – кольцо, «серебряное, с печатью – Адам и Ева под древом добра и зла» (описание из записной книжки самой поэтессы)[265].

19 мая Цветаева отправила Елизавете Эфрон письмо, ясно свидетельствовавшее о том, что ее чувства к Мандельштаму отпылали. «Конечно, он хороший, я его люблю, – писала она, – но он страшно слаб и себялюбив, это и трогательно, и расхолаживает. Я убеждена, что он еще не сложившийся душою человек, и надеюсь, что когда-нибудь – через счастливую ли, несчастную ли любовь – научится любить не во имя свое, а во имя того, кого любит. Ко мне у него, конечно, не любовь, это – попытка любить, может быть и жажда»[266].

Тем не менее в первых числах июня 1916 года Мандельштам

приехал погостить к Цветаевой в подмосковный Александров. О развернувшихся здесь событиях поэтесса пятнадцать лет спустя «с *материнским* юмором» (собственная цветаевская автохарактеристика из письма к С. Андрониковой)[267] поведала в мемуарном очерке «История одного посвящения»: «Отъезд <Мандельштама в Коктебель> произошел неожиданно если не для меня с моим четырехмесячным опытом – с февраля по июнь – мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и *бегств*), то для него, с его детской тоской по дому, от которого всегда бежал»[268].

С юмором, но отнюдь не «материнским», Цветаева изобразила обстоятельства визита Мандельштама в Александровскую слободу в письме ко все той же Елизавете Эфрон от 12 июня 1916 года: «<О>н умолял позволить ему приехать тотчас же и только неохотно согласился ждать до следующего дня. На следующее утро он приехал. Мы, конечно, сразу захотели вести его гулять – был чудесный ясный день, – он, конечно, не пошел – лег на диван и говорил мало. Через несколько времени мне стало скучно, и я решительно повела его на кладбище <…>. День прошел в его жалобах на судьбу, в наших утешениях и похвалах, в еде, в литературных новостях. Вечером – впрочем, ночью, около полуночи, – он как-то приумолк, лег на оленьи шкуры и стал неприятен <…>. В час ночи мы проводили его почти до вокзала. Уезжал он надменный»[269].

Эхо визита в Александров звучит в последнем из обращенных к Цветаевой стихотворении Мандельштама:

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы
……
……
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться – значит быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой,
Я знаю, он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок[270].

(Отметим в скобках, что в финальной строфе этого стихотворения обнаруживается синтаксическая двусмысленность из тех, что огорчали Сергия Платоновича Каблукова: читателю остается только гадать, кого «не отрываясь целовала» «монашенка» – изображение Спаса или самого поэта?)

О внутреннем состоянии Мандельштама, расставшегося с Цветаевой, выразительно свидетельствует еще одна деталь из письма поэтессы к Елизавете Эфрон: «Кроме того, <он> страстно мечтал бросить Коктебель и поступить в монастырь, где собирался сажать картошку»[271].

Вместе с братьями Осипом и Александром Мандельштамами в коктебельском доме Максимилиана Волошина летом 1916 года проживали еще не написавший своих лучших стихов Владислав Ходасевич, художница Юлия Оболенская, пианистка и композитор Ю.Ф. Львова, чьей дочери Ольге Ваксель спустя несколько лет предстояло стать героиней мандельштамовской любовной лирики… Если верить Ходасевичу, местное общество отнеслось к Мандельштаму без большой приязни. «Мандельштам. Осточертел. Пыжится. Выкурил все мои папиросы. Ущемлен и уязвлен. Посмешище всекоктебельское», – 18 июля писал Ходасевич Б.А. Диатроптову[272]. Следует, впрочем, учитывать то обстоятельство, что и всегда-то не слишком доброжелательный Ходасевич в данном случае мог быть раздосадован собственным неуспехом на поэтическом вечере, который состоялся 18 июля в

Феодосии. Из письма Ю. Оболенской к М. Нахман: «Ходасевичу и <актеру> Массалитинову, на бис читавшему Пушкина, <из публики> кричали: “довольно этих Мандельштамов”»[273].

В двадцатых числах июля Осип и Александр Мандельштамы получили телеграмму от отца с сообщением о тяжелейшем инсульте, который случился у Флоры Осиповны. 26 июля, не приходя в сознание, мать поэта скончалась в петербургской Петропавловской больнице. Старшие сыновья успели только на похороны. Заупокойная служба совершилась в Доме для отпевания умерших еврейского Преображенского кладбища. Описание этой службы находим в таинственном мандельштамовском стихотворении, в основу которого легли впечатления от погребения матери:

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло!
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее –
Баю-баюшки-баю –
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян[274].

«Со смертью матери начался распад семьи Мандельштамов, – свидетельствовал младший брат поэта, Евгений. – Каждый из нас по-своему пережил это тяжелое горе. Мы сразу ощутили пустоту и неустроенность. Мучила мысль о нашей вине перед матерью за ее раннюю смерть, о нашем эгоизме и недостаточном внимании. Смерть матери оставила свой след на душевном складе всех сыновей. Особенно сильно поразила она наиболее реактивного из нас – Осипа <…>. Чем старше становился Осип, тем острее ощущал он свою вину перед мамой. Со временем Осип до конца понял, чем ей обязан, что она сделала для него»[275].

Полукомический и трогательный штрих из мемуаров Нины Бальмонт-Бруни: «<О>ни с братьями страшно любили свою мать, и когда нуждались в деньгах, то посылали друг другу телеграмму: “Именем покойной матери, пришли сто” или “Прошу сто”. И Осип Эмильевич говорил: “Никогда не было отказов, но зато мы этим и не злоупотребляли”»[276].

Новый 1917 год Мандельштам встретил у Каблукова, успев пережить еще одну влюбленность – в грузинскую княжну Саломею Николаевну Андроникашвили (Андроникову) (1888–1982). «Нервная, очень подвижная, она все делала красиво: красиво курила, красиво садилась с ногами в большое кресло, красиво брала чашку с чаем, и даже в ее манере слегка сутулиться и наклонять вперед голову, когда она разговаривала стоя, было что-то милое и женственное» (из рассказа В. Карачаровой «Ученик чародея», прототипом героини которого, как установил Р.Д. Тименчик, послужила Андроникова)[277]. Мандельштам посвятил Андрониковой несколько стихотворений, в том числе прославленную «Соломинку» (1916):

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, – что может быть печальней, –
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей[278].

5

Февральская революция застала поэта в Петрограде. Десять лет спустя в повести «Египетская марка» (1927) он пренебрежительно обзовет автомобили Временного правительства «шалыми» (II: 473), само правительство – «лимонадным» (II: 473), а государство – уснувшим, «как окунь» (II: 478). Но это, без сомнения, ретроспективная оценка. Первоначально Мандельштам встретил февраль 1917 года с воодушевлением. Е.А. Тоддес совершенно справедливо отметил, что о тогдашних настроениях поэта красноречиво свидетельствует принятое им весной 1917 года решение опубликовать свое недавно созданное стихотворение «Дворцовая

площадь»[279]. Стихотворение это завершается зловещей эмблемой черно-желтого императорского штандарта:

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится –
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла!

Четырьмя годами раньше Мандельштам написал загадочное восьмистишие о той же Дворцовой площади, в третьей строке которого карикатура на Павла I была совмещена с шаржем на Александра I, а в четвертой Александр I и Александр II через общее имя были объединены в целостный образ императора, замученного зловещим Зверем из Апокалипсиса (употребленная в шестой строке формула «на камне и крови» должна была напомнить читателю о храме, сооруженном на месте смертельного ранения Александра II):

Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил Зверь.

Курантов бой и тени государей…
Россия, ты – на камне и крови —
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови![280]

Как тут не вспомнить о мандельштамовской характеристике Огюста Барбье, который, согласно автору «Камня», умел «одной строкой, одним метким выражением определить всю сущность крупного исторического явления»? (II: 305)

И все-таки до октября 1917 года Мандельштам ощущал себя поэтом лирическим, порой историософским, но не поэтом-гражданином. В конце мая 1917 года он, не отступая от уже сложившейся традиции, покинул столицу и уехал в Крым. Много позднее, в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…» (1931), мандельштамовский отъезд из Петрограда был мотивирован так:

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных

Сколько я принял смущенья, надсады и горя![281]

Среди тех, кто окружал Мандельштама в Крыму летом и осенью 1917 года в Алуште, красавиц было предостаточно. Это и Анна Михайловна Зельманова, и Саломея Николаевна Андроникова, и поэтесса Анна Дмитриевна Радлова, чьи стихи Михаил Кузмин хвалил, а Мандельштам пародировал («Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана», – сочла нужным указать в своих «Листках из дневника» ненавидевшая Радлову Ахматова)[282]. 3 августа, в день именин Андрониковой, компанией поэтов и филологов была разыграна шуточная пьеса «Кофейня разбитых сердец», сложенная при участии Мандельштама. Он сам выведен в пьесе под именем поэта дона Хозе Тиж д'Аманда – перевод на французский фамилии Mandelstamm. В пьесе этот персонаж изъясняется строками из чуть переиначенных мандельштамовских стихотворений. Интересно, что никому из компании, включая Зельманову и Андроникову, по-видимому, не были известны стихи целомудренно-сдержанного Мандельштама о любви. Неслучайно в уста Тиж д'Аманда был вложен такой монолог, обыгрывающий заглавие первой мандельштамовской книги:

> Любовной лирики я никогда не знал.
> В огнеупорной каменной строфе
> О сердце не упоминал.

Также обратим внимание на то обстоятельство, что сцены с участием Тиж д'Аманда содержат своеобразный травестийный комментарий к будущим мандельштамовским строкам о смущеньи, надсаде и горе, принятом им от «европеянок нежных». Из восьми реплик, обращенных к несчастному поэту главной героиней «Кофейни» – Суламифью (Саломеей Андрониковой), – четыре звучат не слишком ласково: «Чушь»; «Вздор. / Ступайте-ка влюбиться, / Да повздыхать, да потомиться, / Тогда пожалуйте в кафе»; «Куда ты лезешь? Ишь, какой проворный! / Проваливай»; «Как эта мысль вам в голову пришла?»

Спустя несколько дней после именин Саломеи Андрониковой Мандельштам пришел в гости на еще одну алуштинскую дачу, где поселился художник Сергей Юрьевич Судейкин со своей красавицей-женой Верой Артуровной (по детскому прозвищу Бяка). Этот визит описан в дневнике Судейкиной: «Белый двухэтажный дом с белыми колоннами, окруженный виноградниками, кипарисами и ароматами полей <…>. Здесь

мы будем сельскими затворниками, будем работать и днем дремать в тишине сельских гор. Так и было. Рай земной. И вдруг появился Осип Мандельштам <…>. Как рады мы были ему <… >. Мы повели его на виноградники – “ничего другого не можем Вам показать. Да и угостить можем только чаем и медом. Хлеба нет”. Но разговор был оживленный, не политический, а об искусстве, о литературе, о живописи. Остроумный, веселый, очаровательный собеседник. Мы наслаждались его визитом»[283]. Сознательно или бессознательно, Вера Артуровна воспроизвела в своем рассказе ситуацию знаменитой «Тавриды» Константина Батюшкова:

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
<…>
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод,
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.

Мандельштам, для которого Батюшков был поэтом, с чьей биографии он во многом «делал» собственную жизнь, изобразил свой визит к Судейкиным, воспользовавшись топонимом «Таврида» как заветным паролем:

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.
<…>
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы[284].

В начале октября в Феодосии Мандельштам мимолетно пересекся с сестрами Цветаевыми. Реплика Марины, обращенная к Анастасии и ее спутникам: «Пожалуйста, не оставляйте нас вдвоем»[285].

В Петроград Мандельштам возвратился 11 октября 1917 года, то есть к самой кульминации «событий мятежных», которые

отозвались в сердце поэта болью и страхом. Из протокола допроса Мандельштама от 25 мая 1934 года: «Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном в “Воле народа” стихотворении “Керенский”. В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую КЕРЕНСКОГО, называя его птенцом Петра. А ЛЕНИНА называю временщиком»[286].

Сделав поправку на специфику процитированного документа, примем к сведению содержащуюся в нем информацию. Тем более что в стихотворении «Когда октябрьский нам готовил временщик…» (которое в протоколе допроса фигурирует под заглавием «Керенский»), Мандельштам дал весьма недвусмысленную оценку действиям обеих противоборствующих сторон:

> – Керенского распять, – потребовал солдат,
> И злая чернь рукоплескала, –
> Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
> Чтоб сердце биться перестало!

А в другом послеоктябрьском стихотворении, обращенном к Анне Ахматовой, Мандельштам горестно сокрушался, не забывая при этом обыгрывать название эсеровской газеты, в которой это стихотворение было помещено:

> И в декабре семнадцатого года
> Всё потеряли мы, любя:
> Один ограблен волею народа,
> Другой [народ – *О.Л.*] ограбил сам себя…[287]

Вместе с Ахматовой в конце 1917 – начале 1918 года Мандельштам участвовал в концертах Политического Красного Креста, выручка от которых предназначалась для заключенных в Петропавловской крепости членов Временного правительства. «Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом, – писала Ахматова. – Душа его была полна всем, что совершилось. Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово *народ* не случайно фигурирует в его стихах.

Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917–18

годах, когда я жила на Выборгской у Срезневских»[288].

Частые встречи Мандельштама и Ахматовой разрешились неожиданным кризисом. Из ахматовских мемуаров: «После некоторого колебания решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что может дать людям материал для превратного толкования наших отношений. После этого, примерно в марте <1918 года> Мандельштам исчез <…>. Он неожиданно очень грозно обиделся на меня[289]». В дневнике Павла Лукницкого изложена куда более жесткая версия всего происшедшего: «Было время, когда О. Мандельштам сильно ухаживал за нею. <А.А.>: “Он был мне физически неприятен, я не могла, например, когда он целовал мне руку”. Одно время О. М. часто ездил с ней на извозчиках. А. А. сказала, что нужно меньше ездить во избежание сплетен. “Если б всякому другому сказать такую фразу, он бы ясно понял, что не нравится женщине… Ведь если человек хоть немного нравится, он не посчитается ни с какими разговорами, а Мандельштам поверил мне прямо, что это так и есть…”»[290].

Объективности ради напомним, что во «Второй книге» Надежды Яковлевны, не бывшей, впрочем, непосредственной свидетельницей обострения отношений между двумя поэтами, все акценты расставлены совершенно по-иному: «Мандельштам называл это “ахматовскими фокусами” и смеялся, что у нее мания, будто все в нее влюблены <…>. Я понимаю обиду Мандельштама, когда <…> Ахматова вдруг упростила отношения в стиле “мальчика очень жаль” и профилактически отстранила его»[291].

В апреле 1918 года Мандельштам устроился делопроизводителем и заведующим Бюро печати в Центральную комиссию по разгрузке и эвакуации Петрограда. Советская служба вряд ли стала для него только вынужденным компромиссом с новыми властями, оправданным необходимостью добывать средства для своего существования. «Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям», – показал Мандельштам на допросе в 1934 году[292]. Формула «делаю поворот» находит многозначительное соответствие в программном мандельштамовском стихотворении «Прославим, братья, сумерки свободы…», написанном в мае 1918 года (исследователи до сих пор спорят, о каких сумерках идет речь в этом стихотворении – вечерних или утренних):

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды

Опущен грозный лес тенет.
Восходишь ты в глухие воды –
О солнце, судия, народ!
<…>
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля[293].

Впрочем, зубодробительный советский критик не преминул отметить, что «свобода» в этом стихотворении подразумевается «мелкобуржуазная»[294].

«Деятельность советского правительства проходит под знаком творчества», – осенью 1918 года убеждал поэт С.М. Волконского[295]. От презрения и ненависти к новому порядку Мандельштам повернул к признанию исторической закономерности и даже необходимости всего случившегося. От горделивого осознания собственного изгойства он поворотил к стремлению объединить себя с тем народом, волею которого оправдывала свою политику пришедшая к власти сила. «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня “биографию”, ощущение личной значимости, – напишет Мандельштам в 1928 году. – Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту» (II: 496).

1 июня 1918 года Мандельштам по рекомендации А.В. Луначарского поступил служить в Наркомпрос на должность заведующего подотделом художественного развития учащихся в отделе реформы высшей школы с окладом 600 рублей. Когда комиссариат переехал в Москву, Мандельштам также перебрался в новую старую столицу. Из воспоминаний мандельштамовского сослуживца Петра Кузнецова: «Работа была нудная, канцелярская. Самым интересным в ней были командировки для описания библиотек, сохранившихся в конфискованных помещичьих усадьбах»[296].

В Москве поэт пережил короткий рецидив возврата к своим прежним политическим пристрастиям, хотя от методов борьбы, диктуемых этими пристрастиями, он отрекся давно и навсегда. «Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама, – свидетельствовала Надежда Яковлевна. – Убийцу Урицкого, Каннегисера, Мандельштам встречал в “Бродячей собаке”. Я

спросила про него. Мандельштам ответил сдержанно и прибавил: “Кто поставил его судьей?”»[297] Это Каннегисеру принадлежит вполне серьезная фраза: «Мандельштам оказывает мне честь, что берет у меня деньги»[298].

Поэт поселился в гостинице «Метрополь», где проживали советские чиновники самого разного ранга.

В 1923 году Мандельштам ностальгически вспоминал в очерке «Холодное лето»: «Когда из пыльного урочища “Метрополя” – мировой гостиницы, где под стеклянным шатром я блуждал в коридорах улиц внутреннего города, изредка останавливаясь перед зеркальной засадой или отдыхая на спокойной лужайке с плетеной бамбуковой мебелью, – я выхожу на площадь, еще слепой, глотая солнечный свет, мне ударяет в глаза величавая явь Революции и большая ария для сильного голоса покрывает гудки автомобильных сирен» (II: 307).

Именно в «Метрополе» Мандельштам, кажется, единственный раз в своей жизни лицом к лицу столкнулся с В.И. Лениным[299].

В Москве Осип Эмильевич завел если не дружбу, то близкое товарищество с левыми эсерами. Он начал активно печататься в левоэсеровских изданиях, уцелевшие сотрудники которых позднее вспоминали, что между собой они даже называли автора «Сумерек свободы» «нашим поэтом».

Однако в начале июля 1918 года Мандельштам вступил в серьезный конфликт с одним из лидеров левых эсеров – Яковом Блюмкиным. Обстоятельства этого конфликта изложены в беллетризованных мемуарах Георгия Иванова и в показаниях Феликса Дзержинского (на прием к которому Мандельштам сумел пробиться с помощью Ларисы Рейснер) по делу об убийстве Блюмкиным германского посланника Мирбаха. Приведем здесь версию Дзержинского, которая, как ни странно, заслуживает большего доверия: «За несколько дней, может быть, за неделю до покушения я получил от <Федора> Раскольникова <мужа поэтессы Ларисы Рейснер> и Мандельштама (в Петрограде работает у Луначарского) сведения, что этот тип <Блюмкин> в разговорах позволяет себе говорить такие вещи: жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку – через два часа нет человеческой жизни <…>. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, если он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами»[300]. Георгий Иванов сообщает, что поэт выхватил у Блюмкина и разорвал пачку «расстрельных» ордеров[301], однако к этой информации следует отнестись с осторожностью: вряд ли у Блюмкина на руках были такие ордера – его тогдашняя должность в ЧК не имела прямого отношения к расстрелам.

Спасаясь от Блюмкина, Мандельштам спешно покинул Москву. «В начале июля я захворал истерией» – таким объяснением он отделался, мотивируя на заседании Наркомпроса свой самовольный отъезд из столицы[302]. В течение следующих семи месяцев поэт постоянно курсировал между Петроградом и Москвой. «С конца 1918 года наступает политическая депрессия, вызванная крутыми методами осуществления диктатуры пролетариата» (из протокола допроса Мандельштама от 25 мая 1934 года)[303]. Случайно встреченному в Летнем саду знакомому (Сергею Риттенбергу) Мандельштам читает строки своего любимого Верлена и многозначительно прибавляет: «Знаете, что Верлен написал это в тюрьме?»[304]

В середине февраля 1919 года, накануне репрессий против левых эсеров, Мандельштам вместе с братом Александром уехал в Харьков. Здесь он получил должность с пышным названием: заведующий поэтической секцией Всеукраинского литературного комитета при Совете искусств Временного рабоче-крестьянского правительства Украины.

«Когда его в 19 году спросили, что он делает, он ответил: – Я охраняю культурные ценности, во мне самом заключающиеся». Такая шутка поэта запомнилась А.А. Смирнову[305].

6

В Харькове Мандельштам оказался одновременно с Георгием Шенгели и Рюриком Ивневым. В мемуарах Ивнева встречаем выразительное описание мандельштамовских настроений той поры: «С Мандельштамом творилось что-то невероятное, точно кто-то подменил петербургского Мандельштама. Революция ударила ему в голову, как крепкое вино ударяет в голову человеку, никогда не пившему.

Я никогда не встречал человека, который бы так, как Осип Мандельштам, одновременно и принимал бы революцию, и отвергал ее»[306].

В конце марта – начале апреля 1919 года поэт, сопровождаемый братом Александром и все тем же Ивневым, переехал в столицу Украины. «О. Мандельштам пронес через Киев маску нарочитого ничтожества и вино стихов, прекрасно-сухих и неожиданных»[307]. В одном из своих тогдашних стихотворений портрет Мандельштама набросал молодой киевский литератор Рафаил Скоморовский: «На выливающемся воске / Гадать вам снова суждено, / Глядя с улыбкою подростка / За веницейское окно» (эти строки эхом отозвались в мандельштамовской

«Венеции»: «Веницейской жизни, мрачной и бесплодной, / Для меня значение светло: / Вот она глядит с улыбкою холодной / В голубое дряхлое стекло» – «свайной, мещанской Венецией» Мандельштам в 1926 году назовет один из районов Киева (II: 436)). А другой юный киевский поэт, Юрий Терапиано, впервые увидел Мандельштама в богемном кафе «ХЛАМ» (Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты), завсегдатаем которого Мандельштам сделался по приезде в этот город: «Невысокий человек, лет 35-ти, с рыжеватыми волосами и лысинкой, бритый, сидя за столом, что-то писал, покачиваясь на стуле, не обращая внимания на принесенную ему чашку кофе»[308].

1 мая 1919 года, вместе с братом Александром и Рюриком Ивневым, Мандельштам посетил Киевско-Печерскую лавру: «<Н>а него Лавра произвела удручающее впечатление, – записал Ивнев в дневнике. – Когда я спросил его почему, он ответил: “Разве вы не видите, что здесь та же «чрезвычайка», только «на выворот». Здесь нет «святости»”. Мне было больно это слышать, но зачем же тогда попадавшиеся нам монахи смотрели так враждебно на еврейские лица Осипа Эмильевича и, особенно, на его брата – типичного еврея Александра Эмильевича?»[309]

В этот же день, во время празднования в ХЛАМЕ дня рождения критика и поэта Александра Дейча, Мандельштам познакомился с юной художницей Надеждой Яковлевной Хазиной (1899–1980), которой было суждено стать подругой всей его жизни. Из дневника А. Дейча: «Неожиданно вошел О<сип> Манд<ельштам> и сразу направился к нам. Я по близорукости сначала не узнал его, но он представился: “Осип Мандельштам приветствует прекрасных киевлянок (поклон в сторону Нади Х<азиной>), прекрасных киевлян (общий поклон)”. Оживленная беседа. <…> Попросили его почитать стихи – охотно согласился. Читал с закрытыми глазами, плыл по ритмам… Открывая глаза, смотрел только на Надю Х.»[310].

Меньше чем через месяц, 23 мая Дейч фиксировал в своем дневнике: «Польская кофейня на паях. <…> Появилась явно влюбленная пара – Надя Х. и О. М. Она с большим букетом водяных лилий – видно, были на днепровских затонах»[311].

Сама Надежда Яковлевна писала во «Второй книге»: «В первый же вечер он появился в “Хламе” и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали первое мая девятнадцатого года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. В тот период мы и не чувствовали себя связанными, но уже тогда в нас обоих проявились два свойства, сохранившиеся на всю жизнь: легкость и сознание обреченности <…>. Мы ездили на лодке по Днепру, и он хорошо управлял рулем и умел отлично, без усилий

грести, только всегда спрашивал: “А где Старик?” Так назывался водоворот, в котором часто гибли пловцы»[312].

В отличие от тех женщин, которые в разные годы ослепляли Мандельштама своей красотой, Надежда Яковлевна никогда не отличалась разительной внешней привлекательностью. Свидетельство Ахматовой: «Надюша была то, что французы называют laide mais charmante <некрасива, но очаровательна>»[313]. Зарисовка Ольги Ваксель: «Она была очень некрасива, туберкулезного вида, с желтыми прямыми волосами и ногами как у таксы»[314]. Портретный набросок Марии Гонта: «Молоденькая его жена, милая, розовая, улыбающаяся»[315]. Из мемуаров С.И. Липкина: «Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах – сидела за книгой в углу, изредка вскидывая на нас ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тогда не видел личности, она казалась мне просто женой поэта, притом женой некрасивой. Хороши были только ее густые рыжеватые волосы. И цвет лица у нее был всегда молодой, свеже-матовый»[316]. Из дневника В.Н. Горбачевой: «Лицо жены его, длинное и умное, напоминает лицо изголодавшейся львицы»[317].

«Европеянками нежными» Мандельштам однажды назвал измучивших его «красавиц». «Нежной Европой» – Надежду Хазину.

Когда остались позади первые безмятежные месяцы взаимной любви, вслед за которыми очень часто следует охлаждение и почти всегда – осложнение взаимоотношений, Мандельштам, наоборот, в полной мере осознал значимость и неслучайность своего выбора. Теперь, вплоть до последнего ареста, поэт никогда больше не будет фатально одинок – Мандельштам нашел женщину, к которой он мог обратиться со словами «мое “ты”»[318]. «Родненькая, я хожу по улицам московским и вспоминаю всю нашу милую трудную родную жизнь», – писал Мандельштам жене 17 марта 1926 года (IV: 80).

А пока 5 декабря 1919 года он призывал Надежду Хазину из Феодосии: «Молю Бога, чтобы ты услышала, что я скажу: детка моя, я без тебя не могу и не хочу, ты вся моя радость, ты родная моя, это для меня просто как божий день. Ты мне сделалась до того родной, что все время я говорю с тобой, зову тебя, жалуюсь тебе <…>. Надюша! Если бы сейчас ты объявилась здесь – я бы от радости заплакал. Звереныш мой, прости меня! Дай лобик твой поцеловать – выпуклый детский лобик! Дочка моя, сестра моя, я улыбаюсь твоей улыбкой и голос твой слышу в тишине <…>. Не могу себе простить, что уехал без тебя. До свиданья, друг! Да хранит тебя Бог! Детка моя! До свиданья! Твой О. М.: “уродец”»

(IV: 25–26).

В Феодосии братья Мандельштамы оказались после того, как в конце августа – начале сентября в одном вагоне с актерами они переехали из Киева в Харьков, а затем, в середине сентября, – из Харькова в переполненный войсками Крым. Здесь группировалась Русская добровольческая армия, которой с апреля 1920 года командовал барон Петр Николаевич Врангель.

В Крыму Осип и Александр Мандельштамы провели не очень веселые зимние месяцы. «Хуже всех было, – сообщал 5 сентября 1920 года симферопольский “Крымский вестник”, – положение выехавшего сейчас в Батум О.Э. Мандельштама, менее всех приспособленного к реальной жизни и обносившегося и изголодавшегося до последней степени»[319].

«Не принадлежа к уважаемым гражданам города, с наступлением ночи я стучался в разные двери в поисках ночлега. Норд-ост свирепствовал на игрушечных улицах» (из мандельштамовского очерка «Начальник порта») (II: 394). Процитируем также печально-насмешливые строки стихотворения Мандельштама «Феодосия» (1920):

> На все лады, оплаканное всеми,
> С утра до ночи «Яблочко» поется.
> Уносит ветер золотое семя –
> Оно пропало, больше не вернется.

«Оплаканное всеми» – в данном случае это и белыми, и красными. «“Яблочко” – его, конечно, на обе стороны петь можно, слова только переставлять надо» (А. Гайдар. «Р. В. С.»), то есть: «к *белым* в рот попадешь, – не воротишься» или «к *красным* в рот».

Вместе с приехавшим в Феодосию с Кавказа режиссером Николаем Евреиновым Мандельштам участвовал в вечере, организованном Феодосийским литературно-артистическим кружком (ФЛАКом). Поэт часто наведывался в местное кафе «Фонтанчик», где летом 1920 года его впервые увидел начинающий писатель Эмилий Миндлин: «Он шел с задранной кверху головой, краснолицый от солнца, в тюбетейке и черном пиджаке, весь остроугольный и очень быстрый в движениях»[320].

С марта по июль 1920 года Мандельштам жил в Коктебеле у Максимилиана Волошина. Начало августа ознаменовалось ссорой двух поэтов, которая была в подробностях изображена многими пристрастными мемуаристами, принимавшими как сторону Мандельштама, так и сторону Волошина. Чтобы не впадать ни в одну из крайностей, приведем здесь полный текст двух документов, современных описываемым событиям. Первый

документ – записка Волошина начальнику феодосийского порта Александру Александровичу Новинскому, датируемая приблизительно 2 августа. Второй – письмо Мандельштама Волошину от 7 августа.

Письмо Волошина:

> «Дорогой Александр Александрович,
>
> у меня к тебе две просьбы: первая – доставь, как ты сам мне предложил, лекарства. <…> А другая просьба вот: Александр Мандельштам, по поручению своего брата, украл у <поэтессы> Майи <Кудашевой> экземпляр “Камня”, причем нагло сказал об этом самой Майе: “Если хотите, расскажите: брат не хочет, чтобы его стихи находились у М<аксимилиана> А<лександровича>, т<ак> к<ак> он с ним поссорился”.
>
> Кстати же, эта книга не моя, а Пра <– матери Волошина>. Я узнал об этом, к сожалению, слишком поздно – он уехал к Осипу, и они едут в Батум. Окажи мне дружескую услугу: без твоего содействия они в Батум уехать не могут, поэтому поставим ультиматум: верните книгу, а потом уезжайте, не иначе. Мою библиотеку Мандельштам уже давно обкрадывал, в чем сознался, так как в свое время он украл у меня итальянского и французского Данта. Я это выяснил только в этом году. Но “Камень” я очень люблю, и он еще находится здесь, в сфере досягаемости. Пожалуйста, выручи его.
>
> *М. Волошин.*
>
> P. S. Только что выяснилось, что Мандельштам украденную книгу подарил Люб<ови> Мих<айловне> Эренбург, которая мне ее возвращает, так что моя вторая просьба, естественно, <от>падает <…>»[321].

Письмо Мандельштама Волошину:

> «Милостивый государь!
>
> Я с удовольствием убедился в том, что вы толстым слоем духовного жира, п<р>остодушно принимаемого многими за утонченную эстетическую культуру, скрываете непроходимый кретинизм и хамство коктебельского болгарина. Вы позволяете себе в письмах к общим знакомым утверждать, что я “давно уже”

обкрадываю вашу библиотеку и, между прочим, “украл” у вас Данта, в чем “сам сознался”, и выкрал у вас через брата свою книгу.

Весьма сожалею, что вы вне пределов досягаемости и я не имею случая лично назвать вас мерзавцем и клеветником.

Нужно быть идиотом, чтобы предположить, что меня интересует вопрос, обладаете ли вы моей книгой. Только сегодня я вспомнил, что она у вас была.

Из всего вашего гнусного маниакального бреда верно только то, что благодаря мне вы лишились Данта: я имел несчастие потерять 3 года назад одну вашу книгу.

Но еще большее несчастье вообще быть с вами знакомым.

О. Мандельштам» (IV: 26–27)

Как видим, Надежда Яковлевна, утверждавшая в своих воспоминаниях: «<Н>икакого Данте он не стащил и не потерял»[322], оказалась права ровно наполовину.

Буквально через несколько дней, при отъезде из Феодосии, Мандельштам был арестован врангелевской контрразведкой. Причины этого ареста доподлинно не известны. Можно только утверждать, что письмо Волошина к Новинскому никакой роли здесь не сыграло – чему порукой прежде всего постскриптум к этому письму. По-видимому, белым показались подозрительными дружеские контакты поэта с местными большевиками – у одного из них, И.З. Каменского, Мандельштам даже жил некоторое время в Феодосии (по некоторым сведениям, поэт согласился перевезти из Крыма в Батум конспиративную почту). «<Н>а задержанного Иосифа МАНДЕЛЬШТАМА упадает основательное подозрение в принадлежности его к партии коммунистов-большевиков». Так мотивировал причину ареста поэта полковник Астафьев[323].

Освободили Мандельштама благодаря хлопотам другого полковника, а по совместительству – стихотворца и мандельштамовского приятеля Александра Викторовича Цыгальского. «Цыгальский создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-то сон» (из очерка Мандельштама «Бармы закона») (II: 399).

Свою лепту в освобождение поэта внес и обиженный Волошин, который, под давлением общих друзей, обратился с письмом к начальнику политического розыска Апостолову: «Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я могу Вас успокоить вполне: Мандельштам ни к какой службе не способен, а также <и к> политическим

убеждениям: этим он никогда в жизни не страдал»[324].

В качестве своеобразного эпилога ко всей этой истории приведем зафиксированный в дневнике Марка Талова от 13 апреля 1931 года монолог Мандельштама по поводу некоего переводчика М., без спроса позаимствовавшего из библиотеки поэта редкое издание Николая Языкова: «Вот никогда бы не подумал, что такой джентльменистый человек может заниматься таким делом – взять, авось не заметит мил-друг, а если и заметит, не припомнит, кто взял!»[325]

После своего освобождения поэт вместе с братом Александром переправился на барже из Феодосии в Батум. «Пять суток плыла азовская скорлупа по теплому соленому Понту, пять суток на карачках ползали мы через палубу за кипятком, пять суток косились на нас свирепые дагестанцы» (из очерка Мандельштама «Возвращение») (II: 313). В Батуме Осипа Эмильевича немедленно арестовали лояльные к белым местные власти. Причина: отсутствие грузинской визы в мандельштамовском паспорте. На этот раз Мандельштам был вызволен из-под стражи стараниями конвойного Чигуа, на свой страх и риск доставившего арестованного поэта к гражданскому губернатору Батума, а также благодаря заступничеству грузинских поэтов Тициана Табидзе и Николаза Мицишвили. Из воспоминаний Николаза Мицишвили: «Входит низкого роста сухопарый еврей – лысый и без зубов, в грязной, измятой одежде и дырявых шлепанцах. Вид подлинно библейский»[326]. Из мемуаров жены Тициана Табидзе – Нины: когда Тициану «показали на Мандельштама, он сперва не поверил, что этот поэт, этот эстет сидит на камне, обросший и грязный. Тициан некоторое время не верил, что это и есть Мандельштам, и даже стал задавать вопросы, на которые он один мог бы ответить. Например: “Какое ваше стихотворение было напечатано в таком-то году в таком-то журнале?” Тот назвал и даже прочитал свои стихи наизусть»[327]. Из воспоминаний поэта Колау Надирадзе: «<О>н производил довольно тягостное впечатление человека задерганного, измученного и истощенного, пережившего немало ужасных минут, часов или даже дней и недель»[328].

19 сентября в батумском ОДИ (Обществе деятелей искусства) по инициативе бывшего участника «Цеха» Николая Макридина был устроен вечер Мандельштама. Из газетного отчета об этом вечере: «Поэт О. Мандельштам выступил с чтением своих стихов в двух отделениях <…>. Читка стихов у поэта очень своеобразна <…>. И логические ударения, и значимость слов, и словесная инструментовка стиха – все приносится в жертву ритму. В этом, правда, своеобразие, но и значительная потеря красот

собственной поэзии. Переполненная аудитория студии очень внимательно слушала поэта и наградила его аплодисментами»[329].

Из Батума Осип и Александр Мандельштамы направились в Тифлис, где их принимали Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. В Тифлисе поэт встретился со своим давним знакомцем Ильей Эренбургом, который красочно описал некоторые подробности этой встречи в своих воспоминаниях. «Паоло устроил нас в старой замызганной гостинице <…>. Осип Эмильевич от кровати отказался – боялся клопов и микробов; спал он на высоком столе. Когда рассветало, я видел над собой его профиль; спал он на спине, и спал торжественно»[330].

26 сентября в тифлисской консерватории состоялось совместное выступление Мандельштама, Эренбурга и петроградского актера Н. Ходотова.

В начале октября братья Мандельштамы вместе с четой Эренбургов в качестве дипкурьеров возвратились из Тифлиса в Москву на бронепоезде. В московском Доме печати Мандельштам лицом к лицу столкнулся с Блюмкиным, который набросился на поэта с проклятиями и угрозами.

Опасаясь новых конфликтов с Блюмкиным, служившим теперь комиссаром в Политуправлении, Мандельштам в середине октября 1920 года уехал из Москвы в Петроград. Вскоре он получил «кособокую комнату о семи углах»[331] в легендарном Доме искусств. Причудливые формы комнат этого дома позднее увлеченно описывала в своем мемуарном романе Ольга Форш: «Они были нарезаны по той не обоснованной здравым смыслом системе, по которой дети из тонко раскатанного теста, почерневшего в их руках, нарезают печенья – квадратом, прямоугольником, перекошенным ромбом… а не то схватят крышку от гуталина и выдавят совершеннейший круг»[332].

7

Портрет Мандельштама – жителя Дома искусств – превратился в едва ли не обязательный атрибут многочисленных мемуаров о литературном и окололитературном быте Петрограда начала 20-х годов. Именно тогда в сознании большинства современников за Мандельштамом окончательно закрепилась репутация «ходячего анекдота»[333] – «чудака с оттопыренными красными ушами»[334], «похожего на Дон Кихота»[335], – «сумасшедшего и невообразимо забавного»[336]. Можно только догадываться, скольких душевных мук стоила Мандельштаму

подобная репутация. «Такое отношение допускало известную фамильярность в обращении, – писала Эмма Герштейн. – Но он же знал, что его единственный в своем роде интеллект и поэтический гений заслуживает почтительного преклонения. Эта дисгармония была источником постоянных страданий Осипа Мандельштама»[337]. «Почему-то все, более или менее близко знавшие Мандельштама, звали его “Оськой”, – недоумевал Николай Пунин. – А между тем он был обидчив и торжественен; торжественность, пожалуй, даже была самой характерной чертой его духовного строя»[338].

Зато именно в описываемый период автор «Камня» приобрел в глазах широкой публики, а не только друзей-акмеистов, статус поэта-мастера. 22 октября 1920 года он читал свои новые стихи в Клубе поэтов на Литейном проспекте. Эти стихи впервые были по достоинству оценены Александром Блоком. Вспоминает Надежда Павлович: «С первого взгляда, лицо Мандельштама не поражало. Худой, с мелкими неправильными чертами… Но вот он начал читать, нараспев и слегка ритмически покачиваясь. Мы с Блоком сидели рядом. Вдруг он тихонько тронул меня за рукав и показал глазами на лицо Осипа Эмильевича. Я никогда не видела, чтобы человеческое лицо так изменялось от вдохновения и самозабвения»[339]. А сам Блок внес в дневник следующую запись: «Гвоздь вечера – И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, “жидочек” прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его <стихотворение> “Венеция”»[340]. Характеристика «человек-артист» на языке Блока была едва ли не самой высшей из всех возможных похвал.

Пройдет не так уж много времени, и в литературном приложении к газете «Накануне» от 18 июня 1922 года появится такой отзыв о поэте: «По общему мнению, последние стихи Мандельштама – изумительное явление в современной русской литературе, аналогичное только разве прозе Андрея Белого»[341].

Стихотворения, которые Мандельштам читал в Клубе поэтов в октябре 1920 года, восхитили и молодую актрису Александринского театра Ольгу Николаевну Арбенину-Гильдебрандт (1897/98–1980): «Я его стихи до этого не особенно любила (“Камень”), они мне казались неподвижными и сухими <…>. Когда произошло его первое выступление (в Доме литераторов), я была потрясена! Стихи были на самую мне

близкую тему: Греция и море!.. “Одиссей… пространством и временем полный…” Это был шквал. Очень понравилась мне и “Венеция”»[342].

«Я обращалась с ним, как с хорошей подругой, которая все понимает. И о религии, и о флиртах, и о книгах, и о еде, – пишет далее Арбенина. – Он любил детей и как будто видел во мне ребенка. И еще – как это ни странно, что-то вроде принцессы – вот эта почтительность мне очень нравилась. Я никогда не помню никакой насмешки, или раздражения, или замечаний – он на все был “согласен” <…>. О своем прошлом М. говорил, главным образом, о своих увлечениях. Зельманова, М. Цветаева, Саломея. Он указывал, какие стихи кому. О Наденьке <…> очень нежно, но скорее как о младшей сестре. Рассказывал, как они прятались (от зеленых?) в Киеве»[343]. Отметим попутно, что имени Ахматовой в приводимом Арбениной списке нет.

Арбенинское идиллическое описание отразило одну сторону взаимоотношений Осипа Эмильевича и Ольги Николаевны. Другая сторона – ведомая только поэту – нашла отражение в мандельштамовском стихотворении «Я наравне с другими…» (1920), обращенном к Ольге Николаевне. В этом стихотворении любовь изображена как мука, как пытка, но мука – неизбежная и пытка – желанная:

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь.
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье

Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову[344].

В конце ноября 1920 года Мандельштам написал еще одно стихотворение, навеянное встречами с Арбениной:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы[345].

Впоследствии эти строки совсем с особым чувством станут вспоминать те обитатели Дома искусств, которые предпочтут «бархат всемирной пустоты» «черному бархату советской ночи». Расцитированное по десяткам эмигрантских мемуаров о Мандельштаме, стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова…» вызвало к жизни немало поэтических подражаний и ответов. Среди лучших – лаконичное десятистишие Георгия Иванова начала 1950-х годов:

Четверть века прошло за границей,
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным.

Тишина благодатного юга,
Шорох волн, золотое вино…

Но поет петербургская вьюга
В занесенное снегом окно,
Что пророчество мертвого друга
Обязательно сбыться должно[346].

Дом искусств служил пристанищем для Мандельштама до начала марта 1921 года. Год спустя он самокритично признавался: «Жили мы в убогой роскоши Дома искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и Мойку, поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству; и ничего мы не делали» (II: 246). Этот период вместил в себя интенсивное общение Мандельштама с Гумилевым, не слишком охотное участие в возрожденном Гумилевым «Цехе», а также несколько их совместных поэтических выступлений. «Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 году, кроме изумительных стихов к Арбениной, остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени – о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком»[347].

В марте 1921 года поэт уехал из Петрограда в Киев. Из «Второй книги» Надежды Яковлевны: «Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Эренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу <Козинцеву-Эренбург>, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес – нас успели выселить. В марте он приехал за мной – Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей – это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уж наверное увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через

две-три недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались»[348].

Целый год чета Мандельштамов провела в разъездах по Стране Советов. Киев – Москва – снова Киев – Петроград – Ростов – Кисловодск – Баку – Тифлис – Батум – Новороссийск – снова Ростов – Харьков – снова Киев – снова Петроград – снова Москва. Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной, надо полагать, двигала не столько тяга к перемене мест, сколько стремление зацепиться за жизнь, найти себя в кардинально меняющемся мире. «<О>тдельной судьбы не существует» (из статьи Мандельштама «Конец романа», 1922) (II: 275). «Мне хочется жить настоящим домом. Я уже не молод. Меня утомляет комнатная жизнь», – 11 декабря 1922 года напишет тридцатидвухлетний Мандельштам брату Евгению (IV: 30).

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг, –
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

«Холодок щекочет темя…», 1922

Изображение непоправимо лысеющего человека, которое могло бы восприниматься почти комически, в этом стихотворении органично перетекает в изображение беспощадного, пожирающего всё и вся времени.

Если и не совсем рассыпался, то почти до неузнаваемости деформировался круг прежних мандельштамовских друзей и знакомых. Мимоходом повидав поэта, уехали за границу Георгий Иванов и Владислав Ходасевич. Покинутой Владиславом Ходасевичем жене Анне Ивановне поэт оказывал посильную помощь: «Все “Серапионовы братья”, живущие в Доме искусств, Осип Мандельштам <…> помогали мне чем могли в моем горе»[349].

А Иванов накануне отъезда успел не слишком приязненно написать о своем друге в журнале «Дом искусств»: «Стихи Мандельштама неровны. Рядом с отличными строчками попадаются довольно плохие. В “Черепахе” больше хороших, чем плохих строк, а в “Tristia” перевес на стороне неудачных. Неосмотрительно со стороны поэта печатать рядом два стихотворения, в каждом из которых повторяется эпитет “простоволосый”, оба раза в неожиданном сочетании (“простоволосые жалобы” и “простоволосая трава”). Из-за этого не только пропадает эффект неожиданности, но и оба эти образа

приобретают, как всякое механическое, хотя бы и редкое, соединение, привкус фальши. Неприятна своей дешевой риторичностью последняя строфа “Черепахи”»[350].

Перед долгой эмиграцией встретилась с Мандельштамом и его молодой женой Марина Ивановна Цветаева. Из воспоминаний Надежды Яковлевны: «В результате равнодушия друг к другу, предвзятого отношения и коллекции вздорных характеров никто из нас не сумел сказать ни единого человеческого слова или, как говорили в старину, разбить лед. Мы все нахохлились и сами себя обокрали»[351]. В свою очередь, Цветаева в одном из писем того времени охарактеризовала Надежду Яковлевну не только как «недавнюю», но и как «ревнивую» жену[352].

В тогдашнем разговоре с Петром Зайцевым Цветаева «несколько насмешливо отзывалась о самом Мандельштаме как о наивном и простодушном человеке, слишком уж явно и открыто проявлявшем свои эмоции из-за ревности: ревновал свою молоденькую жену, полудевочку-полуженщину с хрустальными ясными глазами, к поэту Георгию Шенгели»[353]. Марина Цветаева, кого-либо обвиняющая в излишней открытости, – это, конечно, выглядит несколько парадоксально.

Вадим Шершеневич, адресат доброжелательной дарственной надписи на первом «Камне» («Вадиму Шершеневичу от ценителя его поэзии – автора»)[354], в начале апреля 1921 года «из-за какой-то легкой ссоры с Мандельштамом на вечеринке Камерного театра» «разгорячился и дал ему пощечину» (из покаянных мемуаров самого Шершеневича)[355]. «Во время беседы О. Мандельштама, Шершеневича и бывших около них дам, Шершеневич все время шокировал О. Мандельштама наглыми остротами по его адресу. Кто-то из присутствующих указал Шершеневичу на то, что он ставит О. Мандельштама в неловкое положение, на что Шершеневич отвечал, что ставить других в неловкое положение – его специальность. Такое поведение Шершеневича вызвало со стороны О. Мандельштама справедливые и резкие замечания вроде: «Всё искусство т. Шершеневича ставить других в неловкое положение основано на трудности ударить его по лицу, но в крайнем случае трудность эту можно преодолеть». Минуты две спустя Шершеневич нагнал уходившего О. Мандельштама и в присутствии гардеробных женщин ударил его по лицу. О. Мандельштам ответил ему тем же, после чего Шершеневич повалил его на землю»[356]. На другой день зарвавшемуся имажинисту был передан вызов на дуэль, но от дуэли Шершеневич уклонился[357].

В июне 1921 года Мандельштамы приехали в Ростов. Здесь с помощью местных поэтов Осипу Эмильевичу удалось дешево

приобрести ту самую шубу, которой спустя год предстояло сделаться «героиней» одноименного мандельштамовского очерка: «Хорошо мне в моей стариковской шубе, словно дом свой на себе носишь. Спросят – холодно ли сегодня на дворе, и не знаешь, что ответить, может быть, и холодно, а я-то почем знаю?» (II: 245). Эта шуба, не без успеха выполнявшая роль отсутствовавшего дома, запомнилась многим мемуаристам, от любившего приврать Ю. Трубецкого: «<О>н был в великолепной шубе, а при шубе какая-то рыжая кепка»[358] – до, как правило, правдивого Ю. Олеши: «По безлюдному отрезку улицы двигались навстречу мне две фигуры, мужская и женская. Мужская была неестественно расширившаяся от шубы явно не по росту, да еще и не в зимний день. На пути меж массивом шубы и высоким пиком меховой же шапки светлел крошечный камушек лица»[359].

Не в последнюю очередь для того, чтобы Мандельштаму было чем расплатиться за свою шубу, в Ростове был устроен авторский вечер поэта. Этот вечер описан в воспоминаниях Н.О. Грацианской (Александровой): «Осип Эмильевич вышел на эстраду в белой рубашке с отложным воротником. На нем были темные брюки, перехваченные узким ремешком.

Немного приподнявшись на носках, он стал читать стихи. Голос его был монотонен, стихи отменно хороши <…>.

Ряды слушателей замерли. Но уже с первых строк, произнесенных поэтом, по какому-то плывущему в зале шумку стало ясно, что многие ждали совсем другого.

Примерно половина аудитории слушала все более увлеченно, но в большинстве были те, кто пришел не к поэту, а на обычную здесь пеструю эстрадную программу.

А Мандельштам все читал и читал, и слушать его было подлинным наслаждением»[360].

Из Ростова через Кисловодск Мандельштамы перебрались в Баку, где на Осипа Эмильевича и Надежду Яковлевну удручающее впечатление произвело свидание с Сергеем Городецким. «Сидел он долго и все время балагурил, но так, что показался мне законченным маразматиком» (из «Второй книги» Надежды Яковлевны)[361]. Мандельштам, впрочем, в течение какого-то времени еще пытался возобновить с Городецким более или менее дружеские взаимоотношения. «Вопреки всему-всему я утверждаю, что Городецкий остался верен себе. Узнаю во всем старого Городецкого времен “Цеха” и акмеизма и с любовью жду и прозреваю будущего Городецкого» (II: 550). С такими ободряющими словами в том же 1921 году Мандельштам обратился к своему былому соратнику.

В июньские дни 1921 года поэт посетил и надолго осевшего в Баку Вячеслава Ивановича Иванова, который охарактеризовал новые мандельштамовские стихи как «очень сильные технически». В дневнике Моисея Альтмана пересказан несколько разочарованный монолог, обращенный Мандельштамом к Иванову: «– Я думал, идя к Вам, В<ячеслав> И<ванович>, всю дорогу, что Вы мне скажете обо всем происходящем, и вот Вы говорите мне, что решительно ничего не знаете, не понимаете и не видите. Я называю это священным катарактом»[362].

Реконструировать, по крайней мере, одну из тем, которая затрагивалась в беседе Вячеслава Иванова с Мандельштамом, помогает следующий фрагмент из заметки последнего «Письмо о русской поэзии» (1922): «От космической поэзии Вячеслава Иванова, где “даже минерал произносит несколько слов”, осталась маленькая византийская часовенка, где собрано великолепие многих сгоревших храмов» (II: 237). Ироническая мандельштамовская фраза о «минерале» перекликается с высказыванием Иванова, зафиксированным в бакинском дневнике Альтмана: «<К>ак растения ни совершенны, есть в мире нечто еще совершеннее их. Это – минерал. Его жизнь, его почти абсолютная статичность, которая, по современной науке, и есть наибольшее движение, его тишина – изумительны»[363]. По-видимому, что-то подобное Иванов говорил и тщетно ждущему от него оценок «происходящего» Мандельштаму.

Необходимо, впрочем, обратить внимание на кавычки, в которые заключена у Мандельштама фраза о минерале. С.В. Василенко и Ю.Л. Фрейдин установили, что это – издевательская цитата из «Бесов» Достоевского, характеризующая сумбурное творчество Степана Трофимовича Верховенского[364]. Интересно, что с Верховенским-отцом сравнила в своих записных книжках Вячеслава Иванова и Марина Цветаева: «<Ч>уть-чуть от Степана Трофимовича»[365].

Летом 1921 года Мандельштам мимолетно пересекся в Батуме с Михаилом Булгаковым. Позднее тот шаржированно изобразил свою первую встречу с поэтом в «Записках на манжетах»: «…Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

– Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

– …Но денег не пла… – начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда»[366]. 3 июля 1962 года Надежда Яковлевна Мандельштам, возможно, чуть-чуть расцвечивая действительность, писала Елене Сергеевне Булгаковой о батумских встречах своего мужа с Михаилом Афанасьевичем: «К нам несколько раз на улице подходил молодой человек и

спрашивал О. М., стоит ли писать роман, чтобы послать его в Москву на конкурс. О. М., к тому времени уже знавший литературную жизнь, говорил, что на конкурс посылать ничего не стоит, а надо ехать в Москву и связаться с редакциями. Они иногда подолгу разговаривали на эту “практическую” тему. О. М. говорил мне, что у этого незнакомого юноши, интересующегося конкурсом, вид, внушающий доверие»[367]. В скобках отметим, что Булгаков был всего на полгода младше Мандельштама[368].

В Тифлисе, в июле или в августе 1921 года, Осип Эмильевич рассорился с Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Болезненно задетый в мандельштамовском коротком эссе «Кое-что о грузинском искусстве» (1922), Табидзе недолго оставался в долгу. Вскоре он заочно ответил автору «Камня» в одной из своих полемических заметок: «Первым среди русских поэтов в Тбилиси поселился Осип Мандельштам. Благодаря человеколюбию грузин этот голодный бродяга, Агасфер, пользовался случаем и попрошайничал. Но когда он уже всем надоел, поневоле пошел по своей дороге. Этот Хлестаков русской поэзии в Тбилиси требовал такого к себе отношения, как будто в его лице представлена вся русская поэзия»[369].

Наконец, – и это самое главное – август 1921 года ознаменовался двумя трагическими событиями, положившими не «календарный», а «настоящий» предел десятым годам XX века как эпохе расцвета русской модернистской поэзии. 7 августа умер Александр Блок. 25 августа был расстрелян Николай Гумилев. «Время рассудит или, вернее, уже рассудило их, – писала позднее Ахматова, – но как это было ужасно, когда эта литературная вражда кончилась одновременной гибелью обоих»[370].

Мандельштам молниеносно отозвался на смерть Блока: в батумском Центросоюзе он прочел доклад об авторе «Двенадцати», с вариациями которого потом выступал еще несколько раз, например, в Харькове. «Недавно в литературной жизни Харькова и в моей личной жизни произошло радостное событие, – 3 марта 1922 года писал Л. Ландсберг М. Волошину. – Здесь на неделю остановился Мандельштам, проездом из Тифлиса в Киев (потом Москва – Петроград). Появился он неожиданно для всех на одном литературном вечере, экспромтом произнес речь о Блоке, свою, особенную, немного неуклюжую, но грациозную, из удивительных своих афоризмов. Был устроен его вечер, собравший лучшую харьковскую публику <…>. Новых стихов у него мало (почти все посылаю Вам). Много пишет статей, фельетонов и корреспонденций, отлично зарабатывает. Трогательно нежен с женой, вообще стал лучше – мягче и терпимее»[371].

О гибели Гумилева Мандельштаму сообщил в Тифлисе представитель РСФСР в Грузии Борис Легран. Поэтическим откликом на кончину ближайшего друга стало стихотворение «Умывался ночью на дворе…» (1921) с его центральным образом соли на топоре (как известно, топор присыпают солью при рубке мяса, дезинфицируя железо от крови):

> Умывался ночью на дворе –
> Твердь сияла грубыми звездами.
> Звездный луч – как соль на топоре,
> Стынет бочка с полными краями.
> <…>
> Тает в бочке, словно соль, звезда,
> И вода студеная чернее,
> Чище смерть, соленее беда,
> И земля правдивей и страшнее[372].

Гибель Гумилева обессмыслила в глазах Мандельштама какие бы то ни было разговоры о возрождении акмеизма. В конце декабря 1922 года Осип Эмильевич раздраженно ответил московской поэтессе Сусанне Укше, пригласившей его возглавить новообразованную группу, ориентирующуюся на заветы акмеизма: «Никаких акмеистов-москвичей нету, были и вышли питерские акмеисты, прощайте» (свидетельство матери Ларисы Рейснер)[373].

А в июле 1923 года Мандельштам гораздо более мягко писал Льву Горнунгу – молодому стихотворцу и собирателю материалов о жизни и творчестве Гумилева:

> «Многоуважаемый Лев Владимирович!
>
> Спасибо за стихи. Читал их внимательно. Простите меня, если я скажу о них в этой записочке: в них борется живая воля с грузом мертвых, якобы “акмеистических” слов. В<ы> любите пафос. Хотите ощутить время. Но ощущенье времени меняется.
>
> Акмеизм 23<-го> года не тот, что в 1913 году.
>
> Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь “совестью” поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия. Не презирайте современных поэтов. На них благословение прошлого. С приветом О. Мандельштам» (IV: 33).

Свою характеристику стихов младшего поэта Мандельштам начал легко распознаваемой цитатой из Гумилева. Осуждая

увлечение Горнунга «*мертвыми*, якобы “акмеистическими” *словами*», он, без сомнения, апеллировал к финальной строке знаменитого гумилевского «Слова»: «Дурно пахнут *мертвые слова*».

Мандельштамовский «некролог» акмеизму также насыщен весьма прозрачными намеками на творческую деятельность любимого поэта Горнунга.

В начале 1923 года вышла в свет итоговая книга Гумилева «Письма о русской поэзии». Валерий Брюсов опубликовал рецензию на эту книгу, дав ей амбивалентное заглавие «Суд акмеиста». В письме к Горнунгу Мандельштам подхватил брюсовскую метафору, определив акмеизм как «*суд* над поэзией, а не саму поэзию». А мандельштамовское ретроспективное суждение об акмеизме из письма ко Льву Горнунгу – «Он хотел быть лишь “совестью” поэзии» – вполне проясняется при сопоставлении с репликой Владимира Шилейко, зафиксированной Павлом Лукницким: «Мандельштам очень хорошо говорил в эпоху первого “Цеха поэтов”: “Гумилев – это наша совесть”»[374].

Бесповоротному распаду привычного миропорядка Мандельштам все более и более сознательно пытался противопоставить собственную созидающую и организующую волю. В конце февраля – начале марта 1922 года в Киеве они с Надеждой Яковлевной зарегистрировали свой брак. Отчасти это было продиктовано внешними, сугубо прагматическими обстоятельствами. Однако решительный поступок Мандельштама заключал в себе и нечто большее. Поэт добровольно отказывался от роли беспомощного и нуждающегося в постоянной заботе «старших» младенца. Эта роль, если верить Ирине Одоевцевой, по привычке навязывалась Мандельштаму петроградскими знакомыми даже после женитьбы: «И вот оказалось, что Мандельштам женился. Конечно, неудачно, катастрофически гибельно. Иначе и быть не может. Конечно, он предельно несчастен. Бедный, бедный!..»[375].

В марте этого же года Мандельштамы переехали в Москву. В апреле они получили комнату в писательском общежитии – левом флигеле Дома Герцена (Тверской бульвар, 25). «<К>омнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и сыр на расстеленной бумаге, а за единственным окошком первого этажа флигелька – густая зелень сада перед ампирным московским домом с колоннами по фасаду» – так описал быт Мандельштамов той поры Валентин Катаев[376].

В Дом Герцена к поэту несколько раз приходил Велимир Хлебников. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна всемерно его

опекали. «Хлебников был голодный, а мы со своим пайком второй категории чувствовали себя богачами <…>. Мандельштам ухаживал за Хлебниковым гораздо лучше, чем за женщинами, с которыми вообще бывал шутливо грубоват»[377]. Мандельштам предложил Хлебникову «пообедать у уборщицы Дома Герцена (в подвале), – с мандельштамовских слов записал Н.И. Харджиев. – Старухе кто-то сказал, что Хлебников – странник, и она почтительно называла его батюшкой. Хлебникову это понравилось.

Мандельштам решил помочь бездомному Хлебникову и повел его в лавку “Книгоиздательства писателей”. Там “работали” Н.А. Бердяев и критик В. Львов-Рогачевский. Стоявший за прилавком критик спросил:

– Вы член писательской организации?

Хлебников неуверенно пробормотал:

– Кажется, не состою…

Мандельштам сообщил Львову-Рогачевскому, что в левом флигеле Дома Герцена есть свободная комната. Тот ответил:

– У нас есть способные литераторы, которые тоже нуждаются в комнате.

Мандельштам запальчиво заявил, что Хлебников – самый значительный поэт эпохи.

Хлебников слушал, улыбаясь.

Яростная речь Мандельштама была безуспешна, комнату получил Д. Благой»[378].

В ряд созидательных поступков поэта идеально встраивается и упорное мандельштамовское стремление опубликовать вторую книгу своих стихов. 5 ноября 1920 года он заключил договор с владельцем частного «Петрополиса» Я.Н. Блохом на издание сборника «Новый камень» объемом от 4 до 6 печатных листов. Это издание не состоялось. 11 мая 1922 года поэт подписал договор с Госиздатом, обязуясь подготовить к печати авторскую книгу стихов «Аониды» в 1805 строк (другой вариант заглавия – «Слепая ласточка»). Книга с таким названием света не увидела.

И только в августе 1922 года берлинским издательством «Petropolis» была выпущена новая книга стихов Осипа Мандельштама – «Tristia» (на обложке значился 1921 год). Оформил книгу М.В. Добужинский; заглавие для нее предложил Михаил Кузмин. «Сборник Мандельштама, который Кузмин окрестил “Tristia”, ибо сам автор не находил подходящего названия, был набран, но перед выходом в свет запрещен и появился только после переселения издательства в Берлин», – записал со слов Я.Н. Блоха журналист О. Офросимов много лет спустя[379].

Глава третья
Между «Tristia» (1922) и «Стихотворениями» (1928)

1

Хотя рецензий на «Tristia» было опубликовано гораздо меньше, чем на «Камень» (1915), почти все, кому довелось писать о второй книге Мандельштама, оценили ее чрезвычайно высоко. Даже злоязычный футурист Сергей Бобров, обозвавший ранние мандельштамовские стихи «снобистской болтовней»[380], для «Tristia» нашел совсем другие слова: «Откуда взялся у Мандельштама этот очаровывающий свежестью голос?.. Откуда эта настоященская, с улицы, с холодком, с трамвайным билетиком простота? Откуда вот эта горячность, эта страсть, эта чуточку болезненная, но живая грусть, откуда сквозит эта свежесть?»[381]. Илья Эренбург, напротив, сблизил стихи «Tristia» со стихами «Камня» через метафору зодчества: «Мандельштам является – в эпоху конструктивных зданий – одним из немногих строителей»[382]. Владислав Ходасевич увидел в новой мандельштамовской книге «благородный образчик чистого метафоризма»[383]. «…Нет в его стихах ни одного слова, которое не было бы им заново, целиком создано изнутри» – так оценивал «Tristia» Константин Мочульский[384]. А Николай Пунин, горячо приветствовавший появление «Tristia», все же не удержался от противопоставления мандельштамовской, ориентированной на прошлое поэзии новому, революционному искусству (вскоре подобные оценки карикатурно упростятся и станут дежурными обвинениями в отношении не только Мандельштама, но и будущей пунинской жены – Анны Ахматовой): «Никаких не надо оправданий этим песням. И заменить их тоже нечем. Вот почему я всему изменю, чтобы слышать этого могущественного человека. В своем ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн. Условимся же никогда не забывать его, как бы молчалива ни была вокруг него литературная критика. И через ее голову станем говорить с поэтом, самым удивительным из того, что, уходя, оставил нам старый мир»[385].

Нужно сказать, что сам Мандельштам воспринял появление «Tristia» не только без восторга, но и почти с гневом. «В

последний раз предлагаю доплатить мне *обещанный* Я.Н. Блохом номинал за “Tristia”, купленные у меня за гроши в 1920 году», – негодующе обращался поэт в издательство «Petropolis» (IV: 33). Даря книгу одному из своих приятелей, Мандельштам надписал ее следующим образом: «Дорогому Давиду Исааковичу Выгодскому – с просьбой помнить, что эта книга вышла против моей воли и без моего ведома»[386]. Сохранился экземпляр «Tristia» с еще более резкой мандельштамовской пометой: «Книжка составлена без меня против моей воли безграмотными людьми из кучи понадерганных листков»[387].

Авторский вариант собрания новых стихотворений Мандельштама поступил в московское издательство «Круг» 25 ноября 1922 года. Он был озаглавлен «Вторая книга» и снабжен посвящением «Н. Х.» – Надежде Хазиной. На прилавках магазинов «Вторая книга» появилась в конце мая 1923 года, за два месяца до третьего и последнего, дополненного, отдельного издания «Камня». Судя по всему, у поэта, как и в случае с «Tristia», не было возможности принять активное участие в издательской судьбе этой книги. Сохранился экземпляр «Камня» (1923), на первой странице которого рукою Мандельштама написано: «А даты стихов где? Или хотя бы книги»[388].

Впоследствии, перепечатывая свою «Вторую книгу» в составе итогового сборника «Стихотворения» (1928), Мандельштам вернулся к заглавию «Tristia»: вероятно, потому, что именно это заглавие прочно закрепилось за книгой в читательском сознании.

«Сборник прекраснейших стихов, певучих, упругих, образных, – оценивал “Вторую книгу” анонимный рецензент. – Подлинная поэзия, глубокая, содержательная. Но – поэзия для немногих. Стихи Мандельштама – лирические признания капризной и глубоко-одинокой индивидуальности, лирика человека, бродящего по миру с одной заботой: “времени бремя избыть”. Глаза падают на здания, на вывески, на случайные крупные вещи, мысль переносится в эллинскую древность, в умирающую Венецию Наполеоновых дней, в фантастику образов Эдгара По, – и случайно пишутся вдохновенные стихи»[389].

На «Вторую книгу» отозвался рецензией и давний мандельштамовский недоброжелатель Валерий Брюсов. В том обозрении современной советской поэзии, которому было суждено стать последним развернутым брюсовским выступлением в печати, он сформулировал два основных упрека в адрес Мандельштама. Первый к этому времени стал уже почти штампом: Мандельштам – «искусный мастер», но ему «нечего сказать». Второму упреку предстояло стать штампом в самые ближайшие годы: стихи поэта «несвоевременны» – «когда

прочтешь “вторую книгу” О. Мандельштама, она же его “Печали” <“Tristia”>, возникает вопрос: в каком веке книга написана? Иногда словно проблескивает современность, говорится о “нашем веке”, намекается на европейскую войну, упоминаются “броненосцы” и даже “брюки” – атрибут современности, ибо ни древние эллины, ни древние римляне оных не носили. Но эти проблески меркнут за тучей всяких Гераклов, Трезен, Персефон, Пиерид, летейских стуж, и тому под., и тому под.»[390].

Не слишком остроумно издевавшийся над соседством в мандельштамовской книге «брюк» и «Персефон» опытный рецензент тем не менее чутко уловил стремление Мандельштама соединить в своих стихах жгучую современность с классической древностью. Вольно или невольно, Брюсов сумел нащупать едва ли не главную тему поэзии и прозы Мандельштама периода «Tristia»: гамлетовскую тему прервавшейся связи «времен и поколений». Связи, которую необходимо восстановить, хотя бы и ценой собственной жизни:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки,
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
<…>
И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век.

«Век», 1922[391]

Вопрос о возможности или невозможности войти в новую эпоху с грузом прежней культуры по понятным причинам в начале двадцатых годов волновал далеко не одного Мандельштама. Специфика мандельштамовского подхода заключалась в стремлении разрешить проблему связи времен и поколений прежде всего путем провозглашения исторической преемственности между новейшей русской поэзией и старой, в том числе античной культурной традицией. Центральная задача целого ряда его статей этого периода – разворачивание перед читателем сложной иерархии литературных отношений, развивавшихся от рубежа веков к современности. «Произошло то, что можно назвать сращением позвоночника двух поэтических систем, двух поэтических эпох» (II: 288) – так оптимистически Мандельштам варьировал тему и образы стихотворения «Век» в

1923 году. «Современная русская поэзия не свалилась с неба, а была предсказана всем поэтическим прошлым нашей страны», – терпеливо напоминал он в своих «Заметках о поэзии» (1923) (II: 298).

Эта же тема затрагивается в загадочной мандельштамовской «Грифельной оде» (1923), импульсом к созданию которой послужило стихотворение Державина «Река времен в своем стремленьи…», нацарапанное «на грифельной доске» «на пороге девятнадцатого столетия» (из статьи Мандельштама «Девятнадцатый век» 1922 года) (II: 265). Поэт как бы отозвался на собственный вызов годичной давности: «Теперь никто не напишет державинской оды» (из статьи Мандельштама «О природе слова») (II: 219).

Тему столкновения двух поэтических эпох привносит в «Грифельную оду» и другая отчетливая реминисценция – из знаменитого лермонтовского «Выхожу один я на дорогу…»:

> Звезда с звездой – могучий стык,
> Кремнистый путь из старой песни…
> <…>
> И я хочу вложить персты
> В кремнистый путь из старой песни,
> Как в язву, заключая встык –
> Кремень с водой, с подковой перстень[392].

«В двадцатых годах Осип был очень радикально настроен», – с легкой насмешкой рассказывала Анна Ахматова Лидии Гинзбург на исходе этого десятилетия[393]. С ахматовским суждением трудно не согласиться: в своих статьях начала 20-х поэт предпринял попытку кардинальной переоценки акмеистической табели о рангах, создававшейся при его же собственном активном участии. Разумеется, Мандельштаму было глубоко чуждо стремление футуристов подсказать власти, кто есть кто в современной русской словесности, во многом продиктованное футуристической «избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом» (формула Бориса Пастернака)[394]. Но и Мандельштам в эти годы увлеченно сводил литературные счеты и подводил литературные итоги[395].

Справедливости ради отметим, что радикально негативно по отношению к своим собственным прежним предпочтениям был настроен отнюдь не только автор «Tristia». Вот что, например, в 1921 году писал о нем самом ближайший приятель Бенедикт Лившиц: «В противоположность Петникову, у которого слово – растение, “поросль”, “побег”, слово О. Мандельштама замкнуто в

самом себе, лишено способности органического роста, – обломок мертвой природы, подлинный “камень” <…>. Что это, как не голова, немного склоненная набок, как бы прислушивающаяся к камертону, которым до́лжно проверять каждый звук. Не новых слов ищет поэт, но новых сторон в слове, данном как некая завершенная реальность, – какой-то новой, доселе не замеченной нами грани, какого-то ребра, которым слово еще не было к нам обращено. Вот почему не только “старыми” словами орудует поэт: в стихах Мандельштама мы встречаем целые строки из других поэтов; и это не досадная случайность, не бессознательное заимствование, но своеобразный прием поэта, положившего себе целью заставить чужие стихи зазвучать по-иному, по-своему. Все творчество Мандельштама, построенное почти исключительно на эффекте разностного восприятия известной звуковой его величины (отдельного слова или целого предложения), рассчитано, таким образом, на весьма узкий круг лиц, способных принять игру ощущений, предлагаемую им, этим безусловно интересным, но упадочным поэтом»[396].

Последние месяцы 1922 года Мандельштам посвятил преимущественно составительской работе над антологией отечественной поэзии прошедшего двадцатилетия. «Случилось так, что два молодых человека решили попробовать, каково быть частными издателями, и заказали О. М. антологию русской поэзии от символистов до “сегодняшнего дня” <…>. Это была самая приятная из всех заказных работ – единственная по-настоящему осмысленная»[397].

Вариантом предисловия к этой так и не вышедшей антологии следует, по-видимому, считать мандельштамовскую заметку «Буря и натиск», чуть позже напечатанную как самостоятельный текст. На первоначальное предназначение статьи «Буря и натиск» указывает тот ее фрагмент, где говорится о поэтических книгах Иннокентия Анненского, которые «хочется целиком перенести в *антологию*» (II: 293).

Не только для Анненского, но и для многих других русских символистов Мандельштам в статьях начала 1920-х годов нашел самые высокие слова, зачастую, впрочем, подкорректированные весьма язвительными инвективами и намеками (вспомним об аналогии Вячеслав Иванов – Степан Трофимович Верховенский). А вот на долю тех стихотворцев, которые в прежние годы входили в ближайшее мандельштамовское окружение, от «радикально настроенного» поэта выпали почти сплошь попреки да насмешки. Так, стихи Марины Цветаевой о России он в статье «Литературная Москва» (1922) обвинил в «безвкусице и исторической фальши» (II: 258). Ахматовой в «Буре и натиске» досталось за

«вульгаризацию» «методов Анненского» (II: 293). Но самое обидное тогдашнее мандельштамовское суждение об Ахматовой содержит тот пассаж из «Литературной Москвы», где имя поэтессы даже не упоминается: «Опыт последних лет доказал, что единственная женщина, вступившая в круг поэзии на правах новой музы, – это русская наука о поэзии, вызванная к жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского и Шкловского. На долю женщин в поэзии выпала огромная область пародии, в самом серьезном и формальном смысле этого слова. Женская поэзия является бессознательной пародией как поэтических изобретений, так и воспоминаний» (II: 257).

В Георгия Иванова метила следующая уничижительная характеристика из заметки Мандельштама «Армия поэтов» (1923), закономерно прочитываемая и как покаянная самооценка собственной юности: «Лет десять назад, в эпоху снобизма “бродячих собак” <…>, маменькины сынки охотно рядились в поэтов со всеми аксессуарами этой профессии: табачным дымом, красным вином, поздними возвращениями, рассеянной жизнью» (II: 336). Насыщенное сходными реалиями стихотворение «От легкой жизни мы сошли с ума…», посвященное Г. Иванову и включенное Кузминым в «Tristia», Мандельштам в своем экземпляре книги перечеркнул, а сбоку энергично приписал: «Ерунда!»[398].

Гораздо доброжелательнее Мандельштам судил о тех поэтах своего поколения, которые были близки к футуризму. Правда, радикальнейшего Алексея Крученых Осип Эмильевич в заметке «Литературная Москва» подверг осмеянию, но «не потому, что он левый и крайний, а потому, что есть же на свете просто ерунда» (II: 258). Задиристый Крученых в долгу не остался и в трактате «Сдвигология русского стиха» (1922) издевательски обратился к читателю от лица условного поэта: «Нам немедленно надо разрешить все мировые вопросы, да, пожалуй, еще поговорить по душам с Марсом – вот задача, достойная магов и поэтов, а на меньшее мы не согласны»[399]. Те читатели, которые держали в памяти следующий фрагмент мандельштамовского эссе «О собеседнике»: «<О>бменяться сигналами с Марсом – задача, достойная лирики» (I: 187), легко отождествляли с кручениховским условным поэтом именно Мандельштама. Кроме того, в своем трактате Крученых иронически процитировал (на этот раз назвав имя автора) заметку Мандельштама «А. Блок»[400].

Совсем по-другому Мандельштам писал в это время о недолгом соратнике и близком приятеле Алексея Крученых, Борисе Леонидовиче Пастернаке (1890–1960)[401]. Его ранним

стихотворением «В посаде, куда ни одна нога…» (1914) Мандельштам, по словам Георгия Адамовича, «бредил»[402], еще будучи жителем Дома искусств (из этого стихотворения он впоследствии позаимствует экзотический топоним «Замостье» для своего стихотворения «Батюшков»). Познакомились Осип Эмильевич и Борис Леонидович, по всей видимости, весной 1922 года, когда Мандельштамы поселились в комнате писательского дома на Тверском бульваре (исходящие от Н.Н. Вильяма-Вильмонта сведения о встрече Пастернака с Мандельштамом и Гумилевым в декабре 1915 года[403] документально не подтверждены). Осенью и зимой 1922–1923 годов Мандельштам написал сразу три статьи, содержавшие восторженную оценку пастернаковской книги «Сестра моя жизнь». «Так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа, блаженно очумелая и все-таки единственная трезвая, единственная проснувшаяся из всего, что есть в мире», – восхищался Мандельштам стихами Пастернака в своих «Заметках о поэзии» (II: 556). Этот пассаж заставляет вспомнить уже цитировавшуюся нами рецензию Николая Пунина на «Tristia»: «В своем ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн».

Многие обстоятельства творческой и личной биографии двух поэтов показались бы поверхностному наблюдателю напрашивающимися на сопоставление. Об этом писал еще Ю.Н. Тынянов, говоривший о «видимой близости» Мандельштама к Пастернаку[404]. Матери обоих были профессиональными пианистками. Жены обоих занимались живописью. Оба пережили смерть Скрябина как личную трагедию (из письма Пастернака к родителям от 19 марта 1916 года: «Напишите мне о том, когда годовщина смерти Скрябина и когда он родился, – я хочу тут написать кое-что»[405]. Обоих поэтов упрекали во внешней технической изощренности, маскирующей внутреннюю пустоту (из рецензии В.Ф. Ходасевича на «Камень» (1915): «<Е>го отлично сделанные стихи становятся досадно комическими, когда за их “прекрасными” словами кроется глубоко ничтожное содержание»[406]. Его же отзыв о стихах Пастернака: «Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься: слава Богу, что все это так темно; если туман Пастернака развеять – станет видно, что за туманом ничего или никого нет»[407]). Неожиданную перекличку с последней цитатой находим в убийственном для Мандельштама отзыве о его воронежских стихотворениях, в марте 1938 года составленном Петром Павленко: «Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком»[408]. «…Что-то в лице зараз и от араба, и от его

коня» – так Цветаева в очерке «Световой ливень» (1922) писала о Пастернаке[409]. «…Я… в одной персоне и лошадь, и цыган» – так Мандельштам писал о себе в «Четвертой прозе» (III: 178).

Может быть, именно обилие напрашивающихся параллелей не в последнюю очередь подтолкнуло Пастернака – как зеницу ока оберегавшего собственную самобытность – отнестись и к Мандельштаму, и к его стихам чрезвычайно доброжелательно, но и с определенной долей настороженности. С.И. Липкин: «Не могу поклясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но у меня возникло впечатление, что к нему был холоден Пастернак, они, по-моему, редко встречались, хотя одно время были соседями по Дому Герцена. Однажды я застал Мандельштама в дурном настроении. Постепенно выяснилось, что то был день рождения Пастернака, но Мандельштамы не были приглашены»[410]. Из воспоминаний Ахматовой: «<В> Москве никто не хотел его знать <…>. Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин и их “красавиц-жен”»[411]. Еще одно ахматовское «показание»: «О Пастернаке <Мандельштам> говорил: “Я так много думал о нем, что даже устал” и “Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки”»[412]. Далее нам, впрочем, предстоит убедиться, что ахматовские суждения о взаимоотношениях Пастернака и Мандельштама не отражают всей полноты картины.

В конце мая 1923 года получила новый импульс оборвавшаяся было дружба Мандельштама с самой Ахматовой. Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна съездили в Петроград, и там жена Мандельштама познакомилась с Анной Андреевной. Из воспоминаний Н.Я. Мандельштам: «Она мне часто говорила, что ее дружба с Мандельштамом возобновилась благодаря мне. Я рада, если так, но считаю, что случилось это благодаря ей – она проявила настоящее желание дружить и избежать нового разрыва. Для этого она сделала все – и первым делом завязала дружбу со мной. В этом тоже ее активная доля, и я это очень ценю»[413].

К этому времени мандельштамовские оптимистические иллюзии были если не полностью, то в значительной степени изжиты. Над автором «Tristia» медленно, но неотвратимо сгущались тучи. Никакого результата не дали попытки организовать семинар по поэтике под руководством Мандельштама для членов Московского лингвистического кружка, «с участием, кроме него самого, Пастернака, Асеева, Зенкевича, Бернера и Антокольского. Было (весной 1923 года), кажется, два собрания, и на этом дело кончилось; читали и обсуждали стихи, но записей никаких не велось» (из воспоминаний Б.В. Горнунга)[414].

«В 23 году О. М. сняли сразу со всех списков сотрудников

<московских и ленинградских литературных журналов> <…>. “Они допускают меня только к переводам”, – жаловался О. М.»[415]. «С 1923 года занимался почти исключительно переводами» (грустная констатация из словарной биографической справки)[416]. Переводы, в первую очередь прозаические, приносили семье хоть какие-то деньги. Но большой радости Мандельштаму, как и Ахматовой, переводческая деятельность не доставляла.

Исключения были крайне немногочисленны. Среди них – в первую очередь перевод фрагмента старофранцузского эпоса «Сыновья Аймона», который Мандельштам даже счел возможным включить в свой третий «Камень», да еще, пожалуй, переводы из немецкого поэта Макса Бартеля: выпущенную в мандельштамовском переводе книгу Бартеля «Завоюем мир!» умный критик Д.С. Усов предлагал даже считать новой книгой стихов самого Мандельштама[417]. В ортодоксальном советском журнале «На литературном посту» мандельштамовская кропотливая работа была оценена чрезвычайно низко: «Сборник стихотворений Макса Бартеля в русском переводе Мандельштама поражает беспринципностью и бессистемностью подбора стихотворений»[418].

В начале августа 1923 года Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна уехали в Крым – в Гаспру, в Дом отдыха ЦЕКУБУ (Центральной комиссии по улучшению быта ученых). Здесь Мандельштам наслаждался столь любимым им с юности комфортом: «Гордость Севастополя – “Институт физического лечения”. Этот великолепный дворец может составить славу любого мирового курорта. Белоснежные сахарно-мраморные ванны, огромные комнаты для отдыха, читальни с бамбуковыми лежанками, настоящие термы, где электричество, радий и вода бьются с человеческой немощью. Никаких очередей, быстро и вежливо обслуживают массу пациентов» (II: 331).

Здесь же он работал над своей первой большой прозой: по заказу редактора журнала «Россия» Исая Лежнева Мандельштам писал книгу о своем детстве и ранней юности. «На террасе он диктовал мне “Шум времени”, точнее, то, что стало потом “Шумом времени”, – вспоминала Надежда Яковлевна. – Он диктовал кусками, главку приблизительно в раз. Перед сеансом диктовки он часто уходил один погулять – на час, а то и на два. Возвращался напряженный, злой, требовал, чтобы я скорее чинила карандаши и записывала. Первые фразы он диктовал так быстро, словно помнил их наизусть, и я еле успевала их записывать. Потом темп замедлялся <…>. Когда накапливалась кучка бумаг, он просил, чтобы я прочла их ему вслух: “Только без

выраженья…” Он хотел, чтобы я читала, как десятилетняя школьница, пока учительница не научила ее “со слезой” поднимать и опускать голос»[419].

Летом 1923 года Мандельштам впервые вступил в открытый конфликт со своими собратьями по перу – этот конфликт стал прологом к многолетним тяжбам автора «Шума времени» с «писательским племенем» (определение из мандельштамовской «Четвертой прозы») (III: 175). В конце августа в Гаспру приехал литературный критик и искусствовед Абрам Эфрос, который сообщил поэту, что в его отсутствие правление Всероссийского союза писателей вынесло ему «порицанье» (проживая в Доме Герцена, Мандельштам пытался урезонить жену коменданта А.И. Свирского, постоянно шумевшую на кухне. Свирский пожаловался на строптивого жильца вышестоящему начальству). Возмущенный «порицаньем», Мандельштам отослал в правление язвительное письмо, в котором заявил о своем выходе из Союза и отказе от комнаты в писательском общежитии. Стиль этого письма-заявления, как бы предсказывающего некоторые страницы «Двенадцати стульев», уже знаком нам по коктебельскому посланию Мандельштама к Волошину: «В теченье всей зимы по всему дому расхаживало с песнями, музыкой и гоготаньем до десяти, приблизительно, не имеющих ни малейшего отношенья к литературе молодых людей, считающих себя в гостях у сына Свирского и относящихся к общежитию как к своему клубу» и проч. (IV: 35).

По дороге из Гаспры домой Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна ненадолго заехали в Киев. В Москву они прибыли в начале октября. Здесь Мандельштамы временно поселились у Евгения Хазина – брата Надежды Яковлевны, в Савельевском переулке близ Остоженки. В конце октября они переехали в наемную комнату на Большой Якиманке. Из «Второй книги» Н.Я. Мандельштам: «Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными, но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха <…>. Мы жили в большой квадратной комнате, бывшей гостиной, с холодной кафельной печкой и остывающей к утру времянкой. Дрова продавались на набережной, пайки исчерпали себя, мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что Якиманка тогда была концом света, а на трамваях висели гроздьями – не вишни, а люди <полуцитата из позднейшего стихотворения Мандельштама: “Я – трамвайная вишенка страшной поры, / И не знаю, зачем я живу”>»[420].

Спасаясь от московской бесприютности, в конце декабря 1924 года Мандельштамы ненадолго уехали в Киев, к родителям

Надежды Яковлевны. В Киеве они встретили новый год.

Здесь же Мандельштам написал свое программное стихотворение «1 января 1924 года»:

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина…
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.
<…>
Ужели я предам позорному злословью –
Вновь пахнет яблоком мороз –
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?[421]

Под «четвертым сословьем» в этих строках подразумеваются разночинцы. Не пройдет и месяца, как Мандельштам, вместе с Надеждой Яковлевной и Борисом Пастернаком, верный присяге «четвертому сословью», будет мерзнуть в бесконечной очереди к телу В.И. Ленина. Об этом эмоционально рассказано в мандельштамовском очерке «Прибой у гроба» (в котором встречаем неожиданную автоцитату из стихотворения «Нет, не луна, а светлый циферблат…» – «“Который час?” – его спросили здесь – / А он ответил любопытным: “Вечность”»): «Мертвый Ленин в Москве! Как не почувствовать Москвы в эти минуты! Кому не хочется увидеть дорогое лицо, лицо самой России?

Который час? Два, три, четыре? Сколько простоим? Никто не знает. Счет времени потерян. Стоим в чудном ночном человеческом лесу. И с нами тысячи детей» (II: 406).

5 января 1924 года, выступая на вечере в киевском Доме печати, Мандельштам сформулировал свое писательское кредо: «…Я взял себе чрезвычайно большое задание – идти своим путем в литературе. Задание, что не по силам не то что одиночкам – даже группам; может, здесь найдутся такие, которые захотят мне следовать, знайте – это невозможно и это безрассудно»[422].

1924 год был заполнен прежде всего каторжной переводческой работой и писанием «Шума времени». Пафос этой вещи в корне отличен от пафоса мандельштамовских статей начала двадцатых годов. Вспоминая эпоху, предшествующую возникновению и расцвету русского модернизма, Мандельштам подчеркивал ее творческую бесплодность и «глубокий

провинциализм» (II: 347). Девяностые годы XIX века он назвал здесь «тихой заводью» (II: 347), варьируя образ из своего стихотворения 1910 года:

> Из омута злого и вязкого
> Я вырос, тростинкой шурша,
> И страстно, и томно, и ласково
> Запретною жизнью дыша[423].

Не случайно попытки «склеивания» и «сращения» страниц истории, бережно предпринимаемые в прежних мандельштамовских статьях, сменились в «Шуме времени» намеренно «разорванными картинами» (II: 347). Может быть, именно поэтому Мандельштам год спустя будет признаваться Анне Ахматовой и Павлу Лукницкому, что он «стыдится содержания» «Шума времени»[424], а в дарственной надписи Михаилу Зенкевичу обзовет книгу своей прозы «никчемной и ненужной»[425].

Заключительные страницы этой книги Мандельштам дописывал летом 1924 года, в доме отдыха ЦЕКУБУ, в подмосковной Апрелевке. По-видимому, тогда же «Шуму времени» было дано его заглавие, восходящее не только к знаменитому fuga temporis – «бег времени», много позже подхваченному Ахматовой, но и к следующему фрагменту романа Андрея Белого «Серебряный голубь»: «<А>вгуст плывет себе в шуме и шелесте времени: слышишь – времени шум?»[426].

В конце июля Мандельштамы переехали на жительство в Ленинград. Поселились они в самом центре города, на Большой Морской, сняв две комнаты в квартире актрисы-конферансье М. Марадулиной. Сохранилось подробное описание мандельштамовского скромного жилья, выполненное дотошным П. Лукницким: «От круглого стола – в другую комнату. Вот она: узкая, маленькая, по длине – 2 окна. От двери направо в углу – печь. По правой стене – диван, на диване – одеяло, на одеяле – подушка. У печки висят, кажется, рубашка и подштанники. От дивана, по поперечной стенке – стол. На нем лампа с зеленым абажуром и больше ничего. На противоположной стене – между окон – род шкафа с множеством ящичков. Кресло. Всё. Всё чисто и хорошо, смущают только подштанники»[427].

В Ленинграде поэт получил дополнительный источник дохода: по предложению Самуила Маршака Мандельштам взялся писать детские стихи. В отличие от взрослых, с детьми Осип Эмильевич почти всегда легко находил общий язык. «Он ведь был странный: не мог дотронуться ни до кошки, ни до собаки, ни до

рыбы… – в 1940 году рассказывала Анна Ахматова Лидии Чуковской… – А детей любил. И где бы он ни жил, всегда рассказывал о каком-нибудь соседском ребеночке»[428].

Хотя Надежда Яковлевна позднее и сетовала, что Маршак своей редактурой «сильно испортил» детские книжки поэта «Два трамвая» и «Шары»[429], необходимо отметить, что многие стихотворения Мандельштама для маленьких были ориентированы в первую очередь как раз на стихи Маршака «о простых вещах и простых отношениях между ними»[430]. Некоторые учитывали также опыт «лесенки» Владимира Маяковского:

– А водопровод
Где
воду
берет?

Другие приспосабливали для нужд детской поэзии нарочито инфантильную манеру мандельштамовского учителя – Иннокентия Анненского:

– Эх, голуби-шары
На белой нитке,
Распродам я вас, шары,
Буду не в убытке!
<…>
Топорщатся, пыжатся шары наливные –
Лиловые, красные и голубые…

О. Мандельштам. «Шары»

Покупайте, сударики, шарики!
<…>
Шарики детски,
Красны, лиловы,
Очень дешевы!

И. Анненский. «Шарики детские»[431]

«О. Мандельштам увлечен темой про домашние вещи и улицу (“Примус”, “Кухня”, “Два трамвая”). Дает изысканные стихи, предполагая у маленького читателя большое чувство слова. В

детской массе его стихи не заживут» – так о мандельштамовских детских стихах в 1927 году писала А. Покровская[432].

В одном из ленинградских издательств с Мандельштамом встретился будущий прославленный драматург, а тогда начинающий поэт для детей Евгений Шварц, в чьем дневнике находим беглый набросок к мандельштамовскому портрету: «Озабоченный, худенький, как цыпленок, все вздергивающий голову в ответ своим мыслям, внушающий уважение»[433].

В сентябре в Ленинград на короткое время приехал Пастернак, который несколько раз заходил к Мандельштамам в гости. В письме, отправленном Осипу Эмильевичу 19 сентября уже из Москвы, Борис Леонидович сетовал, что ему так и не довелось послушать мандельштамовскую прозу. Дружеским и чуть шутливым жестом завершается второе пастернаковское письмо – от 24 октября: «Обнимаю Вас. Сердечный привет Надежде Яковлевне. Жена, с соответствующими перемещеньями, присоединяется»[434].

Рождество Мандельштамы справляли с Бенедиктом Лившицем и его женой. «Мы с Надей валялись в спальне на супружеской кровати и болтали, – вспоминала Екатерина Лившиц, – дверь была открыта, и нам было видно и слышно, как веселились наши мужья»[435]. Новый 1925 год они встретили вместе с Б. Бабиным и его женой – знакомыми мандельштамовской юности.

В середине января 1925 года на Морской впервые появилась Ольга Александровна Ваксель (1903–1932).

2

Ольга Ваксель, или Лютик, как ее называли родные, познакомилась с Мандельштамом в коктебельском доме Волошина. Осенью 1920 года Ваксель занималась в кружке молодых поэтов, руководимом Гумилевым. Потом искала себя в самых разных областях: играла эпизодические роли в кино, подрабатывала манекенщицей на пушных аукционах, корректором, табельщицей на стройке. «Лютик была красива. Светло-каштановые волосы, зачесанные назад, темные глаза, большие брови» (из воспоминаний И. Чернышевой)[436]. «Ослепительная красавица» (отзыв Анны Ахматовой)[437]. «Хороша была как ангел. Ничего подобного в жизни не видела» (признание Надежды Мандельштам)[438].

История кратких, но бурных взаимоотношений Ольги с четой Мандельштамов изложена в дневниковых «Записках» самой

Ваксель и во «Второй книге» Надежды Яковлевны. Эти две версии совершенно по-разному трактуют поведение Ольги и, главное, поведение Мандельштама в момент решительного объяснения. У обеих женщин имелись очевидные резоны кое в чем отступить от объективной истины, а потому наиболее уместным кажется предоставить слово и Ольге Ваксель, и Надежде Мандельштам.

Версия Ольги Ваксель: «Он повел меня к своей жене (они жили на Морской); она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги <…>. Иногда я оставалась у них ночевать, причем Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей в одной постели под пестрым гарусным одеялом. Она оказалась немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я еще была одинаково холодна как к мужским, так и к женским ласкам. Все было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он еще больше, чем она, начал увлекаться мною. Она ревновала попеременно то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на ее стороне, муж ее мне не был нужен ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта, но как человек он был довольно слаб и лжив. Вернее, он был поэтом в жизни, но большим неудачником <…>. Для того чтобы говорить мне о своей любви, вернее о любви ко мне для себя и о необходимости любви к Надюше для нее, он изыскивал всевозможные способы, чтобы увидеть меня лишний раз. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что жалко было смотреть <…>.

Я сказала о своем намерении больше у них не бывать; он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, в сотый раз уверяя, что он не может без меня жить, и т. д. Скоро я ушла и больше у них не бывала. Но через пару дней Осип примчался к нам и повторил это все в моей комнате, к возмущению моей мамаши, знавшей его и Надюшу, которую он приводил к маме с визитом. Мне едва удалось уговорить его уйти и успокоиться»[439].

Версия Надежды Яковлевны: «Ольга стала ежедневно приходить к нам <…> и из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал глядеть на меня, не приближался, не разговаривал ни о чем, кроме текущих дел, сочинял стихи, но мне их не показывал <…>. Это было его единственное увлечение за всю нашу совместную жизнь, но я тогда узнала, что такое разрыв. Ольга добивалась разрыва, и жизнь повисла на волоске <…>.

Всем заправляла мать, властная и энергичная женщина, и делами дочери занималась тоже она. Она вызывала к себе Мандельштама и являлась к нам для объяснений, при мне

уточняя и формулируя требования дочери <…>. Я поняла, что надо искать пристанища <…>. Почти сразу нашелся человек, который позвал меня к себе <…>. Моя записка насчет ухода к <художнику Владимиру> Т<атлину> была в руках у Мандельштама – он прочел ее и бросил в камин. Затем он заставил меня соединить его с Ольгой. Он хотел порвать с ней при мне, чтобы у меня не осталось сомнений, хотя я бы поверила ему без примитивных доказательств. Простился он с Ольгой грубо и резко: я не приду, я остаюсь с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда…»[440].

О процитированных же чуть выше воспоминаниях Ольги Ваксель Надежда Яковлевна 8 февраля 1967 года писала А.К. Гладкову: Лютик «перед смертью надиктовала мужу эротические мемуары <…>. Я ничего не имею против варианта, что О. М. мне изменил, мы хотели развестись, но потом остались вместе. Дело же обстоит серьезнее <…>. Все началось по моей вине и дикой распущенности того времени. Подробностей говорить не хочу. Я очень боюсь, что это есть в ее дневнике (надо будет это как-то нейтрализовать)»[441].

Вместо сопоставительного итога полностью процитируем здесь стихотворение самого Мандельштама, обращенное к Ольге Ваксель. Это стихотворение – одно из последних перед пятилетним перерывом – держали в уме, создавая свои воспоминания, как Надежда Яковлевна, так и Ольга Александровна:

Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды ресница,
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню…

Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму.

Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча
До высокого плеча…

Разве кошка, встрепенувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,

Исчезая где-нибудь,

Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.

Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна –
Там ты будешь мне жена.

Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем
Той же улицей пойдем

Без оглядки, без помехи
На сияющие вехи –
От зари и до зари
Налитые фонари.

3

Разрыв с Ольгой Ваксель пришелся на середину марта 1925 года. «Весной 1925 года с Мандельштамом случился первый сердечный припадок, началась одышка. Была ли тут виной Ольга Ваксель – не знаю» [442]. 25 марта Осип Эмильевич и тяжело заболевшая Надежда Яковлевна покинули Ленинград и переехали в Детское (Царское) Село в пансион Зайцева, размещавшийся в здании Лицея в Китайской деревне. «<Ж>ивут в большой, светлой, белой комнате <…>. Обстановка – мягкий диван, мягкие кресла, зеркальный шкаф; на широкой постели и на круглом столе, как белые листья, – рукописи О.Э. Я замечаю это, а О.Э. улыбается: “Да, здесь недостаток в плоскостях!..”» (из дневника П.Н. Лукницкого)[443].

Спустя короткое время в этот же пансион приехала

подлечиться Анна Ахматова. Н.Я. Мандельштам пишет: «Настоящая дружба началась у нас с Ахматовой на террасе пансиончика, где мы лежали закутанные в меховые полушубки, дыша целебным царскосельским воздухом. Он действительно оказался целебным, раз мы обе выжили <…>. Мандельштам и Пунин пили вино, шутили и непрерывно дразнили нас»[444]. «О.Э. каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги»[445].

В середине апреля в издательстве «Время» вышел «Шум времени» – Мандельштама раздражало и смешило тавтологическое сочетание на обложке книги названия издательства и названия его прозы. Немногочисленные отклики на «Шум времени», появившиеся в советской прессе, были вышиты по уже знакомой нам «брюсовской» канве. С одной стороны: «Скупо выбирая эпитеты – как мастер, – Мандельштам пользуется только полновесными словами»[446]. «Мандельштам оказался прекрасным прозаиком, мастером тонкого, богатого и точного стиля»[447]. С другой стороны: «Книга эта является документом мироощущения литературного направления “акмеизма”, автобиографией “акмеизма”»[448]; «<М>ногое в книге Мандельштама несвоевременно, несовременно – не потому, что говорится в ней о прошлом, а потому что чувствуется комнатное, кабинетное восприятие жизни»[449]. Своей доброжелательностью (как в былые годы – своей язвительностью) на общем фоне выделялся отзыв пушкиниста Николая Лернера: «<Е>го ухо умело прислушаться даже к самому тихому, как в раковине, “шуму времени”, и в относящейся к этой эпохе мемуарной литературе едва ли найдется много таких интересных и талантливых страниц»[450]. Отметим, кстати сказать, недюжинную смелость Мандельштама: безусловно, помня о лернеровской рецензии на «Камень», поэт 26 апреля 1925 года вручил своему былому зоилу книжку «Шум времени» и был в итоге вознагражден (разумеется, не за свою смелость, а за качество своей прозы)[451].

Еще более высокую оценку, чем Лернер, произведению Мандельштама дал Борис Пастернак, 16 августа 1925 года писавший автору: «“Шум времени” доставил мне редкое, давно не испытанное наслажденье. Полный звук этой книжки, нашедшей счастливое выраженье для многих неуловимостей, и многих таких, что совершенно изгладились из памяти, так приковывал к себе, нес так уверенно и хорошо, что любо было читать и перечитывать ее, где бы и в какой обстановке это ни случилось. Я ее перечел только что, переехав на дачу, в лесу, то есть в условиях, действующих убийственно и разоблачающе на всякое

искусство, не в последней степени совершенное. Отчего Вы не пишете большого романа? Вам он уже удался. Надо его только написать. Что мое мненье не одиноко и не оригинально, я знаю по собственному опыту, то есть так же, как я, судят о вашей прозе и другие, между прочим <Сергей> Бобров <…>. Слыхал, что Вы в Луге. Как здоровье Надежды Яковлевны?»[452]

Разительно контрастирует с пастернаковскими восторгами гневное суждение Марины Цветаевой, которая 18 марта 1926 года писала из Лондона Д.А. Шаховскому: «Сижу и рву в клоки подлую книгу Мандельштама “Шум времени”»[453]. Цветаеву возмутили в первую очередь крымские главы произведения Мандельштама, порочащие, как ей показалось, белое движение. Но и злая мандельштамовская ирония по отношению к собственной ранней поре вряд ли пришлась по душе Марине Ивановне, боготворившей свое детство. Сравним прочувствованную фразу из цветаевского письма к Л.О. Пастернаку от 5 февраля 1928 года: «Нас с вами роднят наши общие германские корни, где-то глубоко в детстве, “O Tannenbaum, Tannenbaum”[454] – и все отсюда разросшееся»[455] с издевательским мандельштамовским описанием урока немецкого языка в Тенишевском училище: «На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин: “O Tannenbaum, Tannenbaum!” Сюда же приносились молочные альпийские ландшафты с дойными коровами и черепицами домиков» (II: 368).

В целом, однако, эмигрантская критика приняла мандельштамовскую прозу доброжелательно, о чем сам поэт с некоторыми ироническими преувеличениями сообщал в письме к жене от 11 ноября 1925 года: «Сейчас был у Пуниных. *Там живет старушка* <Ахматова>; лежала она на диване веселая, но простуженная. Встретила меня “сплетнями”: Г. Иванов пишет в парижских газетах “страшные пашквили” про нее и про меня <речь идет о серии очерков Иванова “Китайские тени”>, “Шум времени” вызвал “*бурю*” восторгов и энтузиазмов в зарубежной печати, с чем можно нас поздравить» (IV: 48).

Процитированное письмо было отправлено в Ялту, куда Надежда Яковлевна уехала 1 октября 1925 года. Еще 24 апреля супруги вернулись из Детского Села в Ленинград. Во второй половине мая Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна ненадолго съездили в Киев. Здесь поэта поразили спектакли Государственного еврейского театра и игра в этих спектаклях гениального Соломона Михоэлса: «Михоэлс – вершина национального еврейского дендизма» (II: 448). В июне Мандельштамы жили в пансионате в Луге, а затем – снова в Детском Селе. В сентябре врачи обнаружили у Надежды

Яковлевны туберкулез мезентериальных желез и порекомендовали ей срочно сменить климат.

Мандельштам писал жене почти ежедневно. В этих письмах – сочетание трогательной, лепечущей нежности («Люблю тебя, Надичка, целую лобиньку и губы») (IV: 45) с подробными отчетами о деловых успехах и неудачах («В газете мне обещали завтра выписать 60 р.» (IV: 45) – чтобы обеспечить лечение Надежды Яковлевны, Мандельштам работал не покладая рук. «Пансион на одного стоил сто пятьдесят, а на двоих – двести пятьдесят рублей. Приходилось в день переводить чуть ли не половину печатного листа – за лист платили рублей тридцать <…>. Мандельштам так закабалил себя работой, что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался ногтями»[456].

Едва ли не в каждом письме Мандельштама к жене этого и более позднего периода встречаются неброские, но отчетливые свидетельства постоянной памяти поэта о своем христианстве. Из письма от 14 октября 1925 года: «Господь с тобой, Надинька» (IV: 45); из письма от 15 октября 1925 года: «Господь с тобой, Надичка» (IV: 46); из письма, отправленного в начале ноября 1925 года: «Храни тебя бог, солнышко мое» (IV: 48); из письма от 11 ноября 1925 года: «Господь с тобой, родная!» (IV: 49); из письма от 9–10 февраля 1926 года: «Только успею сказать – спаси, Господи, Надиньку – и засну» (IV: 59); из письма от 19 февраля 1926 года: «На ночь говорю: спаси, Господи, Надиньку!» (IV: 66) и т. д. Многие ли современники Мандельштама в это время *так* завершали свои письма?

По всей видимости, проблема выбора конфессии к этому времени уже не стояла перед Мандельштамом. Он исповедовал не православие, не католичество, не протестантство, а всеобъемлющее христианство «под покровом смиренных житейских форм» (как пишет С.С. Аверинцев о ранней Ахматовой) [457]. Пять лет спустя, в январе 1931 года, «бытовое» христианство Мандельштама выльется в пронзительное трехстишие-молитву:

> Помоги, Господь, эту ночь прожить,
> Я за жизнь боюсь – за твою рабу…
> В Петербурге жить – словно спать в гробу.

В середине ноября 1925 года Мандельштам уехал к Надежде Яковлевне в Ялту. В Ленинград он вернулся в начале февраля 1926 года, задержавшись на один день в Москве. Из письма к Н.Я. Мандельштам от 2 февраля: «<В> Москве меня заговорил Пастернак, и я опоздал на поезд. Вещи мои уехали в 9 ч. 30 м., а

я, послав телеграмму в Клин, напутствуемый <братом> Шурой, выехал следующим в 11 ч.» (IV: 54).

В феврале 1926 года книгу стихов Мандельштама попытались включить в план «Госиздата» Илья Груздев и Константин Федин, которому незадолго до этого был вручен экземпляр «Шума времени» со следующим, впервые публикуемым нами инскриптом: «Константину Федину дружески. О. Мандельштам. 13.04.1925» (этот экземпляр ныне хранится в саратовском Литературном музее). Но, увы, из затеи двух бывших «Серапионовых братьев» ничего не вышло.

Между тем новые стихи у Мандельштама по-прежнему не писались, и это выбивало поэта из колеи. «Больше всего на свете <Мандельштам> боялся собственной немоты, называя ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия»[458].

Мечущимся по Ленинграду в поисках заработка вспоминают Мандельштама мемуаристы. «В Петербурге видел еще <…> О. Мандельштама (который больше совсем не пишет, а только переводит разные случайные книги и мечтает открыть ларек)», – 18 июня 1926 года писал Д. Усов Е. Архиппову[459]. Осип Эмильевич «ходит без запонок, манжеты завернуты вокруг рук и весь в пуху», – таким в письме к Надежде Яковлевне от 10 марта 1926 года изобразила Мандельштама Анна Хазина (IV: 77). Тем не менее поэт пытался держаться бодро, как и полагалось взрослому мужчине – кормильцу семьи: «<Я>, дета, весело шагаю в папиной еврейской шубе и Шуриной ушанке. Свою кепку в дороге потерял. Привык к зиме. В трамвае читаю горлинские <, то есть врученные для перевода или рецензии Александром Николаевичем Горлиным> французские книжки» (из письма к жене от 9–10 февраля 1926 года (IV: 59)). «Ты не поверишь: *ни следа* от невроза <сердца>. На 6-й этаж поднимаюсь не замечая – мурлыкая» (из письма к ней же от 18 февраля 1926 года (IV: 64)).

За 1926 год Мандельштам написал 18 внутренних рецензий на иностранные книги; его переводы были опубликованы в 10 сборниках прозы и стихов, изданных в Москве, Киеве, Ленинграде. Вышли две мандельштамовские книжечки стихов для детей: «Кухня» и «Шары».

Жил Мандельштам у брата Евгения на 8-й линии Васильевского острова. В конце марта он уехал в Киев, где на короткое время воссоединился с Надеждой Яковлевной. «Стоят каштаны в свечках – розово-желтых, хлопушках-султанах. Молодые дамы в контрабандных шелковых жакетах. Погромный

пух в нервическом майском воздухе. Глазастые большеротые дети. Уличный сапожник работает под липами жизнерадостно и ритмично», – таким увидел Осип Эмильевич этот украинский город в 1926 году (II: 434).

В начале апреля поэт вернулся в Ленинград, но уже через полмесяца он отправился к Надежде Яковлевне в Ялту. «<3>а многие годы это был первый месяц, когда мы с Надей действительно отдохнули, позабыв все <…>. У меня сейчас короткая остановка: оазис, а дальше опять будет трудно», – прозорливо писал Мандельштам отцу (IV: 81).

С июня по середину сентября 1926 года Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна жили в Детском Селе, где снимали меблированные комнаты. По соседству с ними поселился Бенедикт Лившиц с женой и сыном. «В эту осень в Царское Село <…> потянулись петербуржцы и особенно писатели, – 15 октября 1926 года сообщал Р.В. Разумник Андрею Белому. – Сологуб уехал, но в его комнатах теперь живет Ахматова <…>, в лицее живет (заходил возобновить знакомство) Мандельштам, по-прежнему считающий себя первым поэтом современности»[460]. «В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов», – вспоминала жилище Мандельштамов Ахматова[461]. В середине сентября Надежда Яковлевна уехала в Коктебель.

Следующий, 1927 год ознаменовался спорадическими попытками Мандельштама преодолеть творческий кризис.

Первым шагом на этом пути должно было стать подведение предварительных итогов: с трудом отрывая время от бесчисленных переводов и рецензий, Осип Эмильевич начал готовить к печати сразу три авторские книги – стихов, прозы, а также критических статей и заметок. Необходимо отметить, что к составлению собственных книг отечественные поэты, начиная, по крайней мере, с Брюсова, относились чрезвычайно ответственно. Сначала поэт-автор создавал *кипу* стихотворений или статей, не задумываясь еще о внутренней логике, их объединяющей. Затем автор уступал место вдумчивому поэту-составителю, в чью задачу входило превратить *кипу* в *книгу*: определенным образом располагая стихотворения или заметки, подчеркнуть их единство и отбросить тексты, «выпадающие из основной связи» (из предисловия Мандельштама к книге «О поэзии» (II: 496)). Так интуитивный акт творения подкреплялся рациональным анализом собственного творчества. «Сальери достоин уважения и горячей любви. Не его вина, что он слышал музыку алгебры так же сильно, как живую гармонию» (из статьи Мандельштама «О природе слова») (I: 231).

Вторым мандельштамовским шагом на пути возвращения к своему подлинному призванию стала работа над большой прозаической вещью. Спасаясь от поэтического «удушья», он попробовал сублимировать поэтическую энергию в энергию прозы. 21 апреля 1927 года Мандельштам заключил с издательством «Прибой» договор на издание романа «Похождения Валентина Гаркова» – будущей «Египетской марки».

Эту вещь он писал летом 1927 года в Детском Селе. Закончил свою повесть Мандельштам в феврале 1928 года. Призывы к кропотливому «сращиванию» и «склеиванью», характерные для большинства мандельштамовских текстов начала 20-х годов, в «Египетской марке» были окончательно потеснены утверждениями о плодотворности хаоса и отрывочности: «Я не боюсь бессвязности и разрывов» (II: 482). Сам поэт, в ответ на сетования Эммы Герштейн, признавшейся, что она не понимает «Египетской марки», ответил «очень добродушно:

– Я мыслю опущенными звеньями…»[462].

Несколько неожиданным, но почти идеальным комментарием к мандельштамовской формуле, а следовательно – к «Египетской марке» в целом может послужить следующий фрагмент рецензии Валерия Брюсова на блоковскую «Нечаянную радость»: «А. Блоку нравилось вынимать из цепи несколько звеньев и давать изумленным читателям отдельные разрозненные части целого. До той минуты, пока усиленным вниманием читателю не удавалось восстановить пропущенные части и договорить за автора утаенные им слова, такие стихотворения сохраняли в себе прелесть чего-то странного»[463].

В 1922 году неодобрительно коривший Андрея Белого отсутствием фабулы, автор «Египетской марки» возвел бесфабульность в принцип. В заметке «Выпад» (1923) Мандельштам саркастически сравнивал «поэтический глаз академика Овсянико-Куликовского» с глазом рыбы, который воспринимает все предметы «в невероятно искаженном виде» (II: 411). В «Египетской марке» он сам готов глядеть на мир подобным образом: «Птичье око, налитое кровью, тоже видит по-своему мир» (II: 489).

Поэтику Мандельштама как автора «Египетской марки» можно без натяжек сравнить с поэтикой Пушкина как рисовальщика, описанной в замечательной статье Абрама Эфроса, напечатанной в том же номере того же журнала, что и мандельштамовское стихотворение «1 января 1924». «<П>ушкинский рисунок возникал не как самоцель, но в результате бокового хода той же мысли и того же душевного состояния, которые создавали пушкинский стих <…> – отмечал

Эфрос. – Пушкинский рисунок – дитя ассоциации, иногда близкой <…> иногда очень далекой, с почти разорванной связью»[464]. Сходным образом основная фабула «Египетской марки» соотносится с многочисленными авторскими отступлениями от нее.

Фабула повести простая и подчиненная раскрытию традиционнейшей темы – темы «маленьких», никому не нужных, навсегда исчезающих людей и ничтожных, забываемых всеми реалий современности, показываемых на фоне Вечности и Большой истории.

Поэтому действие «Египетской марки» разворачивается не в октябре, а в мае – первых числах июня 1917 года, не после Октябрьской, а после Февральской революции, принудительно и почти совершенно вытесненной из сознания современников Мандельштама официально прославляемой Октябрьской. Поэтому же автор в «Египетской марке» часто «путается» при описании *главного*, всем известного («фиванского скифа» он располагает «напротив здания» петербургского университета, а Гороховая улица у него пересекается с Вознесенским проспектом), но скрупулезно точен в мелочах. Если уж герой «Египетской марки» забегает к чеху-зеркальщику на Гороховую, читатель может быть твердо уверен, что в справочнике «Весь Петроград за 1917 год» найдется (на стр. 182) чех Ол. Вас. Гренц, владелец мастерской чистки стекла и зеркал, располагавшейся по адресу: улица Гороховая, дом 32.

Герой повести, Парнок, – это, по формуле М.Л. Гаспарова, «как бы сам Мандельштам, из которого вынуто только самое главное – творчество»[465]. Страх поэтической немоты преодолевался в «Египетской марке» через создание шаржированного двойника автора, лишенного дара слова. Страх общей бесфабульности жизни преодолевался созданием бесфабульного произведения. «Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда», – писал Мандельштам в «Египетской марке» (II: 493). И еще: «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него» (II: 481)[466].

Основным прототипом главного героя «Египетской марки» послужил приятель Мандельштама, поэт и теоретик танца Валентин Парнах (Парнок), чей выразительный портрет обнаруживаем и в обращенном к нему стихотворении Константина Ляндау:

Я так же молод, милый, как и ты,

Тому же зову неизбежно верю,
Но оба мы уже увядшие цветы
Несем к янтарному преддверью.
Тебя пленил таинственный восток
И пестрый плащ заезжего араба,
Мне мил гранит, завороженный ток
Финляндии, где на озерах Або.
Но есть у нас и общее – порок.
Мы оба с ним связали цепь ошибок;
И я, стареющий от северных улыбок,
И ты, с багрянцем в волосах Парнок[467].

Впрочем, всем, кто берется рассуждать о реальных прототипах персонажей мандельштамовской повести, необходимо помнить о его возмущенном монологе 1928 года по поводу романа Вениамина Каверина «Скандалист». Этот монолог был записан за Мандельштамом Давидом Выгодским: «Если он на 99 % берет портретные черты, фотографию, а один процент прибавляет от себя, так ведь это клевета… Или дай все сто процентов фотографичности, или делай, как настоящий художник: перемешай все так, чтобы нельзя было разобрать, что откуда»[468].

Первая публикация «Египетской марки» состоялась в майском номере журнала «Звезда» за 1928 год. «<О>н трижды брал обратно рукопись, чтобы внести новые и новые исправления», – вспоминал член редколлегии «Звезды» Вениамин Каверин[469].

Вряд ли Мандельштам мог бы надеяться на выпуск сразу трех своих книг в советских издательствах, если бы не чувствительная поддержка видного партийного деятеля Николая Ивановича Бухарина (1888–1938), неизменно благосклонного к поэту. По остроумному замечанию М.Л. Гаспарова, «Бухарин при Мандельштаме и Пастернаке – это какой-то благодетельный брат-Евграф русской литературы, стилистически отличный от доброго барина Луначарского»[470]. Евграфом, напомним, звали загадочного и в трудную минуту всегда приходящего на помощь брата пастернаковского Юрия Живаго.

10 августа 1927 года Бухарин – видимо, по просьбе самого Мандельштама – обратился к председателю правления Госиздата Арташесу Халатову: «Вы, вероятно, знаете поэта О.Э. Мандельштама, одного из крупнейших наших художников пера. Ему не дают издаваться в Гизе. Между тем, по моему глубокому убеждению, это неправильно. Правда, он отнюдь не “массовый” поэт. Но у него есть – и должно быть – свое значительное место в

нашей литературе. Я это письмо пишу Вам privati, т. к. думаю, что Вы поймете мои намерения etc. Очень просил бы Вас или переговорить “пару минут” с О.Э. Мандельштамом, или как-либо иначе оказать ему Ваше просвещенное содействие. Ваш Н. Бухарин»[471]. Вскоре после этого письма, 18 августа 1927 года, Мандельштам заключил с Ленинградским отделением Госиздата договор на издание своей итоговой книги «Стихотворения» («Собрание стихотворений»). Договор с издательством «Academia» на публикацию третьей в этом урожайном году авторской книги – сборника статей «О поэзии» – был подписан еще в феврале 1927 года.

Гонорар за готовившиеся издания позволил Осипу Эмильевичу и Надежде Яковлевне в октябре съездить в Сухум, Армавир и Ялту (сюда Мандельштамы прибыли в конце ноября). В Детское Село они вернулись в декабре 1927 года.

4

9 февраля 1928 года Мандельштам был в гостях у Давида Выгодского, который записал в своем дневнике: «Вчера вечером Мандельштам. Непереносимый, неприятный, но один из немногих, может быть единственный (еще Андрей Белый) настоящий, с подлинным внутренним пафосом, с подлинной глубиной. Дикий, непокойный. В равном ужасе от того, что знает, и от того, что не дано знать. После него все остальные – такие маленькие, болтливые и низменные»[472].

14 марта в Госиздате поэт случайно столкнулся с Корнеем Чуковским, который занес в дневник свои впечатления об этой встрече: «Мандельштам небрит, на подбородке и щеках у него седая щетина. Он говорит натужно, после всяких трех-четырех слов произносит м-м-м-м-м-м и даже эм-эм-эм, – но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, что вся его фигура вызвала во мне то благоговейное чувство, какое бывало в детстве по отношению к священнику, выходящему с дарами из “врат”»[473].

Незадолго до этого, 5 марта 1928 года, Мандельштам принял участие в вечере памяти Федора Сологуба, проведенном по инициативе Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. В дневниковой записи Павла Лукницкого, относящейся к началу марта, рассказано о том, как Мандельштам добивался и добился от устроителей вечера – супругов Замятиных – приглашения в качестве участника Владимира Пяста: «<О>н стал требовать, чтоб пригласили Пяста. Л.Н. <Замятина>

ответила уклончиво. После, провожая Л.Н., я говорил с ней о Пясте, она решила не приглашать его: Пяст декламирует ужасно <…>. О. Мандельштам на следующий день прислал письмо, в котором повторял просьбу пригласить Пяста»[474]. В этом письме поэт, в частности, увещевал Замятиных: «Короткая память в отношении к Пясту – наш общий грех» (IV: 97). В результате Пяст был приглашен, но выступить отказался.

Мандельштам далеко не в первый раз заступался за еще менее, чем он сам, приспособленных к жизни людей. В апреле 1922 года, как мы помним, поэт пытался выбить жилье в Москве для Велимира Хлебникова. В течение долгих лет Мандельштам заботливо опекал своего младшего брата Шуру. В случае с Пястом ситуация усугублялась еще и тем, что ему, как и самому Мандельштаму, упорно навязывалось обременительное амплуа поэта-чудака. Причем Пясту было еще труднее, чем Мандельштаму. Если Мандельштама называли полусумасшедшим, Пяста считали сумасшедшим.

В начале 1910-х годов, когда литературные репутации Мандельштама и Пяста сложились еще не окончательно, роль пропагандиста творчества младшего поэта, как и полагается, взял на себя старший – единственный из всех русских символистов, безоговорочно признавший мандельштамовский талант. Сохранились газетные отчеты и свидетельства современников, с недоумением и возмущением излагающие основные тезисы лекции Пяста «Вне групп», состоявшейся 7 декабря 1913 года. Процитируем здесь фрагмент дневниковой записи малоизвестного стихотворца И. Евдокимова: «Пришел с лекции Пяста. <…> Мне положительным кощунством казались чрезмерные похвалы О. Мандельштаму. Пяст упорно противопоставлял А. Блоку Мандельштама, и было видно, что Пяст считает Мандельштама поэтом гораздо крупнейшим, чем А. Блок»[475]. И это при том, что Пяст был одним из немногих личных друзей Блока.

Много позднее Пяст с любовью изобразит своего друга-акмеиста в мемуарной книге «Встречи» (1929), которая будет поднесена Мандельштаму с несколько загадочной дарственной надписью: «Соавтору, Осипу Мандельштаму, от любящего автора»[476] (в книгу «Встречи» было включено множество шуточных мандельштамовских стихотворений, что, по-видимому, и позволило Пясту назвать его своим соавтором).

В сознании большинства современников-литераторов Мандельштам и Пяст предстали гротескной парой поэтов-чудаков в первые пореволюционные годы, когда нужда и голод обострили до карикатурной отчетливости некоторые черты их внешнего

облика. «Парному» их портрету в мемуарах способствовало и то обстоятельство, что оба страшной зимой 1920–1921 годов жили в знаменитом Доме искусств.

Приведем здесь «парный» шаржированный портрет Мандельштама и Пяста, набросанный в беллетризированных воспоминаниях Э.Ф. Голлербаха (торжественная неторопливость одного поэта и суетливость другого лишь подчеркивают общую для обоих «сумасшедшинку»): «Вот чинно хлебает суп, опустив глаза, прямой и торжественный Мандельштам. Можно подумать, что он вкушает не чечевичную похлебку, а божественный нектар. Иногда он приходит в пальто, в меховой шапке с наушниками, подсаживается, не снимая шапки, к знакомому и сразу начинает читать стихи <…>. Поодаль, у окна, жадно и сосредоточенно ест Пяст. Он совсем пригнулся к тарелке, вытянул шею и, прижав вилкой один конец селедки, обгладывает ее с другого конца»[477].

Еще более выразительный пример подобного портретирования представляет собой фрагмент из «Книги воспоминаний» М.Л. Слонимского. Рассказ о Мандельштаме – жильце Дома искусств как-то почти неуследимо для автора и читателя перетекает здесь в изображение Пяста: «<На> следующий день он <Мандельштам>, не поспав, мчался по лестнице, торопясь на курсы Балтфлота, читать матросам лекцию. Дом искусств вообще днем пустел – обитатели расходились по работам и по службам.

О том, что поэзия вернулась со служб домой, оповещал обычно громкий, моделирующий голос Пяста: “Грозою дышащий июль!..” С этой же фразы начиналось также и утро, она разносилась, как звон будильника»[478].

Абзацем ниже, перескочив через портрет чудака-Пяста, рассказ Слонимского о чудаке-Мандельштаме продолжается: «Из всех жильцов Дома искусств Мандельштам был самый беспомощный и самый внебытовой»[479].

«Парный» портрет, подчеркивающий «надмирность» двух поэтов, дан также в мемуарах Ирины Одоевцевой, падкой на сентиментальные обобщающие характеристики.

Но и в портретах, запечатлевших поэтов «поодиночке», легко обнаружить черты сходства. Вот эпизод, зафиксированный в дневнике К.И. Чуковского: «Пристал ко мне полуголодный Пяст. Я повел его в ресторан и угостил обедом»[480]. А вот – из мемуаров Ходасевича, только на этот раз о Мандельштаме: «Зато в часы обеда и ужина появлялся он то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяина, вдруг объявлял: ну, а теперь будем ужинать»[481].

«Из-под тулупа видны брюки, известные всему Петербургу

под именем “пястов”», – изображал чудака-Пяста Ходасевич[482]. А вот деталь внешнего облика Мандельштама, подмеченная Лидией Гинзбург: «Что касается штанов, слишком коротких, из тонкой коричневой ткани в полоску, то таких штанов не бывает. Эту штуку жене выдали на платье»[483].

Неудивительно, что в коллективной пародии на мандельштамовское стихотворение «Домби и сын», в котором упоминаются «клечатые панталоны» Домби-отца, возникает имя старшего мандельштамовского друга:

> И клетчатые панталоны,
> Рыдая, обнимает Пяст[484].

Раз уж мы упомянули о пародиях на Мандельштама, поговорим о них чуть подробнее.

Какие черты поэтического облика нашего героя придавали ему «лица необщее выраженье» в глазах современников, служили опознавательными приметами автора книг «Камень» и «Tristia» для более или менее широкой читательской публики? Обзор пародий современников на стихотворения Мандельштама позволяет предложить вариант ответа на этот вопрос, ведь пародисты утрировали как раз узнаваемые черты и приметы мандельштамовского стиля.

Всего, на сегодняшний день, выявлено 16 прижизненных пародий на поэта. Во многих из них высокие античные имена и реалии совмещены с мотивами, воплощающими низкую российскую и советскую повседневность конца 1910—1920-х годов. Именно таким образом пародисты пытались достичь комического эффекта.

Это могло быть сделано совсем без иронии над Мандельштамом, как в пародии Бориса Башкирова 1920 года:

> Поговорим про Питер – дивный град,
> Он утвержден Зиновьевым в коммуне.
> Послушаем, оратор на трибуне,
> «Неделя вши», «готовься, Петроград».
>
> На Клинском рынке тщетно ждут царя,
> Но нет, в Эстонии замолкли пушки.
> В «Трудармии», в «Астории», в «Чекушке»
> Творят закон герои октября.
>
> Красуется повсюду серп и молот,
> Хоть не работают они давно.

Последнее полено сожжено,
О, темени Лассаля жуткий холод[485].

Однако чаще всего объектом насмешки служил именно Мандельштам, как, например, в пародии Арго и Николая Адуева 1922 года:

Я родился в понтийском бреге
И эолийским шорохам внимал,
Я упражнялся в марафонском беге
И под истмийской кровлей отдыхал.
Еще в дорийской я мечтал отчизне
Сразить лабиринтийского быка.
Чтоб на заре какой-то новой жизни
Академийского вкусить пайка[486].

Это шуточное стихотворение входит в чрезвычайно популярный среди пародистов жанр – в серию на общую тему, в данном случае – в серию «Как родился поэт (Анкета)». Приведем еще одну «античную» пародию на Мандельштама, входящую в серию и построенную на резком контрасте между классическими и сугубо современными мотивами. Это пародия Эмиля Кроткого 1928 года из серии «Поэты в деревне»:

Олимпийцы дрожали, но Феб уже пламенно рдел.
Крутобедрые кони бежали с эпохою в ногу.
Управитель колхоза, Гераклов кузнец-управдел,
Приглашенных встречал, оправляя измятую тогу.

Деловито и бодро гудели в полях трактора.
Домовитые бабы пекли ароматные пышки.
Колесницы ахейцев съезжали, скрипя, со двора.
На ближайший ссыппункт отвозили ахейцы излишки.

А за далями – город, и поезд из города вез
Парфюмерию, ткани и множество всячины всякой.
Я спросил управдела: – Как звать сей обильный колхоз?
И сказал управдел мне: – Зовут его «Красной Итакой».

Ревизор в селькоопе учитывал гвозди и грим.
Секретарь волсовета выписывал сотую справку.
И за окнами гуси – те самые, спасшие Рим, –
Равнодушно щипали зеленую, сочную травку.

Наркомпросова Муза кружилась в сиянии дня,
Перевозчик Харон поспешал к своему перевозу.
И дары многополья, как благость Цереры, ценя,
Середняк Одиссей возвращался к родному колхозу[487].

Пародии подобного типа были построены по схеме, наиболее отчетливо проговоренной Валерием Брюсовым в уже цитировавшейся нами выше ворчливой рецензии на мандельштамовскую «Tristia»: «брюки» и другие «проблески современности», тонущие «за тучей всяких Гераклов, Трезен, Персефон, Пиерид, летейских стуж, и тому под., и тому под.»

Иногда, впрочем, пародистам казалось достаточным просто понавставлять в свои тексты всевозможные античные топонимы, имена и реалии, даже и не перемежая их с «проблесками современности».

Такова первая «античная» пародия на Мандельштама. Она была написана харьковским филологом-классиком Александром Финкелем в 1916 году и вошла в серию «Пошел купаться Веверлей…»:

Уже растоптана трава в лугах Эллады
и блещет ярко в небе Фаэтон.
В прохладных рощах в полдень спят дриады,
и Пану самому слетает светлый сон.

Широколистые не сеют тени клены,
лучам пылающим открыт песок аллей.
Полуденным пыланьем утомленный,
купаться поспешил усталый Веверлей.

Оставил верную он дома Доротею,
на тело голое навлек простой хитон.
Обул сандалии. Но, плавать не умея,
два легких пузыря берет с собою он.

Эмаль холодную он рассекает смело,
с разбегу в воду он ныряет головой.
Но тяжелее голова, чем тело,
и, дивная, она осталась под водой.

Летят, как горлицы, стенанья Доротеи.
Спешит прекрасная, бежит, как легкий пух.
Но, ноги милого заметив средь аллеи,

несчастная, она окаменела вдруг.

Не для того ль ползли арбы веков в тревоге,
на мне столетия оставили свой след,
чтоб видел над водой я высохшие ноги,
и на аллеях зрел я горестный скелет?!

И вновь вигилии ночные скорби множат, –
и наш век варварский, как бывшие, пройдет,
и снова бард чужую песню сложит
и, как свою, ее произнесет[488].

Сходным образом построена пародия Льва Никулина 1928 года; в ней, как и у Финкеля, юмористический эффект возникает за счет вписывания античных реалий в сюжет известного, но отнюдь не античного стишка:

Се в Капитолии слоняются собаки,
И там, где Ахиллесова стопа,
Как Одиссей на острове Итака,
Собака тосковала у попа.
Восплачем же, как Пенелопа в Трое!
На стадионе одинок Ахилл…
Она из трапезы похитила второе,
И поп ее намеренно убил.
Сними же, путник, тяжкие котурны,
Сверни же с олимпийского пути,
И се остановись у этой урны,
И надписи латинские прочти:
«Се в Капитолии…» и т. д. до конца[489].

Приведем еще дружескую пародию на «античного» Мандельштама, написанную в 1923 году Константином Мочульским:

Эллада

Я солью Аттики натер свои колени –
Что для девицы соль, то для матроны – мед.
В глуши Акрополя еще мелькают тени:
Се – Марафонский бег – Валькирии полет!

Не Клеменестра, нет, быть может, Навзикая –
Вы перепутались, святые имена! –
Нам вынесет воды. А только та, другая –
Совсем не женщина и, кажется, пьяна[490].

И – очень грубую пародию неудачливого стихотворца Марка Возлинского:

Откуда взялся я – не ведаю и сам,
За Персефоною вдруг выступил из круга,
Я трижды соляной – соленый Мандельштам,
Стигийской резвости соленая фелюга.

Вкусил я нежного овечьего дерьма
И бестолкового куриного помета, –
Что эолийская амброзия сама –
Теперь с хлебов оброк сбирать – моя забота.

Как мухи-лакомки – мои следы везде,
Душа ведь женщина – ей нравятся авансы.
Познал я соль вещей. А как, и с кем, и где –
Не все ли мне равно. И к черту аттарансы[491].

По грубости тона и мысли с этим стишком может соперничать разве что первая опубликованная пародия на Мандельштама, датируемая 1910 годом и подписанная псевдонимом «Аякс». Поводом для пародии послужила дебютная подборка мандельштамовских стихов, напечатанная в 9 номере журнала «Аполлон»:

Благовонием полон лес.
На коленях стоит балбес.
До Москвы дорога пряма.
Минет осень, пройдет зима.

Нерешителен рук узор.
Как легко сочинять всякий вздор!
52 недели в году
Неприятно жевать ерунду.
Проходите мимо там,
Где поставлен бланк: «Мандельштам»[492].

Многое путавший Георгий Иванов предположил, что под псевдонимом «Аякс» скрылся известный реакционный критик, ненавистник модернизма Виктор Буренин[493]. На самом деле автором пародии был Александр Измайлов. Не под ее ли влиянием Мандельштам пародируемое Измайловым стихотворение не включил ни в первое, ни во второе издание «Камня»?

Нужно сказать, что большинство прижизненных пародий на поэта было написано по мотивам стихотворений как раз этой книги. На долю второй книги Мандельштама – «Tristia» – выпал куда меньший успех. Ни одно из мандельштамовских стихотворений, написанных после «Tristia», вообще не попало в поле зрения пародистов-современников. Прижизненная известность поэта последовательно убывала, чтобы пышным цветом расцвести уже в 1960—1970-е годы. Выразительное свидетельство популярности поздних стихов Мандельштама среди русских поэтов второй половины XX – начала XXI столетий – многочисленные пародические отсылки именно к позднему Мандельштаму в их произведениях. Приведем лишь несколько примеров, выбранных почти наудачу:

И Шуберт на воде, и Пушкин в черном теле,
и Лермонтова глаз, привыкший к темноте.
Я научился вам, блаженные качели,
слоняясь без ножа по призрачной черте.

Как будто я повис в общественной уборной
на длинном векторе, плеснувшем сгоряча…

А. Еременко

В Европе – першинги. В Кабуле – москвичи.
Не тот фасон трусов в галантерее.

Ю. Гуголев

Не дождемся признаков вторичных.
Тихо догорает фейерверк…
И как в колхоз
не шел единоличник,
я не пойду
по лестницам
наверх…

Е. Бунимович

Там где Энгельсу
Сияла красота
Там Столыпину
Зияла срамота

А где Столыпину
Сияла красота
Там уж Энгельсу
Зияла срамота

А посередке
Где зияла пустота
Там повылезла
Святая крыса та…

Д. Пригов

Дай же Пригову стрекозу,
не жидись и не жалей!
Мише дай стрекозу тоже.
Мне – 14 рублей.

Т. Кибиров

Еще далёко мне до патриарха,
Еще не время, заявляясь в гости,
Пугать подростков выморочным басом:
«Давно ль я на руках тебя носил!»

С. Гандлевский

и так далее[494].

Возвращаясь к нашей теме, приведем еще несколько пародий мандельштамовских современников на стихи из «Камня».

В 1920 году участники студии «Звучащая раковина» так переделали финальные строки стихотворения «Отчего душа так певуча…» (1911):

Вы, конечно, ненастоящий –

Никогда к вам смерть не придет, –
Вас уложат в стеклянный ящик,
Папиросу засунут в рот
И поставят в лазоревый грот –
Чтобы вам поклонялся народ![495]

В 1928 году остроумный анонимный автор так обыграл строки из стихотворения Мандельштама «Образ твой, мучительный и зыбкий…» (1912) в пародии, включенной в серию «Поэты о 2-м займе индустриализации»:

Облигаций шелест слишком зыбкий
Ощущал в бумажнике своем.
– Гос-поди, сказал я по ошибке –
А хотел промолвить – Гос-заем[496].

Как известно, сам поэт высоко ценил свое стихотворение «Сегодня дурной день…» (1911), вошедшее в «Камень». Понять это можно, например, из воспоминаний о Мандельштаме Александра Гатова: «“Наш марш” Маяковского был у всех на слуху:

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог – бег…

Неожиданно Мандельштам проскандировал: “Дней бык пег…”

– Каждому ясно, откуда эти строки из односложных слов. Помните мое:

Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень
Мрачней гробовых плит.

Действительно, возразить было трудно»[497].

По-видимому, экзотический размер мандельштамовского стихотворения «Сегодня дурной день…» (оно написано стопными логаэдами) подсознательно привлекал к нему внимание пародистов[498]. Первую, в тыняновском смысле, пародию на это стихотворение придумал Маяковский, который, согласно

мемуарам Лили Брик, вслух декламировал его зачин так:

Сегодня дурной день.
Кузнечиков хор сплит[499].

Стихотворение «Сегодня дурной день…» обыгрывается и в репликах поэта Тиж Д'Аманда из уже цитировавшейся нами комедии «Кофейня разбитых сердец, или Савонарола в Тавриде»:

Тиж

Явлений грань кофейником разрушь.
Я пустоты всегда боялся.

Суламифь

Чушь.

Тиж

Кузнечиков в моем желудке хор.
Я чувство пустоты испытываю.

Суламифь

Вздор.
Ступайте-ка влюбиться,
Да повздыхать, да потомиться,
Тогда пожалуйте в кафе.

Тиж

(*гордо*)

Любовной лирики я никогда не знал.
В огнеупорной каменной строфе
О сердце не упоминал.

(*Подходит к кофейнику и величественно в него заглядывает.*)

Суламифь

Куда ты лезешь? Ишь какой проворный!
Проваливай.

Тиж

Ваш кофе слишком черный!

(*Медленно удаляется, декламируя*)

Маятник душ – строг,
Качается глух, прям,
Если б любить мог…

Суламифь

Кофе тогда дам[500].

Еще один пародируемый в пьесе текст – это программное мандельштамовское стихотворение «Дано мне тело – что мне делать с ним…», открывающее первое издание «Камня»:

(*Входит, задрав голову, Тиж Д'Аманд.*)

Тиж

Мне дан желудок, что мне делать с ним,
Таким голодным и таким моим.
О радости турецкий кофе пить
Кого, скажите, мне просить?

Суламифь

Вы, верно, влюблены?

Тиж

Не сомневаюсь.
Я кофия упорно добиваюсь.
Я и цветок, и я же здесь садовник.

Суламифь

Я напою вас, если вы любовник[501].

Наконец, в 1933 году стихотворение «Сегодня дурной день…» спародировал Павел Васильев:

Сегодня дурной день:
У Оси карман пуст,
Сходить в МТП[502] лень, –
Не ходят же Дант, Пруст.

Жена пристает: дай.
Жене не дает – прочь!

Сосед Доберман – лай,
Кругом, Мандельштам, ночь – …

– и т. д.

Дальше забыл.[503]

К «античным» пародиям на стихотворения Мандельштама, написанным в период «Tristia», мы можем прибавить только одну, ситуативную. Автором этой пародии 1927 года стал поэт и филолог Борис Горнунг:

И с разрушаемого Моссоветом вала
Мы город видели на малой высоте.
Советскими ветрами нас сдувало,
И мы сквозь дыры шли, как в решете[504].

«Мы пошли из Черкасского переулка пешком через Ильинские ворота и спустились к Москве-реке, – вспомнил позднее Горнунг. – Здесь Мандельштаму пришла в голову идея: “Давайте влезем на Китайгородскую стену” <…>. Мы благополучно вскарабкались около угловой башни, прошли по развороченной стене до Москворецкого моста <…>. Я… спародировал четыре строки его стихотворения»[505].

Завершим этот экскурс едва ли не единственной прижизненной пародией на стихи Мандельштама, сквозь которую явственно просвечивает безоговорочное восхищение мандельштамовскими стихами. Автором ее был известный китаист Лев Эйдлин:

Калька Л. Эйдлина

«Я не увижу знаменитой “Федры”».

О. Мандельштам

Мне предложили приготовить кальку
В приятной подражательной манере.
Для практики придется поработать
И сделать потрясающий шедевр.
Воссоздавая волшебство поэта,

Творившего в уединенном доме,
Я постараюсь отчеканить только
Отменно чистый Мандельштама ритм.

– Так сильно восторгаюсь я стихами… –

Стихи поэта бурною волною
Вас поднимают над обычной жизнью;
Вы вечером приходите усталый,
И вот пред Вами чуждые слова.
Уходят прочь обыденные дрязги,
В волнении забилось Ваше сердце,
И восхищает красками своими
Глубокомыслье порожденный стих…

Я получил нелегкую задачу…

Вот на столе зеленые чернила,
Стальные перья громоздятся кучей.
Но голос добронравья осторожный
Подделывать стихи мне не велит.
Зачитанный стихами Мандельштама,
В безумстве хочешь тоже трогать струны;
Беги и помни – нечего стараться,
Коль вдохновенье раньше не пришло!

Когда б кто мог представить эти муки…[506]

Возвращаясь к основному сюжету нашей книги, заметим, что Мандельштам часто заступался не только за своих друзей, но и за тех людей, которых он совсем не знал лично, например, за шестерых членов правления «Общества взаимного кредита» и бывшего ответственного работника Николаевского, в апреле 1928 года приговоренных большевиками к расстрелу.

18 мая поэт послал Бухарину экземпляр своей только что вышедшей книги «Стихотворения» с надписью примерно такого содержания: «В этой книге все протестует против того, что вы хотите сделать».

Спустя непродолжительное время автор «Стихотворений» получил от Бухарина телеграмму с сообщением о смягчении приговора.

Последняя вышедшая при жизни книга Мандельштама упоминается в псевдомемуарном, но отнюдь не пародийном

стихотворении Арсения Тарковского «Поэт»[507]:

Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.

Как боялся он пространства
Коридоров! Постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.

Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке.
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.

Оперенный рифмой парной,
Кончен подвиг календарный, –
Добрый путь тебе, прощай!
Здравствуй, праздник гонорарный,
Черный белый каравай!

Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

Так и надо жить поэту.
Я и сам сную по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.

Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.

Жизнь, должно быть, наболтала,
Наплела судьба сама.

Глава четвертая
До ареста (1928–1934)

1

Советские критики, писавшие о мандельштамовских «Стихотворениях», на все лады склоняли два уже набивших оскомину слова: «мастерство» и «несвоевременность». Однако тон большинства рецензий приобрел теперь существенно новое звучание: на смену «дружеским» нотациям пришли тяжелые политические обвинения. Так, в отзыве А. Манфреда Мандельштам был назван ни больше ни меньше как «насквозь буржуазным поэтом», представителем «крупной, вполне уже европеизированной» и «весьма агрессивной» буржуазии[508].

Начальные строки одного из стихотворений, вошедших в эту книгу:

> Мне жалко, что теперь зима
> И комаров не слышно в доме…

были грубо спародированы неким рапповским остроумцем, укрывшимся под псевдонимом «Архимедов»:

> Мне жалко, что теперь зима,
> И комаров не слышно в доме.
> Ты мне напомнила сама
> Пчелу, сидящую в соломе.
> Печально: нет укуса мух,
> Не услаждают слуха осы.
> Зачем твой носик синь и вспух,
> И разлохматилися косы?
> Но есть утех калейдоскоп, –
> Зимой дела не так уж плохи:
> И в стужу нежно жалит клоп,
> А по дивану скачут блохи[509].

Эта пародия вошла в микрорецензию на книгу Мандельштама, озаглавленную «Мандельштам, комары и прочие насекомые».

Стоит также отметить, что книга «Стихотворения» серьезно

пострадала от цензурного произвола, как и вышедший в июне 1928 года сборник мандельштамовских статей «О поэзии», рецензии на который также не отличались особой благожелательностью. «Статьи Мандельштама похожи на его стихи, – говорилось в одном из откликов. – Те же привычные образы, “мандельштампы”, та же фрагментарность, отрывистость, та же недодержанность дыхания»[510].

Но горшие беды поджидали Мандельштама впереди. Еще 3 мая 1927 года он подписал с издательством «Земля и фабрика» (ЗИФ) договор на обработку, редактирование и сведение в единый текст двух давних переводов романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле», принадлежавших один Аркадию Георгиевичу Горнфельду (видимо, двухтомное издание 1919 года; были еще сокращенные переиздания 1920 и 1925 годов), другой – Василию Никитовичу Карякину (1916 года). Ни Карякин, ни Горнфельд об этом ничего не знали и никаких денег за использование издательством их переводов предварительно не получили. В сентябре 1928 года роман вышел в свет, причем на титульном листе Мандельштам ошибочно был указан как переводчик. Поэт поспешил известить Горнфельда обо всем произошедшем и заявил, что отвечает «за его гонорар всем своим литературным заработком» (IV: 101)[511].

В вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» от 13 ноября 1928 года мелким шрифтом на последней странице было напечатано следующее «Письмо в редакцию» члена правления «ЗИФ’а» А.Г. Венедиктова: «В титульный лист “Легенды о Тиле Уленшпигеле” в издании “ЗИФ’а” вкралась ошибка: напечатано “Перевод с французского О. Мандельштама”, в то время как должно было стоять: “Перевод с французского в обработке и под редакцией О. Мандельштама”»[512].

В вечернем выпуске той же «Красной газеты» от 28 ноября 1928 года появилась заметка Горнфельда «Переводческая стряпня», где говорилось о том, что издательство «Земля и фабрика» «не сочло нужным сообщить имя настоящего переводчика изданного им романа, а О. Мандельштам не собрался объяснить, от кого собственно получено им право распоряжения чужим переводом»[513]. Далее Горнфельд доказывал, что «<ф>ранцузского подлинника О. Мандельштам не видел» и что из «механического соединения двух разных переводов с их разным стилем, разным подходом, разным словарем могла получиться лишь мешанина, негодная для передачи большого и своеобразного писателя».

Мандельштам откликнулся на эту заметку открытым письмом, напечатанным в «Вечерней Москве» 12 декабря 1928

года. Горнфельд, в свою очередь, отправил в «Вечернюю Москву» ответ Мандельштаму, но газета от его публикации уклонилась, мотивируя отказ нежеланием взваливать на читателей «тяжелую обязанность» «выслушивать все реплики обеих спорящих сторон»[514].

Какие позиции в этой точке конфликта заняли оппоненты?

Горнфельд выступил в привычном и естественном для себя амплуа видного мастера переводческого цеха, грудью вставшего на защиту неписаных, но святых правил своей корпорации. Эти правила требовали безукоризненного качества поставляемого на рынок товара, то есть переведенного текста, а также утрированной щепетильности по отношению к цеховым коллегам. «Горнфельд серьезно относился к своей переводческой деятельности, к своей подписи под переводом», – свидетельствовал поэт, мемуарист и сам видный представитель цеха С.И. Липкин[515].

Однако чрезвычайно внятная, на поверхностный взгляд, позиция переводчика «Тиля Уленшпигеля» осложнялась несколькими нюансами, сознательно упрятанными им в тень: недаром у Аркадия Георгиевича Горнфельда еще «в редакции “Русского богатства” было прозвище “хитрый А.Г.” за уклончивость суждений»[516].

Во-первых, навязывая Мандельштаму публичное выяснение отношений, Горнфельд отстаивал не только корпоративные, но и свои личные денежные интересы. Если в заметке «Переводческая стряпня» он специально подчеркнул, что «речь идет не о Горнфельде, которого не убудет от мелкого озорства» Мандельштама, то в частном письме (к Раисе Шейниной от 12 января 1929 года) высказался прямо противоположным образом. «С Мандельштамом я, очевидно, и судиться не буду: думаю, что сговорюсь мирно с “Землей и фабрикой”, – сообщал Горнфельд своей корреспондентке. – Несчастный, мне его озорство очень помогло: я продал “Уленшп<игеля>”, который весною выйдет; деньги буду получать понемногу, но все-таки это хорошее подспорье»[517]. Действительно, очередной перевод Горнфельда вышел в 1929 году. В последующие десятилетия и даже после смерти Аркадия Георгиевича в 1941 году «Тиль Уленшпигель» несколько раз издавался в его переводе.

Во-вторых, внимательное чтение «Переводческой стряпни» ясно показывает, что пером Горнфельда водило не столько намерение беспристрастного профессионала указать некоему младшему коллеге на допущенные оплошности, сколько азартное желание побольнее уязвить именно Мандельштама, которого в ранее отправленных письмах к Шейниной переводчик «Тиля»

охарактеризовал как «свинтус<а>»[518] и «очень юмористическ<ую>» «фигурк<у>»[519]. Здесь самое время сообщить, что обидчивому Горнфельду, судя по всему, была известна мандельштамовская характеристика его некролога Велимиру Хлебникову, как «скудоумной высокомерной заметк<и>», данная поэтом в 1922 году в статье «Литературная Москва» (II: 257).

Только личной неприязнью Горнфельда к Мандельштаму, по-видимому, объясняется умолчание в заметке «Переводческая стряпня» о том, что не кто иной, как Мандельштам «первый известил ничего не подозревавшего Горнфельда» (IV: 101) о допущенной издательством ошибке. Упомяни об этом «хитрый Аркадий Георгиевич», и незадачливый редактор его перевода предстал бы перед читателями «Красной газеты» в куда более выгодном свете[520].

Стремление адресно уколоть Мандельштама без труда угадывается и в едком профессиональном упреке из заметки «Переводческая стряпня»: согласно Горнфельду, мандельштамовские поправки к его переводу были «явно продиктованы только необходимостью что-нибудь изменить». Это предположение, как мы далее убедимся, не подтверждается сверкой текстов неотредактированного и отредактированного перевода.

И уже совсем обнажаются подлинные намерения Горнфельда в следующем пассаже из его заметки: «Хочу ли я сказать, что из поправок нет ни одной приемлемой? Конечно, нет: Мандельштам опытный писатель. Но, когда, бродя по толчку, я вижу<,> хотя и в переделанном виде, пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить: “А ведь пальто-то краденое”».

Эта одежно-воровская метафора (которая, как сообщил нам П.М. Нерлер, была вписана Горнфельдом в авторскую машинопись «Переводческой стряпни» – маститый критик не удержался!) полностью сводит на нет примирительное начало заметки, где удовлетворенно констатируется, что письмо Венедиктова в редакцию «Красной газеты» «вполне своевременно», поскольку «снимает с известного поэта возможное в таком случае обвинение в плагиате». Более того, в процитированном фрагменте горнфельдовской заметки вина за «кражу» перевода романа Шарля де Костера исподволь снимается с издательства и полностью переносится на Мандельштама. Возможно, употребить эту рискованную метафору Горнфельда спровоцировал следующий фрагмент сочувственного письма, которое он получил от А. Киппена: «Очень тепло вспоминает Пяст о своем друге Мандельштаме. Я спрашиваю очень громко и

весело: что слышно насчет <перевода> “Мадам Бовари”?

– Ну что ж… “Мадам Бовари”… Эка штука! У Мандельштама были дела почище! Однажды он шубу унес из квартиры одного зубного врача!

– На цинке стоял кто-нибудь? Кто именно? – спрашиваю я деловым тоном.

– Не знаю, стоял ли, нет ли. Друзья поэта говорили тогда, что, может быть, самое существование этого зубного врача только тем и оправдывается, что его шуба пригодилась Мандельштаму!

Как видите, дорогой Аркадий Георгиевич, тут никак нельзя смутить ни Мандельштама, ни “друзей поэта”. Ах, мать его не замать! – как говорил еще Владимир Красное Солнышко»[521]. Возможно, впрочем, что не Горнфельд подхватил метафору Киппена, а Киппен – метафору Горнфельда.

Позднее, в неопубликованном открытом письме в «Вечернюю Москву», отправленном в декабре 1928 года, разозленный Горнфельд даже обвинение в воровстве посчитает слишком слабым и еще усугубит «уголовную» составляющую деятельности противника: «Обличенные в изнасиловании, боясь наказания, тоже обычно предлагают “достигнуть соглашение <так! – *О. Л.*> задним числом”, но далеко не всегда им это удается»[522].

Литературная позиция, занятая на начальном этапе «дела об Уленшпигеле» Осипом Мандельштамом, хотя и ядовито, но в целом верно изложена в том фрагменте заметки «Переводческая стряпня», где говорится, что автору «Камня» «ради высот его поэзии надлежит разрешить и низкую прозу».

Перевод действительно занимал едва ли не самое низкое место в иерархии художественных ценностей Мандельштама.

«О.Э. был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащокинском <переулке> говорил Пастернаку: “Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихов”. Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно[523].

В этическом же мандельштамовском кодексе, как мы помним, основополагающим было восходящее еще ко временам первого «Цеха поэтов» представление о «своем круге», то есть о достаточно широкой группе *настоящих* писателей, дружески сплоченных против агрессивного окружающего мира. «Нет равенства, нет соперничества, есть сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия» («Утро акмеизма», I: 180). Характерный эпизод воссоздает в своих воспоминаниях о Мандельштаме Максимилиан Волошин: «…Я получил от одного поэта и издателя – Абрамова – несколько номеров

художественного журнала “Творчество”. Он просил написать ему свое впечатление от журнала. Там была большая статья Осипа Эмильевича “Vulgata”. Вульгатой, как известно, называется латинский перевод Библии, сделанный св<ятым> Иеронимом и принятый в католической церкви. Я долго вчитывался в статью М<андельш>тама и не мог понять ее заглавия, как оно понималось ему, пока не прочел заключительных слов статьи: “Довольно нам Библии на латинском языке, дайте нам, наконец, Вульгату”. Он как филолог просто перевел заглавие, а как историк никогда не встречался с этим термином и не подозревал о том легком “искривлении” смысла, кот<орое> лежит в этом имени. Я написал Абрамову: “Нельзя Вам как редактору допускать такие вопиющие ошибки: нельзя, чтоб наши невежественные поэты помещали у Вас заглавием статьи такие имена, смысл которых им самим неясен. За это ответственны Вы как редактор”. Случилось, что с М<андельш>тамом я встретился только в 1924 г<оду> в Москве <…>. М<андельштам> встретил меня радостно <…>, но прибавил: “Но нельзя же, Максимилиан Александрович, так нарушать интересы корпорации. Ведь все-таки наши интересы – поэтов – равнодейственны, а редакторы – наши враги. Нельзя же было Абрамову выдавать меня в случае “Vulgata”. Ведь эти подробности только Вы знаете. А публика и не заметит”»[524].

Отвечая на упреки Горнфельда в открытом письме в «Вечернюю Москву», Мандельштам руководствовался чрезвычайно схожей логикой. Сначала поэт признает, что Горнфельд стои́т «на целую голову выше большинства переводчиков» (IV: 103), а затем с горечью упрекает его в нарушении интересов «своего круга»: «Неужели он хотел, чтобы мы стояли, на радость мещан, как вцепившиеся друг другу в волосы торгаши?» (IV: 103).

Разумеется, Горнфельд, занявший в споре вокруг перевода «Тиля Уленшпигеля» принципиально иную позицию, не мог не спикировать на это место в мандельштамовском письме: «…Я себя торгашом не ощущаю – ведь не я продавал работу Мандельштама, а он мою, – и не вижу, почему он обзывает мещанами наших читателей – в том числе и читателей “Вечерней Москвы”, – которые вправе же знать, как поступают с ними некоторые книгоиздательства и некоторые редакторы»[525].

Взаимопонимание между критиком и поэтом становилось все менее достижимым еще и потому, что Мандельштам, как и Горнфельд, свою позицию излагал не вполне откровенно. Судя по всему, он отнюдь не считал Шарля де Костера «большим и своеобразным писателем». Но куда сильнее сковывало

неудачливого обработчика «Легенды о Тиле Уленшпигеле» то обстоятельство, что перевод и редактура чужих переводов продолжали оставаться для него основным средством заработка. Пренебрежительно отозваться о ремесле переводчика означало для Мандельштама поставить себя перед потенциальными заказчиками в крайне двусмысленное и неловкое положение.

Поэтому мандельштамовское письмо в «Вечернюю Москву» полно плохо увязываемых друг с другом противоречий. Так, в одном месте Мандельштам откровенно признается, что главный закон переводческой гильдии почти ничего для него не значит, в сравнении с необходимостью держать солидарность между писателями «своего круга»: «<Н>еважно, плохо или хорошо исправил я старые переводы или создал новый текст по их канве. Неужели Горнфельд ни во что не ставит покой и нравственные силы писателя, приехавшего к нему за 2000 верст для объяснений?» (IV: 103)[526]. А в другом месте своего письма Мандельштам выступает как раз в роли опытного переводчика-ремесленника, стремясь отвоевать ту литературную площадку, которую занял его оппонент: «<П>озволю себе заговорить с Горнфельдом на несколько непривычном для него производственном языке: мой переводческий стаж – свыше 30 томов за 10 лет – дает мне на это право…» (IV: 102).

Переходя к важному и до сих пор всерьез не обсуждавшемуся вопросу о тактике и стратегии Осипа Мандельштама как редактора горнфельдовских страниц «Тиля Уленшпигеля», сразу же признаем, что сравнения перевода с французским оригиналом Мандельштам действительно не сделал[527]. В письме в «Вечернюю Москву» свою и издательства спешку он оправдывал тем, что «<п>едантическая сверка с подлинником отступает здесь на задний план перед несравненно более важной культурной задачей – чтобы каждая фраза звучала по-русски и в согласии с духом подлинника» (IV: 102). Дело было, впрочем, не только в спешке. Принцип «чтобы каждая фраза звучала по-русски и в согласии с духом», но отнюдь не с буквой подлинника исповедовался Мандельштамом – автором таких «культурологических» стихотворений-пересказов чужих текстов, как «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Аббат», «Я не увижу знаменитой “Федры”…» и многих других. «<В> этих двух строках больше “эллинства”, чем во всей “античной” поэзии многоученого Вячеслава Иванова» – так оценивал финал мандельштамовского стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла…» К.В. Мочульский[528]. «Получается монтаж отрывков, дающий как бы синтетический образ диккенсовского мира» – так, разбирая стихотворение «Домби и сын», описывал

метод работы Мандельштама с классикой М.Л. Гаспаров[529].

Однако то, что было позволительно поэту, отнюдь не составляло доблести переводчика и редактора.

Помня о том, что Мандельштам с оригинальным текстом романа Шарля де Костера дела не имел, попробуем теперь выявить мандельштамовские редакторские принципы, опираясь на стилистический анализ первой части исправленного им перевода Горнфельда в сопоставлении с самим этим переводом. Для удобства и наглядности распределим все выявленные поправки по нескольким тематическим блокам.

1. Лексика

Больша́я группа поправок образовалась в результате работы Мандельштама с лексикой горнфельдовского перевода.

В ряде случаев редактор заменил нейтрально окрашенные слова на просторечные:

Горнфельд, 1919	**Мандельштам, 1928**[2]
сатана изволил *очень рано* подняться (I)[3]	сатана изволил *спозаранку* подняться
уверенный, что *в это время* никого не встретит (II)	Уверенный, что *в такую рань* никого не встретит
как же это вышло, что такой нарядный мальчик *спит* на улице? (III)	как же случилось, что такой достойный мальчик *валяется* на улице?
красный чорт из *ада* (III)	красный чорт из *пекла*

(Footnotes)

[2] Здесь и далее тексты романа приводятся по изданию, отредактированному Мандельштамом, и по тому изданию, по которому он текст романа редактировал: *Де-Костер Ш.* Тиль Уленшпигель. / пер. с фр. О. Мандельштама. М.; Л.: ЗиФ, 1929; *Де-Костер Ш.* Избранные сочинения: В 2 т. Т.1. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке (кн. 1–2). /пер., вступ. ст. и примеч. А. Горнфельда. Петроград: Всемирная литература, 1919.

[3] Здесь и далее римской цифрой означается номер главки в переводе Горнфельда, откуда взят пример.

Клаас *обхватывал* какую-нибудь из них руками (IV)	Но Клаас *облапит* любую да поцелует
крещен в белых *пеленах* (VII)	крещен в белых *пеленках*
чтобы *унести* куда-нибудь свое добро вместе со всеми жителями (VII)	*улепетывали* со своим скарбом жители
Он такой *красивый*, — сказала она (VIII)	Он — *красавчик*, — вздохнула Катлина
Он любил *поссорить* двух так называемых *верных* друзей (XI)	Не было для него большей радости, как *стравить* двух *закадычных* друзей
Став рядами друг против друга, и *жгли* друг другу свечами *лица* (XII)	Остановились — ряд против ряда, *тыча* горящими свечами друг другу *в нос*
Труднее было тем, кому так *надвинули* шлемы на головы (XII)	Труднее всего пришлось тем, кому в драке так *нахлобучили* шлем на голову

(В примере с «пеленами» – «пеленками» высокую и даже церковную лексику Горнфельда Мандельштам заменил на нейтральную.)

Иногда, компенсируя введение многочисленных просторечий в текст, Мандельштам, наоборот, архаизировал лексику перевода:

Горнфельд, 1919	**Мандельштам, 1928**
которого позже *назовут* Уленшпигель (V)	его *нарекут* Уленшпигель
простак Ламме Гудзак — *твое брюхо* (V)	простак Ламме Гудзак — *чрево твое*
И так *он станет* странствовать (V)	*Ему суждено* странствовать
Катлина уснула, добрая *колдунья* (V)	Катлина, как добрая *пророчица*, заснула
одеться в траур (VII)	*облечься* в траур
– *Идите* с миром (XII)	– *Ступайте* с миром.

Вот выразительный пример, демонстрирующий, как равноценный стилистический размен был осуществлен обработчиком в пределах одной фразы редактируемого перевода: сначала Мандельштам заменил нейтральное слово («*рукой*») на просторечное («*пятерней*»), а затем – просторечие («*мордочке*») на книжное слово («*личико*»):

Горнфельд, 1919	Мандельштам, 1928
проводил своей черной *рукой* по его свежей *мордочке* (IV)	смазывал черной *пятерней* его свежее *личико*

Не так часты, как можно было бы ожидать, случаи, когда Мандельштам подправлял перевод за счет введения в текст нового, казавшегося ему более удачным тро́па – метафоры, сравнения или уточняющего эпитета:

Горнфельд, 1919	Мандельштам, 1928
свои *чудесные, природой созданные чаши* (I)	свои *груди, налитые чудесным соком жизни*
но *радость моя не полна* (II)	но *в радости просвечивает дно*
уж давно *не было* ни денежки (II)	уже давно *не гостили* денежки
Уленшпигель — твой дух (V)	Уленшпигель — твой *буйный* дух
Когда возвращались, покачиваясь, *их головы были тяжелее их тел* (VI)	головы *их свисали, как тяжелые дыни*
на это пестрое множество толстяков: длинных, широких, высоких, остроконечных, стройных, важных или же вяло тащившихся на своих природных подпорках (XII)	на это пестрое скопище толстяков. У *одних брюхо было выпячено, у других свисало, как дряблый мешок*

Частным случаем подобного рода исправлений следует, вероятно, считать лексические поправки, спровоцированные стремлением Мандельштама устранить из перевода ненужную жеманность, заменив иносказание прямой, пусть и грубоватой номинацией:

Горнфельд, 1919	Мандельштам, 1928
крича, что они им *отрежут лишнюю кожу* (VII)	грозя их *оскопить*
Уленшпигель, который, расстегнув штанишки и подняв рубашонку, показывал им *некоторую часть своего тела* (XIII)	Уленшпигель, который в прореху штанишек показывал им *голый зад*

2. Синтаксис

Вторая большая группа мандельштамовских поправок отразила его работу с синтаксисом горнфельдовского перевода.

Очень часто (мы приведем только несколько примеров из множества выявленных случаев) Мандельштам сокращал и упрощал излишне громоздкую, на его взгляд, фразу перевода:

Горнфельд, 1919	**Мандельштам, 1928**
Проезжая Мейборгскую округу, Клаас должен был пересечь маленький лесок (XII)	Клаас ехал лесистой местностью возле Мейборга
Осел по дороге кормился колючками, Уленшпигель бросал шапкой в бабочек и тут же ловил ее, не слезая с своего места на спине осла (XII)	Уленшпигель ловил шапкой бабочек, подпрыгивая на крупе осла
Гамбривиуса, старого короля Фландрии и пива, каковой король жил за девятьсот лет до Рождества Христова и вместо шлема носил пивную кружку, чтобы не быть вынужденным, за отсутствием сосуда, отказаться от выпивки (XII)	Гамбринуса, славного пивного короля, жившего за 900 лет до рождества Христова и носившего на голове вместо шлема пивную кружку
–Чувствуете, какой приятный запах доносится из Фландрии? (XIX)	– Хорошо пахнет из Фландрии.
Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что принц не захотел выйти, но заявил, что любит только книги и одиночество (XII)	Архиепископ-воспитатель ответил, что инфант любит книги и одиночество.

Нередко Мандельштам менял порядок слов во фразе, добиваясь более естественного и менее вычурного ее звучания:

Горнфельд, 1919	**Мандельштам, 1928**
Понесли крестить Уленшпигеля (VI)	Уленшпигеля понесли крестить
Вдруг полил проливной дождь, промочивший его основательно (VI)	Вдруг хлынул проливной дождь, основательно его промочивший

И Клаас ушел удрученный с площади (X)	Удрученный Клаас ушел с площади
Но ни на одном ремесле не мог остановиться Уленшпигель, и Клаас заявил ему (XXI)	Но Уленшпигель не мог остановиться ни на одном ремесле, и Клаас ему объявил
– Кто сделал это? — спросил император	– Кто это сделал? — спросил император.
Вторично предстали в это время инквизиторы и теологи перед императором Карлом (XXV)	В то время инквизиторы и теологи вторично предстали перед императором Карлом
Холодно было (LXVI)	Было холодно

Стремясь упростить синтаксис горнфельдовского перевода, Мандельштам, где только это было можно, очищал текст от конструкций с придаточными предложениями:

Горнфельд, 1919	**Мандельштам, 1928**
Безутешная вдовица Флориса Ван-Борселе, который был губернатором Веере в Зеландии (VII)	Безутешная вдова покойного губернатора Ван-Борселе
Но что это за малыш, который там строит мне рожи? (XII)	Ну, а что за малыш там строит мне рожи?
Уленшпигелю было пятнадцать лет, когда он как-то в Дамме разбил на четырех палках маленькую палатку (XX)	Пятнадцатилетний Уленшпигель разбил в городе Дамме палатку
Когда крестный ход был на обратном пути, Уленшпигель должен был остановиться в дверях собора и возгласить (XXXII)	На обратном пути крестного хода Уленшпигелю было приказано остановиться в дверях собора и воскликнуть
священнику, который все еще был погружен в расчеты, как бы выгадать что-нибудь в свою пользу (XXXV)	священнику, который все еще потел над корыстными счетами

Случалось, что Мандельштам разбивал длинное сложноподчиненное предложение перевода на несколько простых:

Горнфельд, 1919	Мандельштам, 1928
Проезжая через Мейборг, он заметил, что тамошние обыватели, стоящие кучками, при виде его приходят вдруг в ярость, грозят своими палками и кричат: «Негодяй!» (XIII)	Ехали они по рыночной площади города Мейборга. Здесь в разных местах стояли кучками паломники. При виде Клааса они почему-то впадали в ярость, размахивали посохами и кричали: «Бездельник!»

3. Другие способы сокращения и упрощения текста перевода

Стремясь сохранить и передать национальный колорит «Легенды о Тиле Уленшпигеле», Горнфельд многие иноязычные слова оставлял без перевода, рассчитывая на проясняющий контекст. Мандельштам, редактировавший роман для так называемого «широкого читателя», встречавшиеся фламандские слова или переводил[530], или совсем сокращал. Кроме того, в целом ряде случаев он бестрепетно пожертвовал бережно сохраненными переводчиком подробностями фламандского быта, которыми щедро насыщено произведение Шарля де Костера:

Горнфельд, 1919	Мандельштам, 1928
посланной антверпенской общины явился за ним и не только сам прискакал на прекрасном *амбахтском* коне (XXXIX)	Гонец из Антверпена приехал на прекрасном, *породистом* коне
еще час был до oosterozoon — так во Фландрии называют шесть часов утра (II)	–
назывался Kool-draeger (IV)	–
церковный служка, — он же school-meester (VI)	–
выпили семнадцать с лишним пинт (dobbel) kuyt, то есть «двойного» (VI)	выпили семнадцать с лишним пинт «двойного» пива
а мальчишки свистели, орали и гремели в rommelpot (XII)	мальчишки свистели и орали

Особенно хорошо он играл на rommelpot — инструменте, состоящем из горшка, свиного пузыря и длинной камышинки. Он устраивал его следующим образом: обтягивал смоченным пузырем горшок, потом середину пузыря привязывал к колену камышинки, упиравшейся в дно горшка, к краям которого был туго-туго привязан пузырь так, что чуть не лопался. К утру, когда пузырь высыхал, он при ударе гудел, как бубен, а камышина, если по ней провести пальцами, звучала, как лютня. И Уленшпигель с своим хрипящим горшком, подчас ворчавшим, точно цепной пес, с своим громким пением ходил славить Христа по домам, а за ним толпа ребятишек, носивших под Крещенье блестящую бумажную звезду. (XXI)	Особенным же искусством отличался он в игре на инструменте, состоящем из горшка, пузыря и камышинки.
но зажиревшие купцы, называемые hoogh-poorters, воспротивились. (XXVIII)	но жирные купцы воспротивились

Самый радикальный способ купирования текста «Легенды о Тиле Уленшпигеле», к которому прибегал Мандельштам, поставленный перед необходимостью значительно сократить перевод Горнфельда, заключался в элиминировании не только множества частных подробностей, как в следующем примере (и многих, ему подобных):

Горнфельд, 1919	**Мандельштам, 1928**
Клаас будет без устали работать и всю жизнь проживет по праву и закону, не плача, над своей тяжелой работой, но всегда смеясь, и останется примером честного фламандского труженика. (V)	Клаас будет работать, смеясь, как подобает фламандцу.

но и целых побочных сюжетных линий и, соответственно, главок.

Так, редактируя первую часть романа, Мандельштам полностью сократил XLI, LX, LXIV и LXXIX главки

горнфельдовского перевода.

Вслед за Горнфельдом следует отметить, что «<н>и “Земля и Фабрика”, ни О. Мандельштам не предуведомили читателя, что он, приобретая новое издание “Уленшпигеля”, получит перевод, не только составленный из двух разных переводов, но и сокращенный на одну пятую» («Переводческая стряпня»).

4. Идеологические купюры и исправления

Особую и обширную группу поправок составляют мандельштамовские исправления и сокращения тех фрагментов романа Шарля де Костера, которые в конце 1920-х годов звучали идеологически сомнительно. Так, Мандельштам, редактируя текст, последовательно подбирает синонимы для характеристики «обыватели», часто встречающейся в переводе Горнфельда и приобретшей в советское время «оскорбительный» оттенок (ср., например, в процитированном в начале этой статьи письме Пастернака к Цветаевой от 30 мая 1929 года: «На его и его жены взгляд, я – обыватель»):

Горнфельд, 1919	**Мандельштам, 1928**
обыватели Вальядолиды (VII)	граждане Вальядолиды
Один обыватель в Дамме не мог уплатить Клаасу (L)	Кто-то из жителей Дамме, задолжав Клаасу за уголь

Нещадной редактуре Мандельштам подвергнул многие эпизоды романа, так или иначе связанные с религиозной жизнью и религиозными чувствами персонажей:

Горнфельд, 1919	Мандельштам, 1928
Благослови вас господь, ангелочки, — говорил он (IV)	Здравствуйте, детки, — отвечал он
внизу — работящие пчелы; а в небесах будут кровью истекать раны Христовы. И сказав все это, Катлина уснула (V)	внизу — работящие пчелы. Так сказав, Катлина, как добрая пророчица, заснула
«Бом-бом-дилинь-бом! Будь всегда бубенцом, будь веселым молодцом. Ибо нищих духом есть царствие небесное!» (VII)	— Бом-бом-дилинь-бом! Будь веселым с бубенцом, будь веселым молодцом!
И всякий раз, когда божья птица видела его возвращение, она широко разевала свой клюв (L)	Прирученная птица, завидев Клааса, сама открывала свой клюв
Но глаза ее по-прежнему неустанно искали на дороге ее сына. И все наслаждались счастьем, дарованным им от господа бога, и ждали, что дадут им люди (LI)	Но Сооткин, грустя о сыне своем Уленшпигеле, все высматривала его на дороге
— Можно еще прийти? — Уходи с Богом! — С богом, значит к тебе, голубка, ибо уйти и не видеть больше тебя, — это безбожно (LV)	— Проваливай по-хорошему! — Хорошо было идти к тебе, голубка, а не от тебя
Уленшпигель и Неле оставались всю ночь вдвоем у праха усопшей, молясь за нее. Утром в открытое окно влетела ласточка. — Птичка — душа усопшей, — сказала Неле. — Хороший знак. Сооткин уже на небесах. (LXXXIII)	Уленшпигель и Неле всю ночь провели у ложа покойницы. На заре в открытое окно влетела ласточка. — Это Сооткин послала нам весточку; примета хорошая, — сказала Неле.

В некоторых случаях Мандельштам сознательно искажал семантику высказывания персонажа, заменяя «веру» на «свободу»:

Горнфельд, 1919	Мандельштам, 1928
И пусть господь судит его величество, императора Карла, заковавшего в цепи *свободную веру* во Фландрии (XXIX)	И пусть господь судит императора Карла, сковавшего *совесть* во Фландрии
Клаас ответил, что тело во власти его королевского величества, но совесть *служит Христу, завету которого он следует* (LXX)	Клаас ответил, что тело его во власти короля, но совесть *свободна*

Главный вывод, напрашивающийся из сопоставительного анализа горнфельдовского перевода с мандельштамовской перелицовкой, следующий: как бы мы сегодня ни оценивали проделанную Мандельштамом работу, назвать ее откровенной халтурой нельзя. Густая правка, которой в процессе переделки подвергся горнфельдовский текст, была спровоцирована необходимостью решать вполне конкретные редакторские задачи. Две самые очевидные среди них – это тотальное упрощение и сокращение «слишком грузн<ого> текст<а>» Горнфельда (определение самого Мандельштама, IV: 103) с целью сделать его максимально доступным для восприятия «широкого читателя». А также идеологическое причесывание текста, вымарывание из него фрагментов, «несозвучных» советской эпохе. Можно сказать, что в данном случае поэт действовал как типичный советский редактор переводов – он стремился к упрощению синтаксиса и усложнению лексики.

«Наша эпоха вправе не только читать по-своему, – утверждал Мандельштам, – но лепить, переделывать, творчески переиначивать, подчеркивать, что ей кажется главным <…>. К целым историческим мирам наш читатель может быть приобщен не иначе, как через обработку, устраняющую длинноты, дающую книге приемлемый для него ритм» (II: 514).

Тем временем переводчик Карякин обратился с истерическим заявлением в правление Всероссийского Союза писателей. В частности, он сообщил, что собирается «искать защиты своих пострадавших интересов перед советским судом»[531] (реакция А.Г. Горнфельда, которому это заявление переслали: «…Я, ни в коей мере не отказываясь от ответственности за мои слова и действия, все же просил бы правление разъяснить В.Н. Карякину, что суждения и оценки, высказанные писателем о чужом произведении, могут быть предметом литературного спора и возражений, но не судебного разбирательства – кроме, конечно, случаев, когда писатель обвинен в явной недобросовестности таких суждений»)[532]. Карякин все же подал в суд. В июне 1929

года в иске по делу о «Тиле Уленшпигеле» ему было отказано.

Поведение Осипа Мандельштама в этой непростой ситуации, на первый взгляд, поражает своей парадоксальностью. Вместо того чтобы смириться с обстоятельствами, покаяться и спрятать голову в песок, поэт перешел в активное наступление на всех фронтах, всячески подчеркивая свое отщепенство, свою несовместимость с большинством окружающих его людей. Характерный пример из мемуаров Эммы Герштейн, впервые увидевшей Мандельштамов в подмосковном санатории «Узкое» 29 октября 1928 года: «Вставая из-за стола, отдыхающие стали обсуждать программу вечерних развлечений. Спросили “профессора” <Мандельштама>, не прочтет ли он что-нибудь. Тот ядовито обратился к человеку с круглыми покатыми плечами, но в форме летчика: “А если я попрошу вас сейчас полетать, как вы к этому отнесетесь?” Все были ошарашены. Тут он стал раздраженно объяснять, что стихи существуют не для развлечения, что писать и даже читать стихи для него – такая же работа, как для его собеседника – управлять аэропланом. Общее настроение было испорчено»[533].

Еще пример: в декабре 1928 года молодой литератор Игорь Поступальский в узком кругу сделал наивный доклад, в котором доказывал, что Мандельштам – поэт «преимущественно буржуазный, что поэзия его имеет музейный характер». В ответ герой доклада поинтересовался у Поступальского: «…Я не понимаю, почему вы прошли мимо еврейской темы в моих стихах – она ведь немаловажна»[534]. Долгие годы страшившийся и бежавший «хаоса иудейского» поэт теперь сознательно провозглашал свою принадлежность к этому «хаосу».

«Я один. Ich bin arm <Я беден (*нем.)*>. Все непоправимо. Разрыв – богатство. Надо его сохранить. Не расплескать», – писал Мандельштам жене в марте 1930 года (IV: 136) (знаменитая строка пастернаковского «Гамлета»: «Я один, все тонет в фарисействе» прозвучит только через шестнадцать лет; пока же будущий автор «Доктора Живаго» был настроен на доброжелательный диалог с советской современностью). Дело о «Тиле Уленшпигеле» Осип Эмильевич в письме к Надежде Яковлевне от 24 февраля 1930 года многозначительно назвал «делом Дрейфуса» (IV: 134).

Впрочем, аналогия с делом Дрейфуса несет не столь простой «национальный» оттенок, как может показаться на первый взгляд. Шпион, работавший во французском Генеральном штабе, стремился обратить ярость общества и государства не на порядки в учреждении, которое ложно обвинило невиновного Дрейфуса – в этом случае в приступе бдительности могли бы найти и

настоящего виновника, – а на самого облыжно обвиненного. И это шпиону удалось. Горнфельд, как мы видели, повел себя сходным образом: он всячески уклонялся от спора с издательством, предпочитая действовать не против инстанции, а против персоны – Мандельштама. Карякин вступил на путь судебной борьбы – и потерпел поражение. Горнфельд же хотел у любого отбить охоту связываться с ним и добился своего.

В свою очередь, Мандельштам сначала надеялся воспользоваться историей с «Уленшпигелем» для перестройки переводческого дела в целом и в своей утопической борьбе наивно рассчитывал найти союзника в короленковце-Горнфельде. Горнфельд же смотрел на происходящее в стране вполне практически: не ожидая ничего хорошего и отнюдь не желая становиться новым Владимиром Галактионовичем, старый переводчик настойчиво и безжалостно, но в то же время осторожно защищал свой конкретный интерес – чтобы никто больше не смел покушаться на его «шубу».

Мандельштамовские утопические планы могли питаться еще и тем, что поэт принимал снисходительность и сочувствие некоторых партийных функционеров, а также видных писателей за поддержку в его отчаянной борьбе. В таких обстоятельствах, когда его «поддерживали», а значит, на него как на борца за переустройство переводческого, а может быть, и всего литературного дела рассчитывали и надеялись, уйти в кусты не только не соответствовало мандельштамовскому характеру, но и казалось недопустимым по этическим, «высоким» причинам. Ведь борьба за настоящую, подлинную литературу всегда привлекала Мандельштама. Это досталось ему в наследство от Гумилева и, если угодно, от всей русской словесности XIX века. В своей статье «Слово и культура» 1921 года поэт писал: «Князья держали монастыри для совета…» (I: 213) – вот он, девиз мандельштамовской утопии.

С конца декабря 1928 года по март 1929-го Мандельштамы гостили в Киеве. Здесь, в Доме врача, в январе 1929 года состоялся официальный авторский вечер поэта, а чуть позже – полуофициальное мандельштамовское выступление в киевском университете перед студентами[535]. Исаак Бабель пристроил Мандельштама на местную киностудию, что дало ему возможность подзаработать, отрецензировав несколько фильмов. В Киеве Надежде Яковлевне вырезали аппендикс – операцию проводила хирург Вера Гедройц, которая, как и Мандельштам, в свое время усердно посещала «Цех поэтов». «Мне приходилось очень круто, – рассказывал Мандельштам в письме к отцу, отправленном в середине февраля. – Денег почти не было.

Родители Нади – люди совсем беспомощные и нищие. В квартире у них холод, запущенность. Связей никаких. Мать – очень плохая хозяйка. Каждая чашка бульона, которую я таскал в больницу, давалась мне с бою. У меня был постоянный пропуск в клинику, и так как я получил отдельную палату, то проводил там целые дни и даже ночевал, заменяя сестру и санитара. Самое трудное было подготовить Надино возвращение домой, вытопить печи, согреть комнаты, раздобыть на хозяйство, на прислугу» (IV: 111). Для контраста процитируем небольшой фрагмент из воспоминаний И. Одоевцевой, описывающих 1920 год: «Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери: “Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник. Помогите!”»[536] Приведем также реплику о Мандельштаме Анны Ахматовой, зафиксированную Лидией Гинзбург: «…Он всю жизнь был такой беспомощный, что все равно ничего не умел делать руками»[537].

В Москву поэт вернулся в начале апреля 1929 года и сразу же ринулся в бой: 7 апреля «Известия» опубликовали большую статью Мандельштама «Потоки халтуры», направленную против порочной переводческой практики. Среди предложенных автором «Потоков халтуры» мер: созыв «всесоюзного совещания по вопросам иностранной литературы» и создание «Института иностранной литературы с постоянным факультетом по теории и практике перевода». Кислая реакция братьев-писателей: «Осип Мандельштам пишет pro domo mea <в свою защиту (*лат.*)>, не вспоминая, однако, истории с романом де Костера» (из письма Р.В. Иванова-Разумника к А.Г. Горнфельду)[538].

В тот день, когда в Москве были опубликованы «Потоки халтуры», в Ленинграде состоялось первое заседание третейского суда по «делу о Майн Риде»: новый руководитель ЗИФ’а Илья Ионов обвинил Мандельштама и Бенедикта Лившица в том, что при переводе романов Майн Рида они пользовались не английскими оригиналами, а французскими переводными изданиями. Мандельштам и Лившиц отстаивали свою правоту. Спустя несколько месяцев, 30 сентября 1929 года, Ленинградское отделение Всероссийского союза поэтов постановит считать Мандельштама выбывшим из своих рядов «ввиду продолжающейся неуплаты членских взносов», «а также ввиду переезда на постоянное жительство в Москву»[539].

Апофеозом антимандельштамовской кампании стало опубликование в «Литературной газете» от 7 мая 1929 года фельетона «О скромном плагиате и развязной халтуре». Автором этого фельетона был уже упоминавшийся нами партийный публицист Давид Заславский, о котором даже пристрастный

Горнфельд писал, что «он теперь каналья хуже Мандельштама»[540].

В первой части фельетона в «Литературной газете» излагалась история мелкого киевского литератора, получившего за украденный у другого писателя рассказ премию 150 рублей. Во второй части Мандельштам – автор «Потоков халтуры» судил Мандельштама – редактора «Легенды о Тиле»: «Возьмем его за шиворот, этого отравителя литературных колодцев, загрязнителя общественных уборных, и представим его самому Мандельштаму на суд и расправу. И что с ним сделает О. Мандельштам – это и представить себе трудно!»[541]

В номере «Литературной газеты» от 13 мая было помещено письмо в редакцию самого Мандельштама, а также петиция в его защиту пятнадцати известных советских писателей (К. Зелинский, Вс. Иванов, Н. Адуев, Б. Пильняк, М. Козаков, И. Сельвинский, А. Фадеев, Б. Пастернак, В. Катаев, К. Федин, Ю. Олеша, М. Зощенко, Л. Леонов, Л. Авербах, Э. Багрицкий): «Заславский рядом возмутительных приемов пытается набросить тень на доброе имя писателя»[542]. Заславский ответил новым «Письмом в редакцию», напечатанным в «Литературной газете» от 20 мая. Одновременно дело было передано в конфликтную комиссию ФОСП (Федерация объединений советских писателей), которая в декабре 1929 года признала ошибочность публикации фельетона Заславского и одновременно моральную ответственность Мандельштама. В выработке этого решения принимал участие Борис Пастернак, писавший Н. Тихонову: «Мандельштам превратится для меня в совершенную загадку, если не почерпнет ничего высокого из того, что с ним стряслось в последнее время»[543]. Мандельштам, однако, отказался переживать происходящее с ним как «высокую болезнь» – он был взбешен решением ФОСП'а. «…Сам он удивителен, – отчитывался Пастернак в письме к Цветаевой от 30 мая 1929 года. – Правда, надо войти в его положенье, но его уверенности в своей правоте я завидую. Вру – смотрю как на нежданно-чужое. Объективно он не сделал ничего такого, что бы хоть отдаленно оправдывало удары, ему наносимые. А между тем он сам их растит и множит отсутствием всего того, что бы его спасло и к чему я в нем все время взываю. На его и его жены взгляд, я – обыватель, и мы почти что поссорились после одного разговора»[544]. Не этот ли разговор стал первопричиной внутреннего отхода Пастернака от Мандельштама? Отхода настолько бесповоротного, что в начале 1930-х годов Осипа Эмильевича не позвали на день рождения к соседу-Пастернаку (вспомним свидетельство С. Липкина), а в телефонном разговоре со Сталиным 13 июня 1934 года Борис Леонидович не смог

решительно ответить «Да!» на вопрос вождя: «Но ведь Мандельштам – ваш друг?»

5 июля 1929 года Заславский напечатал в «Правде» еще один клеветнический фельетон против Мандельштама «Жучки и негры», где издевательски изображалась эксплуатация одними писателями («жучками») других («негров»). Впрочем, в этом фельетоне Заславский, напуганный заступничеством писателей за Мандельштама, его имени даже не называет. Однако в личных письмах, которыми он засыпал Горнфельда, критик подобной «скромности» не проявлял. «У меня такое впечатление, – делился он с Горнфельдом своими “догадками” в письме от 13 мая 1929 года, – что не издательство “ЗИФ” – главный виновник в обмане, а сам же Мандельштам, который, вероятно, надувал издательство и выдавал свою “работу” за перевод или за обработку оригинального перевода с подлинника»[545].

За несколько недель до опубликования фельетона «Жучки и негры», 18 июня, с Мандельштамами увиделся П.Н. Лукницкий, который записал в своем дневнике: «О.Э. – в ужасном состоянии, ненавидит всех окружающих, озлоблен страшно, без копейки денег и без всякой возможности их достать, голодает в буквальном смысле этого слова. Он живет (отдельно от Н.Я.) в общежитии ЦЕКУБУ, денег не платит, за ним долг растет, не сегодня-завтра его выселят. Оброс щетиной бороды, нервен, вспыльчив и раздражен. Говорить ни о чем, кроме всей этой истории, не может. Считает всех писателей врагами. Утверждает, что навсегда ушел из литературы, не напишет больше ни одной строки, разорвал все уже заключенные договора с издательствами. Говорит, что Бухарин устраивает его куда-то секретарем, но что устроиться все-таки, вероятно, не удастся. Хочет уехать в Эривань, куда тоже его обещали устроить на какую-то “гражданскую” должность»[546].

Поездку в Ереван Мандельштаму пытался организовать все тот же Бухарин, 14 июня 1929 года писавший председателю армянского Совнаркома: «Дорогой тов. Тер-Габриэлян! Один из наших крупных поэтов, О. Мандельштам, хотел бы в Армении получить работу культурного свойства (например, по истории армянского искусства, литературы в частности, или что-либо в этом роде). Он очень образованный человек и мог бы принести вам большую пользу. Его нужно только оставить на некоторое время в покое и дать ему поработать. Об Армении он написал бы работу. Готов учиться армянскому языку и т. д. Пожалуйста, ответьте телеграфом на ваше представительство. Ваш Бухарин»[547]. Вскоре из Еревана пришел положительный ответ, подписанный наркомом просвещения и зампредсовнаркома

Армянской ССР А.А. Мравьяном. Однако после внезапной смерти Мравьяна 23 ноября 1929 года поездка была отложена на неопределенное время.

Летом 1929 года, вместе с Надеждой Яковлевной, Мандельштам съездил в Ялту. Вернувшись в столицу в конце августа, он поступил на службу в газету «Московский комсомолец», где вел еженедельную «Литературную страницу» и заведовал отделом поэзии.

2

В «Московском комсомольце» Мандельштам проработал четыре месяца. «В редакции к Мандельштаму отнеслись доверчиво и дружелюбно <…>. У него просили, чтобы он снабжал редакцию и ее сотрудников “культурой”»[548]. Регулярная служба потребовала от поэта предельной концентрации и самодисциплины – молодым сотрудникам и посетителям «Московского комсомольца» запомнились его сдержанность и корректность: «Внешне он выглядел спокойным. Нам казалось, что он даже несколько высокомерен – голову держал высоко!» (З. Полякова)[549]; «Никакого величия, позы, тихий ровный голос, ординарная внешность провинциального учителя, умное лицо без улыбки, скорбные глаза» (Н. Кочин)[550]; «…Перед моим мысленным взором О.Э. Мандельштам и сейчас стоит как живой, с приветливой улыбкой на розовом лице, чистый, элегантный, излучающий глазами внимание и доброту» (А. Глухов-Щуринский)[551].

Диссонансом – в сравнении с остальными свидетельствами – звучит устное воспоминание Александра Твардовского, принесшего однажды свои стихи в литературный отдел «Московского комсомольца»: «Раздраженный человечек на тонких ножках, как кузнечик, что-то возбужденно кричал мне, и я тихо ушел со своими стихами»[552].

Днем «спокойный» Мандельштам заведовал отделом в «Московском комсомольце»; ночью неистовый Мандельштам диктовал жене свою «Четвертую прозу», где комсомолу в целом и службе в комсомольской газете в частности были посвящены такие строки: «Мальчик, в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, напомаженный, с зачесанными височками, стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок – мальчишка из дворни. И вся эта свора сюсюкающих, улюлюкающих и пришепетывающих архангелов наседает на барчука:

– Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит – и старые девы, гнусные жабы, подталкивают барчука и придерживают паршивого кучеренка:

– Вдарь, Васенька, вдарь, а мы пока чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем.

Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца?

Нет. Это тренировка вихрастого малютки комсомола под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем…

– Вдарь, Васенька, вдарь!» (III: 168–169).

«Четвертая проза» писалась в конце 1929 – начале 1930 годов. Кроме службы в «Московском комсомольце» материалом для нее послужило прошлогоднее дело шестерых членов правления «Общества взаимного кредита» и, разумеется, злополучная история с переводом «Легенды о Тиле Уленшпигеле». «У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива, – самозабвенно открещивался от писательского звания Мандельштам. – У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я, к черту, писатель! Пошли вон, дураки!» (III: 171).

Между прочим, реминисценция из гоголевской «Женитьбы» здесь, вероятно, восходит к следующему фрагменту из уже упоминавшегося нами клеветнического фельетона Д. Заславского «Жучки и негры», направленного против Мандельштама: «Профсоюзной организации работников печати надлежало бы взяться за радикальную чистку переводческих трущоб. Но профсоюз поступил уж чересчур радикально: он попросту выбросил всех переводчиков, всех негров из профсоюзных рядов. Жучки остались, а негры изгнаны. Это значит действовать по упрощенному методу почтенной Агафьи Тихоновны, которая, не умея разобраться в женихах, всем им сказала: “Пошли вон!”»[553] Еще одна цитата из Гоголя возникает в финале «Четвертой прозы»: «Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека…» (III: 179).

«Он ненавидел письменный стол. Он небрежно обращался с ненужными ему книгами: перегибал, рвал, употреблял, как говорится, “на обертку селедок”. На домашнем языке это называлось “растоптать Москву”», – вспоминала Э.Г. Герштейн[554]. А былой мандельштамовский яростный оппонент А.Г. Горнфельд, поверив прокатившимся по литературной столице слухам, 30 марта испуганно писал А.Б. Дерману: «Несчастный О. М. попросту свихнулся и сидит в доме

умалишенных… Очень жаль поэта, но я в этом не виноват: Вы засвидетельствуете это, когда меня будут винить в том, что я затравил М<андельштама>, как Буренин – Надсона»[555].

На страницы «Четвертой прозы», кажется, впервые в творчестве Мандельштама легла зловещая тень И.В. Сталина. В пятой главке о детях советских писателей с негодованием говорится, что «отцы их запроданы рябому черту на три поколения вперед» (III: 171). Как известно, Сталин стал рябым после перенесенной оспы, «Рябым» звали его товарищи по революционному подполью.

Но этот намек на Сталина, весьма опосредованный, непрямой. Однако, как мы все теперь знаем, было и прямое упоминание. В одном из прижизненных списков «Четвертой прозы» шестая главка заканчивалась так: «Кто же, братишки, по-вашему, больше филолог: Сталин, который проводит генеральную линию, большевики, которые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отрекаться до десятых петухов, или Митька Благой с веревкой? По-моему – Сталин. По-моему – Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык»[556]. При жизни Надежды Яковлевны и двадцать лет после ее смерти этот фрагмент не обнародовался. Неизвестно, входил ли он в устный текст, когда Надежда Яковлевна зачитывала по просьбе поэта заученную ею наизусть «Четвертую прозу» немногим доверенным слушателям? Во всяком случае, уже здесь при первом появлении имени образ амбивалентно двоится: «запроданы рябому черту» – негативно, но предположительно, косвенно, эвфемистически, а «филолог Сталин» – одобрительно и прямо.

В финальной, шестнадцатой главке мандельштамовского произведения изображается, как «ночью по Ильинке ходят анекдоты. Ленин и Троцкий ходят в обнимку, как ни в чем не бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке» (III: 179). В подтексте процитированного фрагмента – не только идиома «сматывать удочки», намекающая на выдворение Л.Д. Троцкого из Советского Союза в Турцию 1 февраля 1929 года, но и вполне конкретный анекдот. Этот анекдот процитирован в книге корреспондента UPI в СССР Евгения Лайонса, вышедшей в Нью-Йорке в 1935 году. Вот он в русском переводе: «Троцкий, находясь в изгнании, в Турции, ловил рыбу. Мальчик, продававший газеты, решил над ним подшутить:

– Сенсация! Сталин умер!

Но Троцкий и бровью не повел:

– Молодой человек, – сказал он разносчику, – это не может быть правдой. Если бы Сталин умер, я уже был бы в Москве.

На следующий день мальчик снова решил попробовать. На

этот раз он закричал:

– Сенсация! Ленин жив!

Но Троцкий не попался и на эту уловку.

– Если бы Ленин был жив, он бы сейчас был здесь, рядом со мной»[557].

В феврале 1930 года комиссия по проверке состава редакции «Московского комсомольца» дала сотруднику Мандельштаму следующую характеристику: «Можно использовать как специалиста, но под руководством». В знак протеста поэт ушел из газеты. Некоторое время он вел рабкоровский кружок в редакции «Вечерней Москвы». Но возвратить Мандельштама к полноценному существованию могло только чудо – в затхлой атмосфере московского и ленинградского писательского быта о воскрешении поэта нечего было и мечтать. И чудо свершилось: через председателя Совнаркома В.М. Молотова и члена президиума Коминтерна С.И. Гусева Николаю Ивановичу Бухарину все же удалось пробить для Мандельштама поездку по Закавказью. В марте Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна покинули опостылевший флигель «Дома Герцена», где они жили с января 1930 года, и отправились в долгожданное путешествие.

С конца марта по май Мандельштамы отдыхали на правительственной даче в Сухуме, откуда они ездили на экскурсии в Новый Афон, Гудауту и Ткварчели. «Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского, с площадки Орджоникидзе. Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под <шум волн, напоминающий> траурный марш Шопена большую дуговину моря, раздышавшись своей курортно-колониальной грудью» (Из мандельштамовского «Путешествия в Армению») (III: 195).

В Сухуме 14 апреля 1930 года Мандельштама застала «океаническая весть о смерти Маяковского. Как водяная гора жгутами бьет позвоночник, <эта весть> стеснила дыхание и оставила соленый вкус во рту» (из набросков к «Путешествию в Армению») (III: 381).

Оба стихотворца вступили в большую литературу (Мандельштам – чуть раньше, Маяковский – чуть позже) в эпоху, когда «явно обозначился кризис символизма и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм» (Ахматова)[558]. Соответственно, Маяковский очень быстро начинает восприниматься читающей публикой как футурист № 2 – менее радикальный и склонный к теоретизированию, чем Хлебников, но едва ли не столь же талантливый. А Мандельштам – далеко не так быстро – как акмеист № 2, чье место располагается вслед за Гумилевым и

рядом с Ахматовой.

«Молчаливая борьба Хлебникова и Гумилева»[559] превратила этих двух поэтов в сознании читателя в полярные фигуры. Критика, с легкой руки Корнея Чуковского, главным литературным антиподом Маяковского избрала Анну Ахматову. Но и Мандельштам тоже не был забыт, свидетельством чего может послужить, например, позднейший «Конспект речи о Мандельштаме» (1933) Б.М. Эйхенбаума, один из тезисов которого: «Мандельштам и Пастернак – этим соотношением заменилось прежнее: Маяковский – Есенин»[560] – в финале подкрепляется следующим выводом: «Мандельштам, конечно, возрождение акмеистической линии, обогнувшей футуризм»[561]. «Когда Маяковский в начале десятых годов приехал в Петербург, – со слов своего мужа вспоминала Надежда Яковлевна, – он подружился с Мандельштамом, но их быстро растащили в разные стороны»[562]. Говорящая деталь: обратившись однажды к Надежде Яковлевне, Маяковский, должно быть, по старой привычке, назвал Мандельштама Осей.

В своих суждениях о Мандельштаме Владимир Владимирович последователен не был. А.Б. Гатову запомнилась характеристика «хороший поэт»[563], а в мемуарах Алексея Крученых приводится такое ироническое высказывание Маяковского, относящееся к 1929 году: «Ж<аров> – наиболее печальное явление в современной поэзии. Он даже хуже, чем О. Мандельштам»[564]. Во время «дела об “Уленшпигеле”» Маяковский занял «антимандельштамовскую» позицию.

Мандельштамовские суждения о Маяковском тоже не были лишены скепсиса, при том что Мандельштам всегда отдавал должное таланту автора «Облака в штанах». «…Совершенно напрасно Маяковский обедняет самого себя, – отмечал он, например, в заметке «Литературная Москва» (1922). – Ему грозит опасность стать поэтессой, что уже наполовину совершилось» (II: 259). Колкая шутка Мандельштама о Маяковском-поэтессе была замечена и превращена в бумеранг желчным Федором Сологубом, который говорил В. Смиренскому в 1925 году: «…Мандельштам и Маяковский – не поэты, а поэтессы»[565].

Хотя мандельштамовскому спору с переводчиками «Легенды о Тиле» в 1929 году предшествовала полемика с А.Г. Горнфельдом, развернутая Г.О. Винокуром на страницах журнала Маяковского «ЛЕФ» (отмечено Б.М. Гаспаровым)[566], имя Маяковского, как мы помним, отсутствует в списке заступников Мандельштама от Горнфельда и Заславского, опубликованном «Литературной газетой». Более того, в так называемом «деле об Уленшпигеле» Маяковский, судя по письму Горнфельда к Р.М.

Шейниной от 27 мая 1929 года, однозначно встал на сторону мандельштамовских обидчиков: «По делу Засл<авского> – Манд<ельштама> я бы мог тебе написать еще целую книжку, но расскажу лично. Должен был состояться суд в Конфликтной комиссии (вы об этом читали), и Абр<ам> Бор<исович> <Дерман> был там в качестве моего представителя, но Манд<ельштам> струсил, взял свою жалобу против Засл<авского> обратно и добился от правления Союза писателей предписания конфл<иктной> комиссии дела не разбирать. Комиссия, однако, протестует и хочет разбирать дело в июне – когда Абр<ам> Бор<исович> приедет из Полтавы. Из членов комиссии особенно ругал Мандельштама Маяковский – едва ли по принципиальным, верно, по личным мотивам»[567].

Тем не менее Мандельштам, никогда не поддававшийся соблазну мелкого мщения, в 1930-е годы восторженно отзывался о стихах уже погибшего Маяковского. Современнице (Н. Соколовой) запомнилась поистине гиперболическая оценка: «Маяковский – гигант, мы недостойны даже целовать его колени»[568]. Другие мемуаристы приводят такую формулу: «Маяковский – точильный камень нашей поэзии»[569].

Когда Мандельштам уехал на Кавказ и, соответственно, исчез с горизонта столичных писателей, они начали распространять слухи о том, что автор «Tristia» добровольно разделил судьбу Маяковского. Из дневника К.И. Чуковского от 22 апреля 1930 года: «В ГИЗе упорно говорили, что покончил с собой Осип Мандельштам»[570].

В мае – июне 1930 года Мандельштамы жили в Тифлисе, затем переехали в Ереван. «Был он худощав и невысок ростом, голова откинута назад, черты лица крупные, выразительные, в глазах – беспокойство, и весь он какой-то напряженный, тревожный, нервный» – так описывал облик Мандельштама мимоходом увидевший поэта в столице Армении Г. Маари[571].

В ереванской тюркской чайхане Мандельштам познакомился с молодым биологом Борисом Сергеевичем Кузиным (1903–1973).

«Он был не дарвинистом, а ламаркистом <…>. Он стрижется под машинку, “под ноль” <…>, носит крахмальный воротничок, он длиннорук, похож на обезьяну, у него чисто московский говор, усвоенный не из литературы, а от няньки <…>. Знал иностранные языки, постоянно перечитывал по-немецки Гёте <…>…служил в Зоологическом музее университета»[572]. Так со слов Мандельштама писала о Кузине Эмма Герштейн.

«Отношения близкой дружбы у нас установились даже не быстро, а словно мгновенно, – вспоминал Кузин. – Я был тотчас же втянут во все их планы и злосчастья. И с первого до

последнего дня нашего общения каждая наша встреча состояла из смеси разговоров на самые высокие темы, обсуждения способов выхода из безвыходных положений, принятия невыполнимых (а если выполнимых, то невыполняемых) решений и шуток и хохота даже при самых мрачных обстоятельствах»[573]. «…Встреча была судьбой для всех троих. Без нее – Ося часто говорил, – может, и стихов бы не было», – писала Надежда Яковлевна Борису Сергеевичу уже после смерти Мандельштама[574]. А сам поэт следующим образом охарактеризовал Кузина в письме к Мариэтте Шагинян: «Ему, и только ему, я обязан тем, что внес в литературу период т<ак> н<азываемого> “зрелого Мандельштама”» (IV: 159). Об этом же свидетельствуют строки мандельштамовского стихотворения «К немецкой речи» (1932): «Когда я спал без облика и склада, / Я дружбой был, как выстрелом, разбужен».

С 1 по 15 июля 1930 года Мандельштамы отдыхали на озере Севан, в первом в Армении профсоюзном доме отдыха. Из воспоминаний Анаиды Худавердян: «Так как он очень трудно переносил ереванскую жару и духоту, ему предложили отдых на острове Севан, и так Мандельштамы очутились в этом доме отдыха. Супруги Мандельштамы не имели детей, но очень любили и жаждали иметь их. Жена поэта мечтала о сыне <…>. Когда Осип Мандельштам садился за стол работать, она осторожно на цыпочках выходила, прикрывая за собой дверь, манила к себе играющих под окном детей, уводила их подальше, чтобы они “не мешали дяде писать стихи”»[575].

Последняя процитированная нами фраза как будто позволяет предположить, что именно на Севане к Мандельштаму после пятилетнего перерыва вернулись стихи. Скорее всего, однако, это произошло чуть позже. Во всяком случае, Кузину, вернувшись в Ереван, Осип Эмильевич никаких новых стихов не читал. «Последние дни в Эривани прошли в бесконечных разговорах и планах на будущее, – вспоминал Борис Сергеевич. – Ехать в Москву добиваться чего-то нового, какого-то устройства там или оставаться в Армении? Трудно сосчитать, сколько раз решение этого вопроса изменялось. Но ко дню моего отъезда было решено окончательно. Возможно только одно: остаться здесь. Только в обстановке древнейшей армянской культуры, через врастание в жизнь, в историю, в искусство Армении (имелось, конечно, в виду и полное овладение армянским языком) может наступить конец творческой летаргии. Возвращение в Москву исключено абсолютно»[576].

Этот фрагмент из воспоминаний Кузина многое объясняет и предсказывает в «зрелом Мандельштаме», хотя поэт и его жена в

итоге в Армении не остались («В год тридцать первый от рожденья века / Я возвратился, нет – читай: насильно / Был возвращен в буддийскую Москву. / А перед тем я все-таки увидел / Библейской скатертью богатый Арарат / И двести дней провел в стране субботней, / Которую Арменией зовут» – из мандельштамовского стихотворения 1931 года).

Приход к новым стихам стал возможен только благодаря выходу из писательского мира и отказу от прежних, «литературных» интересов. Равно как и дружба с Кузиным была важна как дружба с человеком, сознательно и ревниво оберегавшим себя «от вступления на “литературное поприще”» (собственная кузинская аттестация)[577]. В порыве отречения от «литературных интересов» Мандельштам был чуть ли не готов отказаться от русского языка во имя армянского (в посвященном Кузину стихотворении «К немецкой речи» он признавался в своем желании «себя губя, себе противореча», «уйти из нашей речи / За все, чем я обязан ей бессрочно»).

Характерно, что в писавшемся в апреле 1931 года «Путешествии в Армению» подробно говорится о биологии и живописи, но не о литературе. Фрагмент о Маяковском, может быть, не желая вступать в соревнование с Борисом Пастернаком, только что опубликовавшим свою «Охранную грамоту», автор «Путешествия в Армению» в окончательный текст не включил.

От утопических крайностей своего нового настроения Мандельштам очень быстро отошел. Из мемуаров Кузина: «Когда я напомнил, что решение остаться в Армении было окончательным, О.Э. воскликнул: “Чушь! Бред собачий!” Словно речь шла действительно о чем-то, приснившемся в бредовом сне»[578]. Но кое-что в мироощущении и в стихах поэта поменялось коренным образом.

Нужно еще заметить, что возвращение Мандельштама к писанию стихов в октябре 1930 года после пятилетнего молчания совпало с очередным ужесточением политического режима страны Советов, сигналом к которому послужил XVI съезд ВКП(б). В номере «Известий» от 1 октября была опубликована зубодробительная статья К. Радека «Социалистические ударники против капиталистических подрывников»[579]; в номере от 31 октября – большая редакторская передовица «О двурушничестве»[580]. В промежутке между началом и концом месяца вся советская печать дружно громила «правый уклон» партии, осужденный на съезде.

Стоит ли удивляться, что новый Мандельштам начался со строк

Куда как *страшно* нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

из стихотворения, обращенного поэтом к жене и написанного в Тифлисе в октябре 1930 года? Октябрем этого же года помечено и стихотворение, в котором тема страха перед действительностью убрана из текста в подтекст:

Не говори никому,
Все, что ты видел, забудь –
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь…

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.

По меткому наблюдению К.Ф. Тарановского, «<т>риада “птица, старуха, тюрьма”» в первой строфе «автобиографична. Это воспоминание о заключении во врангелевскую тюрьму в Феодосии (в конце 1919 или в начале 1920 года), по обвинению, угрожавшему поэту расстрелом»[581].

Тарановский акцентирует внимание и на том, что вторая строфа стихотворения «Не говори никому…» «начинается противительным союзом *или* (“а не то”), звучащим как угроза. Тема этой строфы – страх перед расстрелом»[582]. Только-только возвратившийся в поэзию Мандельштам сразу же призывает себя к молчанию: разворачивающиеся в стране события требовали от всякого говорящего предельной осторожности.

В соответствии с отлаженной советской схемой в каждой профессиональной области в октябре 1930 года отыскивались свои «правые уклонисты», чтобы публично клеймить их позором. Не стала исключением и писательская среда. Уже в номере от 4 октября 1930 года «Литературная газета» начинает публикацию длиннейшего «письма секретариата РАПП» «всем ассоциациям пролетарских писателей» «о развертывании творческой дискуссии»[583]. В этом «Письме», разумеется, не обошлось без

главки «Правая и “левая” опасности в пролетарской литературе на нынешнем этапе».

23 октября к разговору подключилась «Правда», напечатавшая коллективную статью участников мапповского кружка рабочей критики «Натиск» под заглавием «Против правого уклона внутри РАПП (О книгах и статьях В. Ермилова)»: «В литературное движение вливаются новые сотни и тысячи рабочих-ударников. В целях их воспитания необходимо с еще большей силой развернуть идейную борьбу за генеральную линию партии в литературе, в основном правильно проводимую РАПП, против искажений этой линии справа и “слева”. Надо развернуть действительную самокритику, действительно “невзирая на лица”. Наиболее ярким, хотя и не единственным носителем системы правооппортунистических взглядов внутри РАПП является тов. Ермилов, книга которого “За живого человека в литературе” (равно как и его последующие статьи) осталась до сих пор совершенно не разоблаченной и даже рекомендована ГУС для школьных библиотек <…>. Ермилов заявил, что Гумилева – этого активного белогвардейца, оголтелого врага рабочего класса – “революция просто не интересовала, оказалась лежащей вне его личности” <…>. Задача заключается в том, чтобы <…> очистить наше движение от ермиловщины, лицемерно прикрывающей свою правооппортунистическую сущность заявлениями о согласии с основной линией РАПП»[584].

Однако на следующий день, 24 октября, близкая в то время к РАПП «Литературная газета» поместила статью самого Ермилова «За писателя-бойца». Никак прямо не реагируя на сокрушительную критику со страниц «Правды», Ермилов попытался косвенно дезавуировать едва ли не все обвинения, брошенные ему кружком «Натиск». Например, он недвусмысленно резко высказался о Гумилеве, в тайной снисходительности к которому этого правоверного рапповца уличали рабочие критики: «Буржуазные поэты молились слову, – писал Ермилов, – они стремились окутать слово в глазах трудящейся массы туманом мистической тайны, противопоставляя слово всему мелкому, “земному”:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог.
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово – это бог.

Н. Гумилев»[585].

Вероятно, именно на полемику кружка «Натиск» с Ермиловым, а также на свод правил поведения для рядовых рапповцев, напечатанный в «Литературной газете», Мандельштам в октябре 1930 года откликнулся следующим иронически-иносказательным стихотворением:

На полицейской бумаге верже
Ночь наглоталась колючих ершей.
Звезды живут, канцелярские птички
Пишут и пишут свои раппортички.

Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать –
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

Комментарий Н.Я. Мандельштам: «“Раппортички” – два “п” – от слова РАПП. Это <…> заинтересовало когда-то Фадеева»[586].

3

Мандельштамы переехали из Еревана в Тифлис в середине октября 1930 года. В ноябре они вернулись в Москву. В декабре попытались закрепиться в Ленинграде. Тогда же был написано одно из самых известных мандельштамовских стихотворений о северной столице:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда – так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных[587].

С помощью Бухарина Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна получили путевку в дом отдыха ЦЕКУБУ «Заячий ремиз» в Старом Петергофе. Здесь они пробыли до 7 января 1931 года. Однако постоянному проживанию Мандельштама в Ленинграде неожиданно воспротивился секретарь Союза писателей Николай Тихонов, всего за три года до этого подаривший поэту свою книгу «Поиски героя» со следующей дарственной надписью: «Осипу Эмильевичу Мандельштаму – с любовью»[588]. Из «Воспоминаний» Надежды Яковлевны: «Это произошло после нашего возвращения из Армении; жить нам было негде, и О. М. попросил писательские организации предоставить ему освободившуюся в Доме литераторов комнату. Узнав об отказе <…>, я спросила Тихонова, должен ли О. М. просить разрешения писательских организаций, чтобы поселиться в Ленинграде, скажем, в частной комнате. Тихонов упрямо повторил: “Мандельштам в Ленинграде жить не будет”»[589].

В скобках следует отметить, что автор «Поисков героя» как поэт был весьма многим обязан автору «Камня». Его ранние стихи буквально нашпигованы отсылками к Мандельштаму. Так, фрагмент строки «…качаясь, мир плывет» из тихоновского стихотворения «Наследие» восходит к фрагменту строки («Земля плывет») из мандельштамовского стихотворения «Прославим, братья, сумерки свободы…». В стихотворении Тихонова «Свифт» целый ряд образов («подбитый глаз», «дерзостный старик», «слепая голытьба») перекликается с соответствующими мотивами «Старика» Мандельштама. Строка «Хохочет кожаный шкипер, румяный, манит» из «Северной идиллии» Тихонова представляет собой перифраз строки «Румяный шкипер бросил мяч тяжелый» из мандельштамовского «Спорта».

Может быть, Тихонов так и не смог простить Мандельштаму ядовитого определения, которым Осип Эмильевич припечатал когда-то его поэзию: «Здравия желаю, акмеизм»?[590].

Стремясь хоть как-то поправить свое жилищное положение, Мандельштамы обратились с прошением к В.М. Молотову, написанным от лица Надежды Яковлевны: «Наладить работу в Армении Мандельштаму не удалось из-за незнания армянского языка, и после нескольких месяцев отдыха нам пришлось вернуться на север. В Закавказье Мандельштам вполне оправился

от болезни, но, попав на север в те же, вернее – в более тяжелые бытовые условия, он, несомненно, скоро расшатает свое здоровье, и все вернется к прежнему положению <…>. Основная беда в том, что Мандельштам не может прокормиться чисто литературным трудом – своими стихами и прозой. Скупой и малолистный автор, он дает чрезвычайно малую продукцию… После тяжелого жизненного кризиса, после перенесенной болезни, Мандельштам – пожилой и утомленный человек – очутился у разбитого корыта <…>. А чтобы его сохранить, нужно создать для него нормальные условия жизни – дать ему академическую спокойную работу <…>. Второй вопрос – квартирный. Все эти годы у нас не было средств, чтобы купить себе квартиру <…>. Нигде, ни в одном городе нельзя получить жилплощади. Мандельштам оказался беспризорным во всесоюзном масштабе»[591].

Никакой помощи сверху поэт не дождался. Нужно было собираться в Москву. Последние дни в Ленинграде супруги прожили раздельно: Осип Эмильевич – у брата Евгения; Надежда Яковлевна – у своей сестры, «в каморке за кухней». Все эти обстоятельства отразилась в коротком мандельштамовском стихотворении, созданном в январе 1931 года:

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай…
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери –
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал[592].

Стихотворение начинается с почти идиллической статичной картинки: двое сидят на кухне, перед ними – каравай хлеба. Легко догадаться, что двое – это муж и жена (гостей на кухне *не* принимают). Далее, однако, спокойствие и уют сменяются все более и более лихорадочным движением («накачай», «собери», «Завязать корзину», «уехать»). И вот уже в финальном двустишии вместо кухни перед читателем возникает ее стопроцентный антипод – многолюдный вокзал, куда, спасаясь от зловещего «никто», уезжают муж и жена. Семье суждено раствориться среди неприкаянных вокзальных пассажиров – таков трагический итог

стихотворения.

В Москву Мандельштамы приехали в середине января 1931 года. Надежда Яковлевна временно поселилась у своего брата Евгения на Страстном бульваре. Осип Эмильевич – у своего брата Александра в Старосадском переулке. «Помню его с папиросой в руках, стоящим в нашем огромном коридоре, куда вечно выходили курить соседи, звонил телефон и играли дети» (Из мемуаров Раисы Леоновны Сегал)[593]; «Ося был очень нервозен, непрерывно курил, кричал: “Чаю! Чаю!”, занимал подолгу общий телефон, вызывая протесты соседей» (Из воспоминаний жены Александра Мандельштама – Элеоноры Самойловны Гурвич)[594].

Меж тем гайки в стране завинчивали всё туже. Следующий за процессом «Промпартии» этап государственных репрессий в СССР ознаменовался делом так называемого «Союза бюро РСДРП (меньшевиков)»: 1 марта 1931 года «Правда» напечатала подборку материалов под общей шапкой «Сегодня пролетариат страны Советов судит врагов социализма, наемных слуг “торпромов” и детердингов – социал-интервентов»[595]; «Известия» в этот день опубликовали редакционную статью «Социал-вредители перед пролетарским судом»[596]. 2 марта на первой странице «Правды» была помещена редакционная статья «Строжайшую кару социал-вредителям!»; «Известия» напечатали передовицу «Признание виновных»[597].

Вторым марта 1931 года датировано мандельштамовское стихотворение «Колют ресницы. В груди прикипела слеза…», в чьей второй строфе отчетливо прозвучали тюремные, лагерные мотивы:

> С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
> Дико и сонно еще озираясь вокруг,
> Так вот бушлатник шершавую песню поет
> В час, как полоской заря над острогом встает.

Отчаяние от бытовой неустроенности и от тяжелой политической обстановки в СССР каким-то образом уживалось в поэте с восторгом от возвращения стихов. Из «Второй книги» Н.Я. Мандельштам: «Мы были подвижны и много гуляли. Все, что мы видели, попадало в стихи: китайская прачечная, куда мы отдавали белье, развал, где мы листали книги, еще не покупая из-за отсутствия денег и жилья, уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама и жену Шуры, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах… Это блаженное чувство, и нам чудесно жилось»[598].

В своих произведениях начала 1920-х годов Мандельштам без устали выяснял отношения с прошлым и настоящим. Теперь, в начале 1930-х, на новом витке развития мандельштамовского творчества, эта ситуация вновь обрела актуальность. Наиболее значительные стихотворения Мандельштама 1931 года представляют собой как бы развернутый ответ всем тем критикам, которые долгие годы попрекали поэта «музейностью» и отсутствием контактов с современностью. «Вы думаете, я с XIX веком? Нет, я не с XX-м, но и не с XIX-м!» – говорил поэт молодому пушкинисту Илье Фейнбергу[599].

В автобиографическом стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан…» (февраль 1931-го) Мандельштам поэтически «оправдывает» собственное бегство из северной столицы: Ленинград предстает здесь Петербургом – отжившим свое, хотя и молодящимся («моложавым») городом:

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья, —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.
<…>
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглеет —
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.

В стихотворении-«дразнилке» (определение Н.Я. Мандельштам) «Я пью за военные астры…» (11 апреля 1931 года) поэт издевательски примеривает на себя маску «представителя крупной европеизированной буржуазии», а в финале выстреливает саркастическим «еще не придумал» (чего бы еще такого на себя наговорить):

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня,

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.

Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю одно:

Веселое асти-спуманте иль папского замка вино[600].

В стихотворении «Довольно кукситься. Бумаги в стол засунем…» (7 июня 1931 года) Мандельштам декларирует свою нерасторжимую связь с настоящим: «Держу пари, что я еще не умер, / И, как жокей, ручаюсь головой, / Что я еще могу набедокурить / На рысистой дорожке беговой. / Держу в уме, что нынче тридцать первый / Прекрасный год в черемухах цветет…».

А в стихотворении «Сегодня можно снять декалькомани…» (25 июня 1931 года) поэт осторожно заглядывает в будущее: «Мне кажется, как всякое другое, / Ты, время, незаконно! Как мальчишка / За взрослыми в морщинистую воду, / Я, кажется, в грядущее вхожу, / И, кажется, его я не увижу».

Мечты о даре предвидения в эту пору занимают сознание поэта. «<М>ыслящая саламандра, человек, угадывает погоду завтрашнего дня – лишь бы самому определить свою расцветку», – писал Мандельштам в «Путешествии в Армению» (III: 186), имея в виду всеми отвергнутые опыты затравленного зоолога-самоубийцы Пауля Каммерера по наследованию саламандрами окраски, соответствующей основному цвету внешней среды, и в то же время варьируя следующий евангельский фрагмент: «…Когда видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: «Дождь будет», и бывает так; Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» (Лк. 13:54, 57).

В центре мандельштамовских текстов 1931 года – знаменитое стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков…», создававшееся с 17 по 28 марта. В одном из эпизодов «Путешествия в Армению» (работа над которым была начата в апреле этого же года) Мандельштам сравнивал себя с «мальчиком Маугли из джунглей Киплинга» (III: 195). В стихотворении «За гремучую доблесть грядущих веков…» он, обыгрывая ключевую фразу киплинговской сказки («Мы с тобой одной крови – ты и я»), подобно Маугли отказывается от своего «волчьего» прошлого ради «человечьего» настоящего:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей…

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет[601].

Но современникам было легче представить себе Мандельштама как раз в образе загнанного в угол зверя. Первыми слушателями стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков…» стали выдающийся актер-чтец Владимир Яхонтов и его жена Лиля (Еликонида) Попова, с которыми Мандельштамы особенно тесно сошлись в 1931 году. «…Он затравленным волком готов был разрыдаться, и действительно ведь разрыдался, падая на диван, тут же только прочтя нам (кажется, впервые и первым) “Мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей”», – записал в своем дневнике Яхонтов[602]. (С Лилей Поповой и Владимиром Яхонтовым Мандельштамы познакомились зимой 1927 года, когда и те, и другие жили в Детском Селе. Позднее Попова описала совместное с Мандельштамами празднование 1 мая 1928 года: «…Мы остались без куска хлеба. Администратор забыл про нас. Я из теплых перчаток соорудила окорока и украсила бумажками, как это бывает на праздничных столах. Наш стол был составлен сплошь из бутафорских вещей. Мы пригласили Мандельштамов и долго веселились. В награду за нашу выдумку они пригласили нас к себе на обед и накормили»[603]).

Еще один ключевой помимо киплинговского подтекст стихотворения Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…» – стихотворение его любимого Верлена, которое мы приводим здесь в подстрочном переводе:

Ибо действительно я много страдал,
Загнанный, затравленный, как волк,
Который не может больше блуждать в поиске
Хорошего отдыха и надежного пристанища
И который прыгает, как ягненок,
Под ударами целого племени.

Ненависть, желание и деньги,

Хорошие волкодавы с исправным обонянием,
Окружают меня, сжимают меня.
Это длится
В течение лет! Обед из смятенья.
Ужин страхов, трудное пропитание!

Но в ужасе родного леса
Вот борзая судьбы.
Смерть. Животное и бестия!
Полумертвый: смерть
Кладет на меня свою лапу и кусает
Это сердце, не прекращая борьбы!

И я остаюсь окровавленный, таща
Свои кровавые следы к потоку,
Который воет посреди моего целомудренного леса.
Дайте мне умереть, по крайней мере, вы,
Мои братья, Волки! Для лучшего,
Которое моя сестра Женщина-Волчица опустошает[604].

В таких стихотворениях Мандельштама апреля 1931 года, как «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» «Неправда» и уже упоминавшееся «Я пью за военные астры…», неприятие окружающей действительности было столь велико и лично окрашено, что оно просто не могло найти себе точных соответствий в советских газетах того времени. Отметим лишь, что в мандельштамовском стихотворении «Рояль» (16 апреля 1931 года) почти наверняка идет речь об одном из двух концертов пианиста Генриха Нейгауза, так анонсировавшихся «Известиями»: «Госуд<арственный> Академич<еский> Большой театр Союза ССР. 7 и 8 апреля, в 1 час дня, симфонические концерты. Дириж<ер> Игнац Вагхальтер. Исп<олняют> оркестр ГАБТ СССР и Г. Нейгауз. В прогр<амме>: Бетховен 3-я симф<ония> (героическая), 5-й конц<ерт> для ф<орте>п<иано> с орк<естром>, Брамс 1-я симфония»[605].

Однако в двух своих длинных стихотворениях – «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» (май – 4 июня 1931 года) и «Еще далёко мне до патриарха…» (май – сентябрь 1931 года) – Мандельштам вернулся к заинтересованному диалогу с советской современностью и с советской прессой.

В первом стихотворении присутствует прозрачный намек на мартовский процесс «Союза бюро РСДРП (меньшевиков)»: здесь изображается цыганка, на поводу у которой «*арестованный*

медведь гуляет – / Самой природы вечный *меньшевик*». Еще через две строки поэт дает не слишком лестную характеристику чересчур легко меняющему свой облик, «жуликовато» конъюнктурному времени:

> Я подтяну бутылочную гирьку
> Кухонных, крупно-скачущих часов.
> Уж до чего шероховато время,
> А все-таки люблю за хвост его ловить:
> Ведь в беге собственном оно не виновато
> Да, кажется, чуть-чуть жуликовато…

Эти мандельштамовские строки, как кажется, должны быть поставлены в контекст групповой идеологической полемики, вылившейся на страницы «Литературной газеты» в апреле 1931 года. Сначала Николай Асеев напечатал в газете выдержанную в лефовском духе и содержавшую прямые отсылки к Маяковскому статью «Мои часы ушли вперед»: «– Мои часы уходят вперед. Я купил их в распределителе по ордеру. Они собраны уже на советской фабрике. В первый же день хода они ушли вперед на двадцать минут. Ничего. Я доволен своими часами. Пусть только они не отстают. С ними я не опаздываю <…>. “Наш бог – бег, сердце – наш барабан” <…>, мои часы ушли вперед. Переводить ли мне их каждодневно? Развинчивать ли их, копаться ли в них самому или отдать в починку – новые, только пущенные, не желающие отставать от своего времени? Нет, чинить я их никому не отдам. И сам копаться не буду. Они сделаны на советской фабрике. И с ними я не опоздаю»[606]. Затем Асееву с ортодоксальных советских позиций ответил Илья Сельвинский: «Часы на кремлевской башне бьют полден<ь> как раз в тот момент, когда солнце находится в зените. Двенадцать ударов – и куранты вызванивают “Интернационал”. Это символ того, что большевистский циферблат находится в полном соответствии с объективной реальностью. Поэтому он и большевистский. И если какая-нибудь деталь механизма, пораженная оппортунистической ржавчиной, начинает задерживать ход хотя бы на секунду, она моментально извергается вон. И если другая деталь, вырвавшись из общего строя, начинает кружиться в левацком танце и заторапливать бег машины – она выбрасывается туда же, куда и первая»[607]. Мандельштам в своем стихотворении, как видим, отказался и от сверхсовременной метафоры Асеева, и от сервильной метафоры Сельвинского, предпочтя наручным советским часам и кремлевским курантам допотопные ходики.

И все же в третьей от конца строфе стихотворения «Полночь в

Москве. Роскошно буддийское лето…» поэт с вызовом заявил:

Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать, —
Ручаюсь вам – себе свернете шею!

Уже давно было замечено, что в зачине стихотворения Мандельштама «Еще далёко мне до патриарха…» перефразируется «Еще как патриарх не древен я…» Евгения Баратынского. По точному наблюдению Д.И. Черашней, перефразируется эта строка в духе злободневности: в июле 1931 года в Советскую Россию приехал Бернард Шоу. 26 июля в Колонном зале Дома союзов в Москве было с помпой отпраздновано его 75-летие[608]. Почтенный возраст Шоу акцентировался во всех корреспонденциях о его пребывании в СССР. Процитируем, для примера, репортаж о встрече писателя в Москве: «<П>оявляется Шоу – высокий прямой старик с белой бородой»[609]. Следовательно, современник должен был понимать мандельштамовскую строку приблизительно так: пусть мне не оказывают столь пышных почестей, как Бернарду Шоу… Сравним в «Четвертой прозе» о визите в октябре – ноябре 1928 года в СССР французского поэта Шарля Вильдрака: «Французику – шер мэтр – дорогой учитель, а мне – Мандельштам, чеши собак. Каждому свое» (III: 178).

Безо всяких дополнительных комментариев современник Мандельштама должен был понять и о какой конкретно «фильм<е> воровской» идет речь во второй строфе стихотворения «Еще далёко мне до патриарха…»:

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.

16 мая 1931 года в столице состоялся закрытый общественный просмотр первой звуковой советской кинокартины «Путевка в жизнь» режиссера Н. Экка[610]. В фильме рассказывалось о перековке бывших беспризорников под руководством мудрого партийного работника. Украшением

картины стала роль вора Жигана, исполненная молодым Михаилом Жаровым. С 1 июня 1931 года «Путевка в жизнь» широко пошла по экранам Москвы[611].

Новые для жизненной позиции Мандельштама идеологические оттенки вводятся в стихотворение «Еще далёко мне до патриарха…» при помощи утрированно советских, положительно заряженных реалий:

> Люблю разъезды скворчащих трамваев,
> И астраханскую икру асфальта,
> Накрытую соломенной рогожей,
> Напоминающей корзинку асти,
> И страусовы перья арматуры
> В начале стройки ленинских домов.

Одним из подтекстов этих строк и всего стихотворения в целом, возможно, послужила малоизвестная «Москва» (1920–1923) мандельштамовского знакомца Филиппа Вермеля:

> На площадях, на улицах кипенье
> Народа напряженней, чем когда-то.
> Гудит трамвай. Впервые прошлым летом
> В котлах асфальт варился, маляры
> Работали на обветшалых крышах.
>
> Как грязно, жалко все кругом – но скоро
> На месте пустырей домов громады
> Воздвигнутся, преображая вид
> Раскинувшейся широко столицы.
>
> Как я люблю толкаться среди шума
> По улицам кривым, холмистым, скользким.
> Мороз крепчает, градусов пятнадцать, –
> Стоит на небе красный тусклый шар,
> И я впиваю тусклое блистанье
> И новой жизни свежее дыханье[612].

Тем сильнее бросается в глаза (отсутствующий в стихотворении Вермеля) мандельштамовский эпитет *«ленинских»* при определяемом слове «домов». Тема ударного жилищного строительства в Москве – одна из основных для столичной прессы мая – сентября 1931 года. Более того, можно осторожно предположить, что не только к зрительным впечатлениям, как у

Вермеля, но и к актуальному газетному контексту восходят мандельштамовские строки об асфальте. Выбор асфальта вместо булыжника в качестве основного покрытия для московских улиц широко обсуждался и приветствовался в средствах массовой информации того времени. На первой странице «Вечерней Москвы» от 28 мая 1931 года появилась большая подборка материалов «Строительство жилищ и мостовых – под рабочий контроль. Москву булыжную превратим в Москву асфальтированную». Номер от 15 июня открывался ликующей передовицей «25 июня начинается постройка новых асфальтно-бетонных мостовых». А на третьей странице «Известий» за это же число была помещена «проблемная» статья Эмиля Цейтлина «Асфальт или брусчатка?». Также мандельштамовские строки об асфальте и о «начале стройки ленинских домов» без особой натяжки могут быть сопоставлены со следующим фрагментом июньского репортажа Владимира Зыбина «На улицах Москвы»: «Горячая, тягучая масса асфальта переливается из большого котла в десятки маленьких <…>. Пройдитесь сейчас по московским улицам. На них тысячами квадратиков брусчатки, дымящимися асфальтовыми котлами <…> выполняется великая задача создания образцовой столицы трудящихся СССР»[613]. Процитируем еще строку из газетного стихотворения Владимира Луговского «Москва» (сентябрь 1931 года): «Асфальт лей! Старую дрянь сметай и гони!»[614].

Новая и амбивалентная по отношению к советской действительности гражданская позиция Мандельштама – хочу быть честным / хочу быть понятым и принятым – со всей отчетливостью была обозначена в заключительных строках стихотворения «Еще далёко мне до патриарха…»:

> И до чего хочу я разыграться –
> Разговориться – выговорить правду –
> Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, –
> Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, –
> Сказать ему, – нам по пути с тобой…

Сходным настроением окрашено большинство летних московских стихотворений Мандельштама 1931 года. Так, «отрывок из уничтоженных стихов» «Уж я люблю московские законы…» (6 июня 1931 года) завершается беспощадной и отважной констатацией: «В Москве черемухи да телефоны, / И казнями там имениты дни». Зато в стихотворении «Сегодня можно снять декалькомани…» (25 июня – август 1931 года) находим строки, защищающие советскую Москву от неких

загадочных «белогвардейцев»:

Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город –
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!

Между тем жить Мандельштаму было по-прежнему негде, так что они с женой кочевали по Москве от одних сердобольных знакомых к другим: июнь поэт провел на Большой Полянке в квартире юриста Цезаря Рысса, осенью он жил в комнате на Покровке, а в конце года Мандельштамы воссоединились в доме отдыха Болшево под Москвой (здесь поэт начал учить итальянский язык).

«Нищ, голоден, оборван. Взвинчен, как всегда, как-то неврастенически взвихривается в разговоре, вскакивает, точно ужаленный, яростно жестикулирует, трагически подвывает» – такую характеристику поэта 30 сентября 1931 года внес в свой дневник главный редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский[615].

«С января 31-го года по январь 32-го, то есть в течение года бездомного человека, не имеющего нигде никакой площади, держали на улице. За это время роздали сотни квартир и комнат, улучшая жилищные условия других писателей», – горестно сетовал Мандельштам в письме к партийному деятелю, редактору И.М. Гронскому (IV: 146).

«Он опускался страстно, самый этот процесс был для него активным действом. Становился неузнаваем: седеющая щетина на дряблых щеках, глубокие складки-морщины под глазами, мятый воротничок», – вспоминала Эмма Герштейн[616]. А ведь еще не так давно Мандельштам, если верить А.И. Глухову-Щуринскому, отчитывал молодых сотрудников «Московского комсомольца» за «неряшливость в туалете»: он «даже выговаривал некоторым за нечистые воротнички сорочек, за немытые шеи, грязь под ногтями»[617].

Здесь самое время отметить, что мандельштамовская способность беспрестанно меняться, счастливо ускользая от однозначных оценок и характеристик, в высшей степени сказалась в его внешнем облике. «…Он был весь движущийся, не

костяной, а пружинный», – не без яду констатировал Алексей Ремизов[618].

Взять хотя бы такой «постоянный» для любого взрослого человека параметр, как рост. В. Фартучному, впервые увидевшему поэта в 1931 году, он запомнился «худым и высоким»[619]. «Ростом он значительно выше среднего», – свидетельствовала Надежда Вольпин[620]. «…Рост выше среднего (я чуть выше плеча, но не до уха), и плечи широкие», – указывала Надежда Яковлевна[621].

«Низенький, щуплый, невзрачный с виду» (В. Рождественский)[622]; «Он стоял на эстраде, крохотный, острый, как собственный силуэт» (И. Наппельбаум) [623]; «Мандельштам был маленького роста» (В. Лурье)[624] – таким Мандельштама запомнили эти и многие другие мемуаристы.

«Вообще-то он был классического среднего роста, но иногда выглядел выше среднего, а иногда – ниже. Это зависело от осанки, а осанка зависела от внутреннего состояния», – резюмировала в своих воспоминаниях Эмма Григорьевна Герштейн[625].

Впрочем, сам поэт построил на противоречиях еще свое стихотворение «Автопортрет» 1914 года, где понять *крылатый намек* мешает *мешковатый сюртук, тайник движенья* прячется в *закрытьи глаз* и в *покое рук*, а *прирожденная неловкость* одолевается *врожденным ритмом*:

В поднятьи головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук –
Тайник движенья непочатый;

Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость –
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!

В январе 1932 года Мандельштамы наконец-то получили крохотную десятиметровую каморку в Доме Герцена – «низенькую, темноватую комнатку» (как описывал ее В. Виткович) [626]. Вскоре им удалось переехать в чуть бóльшую комнату в этом же флигеле. Впрочем, свои жилищные условия Мандельштам в письме-жалобе к Гронскому охарактеризовал так: «Помещение мне отвели в сыром, негодном для жилья флигеле без кухни, питьевой кран в гниющей уборной, на стенах плесень, дощатые перегородки, ледяной пол» (IV: 146).

«Мандельштам все время, я обратил внимание, старался держаться, прикрывая спину, – описывал Николай Тихонов одно из своих тогдашних свиданий с поэтом. – Как-то даже было непонятно, почему он жмется к стенке. Но его жена сказала:

– Не обращайте на него внимания. Он не может повернуться, потому что у него разорванные брюки сзади и такая громадная дыра, что он прикрывается газетой»[627].

И все-таки первая половина 1932 года в беспокойной жизни Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны стала периодом пусть краткой, но стабилизации. «Хотя новая комната была рядом со старой и окна выходили на ту же сторону, она казалась веселой и солнечной; может быть, тут играли роль светлые обои и не было перед самым окном дерева», – вспоминала Эмма Герштейн[628].

Потихоньку налаживались денежные дела. Весной 1932 года Бухарин выхлопотал 41-летнему Мандельштаму пожизненную персональную ежемесячную пенсию в размере 200 рублей за «заслуги перед русской литературой» (выплата пенсии прекратилась лишь после окончания ссылки Мандельштама в 1937 году).

Выразительное свидетельство о настроении Мандельштама в это время – его стихотворение, датированное маем 1932 года. Оно, по-видимому, было приурочено к открытию сезона в московском парке культуры и отдыха:

Там, где купальни-бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На Москве-реке есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.

У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сетрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров,
Вода на булавках, и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Первоначально парк должен был открыться 18 мая, о чем «Вечерняя Москва» поспешила поместить бравурную передовицу Татьяны Тэсс: «Гребные лодки отчаливают от стоянок. Вода расступается, вода отлетает назад, тронутая розовым изумленным солнцем»[629]. Однако погода в столице стояла холодная[630], и парк заработал лишь 24 мая[631]. Чтобы показать, *насколько* злободневной для советской столичной прессы мая 1932 года была тема открытия сезона в парке культуры и отдыха, упомянем здесь и о сусальной «Поэме о парке» Ивана Молчанова, напечатанной в «Вечерней Москве» 30 числа[632].

Приблизительно тогда же Мандельштаму удалось ознакомить избранных слушателей со своей новой прозой об Армении. Оппозиционер-большевик Виктор Серж (Кибальчич), присутствовавший на этом чтении в номере одной из ленинградских гостиниц, вспоминал о Мандельштаме так: «Еврей, скорее небольшой, с лицом, полным сгущенной печали и беспокойными и созерцательными карими глазами. Мандельштам, высоко ценимый в литературном мире, жил бедно и трудно <…>. Кончив читать, Мандельштам спросил нас: “Вы верите, что это можно будет напечатать?”»[633].

Лето Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна провели в доме отдыха Болшево.

1 июля 1932 года в «Вечерней Москве» сообщалось: «Вчера в 4 часа дня над Москвой пронесся сильнейший ливень с грозой»[634]. Мандельштамовские впечатления от последней июньской грозы легли в основу второго стихотворения из его «Стихов о русской поэзии»:

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

И угодливо поката
Кажется земля – пока,
Шум на шум, как брат на брата,
Восстают издалека.

Капли прыгают галопом,

Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой[635].

Датировано стихотворение «Зашумела, задрожала…» четвертым июля, но как раз в этот день (и в несколько июльских, ему предшествующих) в Москве держалась ничем не примечательная «облачная погода без осадков»[636].

В четвертом номере «Нового мира» с помощью Михаила Зенкевича удалось напечатать два мандельштамовских стихотворения, а в шестом – еще четыре (последняя прижизненная публикация стихов Мандельштама состоялась в ноябре 1932 года – в «Литературной газете»). 8 сентября 1932 года поэт подписал договор с ГИХЛом на издание своей книги «Стихотворения» (издание света не увидело). В номере газеты «За коммунистическое просвещение» от 21 апреля 1932 года появилась мандельштамовская популяризаторская заметка «К проблеме научного стиля Дарвина».

В газете «За коммунистическое просвещение» служил давний и близкий приятель Мандельштамов Александр Осипович Моргулис (1898–1938). «Осип Эмильевич очень нежно любил моего мужа, – рассказывала в своих мемуарах вдова Моргулиса, пианистка Иза Ханцын. – Как мне помнится, таким же нежным взглядом он смотрел на своего младшего брата Шуру. У нас Мандельштам как-то смягчался, его внутренняя напряженность разряжалась; кроме того, он очень доверял литературному вкусу моего мужа»[637]. В газету «За коммунистическое просвещение» («ЗКП» – будущая «Учительская газета») Моргулис устроил на редакторскую работу Надежду Яковлевну. По этому поводу Мандельштам написал одну из своих шуточных «моргулет» (всего «моргулет» сохранилось около десятка. «Их законом было начинать со слов “Старик Моргулис” и получить одобрение самого “старика”», – вспоминала Н.Я. Мандельштам)[638]:

Старик Моргулис под сурдинку
Уговорил мою жену
Вступить на торную тропинку
В газету гнусную одну.
Такую причинить обиду
За небольшие барыши!
Так отслужу я панихиду
За ЗКП его души!

Другим партнером Мандельштама по шуточным и серьезным разговорам стал его сосед по Дому Герцена, талантливый крестьянский поэт Сергей Антонович Клычков (1889–1937). Из воспоминаний жены Клычкова В. Горбачевой, описывающих мандельштамовскую манеру чтения стихов: «Задорным петушком, таким культурным утонченным петушком выпархивает Мандельштам на середину нашей комнатушки и торжественно, скандируя, четко, кристально чисто (в сущности – это манера четкого чтения, но так как у Мандельштама, кажется, нет каких-то зубов, то, в общем, у него дикция плохая) произнося слоги, аккомпанирует замысловатому танцу ног»[639]. Из мемуаров Б.С. Кузина: «Однажды в каком-то споре с Мандельштамом он <Клычков> сказал ему: “А все-таки, О.Э., мозги у вас еврейские”. На это Мандельштам немедленно отпарировал: “Ну что ж, возможно. А стихи у меня русские”. – “Это верно. Вот это верно!” – с полной искренностью признал Клычков»[640].

Клычков в эти годы мучительно пытался выпутаться из истории, многими своими обстоятельствами напоминавшей мандельштамовскую эпопею с «Легендой о Тиле Уленшпигеле». В 7–8 номерах «Нового мира» за 1932 год он напечатал поэму «Мадур-Ваза победитель», являвшуюся вольной обработкой произведения М. Плотникова «Янгаал-Маа», созданного на основе мансийских народных сказаний. Против Сергея Антоновича было выдвинуто обвинение в плагиате. Дело «Плотникова – Клычкова» завершилось только в 1933 году – комиссия оргкомитета Союза советских писателей сняла с Клычкова обвинения в плагиате, одновременно решив вопрос о выплате материальной компенсации Плотникову за публикацию клычковской поэмы в «Новом мире». Мандельштам не без значения посвятил Клычкову третью часть своих свежесозданных «Стихов о русской поэзии» (27 июля 1932 года):

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь – дуб,
В листьях клена – перец красный,
В иглах – еж-черноголуб.

Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.

Там живет народец мелкий,
В желудевых шапках все,

И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.

Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма,
Ротозейство, и величье,
И скорлупчатая тьма.

Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.

И еще грибы-волнушки,
В сбруе тонкого дождя
Вдруг поднимутся с опушки
Так – немного погодя…

Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал,
Храп коня и крап колоды,
Кто кого? Пошел развал…

И деревья – брат на брата –
Восстают. Понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши!

Е.А. Тоддес, комментируя это стихотворение, очень уместно сопоставляет его со следующим фрагментом мандельштамовских «Заметок о поэзии»: «В поэзии всегда война… Корневоды, как полководцы, ополчаются друг на друга»[641]. Вместе с тем, в третьей – восьмой строфах стихотворения «Полюбил я лес прекрасный…», на наш взгляд, аллегорически отразилась и ситуация, сложившаяся вокруг важнейшего для советской литературы начала 1930-х годов документа: постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидирующего ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП)[642]. На протяжении нескольких последующих месяцев бывшие рапповцы с разной степенью успеха и эмоционального накала каялись на собраниях и в советских газетах во всевозможных грехах. С ними упоенно сводили счеты вчерашние литературные враги и союзники. В

частности, на первой странице «Литературной газеты» от 5 июля 1932 года, в самый разгар работы Мандельштама над стихотворением «Полюбил я лес прекрасный…», была напечатана большая статья И. Жиги «Литературное дело превратить в часть общепролетарского дела».

Историю с клычковским «плагиатом» у Плотникова в коротком шуточном стихотворении издевательски описал общий приятель Клычкова и Мандельштама Павел Васильев:

> Один мастак из мастаков
> Сергей Антонович Клычков
> Спер Мадура и был таков.

Трехстишие Васильева отвечает основным канонам «дурацкой басни» – жанра, в создании образцов которого Мандельштам – жилец Дома Герцена – также принял посильное участие. В одной из мандельштамовских «дурацких басен» высмеивался московский градоначальник-коммунист Лазарь Каганович, на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников сделавший доклад о необходимости своевременной доставки хлеба в столицу:

> Какой-то гражданин, наверное попович,
> Наевшися коммерческих хлебов,
> – Благодарю, – воскликнул, – Каганович!
> И был таков.

В своем докладе Каганович следующим образом клеймил отечественных и иностранных священнослужителей: «Попы, которые служат помещикам и капиталистам, устраивают молебны, чтобы была засуха. Пожалуй, можно было бы им отправить для этих молебнов значительную часть наших безработных попов. (*Смех, аплодисменты.*) Они быстро приспособятся к американским капиталистам и молебны перестроят: вместо просьбы бога о дожде начнут просить бога о засухе (*Смех.*)»[643]. «Благодарю» мандельштамовского поповича, не говоря уже о финальной строке четверостишия («И был таков») в свете предложения Кагановича обретает совершенно особое звучание: быть отправленным к «американским капиталистам» в это время стало не самой плачевной перспективой.

Относительное материальное благополучие позволило Мандельштаму в очередной раз прийти на помощь своему старшему другу Владимиру Пясту, который в это время томился в

ссылке в далеком Архангельске. Общий знакомый обоих поэтов, Борис Зубакин, сообщал в письме к Пясту: «Видел, случайно, автора “Камня”. С огромной седой бородой, с головой, откинутой почти за спину, как и встарь. Горячо и тепло он относится к Вам <…>. Я объяснил ему адрес Ваш. Он собирает Вам 2 посылки <…>. Он замучен»[644].

Однако к большинству своих собратьев по писательскому ремеслу Мандельштам по-прежнему проявлял мало снисхождения. Из мемуаров Эммы Герштейн: «Чем больше новых стихов он писал, тем чаще его раздражали писатели, постоянно мелькавшие во дворе. Он становился у открытого окна своей комнаты, руки в карманах, и кричал вслед кому-нибудь из них: “Вот идет подлец NN!”. И только тут, глядя на Осипа Эмильевича со спины, я замечала, какие у него торчащие уши и как он весь похож в такие минуты на “гадкого мальчишку”»[645].

Стоит ли удивляться тому, что при первом удобном случае с Мандельштамом поквитались за все? Сосед поэта по Дому Герцена Амир Саргиджан (Бородин), заняв у Мандельштама 75 рублей, всячески увиливал, не отдавая долга. Однажды Осип Эмильевич не слишком деликатно напомнил Саргиджану о взятых деньгах. В ответ Саргиджан пустил в ход кулаки, причем досталось не только Мандельштаму, но и Надежде Яковлевне. 15 сентября 1932 года состоялся товарищеский суд «по делу Мандельштама – Саргиджана». Председательствовал на этом суде давний мандельштамовский знакомец Алексей Николаевич Толстой.

Из мемуаров толстовского пасынка Ф.Ф. Волькенштейна: предварительно «в течение десяти – пятнадцати минут Толстого инструктировали, как надо вести процесс: проявить снисхождение к молодому национальному поэту, только начинающему печататься, к тому же члену партии <…>. Толстой с папкой под мышкой поднялся на сцену и сел на приготовленное для него место. Воцарилась тишина. Толстой открыл заседание <…>:

– Мы будем судить диалектицки.

Все переглянулись. Раздался тихий ропот. Никто не понял, и сам председатель не знал, что это значит. Начались вопросы, речи, суд протекал, как ему положено. Истец, Мандельштам, нервно ходил по сцене. Обвиняемый, развалясь на стуле, молчал и рассматривал публику. На его лице не было и тени волнения <…>. Все выглядело так, как будто судили именно Мандельштама, а не молодого начинающего национального поэта.

После выступлений всех, кому это было положено, суд удалился на совещание. Довольно быстро Толстой вернулся и

объявил решение суда: суд вменил в обязанность молодому поэту вернуть Осипу Мандельштаму взятые у него сорок[646] рублей. Поэт был не удовлетворен таким решением и требовал иной формулировки: вернуть сорок рублей, когда это будет возможно. Суд, кажется, принял эту поправку»[647].

«…Заседание общественного суда по вине организаторов превратилось в какой-то творческий вечер Саргиджана, – резюмировал автор заметки “Нелитературный вечер”, напечатанной в “Вечерней Москве” от 15 сентября 1932 года. – Судьи почему-то считали необходимым выяснить литературные вкусы Осипа Мандельштама и отношение мордобойцы к ним. Какое имеет значение, что и как писал Саргиджан? Почему нужно превращать уголовное событие в литературное?»[648]

Чтобы представить себе степень возмущения Мандельштама, достаточно будет процитировать его письмо в вышестоящую организацию, начало которого даже не поддается связному прочтению: «Расправа, достойная сутенера или охранника, изображается как дело чести. Человек, истязавший женщину, был объявлен защитником женщины <речь идет о жене Саргиджана> <…>. При этом избиение моей жены рассматривалось как <нрзб. – наказание?> меня самого, а двойной задачей преступного суда было поднять вторую часть расправы на принципиальную высоту, а первую – вынуть из дела» (IV: 147).

«Ненависть его сконцентрировалась на личности Алексея Толстого», – свидетельствует Эмма Герштейн[649].

4

Окончательно утратив взаимопонимание с современной ему литературной и окололитературной средой, Мандельштам тем острее ощутил свое кровное родство с уже ушедшими поэтами. Здесь нужно в первую очередь назвать два имени: Велимира Хлебникова и Константина Батюшкова.

На июнь 1932 года пришлось десятилетие со дня кончины Хлебникова. В 1922 году Мандельштам отозвался на смерть поэта так: «В Москве Хлебников, как лесной зверь, мог укрываться от глаз человеческих и незаметно променял жестокие московские ночлеги на зеленую новгородскую могилу» (II: 257)[650]. В июньском номере «Нового мира» за 1932 год Мандельштам опубликовал стихотворение «Ламарк», в финальной строфе которого образ «зеленой могилы» возникает вновь:

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх…
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое – лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,

Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех…[651]

Это стихотворение отразило мандельштамовское увлечение идеями французского натуралиста Жана-Батиста Ламарка, поклонником которого был и Борис Кузин. Нелишним, однако, будет обратить внимание на то обстоятельство, что в портрете Ламарка, набросанном в первой строфе, употреблены контрастные эпитеты и сравнения, характерные для мемуарных изображений Хлебникова: «застенчивый, как мальчик», «неуклюжий», «робкий», но и «пламенный». А сравнение Ламарка с фехтовальщиком «за честь природы», возможно, восходит к следующему фрагменту из некролога Владимира Маяковского Хлебникову, под которым, думается, наряду с перечисленными Маяковским поэтами подписался бы и Мандельштам: «Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом черным по белому напечатать от своего имени и, не сомневаюсь, от имени моих друзей, поэтов Асеева, Бурлюка, Крученых, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим, честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе»[652].

Как это часто с ним бывало, Мандельштам совместил в одном портрете – два: сквозь облик гениального биолога Ламарка в его стихотворении просвечивает облик гениального поэта Хлебникова, чье влияние на произведения самого Мандельштама 1930-х годов без преувеличения можно назвать определяющим. «В Хлебникове есть всё!» – так, по свидетельству Н.И. Харджиева, Мандельштам отозвался о великом будетлянине в 1938 году[653].

Репродукция автопортрета другого стихотворца, пользовавшегося славой безумца Константина Батюшкова, украшала мандельштамовскую комнату в Доме Герцена. «Он рассказывал о Батюшкове с горячностью первооткрывателя, –

вспоминает С.И. Липкин, – не соглашался с некоторыми критическими заметками Пушкина на полях батюшковских стихов»[654]. Судя по всему, Мандельштам – может быть, не без влияния Юрия Тынянова – ощущал себя прямым продолжателем батюшковской линии в русской словесности (поэзию Батюшкова и Мандельштама Тынянов сопоставил в статье «Промежуток» (1924). Спустя десять лет Тынянов писал К.И. Чуковскому о Мандельштаме: «У него даже вкусы батюшковские»[655]). В целом ряде своих произведений 1910–1930-х годов Мандельштам отнюдь не *воспроизводил* и не *стилизовал* манеру автора «Тавриды», но *доразвивал* за Батюшкова те принципы его поэтики, которые самим Батюшковым как новатором и начинателем не вполне ощущались.

В парадоксальном мандельштамовском определении творчества Батюшкова как «записной книжки нерожденного Пушкина» (III: 401) вполне отчетливо сформулирована собственная поэтическая задача. Ведь речь здесь идет не о «записной книжке *еще* не рожденного Пушкина», но о «записной книжке *так* и не рожденного Пушкина»: на Батюшкова своего Пушкина не нашлось. Несколько утрируя, можно было бы сказать, что Мандельштам в итоге как раз и сыграл роль того «не рожденного» в свое время гениального поэта, которому удалось в полной мере реализовать «наброски», содержащиеся в многообещающей «записной книжке» – стихах и прозе Батюшкова.

Как к живому, любимому человеку Мандельштам обратился к старшему современнику Пушкина в своем стихотворении «Батюшков» (1932), напечатанном в том же номере «Нового мира», что и «Ламарк»:

Словно гуляка с волшебной тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в Замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого – этих звуков изгибы…
И никогда – этот говор валов…

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства, и колокол братства,
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
«Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык…»

Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан…[656]

Финальные строки этого стихотворения перекликаются с программными строками из стихотворения Мандельштама 1914 года:

Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет;
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

А эти строки, в свою очередь, восходят к знаменитой формуле Батюшкова: «Чужое – мое сокровище».

Ноябрь 1932 года Мандельштамы провели в санатории ЦЕКУБУ Узкое, в бывшем имении Трубецких. 10 числа поэт на один день приехал в Москву: в редакции «Литературной газеты» был устроен его закрытый творческий вечер.

«Когда он стал читать в странной, чисто “поэтической” манере, противоположной “актерской”, хотя, пожалуй, более условной, у меня почему-то сжималось сердце», – записал в дневнике присутствовавший на вечере драматург Александр Гладков[657]. А Н.И. Харджиев поделился своими впечатлениями от этого вечера в письме к Б.М. Эйхенбауму: «Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в продолжение двух с пол<овиной> часов. Он прочел все свои

стихи (последних двух лет) в хронологическом порядке! Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший: “Я завидую вашей свободе. Для меня вы новый Хлебников. И такой же чужой. Мне нужна несвобода”»[658]. «В литературе по мановению властей восторжествовала свобода, и ею упиваются все; за пределами же литературы – ужасающие лишения страны, грозные сигналы возвращения “мятежей и казней”» – так интерпретирует смысл пастернаковской реплики Л.С. Флейшман[659].

Харджиевская характеристика Мандельштама как «седобородого патриарха» содержит отсылку не только к мандельштамовскому портрету Ламарка («Неуклюжий, робкий патриарх»), но и к первой строке автобиографического мандельштамовского стихотворения 1931 года «Еще далёко мне до патриарха…», которое наверняка читалось на вечере в «Литературной газете». Если 1921 год стал годом признания «мастерства» поэта широкой публикой, то начиная с осени 1932 года отпустившего бороду Мандельштама, как правило, воспринимали в качестве живого классика, символа уходящей «петербургской» эпохи русской культуры. Пусть даже сам он в стихотворении «Еще далёко мне до патриарха…» обозначил свой возраст как «полупочтенный». Впечатление еще усиливала мандельштамовская «белорукая трость» (образ из этого же стихотворения, перекликающийся с описанием «евреев, наклоненных на белые трости» из прозы Батюшкова)[660]. «Среднего роста, в руках неизменная палка, на которую он никогда не опирался, она просто висела на руке и почему-то шла ему»[661].

«Стариком», которому «надо помочь», Мандельштам был назван в статье А. Селивановского «Разговор о поэзии»[662]. «Как ни встретишь его, а он опять старше!» – несколько нелогично изумлялся в своих воспоминаниях об Осипе Эмильевиче И. Фейнберг[663]. «Шаркая калошами, торопливо заглядывал в длинном пальто и остроконечной шапке Осип Мандельштам, уставив вверх бородку» – таким поэт запомнился Е. Вечтомовой[664]. А в ахматовских «Листках из дневника» встречаем выразительный мандельштамовский портрет, относящийся к 1933 году: «К этому времени Мандельштам внешне очень изменился, отяжелел, поседел, стал плохо дышать – производил впечатление старика (ему было 42 года), но глаза по-прежнему сверкали»[665].

На волне прокатившейся по СССР кампании по «учебе у классиков» доброжелателям удалось организовать еще несколько выступлений Мандельштама. 22 февраля 1933 года состоялся

вечер поэта в Ленинградской капелле. 2 марта – в ленинградском Доме печати. Из дневника И. Басалаева: «Мандельштам – лысый, с седой бородкой. Ленинградцы изумлены. Здесь привыкли его видеть бритым. Его борода дала право <Николаю> Тихонову на одном из ближайших выступлений сказать о трудности пути поэта:

– Даже Мандельштам, как видите, зарывшись в работе, оброс бородой – вот как надо работать, чтобы писать настоящие стихи!..

Читает Мандельштам не так, как раньше. Тогда, рассказывают, он почти пел свои стихи. Теперь он их скандирует торопливым баском, монотонно, невыразительно, глотая окончания строк, но с каким-то одним и тем же упорством убеждения. То приподнимается на цыпочки, то отбивает ногой ритм. Читает негромко…»[666]

Отметим попутно, что современники оставили весьма многочисленные описания мандельштамовской манеры читать свои стихи. К уже процитированным выше прибавим еще некоторые из этих описаний. А. Левинсон о 1913 годе: «… Вихрастый поэт Мандельштам с ритмичным воем бронзовых стихов»[667]; А. Дейч о 1914 годе: «Прямой и внутренне напряженный, закинув высоко голову, он читал стихи из книги “Камень”, читал совсем по-своему. Нараспев тянул строки стихов и в такт покачивал большой головой на тонкой шее»[668]; В. Чернявский о 1915 годе: Мандельштам читал «высокопарно, скандируя, строфы о ритмах Гомера (“голову забросив, шествует Иосиф”, – говорили о нем тогда)»[669]; Ю. Оболенская о 1916 годе: «Его чтение – последняя степень искренности, это танец каждого слова, в каждом слове участвует он всем своим ртом»[670]; А. Арго о 1916 годе: «Поэт Осип Мандельштам, человек маленького роста, невзрачной внешности (в шутку его прозвали “мраморная муха”), читал свои произведения чрезвычайно торжественно, напевно, священнодейственно, и несоответствие между внешностью автора и его исполнительской манерой приводило к досадным итогам»[671]; Я. Соммер о 1919 годе: «Как сейчас вижу его приподнятую голову с торчащим хохолком, красиво изогнутый профиль и слышу страстную патетическую мелодию»[672]; К. Надирадзе о 1920 годе: «…Никаких жестикуляций, взвизгов, выкриков и прочего “артистизма”, очень плавно, очень ровно, но вместе с тем с большим воодушевлением, все более и более нарастающим к концу стихотворения»[673]; Л. Борисов о 1924 годе: «Мандельштам читал минут сорок, и никто его не просил, чтобы он читал еще и еще, – он, видимо, перестал ощущать время, он жил в атмосфере своего, им созданного мира и, читая, осматривал его подробности, закоулки. Порою Осип Эмильевич

делал большие глаза, словно чего-то пугаясь, иногда опускал голос до шепота, выговаривал слова, как нянька, желающая напугать ребенка, хотя в словах не было и намека на что-то, что могло испугать, – чаще всего перечислялись имена или города»[674]; Лев Горнунг о 1933 годе: «Читал он обычно довольно спокойно, нараспев, вскинув голову, немного жестикулируя рукой в такт ритму. Кончая стихотворение, начинал ворошить кучу рукописей на столе, будто выбирая новое, но каждый раз, ничего не найдя, читал следующее стихотворение наизусть»[675].

На вечере в Доме печати поэту передали провокационную записку: «Вы тот самый Мандельштам, который был акмеистом?» Он ответил: «Я тот самый Мандельштам, который был, есть и будет другом своих друзей, соратником своих соратников, современником Ахматовой». «И – гром, шквал, буря рукоплесканий» (Из воспоминаний Елены Тагер)[676]. Из воспоминаний В.А. Мануйлова: «После вечера – ответы на записки. “Когда же вы наконец начнете писать современные стихи?” – “Я самый современный поэт, которого я знаю”»[677]. Тогда же Мандельштам назвал молодых ленинградских поэтов (Б. Корнилова, А. Прокофьева) «мальчишками с картонными наганами» (свидетельство И. Синельникова)[678].

Знаковым событием стал вечер поэзии Мандельштама в московском Политехническом музее, состоявшийся 14 марта 1933 года. Недаром он был описан сразу несколькими мемуаристами, которые, расходясь в деталях, сходно описали самого Мандельштама и публику, пришедшую послушать любимого поэта.

«Зал был радостно оживлен. Мне чудилось напряженное ожидание. Но не все места были заняты»[679]; «Народу много, похоже, все слушатели доброжелательные и внимательные»[680]; «…А зал-то наполнился еле-еле до четырнадцатого ряда! Больно за Мандельштама и стыдно за публику»[681]; «Публики было довольно много, больше, чем я ожидал, но кое-где зияли пустые скамейки. А публика была особенная <…>, то пришли на вечер поэта люди, обычно на московских улицах не замечаемые, иные у них были лица, и даже одежда, пусть бедная, была по-иному бедная»[682]; «На вечер Мандельштама выбрались из своих углов старые московские интеллигенты. Мы с Леной <Осмеркиной-Гальпериной> смотрели на эти измятые лица исстрадавшихся и недоедающих людей, с глазами, светящимися умом и печалью»[683].

Мандельштама «встретили аплодисментами. Аплодировали истово, долго-долго, как будто не могли насытиться. А главное – явно от души. Это не была “бурная овация”. Здесь не было ни

наскока, ни самобудоражения. Аплодировали, изумляясь и радуясь тому, что вот здесь, в аудитории, сошлось столько единомышленников по пониманию ценности мандельштамовской поэзии»[684].

Одним из таких единомышленников был Б.М. Эйхенбаум, открывший вечер Мандельштама продолжительным докладом о его поэзии. В выступлении Эйхенбаума, которое Э. Герштейн сочувственно назвала «острым и смелым»[685], а Л. Розенталь, раздраженно, – «фрондерским»[686], отчетливо проявилось желание сломать стереотип восприятия Мандельштама советской критикой и запутанным ею читателем. «“Сейчас в кулуарах я слышал фразу: «Мандельштам – настоящий мастер», – воспроизводит ключевую реплику Эйхенбаума Н. Соколова. – Не забывайте, что мастерство – термин ремесленный. Вот <советский поэт Семен> Кирсанов – тот мастер. А Мандельштам не мастер, о нет!”»[687]. «Ссылаться на “мастерство” – это отписка, это идти по линии наименьшего объяснения, – подвел итоги Эйхенбаум. – Это отношение, как к музейной ценности»[688].

«…Вечер прошел превосходно, слушали так, как следовало слушать Мандельштама, даже горсточка случайных неофитов была вовлечена во всеобщее волнение»[689].

3 апреля 1933 года состоялось последнее в жизни Мандельштама официальное поэтическое выступление – в Московском клубе художников. На следующий день был арестован Борис Кузин. Осип Эмильевич немедленно обратился к влиятельной в партийных кругах Мариэтте Шагинян с просьбой посодействовать освобождению Кузина. Просьба была оформлена в качестве приложения к мандельштамовскому «Путешествию в Армению» (хотя далее сам Мандельштам, напротив, пишет, что это его проза приложена к письму), персонажем которого Кузин являлся: «Из прилагаемой рукописи – лучше, чем из разговоров со мной, – вы поймете, почему этот человек неизбежно должен был лишиться внешней свободы, как и то, почему эта свобода неизбежно должна быть ему возвращена <…>. У меня отняли моего собеседника, мое второе “я”, человека, которого я мог и имел время убеждать, что в революции есть и <энтелехия>, и виталистическое буйство, и роскошь живой природы <…>. Я хочу, чтобы вы верили, что я не враждебен к рукам, которые держат Бориса Сергеевича, потому что эти руки делают жестокое и живое дело. <Спустя месяц Мандельштам, перефразируя А. Рембо, выскажет свое подлинное отношение к “этим рукам”: “Власть отвратительна, как руки брадобрея”>» (IV: 150–151).

Через несколько дней Кузин был освобожден. Около 10 апреля он вместе с Надеждой Яковлевной и Осипом Эмильевичем

уехал из Москвы в Старый Крым, в гости к вдове писателя Александра Грина Нине Николаевне. «За пять лет нашего постоянного общения более или менее безоблачным был только период нашей совместной поездки в Старый Крым и две или две с половиной недели, что я там прожил», – вспоминал Кузин, подразумевая прежде всего вечную бедность, почти нищету Мандельштамов, а также постоянно преследовавшие их неурядицы[690].

В Крыму поэт изучал итальянский язык и одновременно, по примеру Константина Батюшкова, с упоением читал и перечитывал итальянских классиков № 1, № 2, № 3 и № 4 – Данте, Петрарку, Ариосто и Тассо. Сонеты Петрарки Мандельштам впоследствии перевел, об Ариосто написал стихотворение, о Тассо собирался написать статью.

В начале мая 1933 года Мандельштам приступил к работе над последней своей большой прозой – поэтологическим эссе «Разговор о Данте», чье заглавие неожиданно перекликается с заглавием цитировавшейся нами чуть выше заметки А. Селивановского «Разговор о поэзии».

«Записывая под диктовку “Разговор о Данте”, – вспоминала Надежда Яковлевна, – я часто замечала, что он вкладывает в статью много личного, и говорила: “Это ты уже свои счеты сводишь”. Он отвечал: “Так и надо. Не мешай…”»[691]. Главный воронежский собеседник Мандельштама, Сергей Рудаков, в письме к своей жене выскажется еще определеннее: «…Занимаюсь “Разговором о Данте” (собственно, “о Мандельштаме”, т<о>е<сть> Данта там нет, – очень мало, если есть)»[692]. Все же суждение Рудакова слишком категорично. «Разумеется, в этюде Мандельштама немало полемически заостренного, немало односторонности “первооткрывателя”. Но также несомненно, что от его этюда исходит сильный и резкий свет на многие важные грани поэмы <Данте “Божественная комедия”>, оставшиеся темными при традиционном, “пластическом” освещении», – писал выдающийся литературовед и знаток средневековой культуры Леонид Ефимович Пинский[693].

Бескомпромиссно «сводя счеты» с многочисленными оппонентами (особенно досталось Блоку), Мандельштам в своем «Разговоре о Данте» заочно «примирился» с теми двумя поэтами, с которыми у него были связаны самые сладкие и самые горькие крымские воспоминания. В пятой главке эссе он доброжелательно процитировал эмигрантку Марину Цветаеву (III: 239). А в одном из отброшенных фрагментов своего «Разговора о Данте» с чувством рассказал о могиле Максимилиана Волошина (с которым он, впрочем, коротко, но дружелюбно свиделся еще в

январе 1924 года): «Только сам М<аксимилиан> А<лександрович> – наибольший, по словам плотника, спец в делах зоркости – мог так удачно выбрать место для своего погребения» (III: 411).

Тем не менее история теперь уже заочных взаимоотношений Мандельштама с Волошиным на этом не закончилась. Встретив в 1937 году в московской консерватории на концерте пианиста Софроницкого Анну Ивановну Ходасевич и услышав от нее горестное известие об аресте за распространение волошинских стихов молодого математика Даниила Жуковского, Осип Эмильевич не нашел ничего лучшего, как ответить: «Так ему и надо – Макс плохой поэт»[694].

Нужно сказать, что Италия в лице мастеров флорентийской и венецианской школ XVI века заняла бы почетное место на карте не только литературных мандельштамовских приоритетов, но и его предпочтений в европейской живописи[695]. Попробуем теперь кратко наметить общие контуры этой воображаемой карты, опираясь главным образом на стихи, прозу и письма самого поэта[696].

Живопись сравнительно поздно, лишь в начале 1920-х годов, отвоевала себе значительное место в художественном мире Мандельштама. В его стихах и статьях периода «Камня» обнаруживается поразительно мало мотивов, восходящих к изобразительному искусству. Это намек на картину Джорджоне «Юдифь» в финале стихотворения «Футбол» (1913)

> Не так ли кончиком ноги
> Над теплым трупом Олоферна
> Юдифь глумилась…

да еще пассаж о «кукле, сделанной руками волшебника Леонардо для какого-нибудь князя итальянского Возрождения» в рецензии на «Фамиру-Кифареда» И. Анненского (I: 192).

«Юдифь Джорджоне», улизнувшую «от евнухов Эрмитажа», встречаем и в мандельштамовской повести «Египетская марка» 1927 года (II: 482), а в его заметке об Александре Блоке 1922 года упомянута картина Джорджоне «Концерт», хранящаяся «в Palazzo Pitti» (II: 238). В стихотворении Мандельштама «Еще далёко мне до патриарха…» (1931) в орбиту зрения поэта попадают два других великих художника-венецианца эпохи Позднего Возрождения:

> Дивлюсь рогатым митрам Тициана
> И Тинторетто пестрому дивлюсь

За тысячу крикливых попугаев.

О Леонардо да Винчи, причем не столько как о художнике, сколько как о «волшебнике»-искуснике, Мандельштам вспомнит еще дважды: в очерке «Мазеса да Винчи» будет описан «корабельный хаос мастерской славного Леонардо» (II: 401), а в «Разговоре о Данте» мелькнут «Леонардовы чертежи» (III: 232).

В воронежских мандельштамовских стихотворениях появятся еще два флорентийских гения – Рафаэль:

Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста…

и – дважды – Микеланджело Буонарроти:

А небо, небо – твой Буонаротти…

«Я должен жить, хотя я дважды умер…»

Все твои, Микель Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд, –
Ночь, сырая от слез, и невинный
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, –
Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и рабстве молчит.

«Рим»[697]*, 1937*

За все великое испанское искусство XVI века в текстах Мандельштама представительствует лишь «козлиная испанская живопись», упоминание о которой встречаем в «Египетской марке» (II: 477). Немецкое и нидерландское Возрождение было и вовсе обойдено вниманием поэта[698].

Куда больше повезло голландцам XVII века. Рембрандту посвящены две выразительные строки стихотворения «Еще далёко мне до патриарха…»

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи…

и одиннадцатистрочное воронежское стихотворение 1937 года:

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат,
И мастер, и отец черно-зеленой теми, –
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя[699].

В другом воронежском мандельштамовском стихотворении, «Пластинкой тоненькой жиллета…» (1936), в проникновенных строках словесно воспроизводятся пейзажи младшего рембрандтовского современника Якоба ван Рейсдаля:

Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины, –
Честь Рюисдалевых картин…

Трудно сказать, репродукцию с какой именно картины и какого именно художника, но явно работу кого-то из «малых голландцев» рассматривает герой мандельштамовской «Египетской марки» Парнок на перегородке у портного Мервиса: «Дальше изображены были голландцы на ходулях, журавлиным маршем перебегающие свою маленькую страну» (II: 468).

Но, пожалуй, самую большую территорию на карте художественных предпочтений Мандельштама заняла бы Франция. В своей прозе 1920–1930-х годов поэт не без иронии говорит о «театральном гневе лже-историка» классициста Жака-Луи Давида (II: 463); коротко упоминает о «Путешествии в Марокко» романтика Эжена Делакруа (III: 185)[700]; умиляется «толстым деревянным башмакам и крестьянским блузам» реалиста Гюстава Курбе (II: 413). Однако особенно подробно и любовно Мандельштам написал об импрессионистах и постимпрессионистах, которым посвящены его стихотворение «Импрессионизм» (1932)[701], а также отдельная главка «Французы» в мандельштамовском «Путешествии в Армению»

(плюс черновики к этой главке). Здесь фигурируют «храм воздуха, и света, и славы Эдуарда Манэ и Клода Монэ» (III: 194), «лучший желудь французских лесов» – «славный дедушка» Сезанн (III: 198) и «художник богачей» Матисс, «красная краска» холстов которого «шипит содой» (III: 198). С «дешевыми овощными красками Ван-Гога» (III: 198) соседствуют «кукурузное солнце» Синьяка (III: 199), «вода Ренуара» (III: 199) и «серо-малиновые бульвары Писсарро, текущие как колеса огромной лотереи, с коробочками кэбов, вскинувших удочки бичей, и лоскутьями разбрызганного мозга на киосках и каштанах» (III: 199).

На этих же страницах появляется Пабло Пикассо (III: 199) и коротко описывается его картина «Старый еврей» (наблюдение Вс. Зельченко). Знаменитый образ из другой картины Пикассо используется и в куда более ранней заметке Мандельштама «Кое-что о грузинском искусстве» (1922): «Работы безымянных грузинских живописцев – настоящая победа грузинского искусства над Востоком, – и как ничтожны перед ними танцующие осколки скрипки, некогда разбитой Пикассо, пленившей новую грузинскую живопись. С этой скрипкой – то же самое, что с мошенническими реликвиями монахов: скрипка была одна, ее разбили один раз, но нет такого города, где бы не показывали щепочки – вот кусочек от Пикассо!» (III: 234–235).

Рабски зависимая от Пикассо новая грузинская живопись в этой заметке противопоставлена примитивистским работам Нико Пиросманашвили: «Нельзя не преклониться перед величием его “безграмотных” (не анатомических) львов, великолепных верблюдов, с несоразмерными человеческими фигурами и палатками, победивших плоскость силою одного цвета» (III: 235).

Остается отметить, что Мандельштам отнюдь не был энтузиастом русской реалистической живописи. В его прозе находим упоминание лишь об уже воспроизводившейся в нашей книге отвратительной советской «жанровой картинке по Венецианову» (III: 169); о «мальчике, играющем в бабки, в скульптуре Федора Толстого» (II: 377); о «пирамиде черепов на скучной картине Верещагина» (III: 191); да еще пренебрежительное описание пластики актрис Художественного театра: «движения всех женщин плохи, будто сошли с картин Семирадского» (II: 135). Характерный эпизод приводит в своих мемуарах о Мандельштаме Наталья Штемпель: «Мы пошли в Третьяковскую галерею… Но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Эмильевич, не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он шел»[702].

Оттеняющим фоном для чтения и изучения итальянских классиков послужили ужасные картины крестьянского голода, которые Мандельштаму довелось наблюдать в Крыму. Чтобы сломить сопротивление крестьян коллективизации, власти отняли у них запасы зерна, и к зиме начался массовый голод. В своих не слишком достоверных воспоминаниях Р. Березов (Акульшин) сообщает, что еще в Москве он рассказывал поэту «печальные истории» о «поездках по городам и по колхозам, о настроениях крестьян и рабочих»[703].

Голодающие крестьяне, увиденные в Крыму, вдохновили Мандельштама на гражданское, почти «некрасовское» стихотворение, которое потом будет фигурировать в следственном деле поэта. Из протокола допроса Мандельштама от 25 мая 1934 года: «К 1930 году в моем политическом сознании и социальном самочувствии наступает большая депрессия. Социальной подоплекой этой депрессии является ликвидация кулачества как класса. Мое восприятие этого процесса выражено в моем стихотворении “Холодная весна”»[704].

Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Комочки на земле. На рубищах заплаты.
Все тот же кисленький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль.
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украйны и Кубани…
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Комментарий Н.Я. Мандельштам: «Калитку действительно стерегли день и ночь – и собаки, и люди, чтобы бродяги не разбили саманную стенку дома и не вытащили последних запасов муки. Тогда ведь хозяева сами стали бы бродягами. Они бы пошли побираться, чтобы не погибнуть от отсутствия хлеба. Магазины “закрытого типа” обеспечивали только городское начальство»[705].

28 мая Мандельштамы переехали в коктебельский Дом творчества. Здесь в это время отдыхал Андрей Белый со своей женой, Клавдией Николаевной.

Когда-то Андрей Белый доброжелательно отнесся к стихотворным опытам начинающего Мандельштама – согласно воспоминаниям Владимира Пяста, он «пожаловал» будущему автору «Камня» «титул» «пэоннейшего из поэтов»[706]. Затем Белый изменил свое отношение к Осипу Эмильевичу. Не последнюю роль здесь, вероятно, сыграл антисемитизм, которым были заражены многие старшие модернисты, в диапазоне приблизительно от Блока до Кузмина. К уже приводившимся в этой книге цитатам добавим еще одну, из дневника М. Кузмина от 11 марта 1914 года: «Вечером были три жида – Лившиц, Лурье и Мандельштам»[707]. Приведем также микрофрагмент из внутренней рецензии самого Мандельштама 1926 года на книгу Бернара Лекаша «Радан великолепный»: «<Антисемитизм> заимствовал свои аргументы там, где только мог, – у декаданса, *у символизма*, у второсортной социальной мистики» (II: 450) и следующее свидетельство из мемуаров Эммы Герштейн: «В “Предисловии” <к поэме “Возмездие”>, где Блок перечисляет разнородные события, из которых образовывался “единый музыкальный напор” эпохи, он называет такое: “В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови”. Эта оскорбительно-“объективная” фраза возмутила Мандельштама»[708].

Но с особой силой Андрея Белого от Мандельштама должны были отвратить критические мандельштамовские статьи, содержавшие крайне резкие оценки прозы автора «Петербурга». Иногда Мандельштам даже переходил на личности. «Необычайная свобода и легкость мысли у Белого» (II: 322), – писал он, например, в разгромной рецензии на роман «Записки чудака», иронически намекая на знаменитое признание гоголевского Хлестакова: «У меня легкость необыкновенная в мыслях»[709]. «Белый неожиданно оказался дамой, просияв нестерпимым блеском мирового шарлатанства – теософией», – издевательски констатировал Мандельштам в заметке «Письмо о русской поэзии» (II: 237), вновь отсылая внимательного читателя к Гоголю – на этот раз к хрестоматийно известному эпизоду из «Мертвых душ» («“Ой, баба!” – подумал он про себя и тут же прибавил: – Ой, нет!” – “Конечно, баба!” – наконец сказал он, рассмотрев попристальнее»[710]). Но даже и подобные инвективы не мешали Мандельштаму считать романы и повести Белого «вершиной русской психологической прозы» (формула из

мандельштамовской заметки «Литературная Москва. Рождение фабулы») (II: 262).

7 июня 1933 года Андрей Белый жаловался в письме к Петру Зайцеву из Коктебеля: «Все бы хорошо, если б не… Мандельштаммы <у Белого два “м” – *О.Л.*> (муж и жена); и дернуло же так, что они оказались с нами за общим столиком (здесь столики на 4 персоны); приходится с ними завтракать, обедать, пить чай, ужинать. Между тем они единственно из 20 с лишним отдыхающих нам *неприятны* и чужды»[711]. Еще жестче Белый высказался в письме к Федору Гладкову: «…С Мандельштамами – трудно; нам почему-то отвели отдельный столик; и 4 раза в день (за чаем, за обедом, 5-часовым чаем и ужином) они пускаются в очень “умные”, нудные, витиеватые разговоры с подмигами, с “что”, “вы понимаете”, “а”, “не правда ли”; а я – “ничего”, “не понимаю”; словом, М<андельштам> мне почему-то исключительно неприятен; и мы стоим на противоположных полюсах»[712]. В своем коктебельском дневнике Белый написал о соседях по столику нечто столь резкое, что его вдова сочла за благо уничтожить этот фрагмент[713].

Отдыхавший одновременно с Белым и Мандельштамом в Коктебеле поэт и драматург Анатолий Мариенгоф описал общую ситуацию так: «Администрация нашего Дома творчества <…> посадила их в столовой за один столик. Доброе намерение совершенно испортило обоим лето. Ложноклассическая декламация Осипа Эмильевича и невероятное произношение итальянских слов, слов Данте и Петрарки, ужасно раздражало Андрея Белого. Мандельштам, как человек тонко чувствующий, сразу все понял. И это, в свою очередь, выводило его из душевного равновесия»[714].

Мемуарист очень точно изобразил нервную реакцию Андрея Белого на постоянное соседство с Мандельштамами, по понятным причинам не указав только, что просоветски настроенного пожилого писателя не могли не выводить из себя мандельштамовские крамольные «подмиги». Но относительно Мандельштама Мариенгоф ошибся: Осипу Эмильевичу, по всей видимости, казалось, что взаимоотношения между ним и Белым складываются как нельзя лучше. С течением времени эта мандельштамовская иллюзия только укреплялась. В черновиках к «Разговору о Данте» Мандельштам ссылается на Белого как на Б.Н. Бугаева, то есть как на частное лицо, как на своего личного знакомого и собеседника (III: 404).

Сергею Рудакову в 1935 году поэт без тени сомнения рассказывал, что в «последнее время» был «очень близок» с автором «Петербурга»[715]. А в воспоминаниях Надежды

Яковлевны о контактах Белого и Мандельштама в Коктебеле говорится почти как о дружбе: «…Они встречались, хотя и украдкой, и с охотой разговаривали. В те дни О. М. написал “Разговор о Данте” и читал его Белому»[716].

В мае 1933 года, пока Мандельштамы были в Крыму, ленинградский журнал «Звезда», возглавлявшийся отважным Цезарем Вольпе, все-таки опубликовал «Путешествие в Армению». 17 июня, уже после возвращения Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны в Москву, разгромный отзыв на мандельштамовскую прозу напечатала «Литературная газета». 30 августа – «Правда». Из статьи С. Розенталя в «Правде»: «От образов Мандельштама пахнет старым, прелым, великодержавным шовинистом, который, расточая похвалы Армении, хвалит ее экзотику, ее рабское прошлое, ибо о настоящем не написал ни строки Мандельштам <…>. Старый петербургский поэт-акмеист О. Мандельштам прошел мимо бурно цветущей и радостно строящей социализм Армении»[717]. Цезаря Вольпе сняли с должности главного редактора «Звезды». Доведенное до корректуры книжное издание «Путешествия в Армению» было заморожено. Некогда безвредная болтовня о Мандельштаме как о старом классике прямо на глазах неуследимо перетекла в опасные для поэта идеологические разносы и политические обвинения.

В сентябре 1933 года Мандельштамы посетили Ленинград, где после долгого перерыва вновь свиделись с Анной Андреевной Ахматовой. «Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом, – вспоминала поэтесса. – “Божественную комедию” читал наизусть страницами. Мы стали говорить о “Чистилище”, и я прочла кусок из XXX песни (явление Беатриче) <…>. Осип заплакал. Я испугалась: “Что такое?” – “Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом”»[718].

У Ахматовой Мандельштам читал свой «Разговор о Данте». На чтении присутствовал едва ли не весь ленинградский филологический бомонд: Виктор Жирмунский, Юрий Тынянов, Бенедикт Лившиц, Лидия Гинзбург… Из записей Л.Я. Гинзбург: «Мандельштам невысок, тощий, с узким лбом, небольшим изогнутым носом, с острой нижней частью лица в неряшливой почти седой бородке, с взглядом напряженным и как бы не видящим пустяков. Он говорит, поджимая беззубый рот, певуче, с неожиданной интонационной изысканностью русской речи. Он переполнен ритмами (как переполнен мыслями) и прекрасными словами. Читая, он покачивается, шевелит руками; он с наслаждением дышит в такт словам – с физиологичностью корифея, за которым выступает пляшущий хор. Он ходит смешно, с слишком прямой спиной и как бы приподнимаясь на цыпочках

<…>. Он говорит словами своих стихов: косноязычно (с мычанием, со словцом “этого…”, беспрерывно пересекающим речь), грандиозно, бесстыдно, не забывая все-таки хитрить и шутить»[719].

Рукопись «Разговора о Данте» была «Издательством писателей в Ленинграде» отклонена.

«Я хорошо помню <…> Осипа Эмильевича, – вспоминает старший сын Бориса Пастернака, Евгений, мандельштамовский облик той поры, – его характерную позу с закинутой головой – в длиннополой шубе, с тросточкой, он ходил через двор обедать в литфондовскую столовую. Помню, как смеялись над ним наши дворовые мальчишки. Они с Надеждой Яковлевной вскоре получили новую квартиру в Нащокинском переулке и уехали из Дома Герцена»[720].

В новую кооперативную двухкомнатную квартиру Мандельштамы переселились в октябре 1933 года. «По действующим тогда законам жильца нельзя было выселить, если на спорной площади стоит его кровать. Надя прекрасно это знала, и как только был назначен день всеобщего вселения, она с ночи дежурила у подъезда, поставив рядом с собой пружинный матрац. Утром, как только дверь подъезда открыли, она ринулась со своим матрацем на пятый этаж (дом без лифта) и первая ворвалась в квартиру» (Из «Мемуаров» Эммы Герштейн)[721].

Именно здесь Осип Эмильевич, одно за другим, в ноябре 1933 года написал два своих самоубийственных стихотворения: «Квартира тиха, как бумага…» и «Мы живем, под собою не чуя страны…»

Об отдельном жилье Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич мечтали долгие годы. Немало энергии и сил Мандельштамы потратили, отстаивая законность своих притязаний на квартиру в писательском доме в Нащокинском переулке. «Дом был одним из первых кооперативных, и кандидатуру каждого жильца обсуждали сами писатели», – вспоминала Эмма Герштейн[722]. «Мандельштамы на новой квартире, своей, собственной, из двух комнат, – записал в дневнике 18 октября 1933 года поэт и переводчик, мандельштамовский приятель Марк Талов. – Библиотечные полки Осип Эмильевич построил довольно примитивно: с двух сторон положил кирпичи, прикрыл доской, на доске снова кирпичи, снова доска – так он оборудовал несколько рядов. А вообще в квартире пустые стены. Нет у него денег на мебель первой необходимости» [723]. И все же это было свое и не временное, а, как тогда казалось, постоянное, прочное жилье.

Однако вместо законной радости вселение в новую квартиру одарило поэта тяжким чувством жгучего стыда и раскаянья. Чуть

ли не впервые в жизни Мандельштам ощутил себя приспособленцем и предателем: не только по отношению к своим «исстрадавшимся, недоедающим» читателям, но и по отношению к бездомным и голодным крестьянам. В его собственной терминологии – он чуть ли не впервые ощутил себя *писателем*. А платой за предательство – эквивалентом тридцати сребреников – послужила халтурная писательская квартира в Нащокинском переулке.

Масла в огонь невольно подлил не устроенный в бытовом отношении Борис Пастернак, который, побывав у Мандельштамов в гостях, попробовал подбодрить поэта: «“Ну вот, теперь и квартира есть – можно писать стихи”, – сказал он, уходя. “Ты слышала, что он сказал?” – О. М. был в ярости»[724].

Так на новом временно́м витке продолжился спор о том, как поэту нужно выстраивать отношения с современной ему действительностью, начатый давним разговором-ссорой Мандельштама и Пастернака по итогам «дела Горнфельда». «Я не могу иметь ничего общего с Борисом Леонидовичем – у него профбилет <билет профсоюза> в кармане», – приводит Лидия Гинзбург мандельштамовскую реплику этого времени в своих записях[725]. И она же резюмирует: «Пастернак выражает сознание приемлющего интеллигента (как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты)»[726]. При этом нужно иметь в виду, что «с точки зрения бытовой, Мандельштам, переселявшийся в Москву, мог выглядеть если не более, то во всяком случае не менее “благополучным”, чем его “антипод”»[727].

После визита Пастернака Осип Эмильевич почувствовал настоятельную необходимость срочно действовать, совершить поступок, написать стихи, «вернуть билет».

Так Мандельштам разразился поэтическим вариантом своей «Четвертой прозы» – стихотворением «Квартира тиха, как бумага…», направленным, на этот раз, против самого себя. Поэтому Горнфельд и другие обидчики были забыты, а служба в «Московском комсомольце» – наоборот, выпячена (в четвертой, самой крамольной строфе):

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,

Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать –
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены[728]
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья[729].

В третьей и четвертой строфах этого стихотворения своеобразно отразилось пышное официальное празднование пятнадцатилетия ВЛКСМ[730]. Процитируем также восемь мандельштамовских строк, которые, по-видимому, правомерно счесть поэтическим «отводком» от четвертой строфы «Квартиры»:

У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови:
На баюшки-баю похожи
И баю борьбу объяви.

И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.

Первая строфа еще одного ноябрьского антисоветского стихотворения Мандельштама представляет собой довольно точный, хотя и издевательский пересказ сразу нескольких материалов «Литературной газеты», объединенных общей темой – обсуждением проблемы переводов на русский язык произведений, написанных на языках народов СССР:

Татары, узбеки и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.

И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.

На первой странице «Литературной газеты» от 23 октября 1933 года была опубликована большая статья А. Гидаша «Выше качество художественного перевода», в которой подчеркивалось: «Особого внимания заслуживает вопрос о переводах литературы отдельных социалистических республик Советского Союза. Эти литературы национальные по форме и социалистические по содержанию уже сейчас создали такие произведения, передача которых путем перевода не только В ПОЛИТИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ, но и с точки зрения ЛИТЕРАТУРНОЙ является делом неотложной важности». На третьей странице этого же номера газеты находим

несколько статей, помещенных под общей шапкой: «Художественный перевод – на высоту оригинала!». Самая обширная статья озаглавлена «Теснее сплотить братские литературы. На заседании украинской комиссии Оргкомитета». Процитируем ее финальный абзац: «На заседании украинской комиссии Оргкомитета ССП СССР принято решение о конкретном изучении творчества отдельных украинских писателей. Тов. Стецкому поручено изучить творчество П. Панча, т. Безыменскому – Кулика, Бажана, Первомайского и Косынко, т. Юдину – Эпика, т. Гладкову – Копыленко, Кириленко и Досвитного, т. Форш – Любченко, т. Динамову – Микитиенко, Кулиша и Ивана Ле, т. Катаеву – Остапа Вишни, т. Багрицкому – Терещенко и Тычины, т. Коваленко – Головко, т. Шагинян – молодых писателей Одессщины, тт. Стецкому, Березовскому и Форш – Кузьмича». Рядом были напечатаны статьи Гейши Шариповой «Качество ошибок» и П. Карабана «Осторожнее на переводах!», а также коллективное письмо четырех переводчиков (Ю. Березовского, Дзахо Гатуева, В. Нейштадта и Александра Ромма) с самокритичным названием «Довольно барства»: «Значительно слабее обстоит дело с переводом литератур братских народов СССР».

23 ноября 1933 года на первой странице «Литературной газеты» появилась программная редакционная статья «По-настоящему изучить богатейшую литературу народов СССР». Приведем несколько выдержек из нее: «<3>наем ли мы нацлитературу республик и областей РСФСР? Если и знаем, то очень слабо <…>. Одиннадцать писательских бригад всесоюзного Оргкомитета по изучению нацлитератур республик и областей РСФСР должны были уже давно приступить к работе <…>. В результате из 11 бригад по-настоящему работает только 3 бригады <…> (только эти три бригады уже выехали или выезжали на места) <…>. Совсем пока не работает: <…> бригада т. Шульца (республика немцев Поволжья)». Вот эти добровольно-принудительные поездки писательских переводческих бригад в республики и области СССР и были высмеяны Мандельштамом в стихотворении «Татары, узбеки и ненцы…».

Актом жертвенного очищения и высвобождения из-под власти советского «писательства» стала мандельштамовская лютая эпиграмма на Сталина, тоже созданная в ноябре 1933 года.

Мандельштам первый среди своих современников, проживавших в СССР, решился нарушить коллективный заговор молчания вокруг фигуры всесильного диктатора (начальные стихотворения ахматовского «Реквиема» будут написаны два года

спустя):

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина[731].

Важно отметить, что в ноябрьской советской прессе 1933 года не удается найти конкретного веского повода к написанию самоубийственного мандельштамовского стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…», направленного лично против Сталина. Не означает ли это, что такого решающего повода просто не было, а был месяцами копившийся гнев, чью поэтическую вспышку в ноябре 1933 года мог спровоцировать любой пустяк? Возможно, подобным пустяковым поводом стало уже цитировавшееся нами заглавие доклада Кагановича на пленуме ВЛКСМ – «Ленин и Сталин с исключительной заботливостью выпестовали комсомол» – у Мандельштама в стихотворении: «А где хватит на полразговорца, / Там припомнят кремлевского горца». Возможно, поводом послужила напечатанная во всех праздничных ноябрьских газетах фотография Сталина в окружении Молотова, Кагановича, Орджоникидзе, Калинина, Рудзутака, Куйбышева, Микояна и Енукидзе на трибуне мавзолея во время демонстрации[732] – у Мандельштама в стихотворении: «А вокруг него сброд тонкошеих вождей». Возможно, но менее вероятно, поскольку это прямо не отразилось в стихотворении «Мы живем, под собою не чуя страны…», что таким поводом стала напечатанная на третьей странице «Литературной газеты» 23 ноября 1933 года большая подборка материалов «Писатели работают над книгой о Беломоро-Балтийском водном пути». В частности, эта подборка

включала в себя статью профессора института советского строительства и права С.Я. Булатова «Чего мы ждем от книги о Беломорском канале», где содержалось такое, например, рассуждение: «Лагеря ОГПУ и концентрационные лагеря фашистской Германии – вот два пункта, отражающие, как капли воды, всю противоположность двух систем – системы гниющего капитализма и системы строящегося социализма».

Отметим еще, что страшный образ жирных пальцев-червей диктатора Мандельштам, по-видимому, взял из сатирического стихотворения Владимира Маяковского «Новый тип» (1930): «Пальцы потные / червятся». А упоминание о сталинских «тараканьих глазищах», возможно, восходит к широкоизвестному сталинскому разоблачению Бухарина и других «правых оппортунистов», сделанному в 1930 году (наблюдение М.А. Котовой): «Зашуршал где-либо таракан, не успев еще вылезть как следует из норы, – а они уже шарахаются назад, приходят в ужас и начинают вопить о катастрофе, о гибели Советской власти. (*Общий хохот.*) Мы успокаиваем их и стараемся убедить, что тут нет еще ничего опасного, что это всего-навсего таракан, которого не следует бояться. Куда там! Они продолжают вопить свое: “Как так таракан? Это не таракан, а тысяча разъяренных зверей! Это не таракан, а пропасть, гибель Советской власти”… И – “пошла писать губерния”… Бухарин пишет по этому поводу тезисы и посылает их в ЦК, утверждая, что политика ЦК довела страну до гибели, что Советская власть наверняка погибнет, если не сейчас, то по крайней мере через месяц. Рыков присоединяется к тезисам Бухарина, оговариваясь, однако, что у него имеется серьезнейшее разногласие с Бухариным, состоящее в том, что Советская власть погибнет, по его мнению, не через месяц, а через месяц и два дня. (*Общий смех.*) Томский присоединяется к Бухарину и Рыкову, но протестует против того, что они не сумели обойтись без тезисов, не сумели обойтись без документа, за который придется потом отвечать: “Сколько раз я вам говорил, делайте что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов”. (*Гомерический хохот всего зала. Продолжительные аплодисменты.*) Правда, потом, через год, когда всякому дураку становится ясно, что тараканья опасность не стоит и выеденного яйца, правые уклонисты начинают приходить в себя и, расхрабрившись, не прочь пуститься даже в хвастовство, заявляя, что они не боятся никаких тараканов, что таракан этот к тому же такой тщедушный и дохлый. (*Смех. Аплодисменты.*)»[733].

О мандельштамовском состоянии духа в этот период дает яркое представление не только стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…», но и следующее агентурное сообщение

ОГПУ: «На днях вернулся из Крыма О. Мандельштам. Настроение его резко окрасилось в антисоветские тона. Он взвинчен, резок в характеристиках и оценках, явно нетерпим к чужим взглядам. Резко отгородился от соседей, даже окна держит закрытыми со спущенными занавесками. Его очень угнетают картины голода, виденные в Крыму, а также собственные литературные неудачи: из его книги ГИХЛ собирается изъять даже старые стихи, о его последних работах молчат. Старые его огорчения (побои, травля в связи “с плагиатом”) не нашли сочувствия ни в литературных кругах, ни в высоких сферах. Мандельштам собирается вновь писать тов. Сталину[734]. Яснее всего его настроение видно из фразы: “Если бы я получил заграничную поездку, я бы пошел на все, на любой голод, но остался бы там”. Отдельные его высказывания по литературным вопросам были таковы: “Литературы у нас нет, имя литератора стало позорным, писатель стал чиновником, регистратором лжи. «Лит<ературная> газета» – эта старая проститутка – права в одном: отрицает у нас литературу. В каждом номере вопль, что литература отстает, не перестроилась и проч<ее>. Писатели жаждут не успеха, а того, чтобы их Ворошилов вешал на стенку, как художников (теперь вообще понятие лит<ературного> успеха – нонсенс, ибо нет общества)”. Коснувшись вопроса о том, что на художественной выставке “за 15 лет” висят “дрянные” пейзажи Бухарина, Мандельштам добавляет: “Ну что же, читали мы стихи Луначарского, скоро, наверное, услышим рапсодии Крупской”»[735].

Не желая мириться с ситуацией, описанной в первых строках стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…», Мандельштам принялся читать его своим близким, а затем и не очень близким знакомым. Он не был в силах утаивать от них свое новое стихотворение, которое сам считал «документом не личного восприятия и отношения, а документом восприятия и отношения определенной социальной группы, а именно части старой интеллигенции, считающей себя носительницей и передатчицей в наше время ценностей прежних культур» (из протокола допроса поэта от 25 мая 1934 года)[736]. Большинству слушателей торжественно и искренно сообщалось, что они будут единственными хранителями страшного секрета. Потом вдруг выяснялось, что стихотворение известно еще нескольким людям. Из воспоминаний Б.С. Кузина: «Буквально дня через два или три О.Э. со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: “Читал стихи (было понятно какие) Борису Леонидовичу”. У меня оборвалось сердце»[737]. Из «Мемуаров» Э.Г. Герштейн: «Мне казалось, что все это глубоко погребено. До

осуждения Мандельштама я ни одному человеку об этом стихотворении не говорила и уж, разумеется, не читала <Сама того не замечая, Эмма Григорьевна почти цитирует мандельштамовское: “Наши речи за десять шагов не слышны”>. Но как-то при мне зашел о нем разговор между Мандельштамами, и Надя безмятежно заявляет, что Нине Николаевне Грин больше нравится другой вариант. Вот тебе и раз. Оказывается, я не одна посвящена в тайну»[738].

Доподлинно известно, что кроме, разумеется, Надежды Яковлевны, Мандельштам читал свою эпиграмму на Сталина родному брату жены Евгению Хазину, своему брату Александру Мандельштаму, Борису Кузину, Эмме Герштейн, Владимиру Нарбуту, Анне Ахматовой и ее сыну Льву Гумилеву, Борису Пастернаку, Виктору Шкловскому, Семену Липкину, Нине Грин, Георгию Шенгели, Сергею Клычкову, Николаю Харджиеву, Александру Тышлеру, Александру Осмеркину. Также текст антисталинской эпиграммы был известен поэтессе и переводчице Марии Сергеевне Петровых (1908–1979), которой посвящено несколько любовных стихотворных посланий Мандельштама 1934 года.

«…Существо хрупкое, ничем не защищенное, кроме своего тихого обаяния. Лицо неброское, но прелестное, обрамленное пушистыми волосами, скорее светлыми, волнистая челка, наполовину прикрывающая высокий чистый лоб, серые глаза, взирающие на мир почти кротко», – такой изобразил молодую Петровых Яков Хелемский[739].

Из воспоминаний Екатерины Петровых: «Влюбленность в Марусю была чрезвычайна. Он приходил к нам на Гранатный по 3 раза в день. Прислонялся к двери, открывавшейся вовнутрь, и мы оказывались как бы взаперти. Говорил он, не умолкая, часа по полтора-два. Глаза вдохновенно блестели, голова – запрокинута»[740].

Мандельштамы познакомились с этой начинающей поэтессой и переводчицей через Анну Ахматову, приехавшую погостить к старым друзьям в новую квартиру в середине ноября 1933 года. Именно Анну Андреевну Мандельштам избрал на роль своей конфидентки: «…Он, потеряв голову, повествовал Ахматовой, что, не будь он женат на Наденьке, он бы ушел и жил только новой любовью», – рассказывала в своих воспоминаниях Надежда Яковлевна[741]. А вот что писала в «Листках из дневника» сама Ахматова: «В 1933–34 годах Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение “Турчанка” (заглавие мое), лучшее, на мой взгляд, любовное стихотворение

XX века»[742].

Ахматова имела в виду загадочные мандельштамовские стихи, созданные 13–14 февраля 1934 года:

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно окающих ртами,
Полухлебом плоти накорми!

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь[743].

В центре этого сложного стихотворения два персонажа: слабая женщина и сильный мужчина. При этом слабая женщина предстает покорительницей сильного мужчины и даже его палачом (наблюдение Михаила Безродного: первые строки стихотворения: «*Мастерица* виноватых взоров, / Маленьких держательница *плеч*» скрывают в себе идиому «*заплечных* дел *мастер*»). Для покорения мужчины женщина коварно (мягкий вариант: кокетливо) пользуется своей плотской привлекательностью. Мужчина сам стремится навстречу собственной гибели; он не в силах противиться эротическому

желанию: «Уходи. Уйди. Еще побудь».

Важнейшие атрибуты женского начала в стихотворении «Мастерица виноватых взоров…» – *коварство* и *чувственность*. Воплощают эту тему в мандельштамовском стихотворении мотивы *востока, красного* цвета, а также *речи* и *невозможности речи* («Не звучит утопленница-речь», «Этот жалкий полумесяц губ», «Твои речи темные глотая»).

С подобным отношением к любви мы уже встречались в мандельштамовском стихотворении «Я наравне с другими…» (1920), посвященном Ольге Арбениной. В этом стихотворении Мандельштам прямо признавался: «Не утоляет слово / Мне пересохших уст, / И без тебя мне снова / Дремучий воздух пуст. / Я больше не ревную, / Но я тебя хочу, / И сам себя несу я, / Как жертву палачу» (за Арбениной Мандельштам ухаживал «наравне» с Николаем Гумилевым; за Марией Петровых – «наравне» с его сыном Львом. Согласно «Мемуарам» Эммы Герштейн, Мандельштам в 1934 году восклицал: «“Как это интересно! У меня было такое же <соперничество, как с Левой Гумилевым> с <его отцом> Колей…”»)[744].

Однако еще более разительным, хотя и более неожиданным, кажется сходство стихотворения «Мастерица виноватых взоров…» с мандельштамовской эпиграммой на Сталина. И там, и там возникают мотивы *незвучащей (неслышной) речи, коварства* (отчасти связанного с темой *востока*), а также *красного цвета* (в эпиграмме на Сталина: «Что ни казнь у него – то *малина*»). Возлюбленная и диктатор окружены в стихотворениях Мандельштама сходным ореолом мотивов, потому что оба они – коварные мучители, истязающие свои жертвы и лишающие их дара речи. Об этом удивительном сходстве нам еще предстоит вспомнить, когда мы будем говорить о сложной эволюции отношения Мандельштама к личности Сталина.

Неудивительно, что стихотворение Мандельштама «Мастерица виноватых взоров…» спровоцировало на полемический стихотворный ответ тогдашнего спутника жизни Петровых Петра Грандицкого:

Демон грозный в тельце малом,
От твоих предвечных скал
Что лисенком одичалым
К берегам моим пристал?

Ты ль, надменный, стал бескрылым,
Плен пушистый возлюбя?
Как же волнам и светилам

Не вступиться за тебя?

Только ль ребрышки худые
Маком бровки на челе,
Если Дьяволом стихия
Залегла во влажной мгле?

Что тебе немые хоры
Красных рыб на дне морском,
Если мраморные взоры
Издают беззвучный гром.

Что тебе гнилая влага,
Ржа и тлен кривой воды,
Если пламя Карадага
Плавит сплав твоей руды –

Пламя страсти и обиды,
Пламя мести и вины,
Что разит пращой Давида,
Жжет безглавьем сатаны.

Эмма Григорьевна Герштейн, рассказывая в своей мемуарной книге о семейной жизни Мандельштамов этого периода и влюбленности поэта в Марию Петровых, воспользовалась множеством терминов из арсенала профессиональных сексологов: «брак втроем»[745], «строго просчитанные чередования эксгибиционизма и вуайерства»[746], «бисексуальность»[747] и, наконец, «садизм»[748]. Приведя здесь, по долгу честного биографа, эти библиографические ссылки, сознательно ограничим себя ими, а также цитатой из мандельштамовской внутренней рецензии 1927 года на роман Рахели Санзара «Потерянное дитя»: «Атмосфера повествования очень напряженная с уклоном к мелодраме. Социально книга фальшива. Фабульно – интересна. Принять ее ни в коем случае нельзя: она насквозь нездорова, играя на патологических явлениях и искажая действительность» (II: 589). Излишне будет еще раз говорить здесь о том, что мы высоко ценим мемуары Герштейн. Лучше любых слов об этом свидетельствуют многочисленные отсылки к ее воспоминаниям, содержащиеся в нашей книге.

Едва ли не самым важным событием зимы 1934 года стала для Осипа Эмильевича неожиданная смерть Андрея Белого, которая пришлась на 8 января. Сергей Рудаков изложил в письме

к своей жене рассказ Мандельштама о том, как он «стоял в последнем карауле <…>. В суматохе М<андельштам>у на спину упала крышка гроба Белого»[749]. Смерть автора «Петербурга» и «Мастерства Гоголя» поэт оплакал в нескольких стихотворениях, которые в семье Мандельштамов условно назывались «Реквием». Одно из стихотворений Осип Эмильевич передал вдове покойного писателя, но Клавдии Николаевне оно не понравилось, так как показалось слишком «непонятным»[750].

Реквием по Андрею Белому закономерно может восприниматься и как реквием по самому Мандельштаму. «…Тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме, – вспоминала Анна Ахматова. – Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: “Я к смерти готов”»[751]. Тогда же Мандельштам спрятал в каблук своего ботинка лезвие безопасной бритвы – спустя несколько месяцев оно будет пущено в ход.

17 февраля 1934 года Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич высказал пожелание приобрести мандельштамовский архив для Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики. 16 марта собралась Комиссия экспертов по приобретению фондов музея, которая предложила за архив поэта смехотворно малую цену: 500 рублей. Вдогонку неприятному разговору с Бонч-Бруевичем, состоявшемуся 21 марта, полетело гневное мандельштамовское письмо: «Назначать за мои рукописи любую цену – Ваше право. Мое дело – согласиться или отказаться. Между тем Вы почему-то сочли нужным сообщить мне развернутую мотивировку Вашего неуважения к моим трудам. Таким образом покупку писательского архива Вы превратили в карикатуру на посмертную оценку. Безо всякого повода с моей стороны Вы заговорили со мной так, как если бы я принес на утильпункт никому не нужное барахло, скупаемое с неизвестной целью» (IV: 156).

В позднейшем разговоре с Сергеем Рудаковым Мандельштам следующим образом излагал соображения, высказанные ему Бонч-Бруевичем: «Я, да и мои товарищи считаем вас второстепенным поэтом – не обижайтесь и на нас не сердитесь – другие и даром <свои архивы> дарят»[752].

В середине апреля 1934 года Мандельштамы приехали в Ленинград. В начале мая в помещении «Издательства писателей» Осип Эмильевич получил наконец возможность поквитаться с председателем позорного суда по «делу Саргиджана – Мандельштама» Алексеем Толстым. Елена Тагер записала со слов Валентина Стенича: «Мандельштам, увидев Толстого, пошел к нему с протянутой рукой; намерения его были так неясны, что

Толстой даже не отстранился. Мандельштам, дотянувшись до него, шлепнул слегка, будто потрепал его, по щеке и произнес в своей патетической манере: “Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены”»[753]. Вариант Федора Волькенштейна: «Мандельштам побледнел, а затем, отскочив и развернувшись, дал Толстому звонкую пощечину.

– Вот Вам за Ваш “товарищеский суд”, – пробормотал он.

Толстой схватил Мандельштама за руку.

– Что Вы делаете?! Разве Вы не понимаете, что я могу Вас у-ни-что-жить! – прошипел Толстой»[754].

К этому Волькенштейн прибавляет: «Я знал и заверяю читателя, что ни к аресту Мандельштама, ни к его дальнейшей судьбе Толстой не имел никакого отношения»[755]. Отметим в скобках, что в своей речи на Первом всесоюзном съезде советских писателей, «красный граф» высказался о Мандельштаме крайне негативно. Отметим также, что поступок Мандельштама широко обсуждался в литературных кругах. Из воспоминаний Екатерины Петровых: «…Поэт Перец Маркиш, узнав о пощечине, с видом предельного изумления поднял палец кверху со словами: “О! Еврей дал пощечину графу!!!”»[756].

Показательно, что по поводу этого громкого происшествия Президиум Ленинградского оргкомитета ССП счел нужным 27 апреля 1934 года отправить Толстому специальное письмо: «Мы не сомневаемся в том, что хулиганская выходка Мандельштама встретит самое резкое осуждение со стороны всей советской писательской общественности. Вместе с тем мы с большим удовлетворением отмечаем ту исключительную выдержку и твердость, которую Вы проявили в этом инциденте. Только так и мог реагировать подлинный советский писатель на истерическую выходку человека, в котором до сих пор еще живы традиции худшей части дореволюционной писательской среды»[757].

Есть основания предполагать, что в Ленинград Мандельштам ездил специально для того, чтобы наказать Толстого: совершив возмездие, он, сопровождаемый Надеждой Яковлевной, вернулся в Москву. Опасаясь гнева советского графа, он вместе с женой посетил Бухарина и рассказал ему о случившемся.

К себе в гости поэту удалось зазвать Ахматову[758]. Из мемуаров Анны Андреевны: «…Я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда (где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым)»[759].

В ночь с 13 на 14 мая 1934 года (по данным НКВД – в ночь с 16 на 17 мая) Осип Эмильевич Мандельштам был арестован.

Глава пятая
Последние годы (1934–1938)

1

«Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел “Волка” <– стихотворение “За гремучую доблесть грядущих веков…”> и показал О.Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра. Было совсем светло»[760].

Из «Воспоминаний» Надежды Яковлевны: «Всего их было пятеро – трое агентов и двое понятых <…>. Старший из агентов занялся сундучком с архивом, а двое других – обыском <…>. Наступило утро четырнадцатого мая. Все гости, званые и незваные, ушли. Незваные увели с собой <во внутреннюю тюрьму на Лубянке> хозяина дома. Мы остались с глазу на глаз с Анной Андреевной, вдвоем в пустой квартире, хранившей следы ночного дебоша. Кажется, мы просто сидели друг против друга и молчали»[761].

Из протокола обыска-ареста О.Э. Мандельштама: изъяты «письма, записки с телефонами и адресами и рукописи на отдельных листах в количестве 48 /сорок восемь/ листов.

Обыск производил<и> комиссары Оперода Герасимов, Вепринцев, Забловский»[762]. Санкция на обыск и арест Мандельштама была выдана заместителем председателя ОГПУ Яковом Аграновым. С собой поэт взял, согласно тюремной квитанции, «восемь шт<ук> воротничков, мыльницу, щеточку, семь шт<ук> разных книг» и деньги – 30 рублей[763].

Утром Надежда Яковлевна поехала к своему брату Евгению. Анна Андреевна – хлопотать за Мандельштама – к Борису Пастернаку, а затем – к секретарю Президиума ЦИК Авелю Енукидзе и к писательнице Лидии Сейфуллиной. Пастернак, узнав об аресте, в свою очередь, обратился за помощью к Демьяну Бедному и Бухарину. Просил за Мандельштама и поэт-символист, посол независимой Литвы в СССР Юргис Балтрушайтис. «Хлопоты и шумок, поднятый вокруг первого ареста О. М., сыграли, очевидно, какую-то роль, потому что дело обернулось не по трафарету. Так, по крайней мере, думает Анна Андреевна»[764]. «Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку»[765].

А в это время бывший человек Сергей Городецкий говорил о Мандельштаме, выступая на московском поэтическом совещании: «…Он заблудился между объектами и субъектами, он видит центр в самом себе и таким образом возвращается к предпосылкам семантизма»[766].

Дело Мандельштама было поручено вести оперуполномоченному 4-го отделения СПО ОГПУ Николаю Христофоровичу Шиварову – в прошлом болгарскому коммунисту-подпольщику, близкому другу писателей Петра Павленко и Александра Фадеева, человеку «высокому и красивому, несмотря на небольшую лысину и туповатый короткий нос»[767]. Первый допрос состоялся 18 мая 1934 года.

Органически не созданный для того, чтобы играть роль заговорщика и противостоять грубому нажиму, Осип Эмильевич, судя по всему, сразу же взял курс на контакт со следствием. «… Представить себе О. М. в роли конспиратора совершенно невозможно – это был открытый человек, не способный ни на какие хитроумные ходы»[768]. Еще только заполняя предварительный протокол первого допроса, он признался в своей юношеской принадлежности к партии эсеров (и в 1934, и в 1938 годах членство в этой партии было вменено Мандельштаму в вину). Из протокола первого мандельштамовского допроса следует, что текст стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…» он также вызвался воспроизвести сам. Однако при тюремном свидании с женой Осип Эмильевич сообщил ей, что «у следователя <предварительно> были стихи, они попали к нему в первом варианте со словом “мужикоборец” в четвертой строке: “только слышно кремлевского горца – душегубца и мужикоборца”»: «…Следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. О. М. признал авторство»[769].

Так или иначе, но уже на первом допросе Мандельштам назвал имена семерых слушателей своей антисталинской эпиграммы (А. Мандельштама, Е. Хазина, Э. Герштейн, А. Ахматову, Л. Гумилева, Д. Бродского, Б. Кузина). Имя переводчика Давида Григорьевича Бродского он затем вычеркнул, приписав, что указал его ошибочно. На следующем допросе, который состоялся 19 мая, были названы еще два слушателя: Мария Петровых и Владимир Нарбут. Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что целый ряд имен Мандельштам от Шиварова скрыл. Вряд ли это было просто ошибкой памяти: трудно поверить, например, что поэт забыл о том, как он читал стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…» Борису Пастернаку (Выслушав стихотворение,

Пастернак сказал: «То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал и прошу Вас не читать их никому другому»[770].)

Условия содержания Мандельштама на Лубянке были рассчитаны на психологическое воздействие: свет в камере не выключался ни днем, ни ночью – в результате Мандельштам заработал воспаление век; в соседи к поэту определили «наседку» – человека из НКВД, который изматывал Осипа Эмильевича бесконечными разговорами и запугивал сообщениями об аресте родных. Из мемуаров Эммы Герштейн: «Он стал мне рассказывать, как страшно было на Лубянке. Я запомнила только один эпизод, переданный мне Осипом с удивительной откровенностью:

– Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился… вдруг слышу над собой голос: “Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно?” Я поднял голову. Это был Павленко»[771].

В приступе отчаяния поэт попробовал вскрыть себе вены лезвием, извлеченным из ботинка. Однако попытка самоубийства была пресечена тюремщиками.

На третий, последний допрос автор стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…» был вызван 25 мая.

27 или 28 мая следствие было закончено. Мандельштама ждал неожиданно мягкий приговор: трехлетняя ссылка на поселение в город Чердынь Свердловской области. Более того, Надежде Яковлевне было разрешено сопровождать мужа. Из «Мемуаров» Эммы Герштейн: «Мы сидели в Нащокинском и ждали возвращения Нади <с Лубянки>. Она пришла потрясенная, растерзанная:

– Это стихи. “О Сталине”, “Квартира” и крымское (“Холодная весна…”)»[772]. «Все было кончено, – вспоминала Анна Андреевна. – <Соседка по дому, жена фельетониста Виктора Ардова> Нина Ольшевская пошла собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое сумочки»[773].

В Чердынь ехали через Свердловск; в Соликамске пересели на пароход и дальше плыли по Каме, Вишере, Колве. Это тягостное путешествие Мандельштам год спустя вспоминал в фотографически точном стихотворении:

> Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
> На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла –
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена – пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

В Чердынь прибыли в начале июня 1934 года. Мандельштамовская голова действительно была «в огне»: поэт бредил наяву, мучительно боялся расстрела. Чтобы избежать казни, он в первое же раннее утро по прибытии в Чердынь попробовал покончить с собой. Напуганная Надежда Яковлевна телеграфировала в Москву своей матери: «Ося болен травмопсихозом вчера выбросился окна второго этажа отделался вывихом плеча сегодня бред затихает врачи акушер девочка терапевт возможен перевоз Пермь психиатрическую считаю нежелательным опасность новой травмы провинциальной больнице Надя»[774]. Телеграммы сходного содержания были отправлены Николаю Ивановичу Бухарину и Александру Эмильевичу Мандельштаму. Впоследствии оказалось, что при прыжке из окна тюремной больницы Мандельштам сломал руку.

6 июня Александр Эмильевич обратился в ОГПУ с просьбой перевести брата куда-нибудь «вне больничной обстановки близ Москвы, Ленинграда или Свердловска»[775].

10 июня в деле Мандельштама случилось новое чудо: приговор был пересмотрен. 14 июня в Чердынь пришла официальная телеграмма о трехлетней административной высылке поэта из столицы с лишением по истечении этого срока права проживать в Москве, Ленинграде и еще десяти городах СССР. Вскоре Мандельштамов вызвали в чердынскую комендатуру для выбора нового города ссылки. Из «Воспоминаний» Надежды Яковлевны: «Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов, да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О. М. вспомнил, что <приятель Б.С. Кузина> биолог Леонов из ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда был родом. Отец Леонова был там тюремным врачом. “Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач”, – сказал О. М., и мы

остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги»[776]. Напомним: еще в «Четвертой прозе» Мандельштам насмешливо свидетельствовал, что «люди из Харькова и из Воронежа» принимали его «за своего» (III: 170).

Почему приговор по делу Осипа Мандельштама оказался «вегетариански» мягким? Почему Чердынь позволили поменять на другой город? Обо всем этом остается только догадываться. Ясно одно: на определенном, причем достаточно раннем этапе в ход следствия вмешался лично «кремлевский горец». «Изолировать, но сохранить», – вот приказ, который он, по слухам, отдал разработчикам дела Мандельштама. Обострил внимание вождя к делу поэта Николай Бухарин. Под воздействием телеграмм Надежды Яковлевны и визита Бориса Пастернака он отправил Сталину большое письмо, где Мандельштаму был целиком посвящен пункт третий: «*О поэте Мандельштаме*. Он был недавно арестован и выслан. До ареста он приходил со своей женой ко мне и высказывал свои опасения на сей предмет в связи с тем, что он подрался (!) с А<лексеем> Толстым, которому нанес “символический удар” за то, что тот несправедливо якобы решил его дело, когда другой писатель побил его жену. Я говорил с Аграновым, но он мне ничего конкретного не сказал. Теперь я получаю отчаянные телеграммы от жены М<андельштама>, что он психически расстроен, пытался выброситься из окна и т. д. Моя оценка О. Мандельштама: он – первоклассный поэт, но абсолютно несовременен; он, безусловно, не совсем нормален; он чувствует себя затравленным и т. д. Т<ак> к<ак> ко мне все время апеллируют, а я не знаю, *что* он и в *чем* он “наблудил”, то я решил тебе написать и об этом <…>. P. S. О Мандельштаме пишу еще раз (на об<ороте>), потому что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста М<андельштама> и никто ничего не знает»[777].

На это письмо Сталин наложил такую резолюцию: «Кто дал им право арестовывать Мандельштама? Безобразие…»[778]. Особенно здесь умиляет это сталинское «*им*». Впрочем, по предположению Л.С. Флейшмана, Сталин мог еще ничего не знать о крамольных мандельштамовских стихах[779].

Может быть, смягчая участь поэта, вождь стремился отвлечь внимание литераторов от дела Мандельштама. Или же, напротив, отцу народов захотелось разыграть перед литературной общественностью – особенно накануне писательского съезда, вести который было поручено Бухарину, – и перед самим Мандельштамом роль просвещенного властителя, снизошедшего до милости к зарвавшемуся подданному. Возможно, бывшего

экспроприатора и бандита поразила неожиданная смелость интеллигента Мандельштама. И, наконец, самая фантастическая версия: может быть, Сталину даже польстило, что в мандельштамовской эпиграмме он предстал могучей, хотя и страшной фигурой, особенно на фоне жалких «тонкошеих вождей»?

Правомерность первой и второй догадки как будто подтверждается вошедшим в легенду звонком вождя Борису Пастернаку: уличая своего собеседника в нерешительности, Сталин косвенно «ставил ему в пример» отважного Мандельштама. Хроника этого телефонного разговора такова. 13 июня 1934 года в коммунальной квартире Пастернаков раздался звонок. Сталин начал с того, что заверил поэта: дело Мандельштама пересматривается и с ним все будет хорошо. Затем он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал о Мандельштаме, почему не обратился в писательские организации или лично к нему, Сталину. «Я бы на стену лез, если бы узнал, что мой друг поэт арестован».

Пастернак ответил: «Писательские организации не занимаются такими делами с 27-го года, а если бы я не хлопотал, Вы бы ничего не узнали». На это Сталин прямо спросил: «Но ведь он Ваш друг?» Пастернак попытался уточнить характер отношений между ним и Мандельштамом, сказав, что поэты, как женщины, ревнуют друг друга. «Но ведь он же мастер, мастер!» – Сталин воспользовался клишированной в советской печати характеристикой Мандельштама. Что, понятно, не могло не раздражить Пастернака. «Да не в этом дело, – отмахнулся он. – Да что мы всё о Мандельштаме да о Мандельштаме, я давно хотел с Вами встретиться и поговорить серьезно». – «О чем?» – «О жизни и смерти». Предложенная тема разговора в свою очередь не особенно увлекла Сталина. Вместо ответа Пастернаку он бросил трубку[780].

«Даже если Сталину не приходило в голову узурпировать функции агента ОГПУ, – анализирует сталинскую тактику Л.С. Флейшман, – он вряд ли отказал бы себе в удовольствии психологической игры на полюсах: знак высочайшего внимания к поэту – и потенциальные угрозы, связанные с этой милостью. То, что перед “допросом” <Пастернака> не стояли непосредственно-практические цели, не отменяло его “превентивного”, полицейски-провокационного налета»[781].

2

На новое место ссылки Мандельштамы ехали через Москву (не это ли обстоятельство послужило дополнительным стимулом для выбора места ссылки?). До Воронежа добрались 25 июня 1934 года.

Поначалу устроились в гостинице «Центральная». «Номера нам не дали, но отвели койки в мужской и женской комнате. Жили мы на разных этажах, и я все бегала по лестнице, потому что беспокоилась, как чувствует себя О. М.»[782]. Однако беспокоиться в скором времени пришлось за саму Надежду Яковлевну: осмотревший Осипа Эмильевича психиатр следов травматического психоза у него уже не обнаружил, а вот жена Мандельштама, измотанная переживаниями последних месяцев, заболела тифом и была доставлена в воронежскую инфекционную больницу, где пролежала несколько недель. В конце августа она переболела также дизентерией (31 октября 1934 года в приступе отчаяния Надежда Яковлевна напишет Мариэтте Шагинян: «По-моему, пора кончать. Я верю, что уже конец. Быть может, это последствие тифа и дизентерии, но у меня больше нет сил, и я не верю, что мы вытянем»[783]).

А пока на летнее время Мандельштамы сняли застекленную террасу в привокзальном поселке. Началось врастание Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны в воронежскую жизнь.

«Он был всегда оживлен, выступал со своими стихами охотно, когда его об этом просили. Но в общем жизнь его в Воронеже проходила незаметно, безо всяких стремлений выдавать себя за известную и, более того, сенсационную личность», – вспоминал местный литератор В. Пименов[784].

В сентябре 1934 года Мандельштам обратился к председателю правления Воронежского областного отделения ССП Александру Владимировичу Шверу с просьбой дать ему возможность участвовать в работе местной писательской организации. Аналогичное прошение в Культпроп ЦК ВКП(б) направил Борис Пастернак. 20 ноября заместитель заведующего отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) П. Юдин писал заведующему аналогичным отделом обкома ВКП(б) Центрально-Черноземной области М. Генкину: «Мандельштама <следует> постепенно вовлекать в писательскую работу, и использовать его по мере возможности как культурную силу, и дать возможность заработать»[785].

Тогдашний заместитель председателя правления Воронежского отделения ССП Ольга Кретова докладывала М. Генкину о настроениях ссыльного поэта: «В беседе с писателями-коммунистами, членами правления, Мандельштам рассказывал о своей огромной жажде принять и осмыслить советскую

действительность, просил помочь ему бывать на заводах и в колхозах, вести работу с молодыми писателями. Правление Союза пригласило Мандельштама участвовать в поездке на открытие первого совхозного театра в Воробьевском районе Воронежской области. Знакомство с совхозом, с ростом культурного уровня сельскохозяйственного пролетариата произвело на поэта огромное впечатление.

Редакция областного литературного художественного журнала “Подъем” предоставила Мандельштаму возможность вести платную консультацию <…>. <Мандельштам> предполагает начать работу над книгой о старом и новом Воронеже»[786].

В середине октября 1934 года Мандельштамы сняли комнату у агронома Евгения Петровича Вдовина. Дом находился в глубокой низине.

В феврале 1935 года в редакции газеты «Коммуна» поэта вынудили выступить с докладом об акмеизме «с целью выявления отношения Мандельштама к своему прошлому» (формулировка секретаря партгруппы Воронежского ССП Стефана Стойчева)[787]. «В своем выступлении Мандельштам показал, – продолжает Стойчев, – что он ничему не научился, что он кем был, тем и остался»[788]. Именно в этом докладе автор «Камня» определил акмеизм как «тоску по мировой культуре» и заявил, что он не отрекается «ни от живых, ни от мертвых». Вместе с тем Мандельштам «говорил, что <сам он> отошел от акмеизма» (свидетельство воронежского писателя М. Булавина)[789].

В конце марта 1935 года Надежда Яковлевна почти на месяц уехала в Москву. 30 марта в Воронеж прибыл филолог-формалист, тыняновский выученик Сергей Борисович Рудаков (1909–1944)[790]. Его, как дворянского, да еще и офицерского сына, выслали из Ленинграда после убийства С.М. Кирова. Осипа Эмильевича Рудаков разыскал уже на третий день после своего приезда в Воронеж.

«Высокий, с огромными темными глазами, несколько крупными чертами лица: резко очерченный рот, черные брови с изломом, длинные ресницы и какие-то особенные тени у глаз, – он был очень красив» (Из воспоминаний Натальи Штемпель)[791]. При Мандельштамах Рудаков почти мгновенно занял место темпераментного собеседника, придирчивого оценщика старых и новых стихов, заботливого опекуна. Когда он сам внезапно заболел скарлатиной, роли переменились. «Полтора дня я пролежал у М<андельштамов>, – докладывал Рудаков в письме к жене. – Они были изумительно заботливы»[792].

Рудакову, задумавшему написать большую книгу о

Мандельштаме, Надежда Яковлевна передала на хранение часть архива поэта. В письме к Борису Кузину от 11 июля 1942 года она назвала Сергея Борисовича «самым дорогим мне человеком»[793]. Эти слова перекликаются с оценкой Осипа Эмильевича из записки к Рудакову от 10 декабря 1935 года: «Вы самый большой молодец на свете» (IV: 161).

И только четверть века спустя исследователям стали доступны многочисленные воронежские письма Сергея Рудакова к жене, из которых вдруг выяснилось, что этот молодой и безмерно честолюбивый филолог и непризнанный стихотворец, любя Осипа Эмильевича и терпя Надежду Яковлевну, испытывал при общении с поэтом страшные муки болезненного, уязвленного самолюбия. Во-первых, Мандельштам не признал рудаковских стихов. Во-вторых, Мандельштам якобы принижал роль Рудакова в создании собственных произведений. Так, Сергей Борисович досадливо писал жене о совместной работе с Мандельштамом над стихотворением «Ариост»: «Лика, честное слово, план (количество строф и строк в них, тематика строф, созданная по полустрочным обрывкам) – *мой*. Вся композиция – лицо вещи – и она прекрасна, стройна <…>. Оська смущен и… старается делать вид, что я “только помогал”. Это стало так обидно, что я чуть не плюнул и собрался все бросить и уйти. Какая-то ослиная тупость, страх за свою славу»[794]. «…Дикая потребность – выслушать меня, руководиться мною»[795] – так Рудаков изображает отношение к себе Мандельштама в письме к жене от 8 января 1936 года.

Еще больше покоробило и отвратило от покойного Рудакова Анну Андреевну и Надежду Яковлевну то обстоятельство, что о Мандельштаме он с несколько наигранным цинизмом в своих письмах зачастую рассуждал как «о <под>опытном кролике или собаке Павлова», а о себе как об «академике» (из письма от 9 июня 1935 года)[796]. Или даже как о чучельнике (в письме от 25 октября 1935 года: «Сейчас занимался “шуточными” <стихами Мандельштама> – скоро допотрошу психа»)[797].

Справедливости ради нужно отметить, что в этих же письмах Рудаков посвятил Мандельштаму и другие, глубоко прочувствованные строки: «Близость М<андельштама> столько дает, что сейчас не учесть всего. Это то же, что жить рядом с живым Вергилием или Пушкиным на худой конец (какой-нибудь Баратынский уже мало)» (из письма от 17 апреля 1935 года)[798]. И еще: «Пусть он сто раз псих. Кто не может его вынести – только слаб. А кто может – с тем стоит разговаривать. Меня-то он изводил достаточно, а как бы был я к чертям годен, если бы из-за этого только перекис» (из письма от 13 января 1936 года)[799].

Как и в случае с Борисом Кузиным, появление Сергея

Рудакова «разбудило» Мандельштама: начало апреля 1935 года ознаменовало собой новый период в мандельштамовском творчестве – период воронежских стихов.

«17, 18, 19, 20 <апреля> – дико работает М<андельштам>, – рассказывал Рудаков жене. – Я такого не видел в жизни. Результаты увидишь <…>. На расстоянии это неизмеримо и нерассказуемо. Я стою перед *работающим* механизмом (может быть, организмом – это то же) поэзии. Вижу то же, что в себе, – только в руках гения, который будет значить больше, чем можно понять сейчас. Больше нет человека – есть Микель Анджело <…>. Для 4 строк – произносится 400. Это совершенно буквально. Он ничего не видит. Не помнит своих стихов. Повторяется, и сам, отделяя повторения, пишет новое. Бесится на мои стихи»[800]. Так рождались те мандельштамовские стихотворения, которые он сам считал своими вершинными достижениями в поэзии. «М<андельштам> говорил, – фиксирует Рудаков, – что его всю жизнь заставляли писать “готовые” вещи (монументальные), а Воронеж принес, может быть впервые, открытую новизну и прямоту»[801].

Когда-то, в акмеистической юности, автору «Камня» ставил голос Вячеслав Иванов, а затем – Гумилев со товарищи. Начиная с «Tristia», прежняя поэтика дала трещину. В Воронеже Мандельштам окончательно «отпустил себя» – стихи хлынули сплошным потоком, перебивая, варьируя, опровергая и перекрывая друг друга. «В работе одновременно находилось по несколько вещей, – вспоминала Надежда Яковлевна. – Он часто просил меня записать – и это была первая запись, по два-три стихотворения сразу, которые он в уме довел до конца. Остановить его я не могла: “Пойми, иначе я не успею”»[802]. «Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен», – дивилась в своих воспоминаниях Ахматова[803].

Необходимо еще иметь в виду, что воронежские стихотворения Мандельштама 1935 года создавались в тот период жизни поэта, когда как минимум по двум причинам он с обостренным вниманием должен был вчитываться в советские газеты. Во-первых, пресса и радио оказались пусть не единственными, но зато уж точно главными источниками информации Мандельштама о событиях, творившихся в «большом мире», прежде всего в Москве и в Ленинграде[804]. Об этом с опорой на радиовпечатления очень выразительно рассказано в следующем мандельштамовском восьмистишии (апрель 1935 года):

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса́ Аи
И в полночь с Красной площади гудочки..

Ну как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки…
И вы, часов кремлевские бои, –
Язык пространства, сжатого до точки…

Во-вторых, в промежуток с апреля по июль, в который и были написаны все мандельштамовские стихи 1935 года, поэта с особой силой переполняла «благодарность за жизнь»[805], не отнятую советским государством из-за написания крамольного стихотворения о Сталине «Мы живем, под собою не чуя страны…». «Никаких лишений нет и в помине <…>, – в конце июля 1935 года сообщал Мандельштам отцу из Воронежа. – Впервые за много лет я не чувствую себя отщепенцем, *живу социально*, и мне по-настоящему хорошо <…>. Хочу массу вещей видеть и теоретически работать, учиться… Совсем как и ты… Мы с тобой молодые. Нам бы в вуз поступить…» (IV: 160).

Соответственно, в это время создаются те самые мандельштамовские вещи, которые М.Л. Гаспаров определяет как «стихи о приятии действительности»[806], а воронежский друг Мандельштама С.Б. Рудаков в письме к жене от 24 мая 1935 года – как «*открыт<ые>* политически*<е>* стих*<и>*»[807]. Понятно, что материал для таких стихов Мандельштам, мысливший как никогда масштабно, должен был черпать в первую очередь именно из газетных и радиоисточников.

При этом мы отнюдь не считаем газетные заметки и радиопередачи единственными объясняющими источниками воронежских вещей Мандельштама. Почерпнутая из них информация сложно переплелась в стихах поэта с литературными и иными подтекстами. Тем не менее при дальнейшем разговоре о стихах Мандельштама воронежского периода мы будем часто сопоставлять их с соответствующими материалами советской прессы.

Одним из первых воронежских стихотворений стало то, где описывается тоскливое житье Мандельштамов у Вдовина, вечно недовольного своими «скучными» постояльцами:

Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,

И далеко убегает гать.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица –
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится,
И своя-то жизнь мне не близка.

От Вдовина Мандельштам съехал 21 апреля 1935 года. 22 апреля вернулась из Москвы Надежда Яковлевна, пересказавшая Осипу Эмильевичу телефонный разговор Сталина с Пастернаком. «О. М. выслушав подробный отчет, остался вполне доволен Пастернаком, особенно его фразой о писательских организациях, которые “этим не занимаются с 27 года…”. “Дал точную справку”, – смеялся он»[808]. В конце апреля Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна начали совместную работу над литературной композицией «Молодость Гёте», предназначавшейся для исполнения на местном радио. Материалом послужила автобиографическая книга Гёте «Поэзия и правда», некоторые ее фрагменты были приведены почти дословно. Н.Я. Мандельштам вспоминала, однако, что Осип Эмильевич отбирал для радиокомпозиции «эпизоды, характерные для биографии не только Гёте, но и вообще всякого поэта»[809].

В эпизоде третьем, например, Мандельштам рассказал о сценическом дебюте юного Гёте в окружении своих товарищей: «Переодетый и чувствующий себя <рыцарем> Танкредом, я вышел на сцену и прочел несколько напыщенных стихов.

Никто из актеров не вышел. Никто мне не ответил. Зрители хохотали. Тогда, позабыв о рыцарских страстях и поединках, я перешел к библейской сказке про тщедушного царя Давида и силача Голиафа, который вызвал его на бой.

Дети обрадовались знакомой пьесе и выбежали играть со мной.

Спектакль был спасен» (III: 286–287).

Вряд ли стоит доказывать, что сюжет о «тщедушном» Давиде и «силаче» Голиафе был актуален для самого Мандельштама («маленьким Давидом» в одном из писем 1937 года поэт назовет и Надежду Яковлевну) (IV: 189). Кроме «Поэзии и правды» источником этого эпизода, вероятно, послужил знаменитый

фильм Чаплина «Пилигрим» (1923), где, в частности, рассказывается о том, как переодетый проповедником бродяжка, плохо знающий библейские тексты, спасается от «провала» во время проповеди, мимикой и жестами изображая перед слушателями битву маленького Давида с великаном Голиафом. О Чаплине Мандельштам с нежностью упоминал в своем воронежском стихотворении 1937 года «Я молю, как жалости и милости…»:

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли.

В апреле и мае 1935 года Мандельштам работал над одним из тех стихотворений, которые должны были торжественно и громогласно объявить городу и миру о новой политической позиции поэта:

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать –
Я рос больным и стал тщедушным.

Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик:
Я – беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.

Два авторитетных исследователя в одном издании предлагают взаимоисключающие трактовки этого восьмистишия. Сначала М.Л. Гаспаров в предисловии к «Полному собранию стихотворений» Мандельштама пишет, что строки «Ты должен мной повелевать, / А я обязан быть послушным» «получают разработку» в просоветских мандельштамовских «Стансах» (май – июнь 1935 года)[810]. Затем А.Г. Мец в комментарии к тому же стихотворению замечает: «По жанру» оно «близко эпиграмме» на Сталина[811].

Ясность в этот заочный неакцентированный спор, как кажется, вносит соотнесение двух финальных строк мандельштамовского стихотворения с тостом И.В. Сталина, прозвучавшим на встрече участников первомайского парада с членами ЦК и правительством Советского Союза в зале Большого дворца в Кремле 2 мая 1935 года. Сталинский тост цитирует в своем «известинском» отчете Николай Бухарин, а Мандельштам в

разбираемом стихотворении к этому тосту отсылает читателя. На встрече в Кремле вождь народов поднял бокал «<з>а всех большевиков: партийных и непартийных. Да. И непартийных. Партийных меньшинство. Непартийных большинство. Но разве среди непартийных нет настоящих большевиков? Большевик – это тот, кто предан до конца делу пролетарской революции. Таких много среди непартийных. Они или не успели вступить в ряды партии. Или они так высоко ценят партию, видят в ней такую святыню, что хотят подготовиться еще и еще к вступлению в партийные ряды. Часто такие люди, такие товарищи, такие бойцы стоят даже выше многих и многих членов партии. Они верны ей до гроба»[812].

Назвавшись «беспартийным большевиком», Мандельштам не просто приложил к себе характеристику, которую дал «непартийным большевикам» Сталин: в первой строфе своего стихотворения поэт адресовался к рабочему классу; цитата из сталинского тоста во второй строфе превращает весь текст в обращение персонально к вождю. Почти не рискуя ошибиться, можно предположить, что восьмистишие «Ты должен мной повелевать…» относится к тем мандельштамовским вещам, о которых он запрашивал Надежду Яковлевну 26 декабря 1935 года: «…Постарайся узнать, как отвечает Союз, т. е. Ц. К. партии, на мои стихи» (IV: 163). «Разрыва с партией большевиков у меня быть не может при любом ответе, при молчании даже, даже при ухудшении ситуации. Никакой обиды. Никакого брюзжания. Партия не нянька и не доктор», – писал Мандельштам ей же 3 января 1936 года (IV: 170).

Тем не менее отражающий особенности мироощущения поэта невнятный перевод на язык поэзии внятного языка советской газеты превращает стихотворение «Ты должен мной повелевать…» и многие другие стихотворения позднего Мандельштама в не вполне однозначные, полные темнот и идеологических оттенков. Как читатель должен понимать такие, например, строки: «*На честь*, на имя *наплевать*», «Так пробуй *выдуманный* метод»… И о каком «недруге» идет речь в предпоследней строке стихотворения?

Использование газетного материала позволяет уловить важные смысловые обертоны еще одного биографического мандельштамовского стихотворения, написанного в мае 1935 года:

Тянули жилы, жили-были,
Не жили, не были нигде.
Бетховен и Воронеж – или

Один или другой – злодей.

На базе мелких отношений
Производили глухоту
Семидесяти стульев тени
На первомайском холоду.

В театре публики лежало
Не больше трех карандашей,
И дирижер, стараясь мало,
Казался чертом средь людей.

Комментируя это стихотворение, А.Г. Мец отмечает, что его «<с>южет связан, возможно, с концертом в “летнем” театре в Первомайском саду в Воронеже»[813]. Действительно, в воронежской «Коммуне» от 28 апреля 1935 года находим следующий анонс: «Первомайский театр. 30 апреля днем, 1 и 2 мая вечером. Концерты симфонич<еского> оркестра Облрадиокомитета под управлением дирижера А.В. Дементьева. В концертах принимают участие: 30 апреля – артист Облрадиокомитета Н.И. Колесник (тенор) и А.И. Цирюльникова (меццо-сопрано). 1 мая – солист ГАБТа СССР Садомов (бас)[814]. 2 мая – скрипач Мирон Полянин (Ленингр<ад>) и солист ГАБТа СССР Садомов (бас). Начало: – днем, в 11 час<ов>, вечер – в 21 час»[815].

Однако у неудачного, судя по мандельштамовскому описанию, провинциального концерта имелся столичный фон, который превращал недостаточное рвение воронежского дирижера Дементьева в уже совсем недопустимое и почти преступное. В «Известиях» как раз от 1 мая 1935 года была напечатана большая статья видного музыковеда И.И. Соллертинского «Бетховен и советская культура», в которой творчество великого композитора определялось как ценнейшее достояние победившего рабочего класса, требующее к себе бережного и трепетного отношения: «Единственным законным наследником величайших культурных ценностей прошлого столетия становится пролетариат. Он сумел отвоевать Бетховена у капиталистического мира, он сумел насытить свои массовые празднества, дни побед великой социалистической стройки ликующими звуками бетховенской музыки. Он сумеет и воспитать композиторов, которые, творчески овладевая лучшими принципами героического искусства Бетховена, создадут своих симфонических Чапаевых»[816]. Важную деталь, подтверждающую

этот тезис Соллертинского, Мандельштам мог найти в первомайском отчете «Правды» за 1935 год: «Без конца и без края льется человеческая река. Как чудесно поют нынче над ней трубы. Оркестры завода им. Сталина, завода им. Кирова, Станкостроя, красной “Трехгорки” пришли сегодня с Бетховеном и Вагнером, с Прокофьевым и Верди»[817].

Остается добавить, что главный дирижер воронежского симфонического оркестра Александр Васильевич Дементьев считался специалистом по Бетховену и в сезоне 1935 года трижды исполнял со своим оркестром 9-ю симфонию композитора. «Бетховена, создавшего непревзойденные образцы драматической музыки, отличающейся необыкновенным богатством и в то же время простотой своих мелодий, Бетховена, воспевшего человеческий разум и героизм, любят народные массы, – со слов Дементьева записал корреспондент “Коммуны” в номере от 20 декабря 1936 года. – Цикл из его произведений, осуществленный на протяжении прошлого сезона, пользовался большим успехом у наших слушателей, и сейчас каждое из его творений неизменно встречает теплый прием»[818].

8 мая 1935 года Надежда Яковлевна вновь уехала в Москву. В конце мая Осип Эмильевич получил наконец трехмесячную прописку и паспорт, отобранный при аресте.

24 мая 1935 года Мандельштам завершил работу над стихотворением «Еще мы жизнью полны в высшей мере…»:

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых, лапчатых материй
Китайчатые платьица и блузы.

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные густеющие прядки.

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые, лиловые чернила.

А.Г. Мец следующим образом откомментировал мандельштамовский текст: «Поводом к ст<ихотворе>нию послужило постановление ЦИК и СНК СССР о привлечении несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, к

уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания, принятое 7 апр<еля> 1935 года. На это и дан намек в словах “высшей мере”» (в советском законодательстве тех лет расстрел квалифицировался как «высшая мера социальной защиты», в обиходе «высшая мера наказания» или просто «высшая мера») [819].

Это, безусловно, верно, но важно еще отметить, что страшный мандельштамовский намек вживлен в праздничные декорации. День 24 мая 1935 года, хотя и пришелся на пятницу, был объявлен всесоюзным выходным, поскольку на него пришлось десятилетие «Комсомольской правды». Выходной ознаменовался массовыми гуляньями, упомянутыми в стихотворении Мандельштама. Процитируем информацию из рубрики «Сегодня, в выходной день» из столичной «Правды» от 24 мая 1935 года: «В парке культуры и отдыха им. Горького – большое гулянье, посвященное 10-летию газеты “Комсомольская правда”»[820] и анонс из рубрики «Завтра – выходной день» из воронежской «Коммуны» от 23 мая 1935 года: «Куда пойти? Сад пионеров и октябрят открыт с 10 час<ов>. Работают читальня, песнетека, игротека и физкультурные площадки. Вечером – большое гулянье. Играет оркестр духовой музыки»[821].

Праздничный контекст, в который мы поставили стихотворение «Еще мы жизнью полны в высшей мере…», позволяет предложить злободневное каламбурное объяснение также и для двух его последних строк («И пишут звездоносно и хвостато / Толковые, лиловые чернила»): в «Правде» от 24 мая 1935 года сообщается, что постановлением Центрального исполнительного комитета Союза ССР от 23 мая «<з>а выдающиеся заслуги в деле улучшения газеты “Комсомольская правда”» ее главный редактор В.М. Бубекин награжден орденом Красной *Звезды*[822].

3 июня Мандельштам написал сразу два стихотворения, навеянные памятью об Ольге Ваксель, – «На мертвых ресницах Исаакий замерз…» и «Возможна ли женщине мертвой хвала…»:

> Возможна ли женщине мертвой хвала?
> Она в отчужденьи и в силе,
> Ее чужелюбая власть привела
> К насильственной жаркой могиле…

Уехавшая с мужем, норвежским дипломатом, в Осло Ольга Александровна покончила с собой в 1932 году («И этот мир мне – страшная тюрьма, / За то, что я испепеленным сердцем, / Когда и как, не ведая сама, / Пошла за ненавистным иноверцем», –

признавалась она в одном из предсмертных стихотворений). О гибели Ваксель Мандельштам узнал давно; воспоминания о ней в душе поэта возродила работа над «Молодостью Гёте». Из «Второй книги» Надежды Яковлевны: «Мы взяли в университетской библиотеке несколько немецких биографий Гёте. Рассматривая портреты женщин, Мандельштам вдруг заметил, что все они чем-то похожи на Ольгу Ваксель»[823].

В июне поэт написал еще одно, короткое стихотворение о запретной любви, содержащее отсылку к Гёте:

> Римских ночей полновесные слитки,
> Юношу Гёте манившее лоно –
> Пусть я в ответе, но не в убытке:
> Есть многодонная жизнь вне закона.

Надежда Яковлевна отмечает, что процитированное стихотворение связано с радиокомпозицией «Молодость Гёте»[824]. М.Л. Гаспаров это наблюдение развивает и конкретизирует: «В мае – июне 1935 г. О<сип> М<андельштам> работает над “Молодостью Гёте”, кончая ее размышлениями о дружбе Гёте с женщинами, о встрече с *Миньоной* (будущей героиней “Вильгельма Майстера” на пути в Италию) и, наконец, итальянским путешествием с любовными элегиями и эпиграммами. Отсюда – сентенциозное “Римских ночей полновесные слитки…”»[825].

На наш взгляд, в двух финальных строках четверостишия Мандельштама трактуется не только любовная тема, но и тема поэта, насильственно выкинутого из советской литературы и тем не менее продолжающего существовать в ней тайно и «многодонно».

Неслучайно в стихотворении возникает и топографическое указание на две страны, попавшие в 1935 году под власть нацистской идеологии: на мандельштамовские впечатления от чтения Гёте, по-видимому, наслоились его ощущения от знакомства с речью Николая Тихонова на Международном конгрессе защиты культуры в Париже.

Текст этой речи был напечатан в «Литературной газете» от 30 июня 1935 года. Сначала Тихонов декларативно заявил, что «<с>оветская поэзия прежде всего принесла в мир новую силу, новые голоса, новые жанры, новые слова»[826]. Потом Тихонов перечислил и кратко охарактеризовал творчество четырех самых видных на его взгляд советских поэтов: «Маяковский! Вот мастер советской оды, сатиры, буффонадного и комедийного стихового театра… Багрицкий! Вот стих пламенный и простой… Сложный

мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания[827], какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических движений… Если мы хотим контраста, возьмем стихи Демьяна Бедного…»[828]. Затем Тихонов неодобрительно высказался о поэтах Запада, в первую очередь о поэтах фашистских Италии и Германии. Заметим, что, как и в разбираемом четверостишии Мандельштама, метонимическими символами этих двух стран послужили в речи Тихонова Рим и Гёте: «Маринетти – поэт “гастрономической архитектуры” – превозносит в стихах искусство есть так, чтобы от удивительных блюд, ценных и причудливых, к итальянцам вернулся дух древнего Рима <…>. Увы, увы! Никакой Гёте не возвышается над серой пеленой казарменного тумана, окутавшего Германию <…>. Нет, Гёте не возвышается над Германией»[829].

О Мандельштаме Тихонов в своей речи, конечно, не вспомнил. Между тем старший поэт как раз летом 1935 года был озабочен составлением собственного перечня советских стихотворцев «не на вчера, не на сегодня, а навсегда»[830]. Вот мандельштамовский вариант списка, так же, как и тихоновский, состоящий из четырех имен: «Сказал фразу: “В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и П. Васильев”» (из письма С.Б. Рудакова к жене от 6 августа 1935 года)[831]. «Пусть меня замалчивают, но я все равно существую в составе советской поэзии», – приблизительно так можно перевести стихотворную мандельштамовскую реплику с поэтического языка на общеупотребительный.

Надежда Яковлевна вернулась из Москвы 14 июня. Рядом с Мандельштамом в ее отсутствие, кроме Рудакова, находился Яков Яковлевич Рогинский – всемирно известный антрополог, командированный в Воронеж Московским университетом. С Яковом Яковлевичем поэт увлеченно беседовал о Ламарке, Дарвине, французском XVIII веке… Из воспоминаний Рогинского: «…Мы сидим на сквере с памятником <поэту Алексею> Кольцову. Мандельштам спрашивает: – Как вы думаете, а будет ли поставлен когда-нибудь памятник мне в Воронеже?»[832]. Этот полуиронический вопрос, травестирующий тему горациевского «Памятника», перекликается с коротким шуточным стихотворением Мандельштама, где очень точно описывается жилье поэта у Вдовина на 2-й Линейной улице:

Это какая улица?
Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Апрель 1935[833]

У другого мандельштамовского приятеля – сосланного в Воронеж московского филолога Павла Калецкого – 19 июня 1935 года умерла жена. Объясняясь позднее с ответственным секретарем Ленинградского отделения ССП по поводу своих частых встреч с опальным Мандельштамом, Калецкий не без вызова писал: «…Он и его жена оказались единственными людьми, которые оказали мне большую и добрую человеческую поддержку во время болезни и при смерти моей жены, в то время как никто из моих воронежских коллег по ССП не счел нужным заинтересоваться моим положением, и за эту поддержку я Мандельштамам глубоко и искренне благодарен»[834].

27 июня 1935 года над Воронежем пронесся страшный ураган, лишивший жизни нескольких человек, причем «<о>собенной силы», согласно информации газеты «Коммуна», «достиг ураган на реке»[835]. Этим же числом датировано мандельштамовское стихотворение, которое, возможно, стало косвенной реакцией поэта на ураган:

Бежит волна – волной волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая,
Кривеет, мечется и роет ров в песке.
А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
А с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты –
И яд разносят хладные скопцы[836].

А выстроить восточные декорации в стихотворении «Бежит

волна – волной волне хребет ломая…» Мандельштама могло спровоцировать прочтение следующего фрагмента из статьи В. Ивинга «Бахчисарайский фонтан», помещенной в «Известиях» от 22 июня 1935 года в составе подборки «Успех ленинградского балета» (о московских гастролях Кировского театра): «<М.> Дудко <в партии Гирея> дает великолепную остро отточенную рыцарственную фигуру хана, представляя его блистательным воителем старого феодального Востока во вкусе вальтер-скоттовского султана Саладина. За острым сарацинским профилем Гирея словно мерещится глубокий золотой фон сказок 1001 ночи, душистые от полыни пески пустынь и *зубцы* крепостных *стен* Акры»[837] (сравним у Мандельштама: «Неначатой стены мерещатся зубцы»).

В течение лета 1935 года Мандельштам для заработка написал несколько рецензий на книги современных поэтов. В начале июля в гостях у Мандельштамов побывали артистки Камерного театра Христина Бояджиева и Наталья Эфрон. Из воспоминаний Христины Бояджиевой: «Осип Эмильевич обрадовался нашему появлению. Ему хочется угостить нас воронежским хлебным квасом. Взяв кувшин, он быстро выходит. Надежда Яковлевна печально рассказывает, что он стал очень нервным, рассеянным, бросает окурки прямо на ватное одеяло. “Вот видите ожоги” <…>. Осип Эмильевич скоро вернулся, угощал квасом и радовался, что он нам понравился. “Хотите, я прочту мое последнее стихотворение?”»[838]. И Мандельштам прочел актрисам о торжественных похоронах недавно погибших советских летчиков, пилотов самолета «Максим Горький»:

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну –
Я хочу, чтобы мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину…

22 июля Мандельштам вместе с женой по заданию газеты «Коммуна» съездил в Воробьевский район Воронежской области для подготовки очерка о совхозах. В декабре 1936 года он вспоминал об этой поездке так:

Я блуждал в полях совхозных –
Полон воздуха был рот
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.

<…>
Трудодень страны знакомой
Я запомнил навсегда,
Воробьевского райкома
Не забуду никогда.

Еще не так давно Мандельштам ужаснулся участи мучеников-крестьян и назвал Сталина «мужикоборцем». Теперь он почувствовал себя помощником и союзником государства, и от этого помощника требовались не гневные разоблачения, а конкретные предложения по улучшению крестьянского быта. В записной книжке Мандельштама появились такие, например, рационализаторские предложения: «Необходимо: 1). Выписывать из Воронежа лекторов на двухнедельные циклы по вопросам: литературе, партистории, интернациональному воспитанию, технике и т. д. <…> 4). Наладить музыкальную самодеятельность (имеется лишь несколько одиночек-баянистов). Выписать на короткое время инструктора по хоровому пению хотя бы через радиокомитет» (III: 429–430).

Сергею Рудакову вернувшийся из поездки Мандельштам рассказывал о своем самоощущении следующим образом: «“21/2 часа чувствовал себя Рябининым (секретарь обкома), который инспектирует область. Они думали, что приехал писатель расшатанный, с провалами, а я им… я им… дал по 12 важных указаний и без числа мелких…” На вопрос мой, каких же, он лукаво смеется и говорит, что не может пересказать, что это было вдохновенье»[839].

Однако спустя буквально несколько дней маятник качнулся в противоположную сторону. Очерк из совхозной жизни у Мандельштама не клеился.

Из письма Рудакова к жене от 2 августа 1935 года: «Он <Мандельштам>: “Я опять стою у этого распутья. Меня не принимает советская действительность. Еще хорошо, что не гонят сейчас. Но делать то, что мне тут дают, – не могу. Я не могу так: “Посмотрел и увидел”. Нельзя, как бык на корову, уставиться и писать. Я всю жизнь с этим боролся. Я не могу описывать, описывать Господь Бог может или судебный пристав. Я не писатель. Я не могу так. Зачем это ездить в Воробьевку, чтобы описывать <…>. Я *трижды наблудил*: написал подхалимские стихи (это о летчиках <те самые, что читались Эфрон и Бояджиевой>), которые бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому. “Ах! Ах!” – и только; написал рецензии – под давлением и на нелепые темы, и написал (это о

вариантной рецензии) очерк. Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортЮнистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало большой пустоты”»[840].

Осип Эмильевич оказался прав – стихи вернулись к нему только в начале декабря 1936 года.

3

10 октября 1935 года по рекомендации местного отделения Союза советских писателей Мандельштам был назначен на должность заведующего литературной частью в воронежский Большой советский театр. Появилась перспектива стабильного заработка. «Это был очень тихий и скромный человек, молча он смотрел спектакли и репетиции, – вспоминал актер театра П. Вишняков. – Наверняка у него было свое мнение о спектаклях, и, возможно, он высказывал его директору театра Вольфу или главрежу Энгель-Крону, но никогда труппе. Также никогда не читал он и своих стихов нам, актерам <…>. В своем темном костюмчике со своими неведомыми нам мыслями Мандельштам был для нас несколько загадочным <…>. Казалось, он боялся расплескать свой внутренний мир»[841].

О том, какие мысли о местном театре «очень тихий» Мандельштам таил от его актеров, дает неплохое представление отрывок из небольшой мандельштамовской заметки, посвященной анализу воронежского «Вишневого сада». Скорее всего, эта заметка была написана еще до поступления поэта в театр на штатную работу: «Я испугался певицы, игравшей в пьесе главную барыню, и поболтал о том о сем с актером, исполнявшим роль конторщика Епиходова. В нем нельзя было не узнать философа, ищущего места по объявлению в “Петербургском листке”. В то время как другие актеры всей осанкой своей говорили: “Не мне, а имени моему”, – <в то время, как все они двигались, как недостойные иереи,> словно ожидая, что кто-нибудь назовет их “ваше правдоподобие” и чмокнет в ручку, – один Епиходов знал свое место» (III: 415).

Среди черновых бумаг к радиокомпозиции «Молодость Гёте» сохранились также размышления Мандельштама о шекспировской трагедии «Отелло», которые были спровоцированы в первую очередь работой поэта над исправлением для воронежского Большого советского театра и сведением в единый текст двух переводов «Отелло», выполненных

А.Л. Соколовским и А.Д. Радловой: «Отелло никогда никого не убил. В сцене скандала, сколько бы он ни грозил, никто не верит, что он кого-нибудь проткнет шпагой. Он скорее может вылечить рану, быть хирургом, чем убить. Недаром его последние слова – про турка. Это нечто такое, что можно изрыгнуть, только заколов потом самого себя.

Дездемона (Войлошникова) – идеал средневековой женщины, жены. Этот идеал никогда не обрабатывался в литературе. Но он в ней присутствовал. Жена по образу какого-то средневекового Домостроя, лишенного восточной жестокости. Дошекспировский идеал. В шекспир<овское> время женщина уже изменяется под влиянием напора буржуазии. В<ойлошникова> инстинктивно вернула Дездемону средневековью, и в этом ее сила» (III: 417–418).

Своеобразным комментарием к этим рассуждениям Мандельштама может послужить рецензия на постановку «Отелло» воронежским драмтеатром, написанная Н. Садковым: «Принципиальным является вопрос о переводе, по которому ставится то или иное классическое произведение на нашей сцене. Перевод “Отелло”, сделанный А. Радловой, значительно отличается от прежних переводов, у него много преимуществ перед ними: он не так декламационен, он ближе к разговорному языку, хотя и не утрачивает поэтического звучания стройности стихотворной речи <…>. В.А. Поляков играет Отелло с большим подъемом. Артист увлечен своей новой ролью, в отдельных местах ее он достигает настоящего трагического пафоса. Вот эта продуманность в игре, верный показ перехода от одних чувств к другим, от детской доверчивости до отчаяния и зверского безумия есть у Полякова. Перед нами человек, пораженный страданием. И гнев, и злоба, и мгновенная вспышка доверчивости к той, которая так “обманула”, – все это правдивые человеческие чувства <…>. Роль Дездемоны не удалась ни <А.> Войлошниковой, ни Мариуц. Лучше все же играет Войлошникова. Она находит порой те подкупающие интонации, которыми пленяет Дездемона, но найдя их, она тотчас же сбивается на совершенно иной лад <…>. Юная Дездемона превращается у Войлошниковой в зрелую женщину, играющую в инфантильность <…>. Много труда в спектакль внесли худ. Стернин и музыкальный руководитель Каминский. Если бы иногда декорации Стернина не были слишком помпезными и громоздкими (пятый акт), декоративное и вещественное оформление спектакля можно было бы назвать целиком удавшимся, но художник, к сожалению, кое-где излишне подзолотил»[842].

В театре Мандельштам прижился неплохо. «Числился он заведующим литературной частью, но не имел ни малейшего понятия о том, что нужно делать. В сущности, он просто болтал с актерами, и они его любили»[843]. 17 декабря 1935 года Осип Эмильевич писал угодившему в больницу Рудакову: «Что сказать о себе? Устал очень. Настроение твердое, хорошее. Сдружился с театром. Кое-что там делаю (не канцелярия)» (IV: 162). 18 декабря Осип Эмильевич получил трехгодичный паспорт. В этот же день он уехал отдыхать в тамбовский санаторий. Из письма Мандельштама к жене в Москву (где она находилась с 15 декабря 1935 года по 15 января 1936 года): «Слушай, как я сюда <в Тамбов> ехал: ты на вокзал, я – в театр. Сказал дельную “режиссерскую речь”. Актеры ко мне начали тяготеть. Режиссеры всерьез у меня спрашивали. 2–3 дня держался на посту. Потом расклеился. Произошел обычный старинный “столбняк” на улице <…>. Дальше я бродил тенью, но вполне благополучно. Дал консультацию в Радиоком<итете> <…>. За полчаса до поезда ко мне приехала машина с заместителем директора <театра> и управляющим. Машину они взяли в Н.К.В.Д., и шофер был военный <…>. Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильные синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляют глубокое наслажденье. Очень настоящие места. До центра – 10 м<инут> автобусиком. Каланчи, одичавшие монастыри, толстые женщины с усами» (IV: 163). О самом санатории в новогоднем письме к жене от 1 января 1936 года Мандельштам высказался гораздо мрачнее: «Какой-то штрафной батальон» (IV: 168).

В свою очередь Надежда Яковлевна в письмах к мужу отчитывалась о встречах с их общими московскими друзьями и знакомыми, в частности с Пастернаком: «Вчера встретила Бориса Леонидо<вича>. Он из виноватости не выходит. Да как вы, да что вы? Да не сердитесь ли вы с Осей на меня? Да способны ли вы меня простить? Эти ламентации меня забавляют»[844].

5 января 1936 года Мандельштам раньше срока вернулся в Воронеж. Здесь его ждали новые неприятности: в отсутствие жильцов хозяева квартиры Пановы заняли их комнату. «Он очень слаб, еле ходит. Затем нервы. Ночует по писателям»[845]. В середине января Панов, которого, по-видимому, припугнули в местном НКВД, сам пришел в правление Союза писателей с извинениями и пригласил Осипа Эмильевича и Надежду Яковлевну возвратиться. Мандельштам ответил согласием.

5 февраля 1936 года в Воронеж к Мандельштамам приехала долгожданная гостья – Анна Андреевна Ахматова (еще 12 июля 1935 года она писала Мандельштаму: «На днях лягу в больницу

на исследование. Если все кончится благополучно – непременно побываю у Вас»)[846]. На вокзале Ахматову встречали Надежда Яковлевна и Сергей Рудаков. Из письма Рудакова к жене: «Анна Андреевна – в старом, старом пальто и сама старая. Вид кошмарный. Сажу их на извозчика, сам трамваем. Вхожу: она еще не разделась. О<сип> полупомешался от переживаний.

Она снимает шляпу и преображается <…>. Когда она оживлена, лицо прекрасно и лишено возраста»[847].

Уже через шесть дней, 11 февраля Ахматова уехала в Москву. «У О<сипа> так пусто стало, просто до слез, – жаловался Рудаков жене. – <…> Н<адин> – с похоронно-воспоминательными репликами. Мы с О<сипом> в разных углах комнаты – почему-то злые друг на друга (ревность!?)»[848]. Памяткой о пребывании Ахматовой у Мандельштамов стало ее стихотворение «Воронеж», которое завершается такой долгое время не печатавшейся строфой:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

13 марта 1936 года Мандельштамы перебрались на новую квартиру – со всеми удобствами, в центре Воронежа. Сюда на майские праздники к ним приехала Эмма Григорьевна Герштейн: «На второй день Осип Эмильевич почувствовал себя плохо. Я была с ним у дежурного врача в поликлинике обкома <…>. Осип Эмильевич был в сильном беспокойстве. Он рвался… куда-нибудь…»[849].

Здоровье поэта все ухудшалось. 27 мая консилиум врачей в поликлинике № 1 признал Мандельштама нетрудоспособным и направил его в комиссию по инвалидности для определения степени потери трудоспособности. 18 июня поэта осмотрел врач-кардиолог, сообщивший, что «сердце 75-лет<него>, но жить еще можно» (свидетельство С. Рудакова)[850]. В этот же день Мандельштамы и Рудаков слушали по радио передачу о смерти Горького. «Для него Горький (как вообще настоящий писатель) вне вопроса о том, “хорошо ли” писал, – отмечал Рудаков, – Горький – это Горький»[851]. Тем не менее о Чехове и Бунине Осип Эмильевич всегда высказывался негативно, как и Ахматова.

В середине июня Мандельштаму было прислано сообщение об увольнении его из театра с 1 августа (скоро в работе поэту отказал и Радиокомитет). 20 июня Осип Эмильевич вместе с Надеждой Яковлевной отправился отдыхать в Задонск, на дачу.

Оплатить отдых Мандельштамы смогли благодаря материальной поддержке Ахматовой, Пастернака и Евгения Хазина. Беллетрист Юрий Слезкин, также проводивший лето в Задонске, внес в свой дневник запись о встрече с Мандельштамом: «Он совсем седой, страдает сердцем, выслан в Воронеж и решил провести лето в Задонске. Я повел его смотреть комнаты. Но он ходить не может – боится припадка, не отпускает от себя ни на шаг жену, говорит сбивчиво»[852]. В начале июля 1936 года проститься к Мандельштамам в Задонск приезжал Сергей Рудаков. «Прощанье более чем трогательное»[853], – писал он.

Осенью 1936 года по стране прокатилась новая волна репрессий. Ее вибрации немедленно дали о себе знать и в провинциальном Воронеже. «С осени <19>36 года мое положение в Воронеже резко изменилось в худшую сторону, – жаловался Мандельштам неизвестному нам адресату. – Вот точная характеристика этого положения: независимо от того, здоров я или болен, *никакой, абсолютно никакой работы* в Воронеже получить я не могу. В равной мере никакой, абсолютно никакой работы в Воронеже не может получить и моя жена, проживающая вместе со мной» (IV: 179).

11 сентября на собрании воронежских писателей, посвященном вопросам борьбы с классовыми врагами на литературном фронте, имя Мандельштама поминалось не однажды. Из покаянных мемуаров Ольги Кретовой: «Состоялось позорное собрание, где мы, “братья-писатели”, отлучали, отторгали Мандельштама от литературы, отмежевывались от него и иже с ним, подвергали остракизму. Одни делали это убежденно, со всею страстью своего темперамента, другие – через горечь и боль.

Мандельштам осунулся, стал сплошным комком нервов, страдал одышкой.

Жена, Надежда Яковлевна, приходила с заявлениями о материальной помощи. Я, заместитель секретаря Союза писателей, накладывала резолюции: “Отказать”, “Воздержаться”»[854].

В начале сентября в гости к Мандельштамам впервые пришла Наталья Евгеньевна Штемпель (1910–1988).

4

В своих воспоминаниях о Наталье Штемпель Марина Ярцева так описывала внешность своей подруги: «…Бело-розовое личико, русалочьи зеленоватые глаза и на правой щечке ямочка, придававшая особую прелесть ее улыбке»[855]. Отличительной особенностью облика Натальи Евгеньевны была хромота, придававшая особый ритм ее походке. Наталья Штемпель работала преподавательницей русского языка и литературы в одном из воронежских техникумов.

Из воспоминаний Натальи Евгеньевны о первом посещении Мандельштамов: «Надежда Яковлевна встретила меня несколько удивленно – очевидно, к посетителям Мандельштамы не привыкли – и ввела в комнату. Осип Эмильевич стоял посреди комнаты и с любопытством смотрел на меня. Очень смущаясь, я пролепетала что-то невнятное о Сергее Борисовиче. “Ах, вот кого он прятал!” – лукаво и весело воскликнул Мандельштам. <Уезжая из Воронежа, ревнивый Рудаков взял с Натальи Евгеньевны честное слово, что она не придет к Мандельштамам.> И сразу стало легко и непринужденно <…>. Осип Эмильевич спросил меня, знаю ли я наизусть какие-нибудь его стихи. Я ответила утвердительно. “Прочитайте, пожалуйста, я так давно не слышал своих стихов”, – сказал он с грустью и сразу стал серьезным. Не знаю почему, я прочитала из “Камня”: “Я потеряла нежную камею, не знаю где, на берегу Невы…”. Боже мой, что началось. Осип Эмильевич негодовал. Он весь был воплощение гнева. Меня поразила такая бурная реакция, такая неожиданная перемена настроения. Я растерялась. Единственное, что мне запомнилось из этого крика: “Вы прочитали самое плохое мое стихотворение!” Сквозь слезы я сказала в свое оправдание: “Не виновата же я, что вы его написали”. Это как-то сразу его успокоило, мне даже показалось, что он пожалел о своей вспышке. Тут вмешалась Надежда Яковлевна и сказала: “Ося, не смей обижать Наташу”»[856].

Наталья Штемпель полюбила Мандельштамов самозабвенно и на всю жизнь. «Мы (Надежда Яковлевна и я) были захвачены в орбиту внутренней напряженной жизни Осипа Эмильевича и жили им, его стихами, – вспоминала она. – Новые стихи были праздником, победой, радостью»[857]. И произошло это в то время, когда Мандельштам как никогда остро нуждался в душевной поддержке, когда «все было обрублено – ни людей, ни связей, ни работы» (из воспоминаний Натальи Евгеньевны)[858]. Дело

доходило до того, что свои стихи поэт порывался читать уже совсем неожиданным слушателям. «Осип Эмильевич написал новые стихи, – свидетельствовала Наталья Евгеньевна, – состояние у него было возбужденное. Он кинулся через дорогу от дома к городскому автомату, набрал какой-то номер и начал читать стихи, затем кому-то гневно закричал: “Нет, слушайте, мне больше некому читать!” Я стояла рядом, ничего не понимая. Оказывается, он читал следователю НКВД, к которому был прикреплен»[859].

«Наташа владеет искусством дружбы», – считал Мандельштам[860]. О его собственном отношении к Наталье Штемпель красноречиво свидетельствуют посвященные ей стихи, а в еще большей степени – обстоятельства чтения этих стихов самой Наташе.

«Осип Эмильевич сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки. Я села на кушетку. Он был серьезен и сосредоточен. “Я написал вчера стихи”, – сказал он. И прочитал их. Я молчала. “Что это?” Я не поняла вопроса и продолжала молчать. “Это любовная лирика, – ответил он за меня. – Это лучшее, что я написал”. И протянул мне листок.

1.

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

2.

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,

А послезавтра – только очертанье…
Что было – поступь – станет недоступно…
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И все, что будет, – только обещанье.

4 мая 1937

<…> Осип Эмильевич продолжал: “Надюша знает, что я написал эти стихи, но ей я читать их не буду. Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом”. И после небольшой паузы добавил: “Поцелуйте меня”. Я подошла к нему и прикоснулась губами к его лбу – он сидел как изваяние. Почему-то было очень грустно»[861].

Знакомство Мандельштама с Наташей Штемпель началось с прочтения худшего, на взгляд самого поэта, любовного мандельштамовского стихотворения. Высшей точкой этого знакомства стало создание лучших, по собственному признанию поэта, образцов любовной лирики Мандельштама.

5

В конце октября – начале ноября 1936 года Мандельштамы переехали на последнюю свою воронежскую квартиру. Работы не было. Денег не было. Никаких перспектив на улучшение обстоятельств воронежской жизни не было.

Сколько можно судить по сохранившимся мандельштамовским письмам зимы 1936 – весны 1937 годов, поэт весь, без остатка, отдался чувству лихорадочного и бескомпромиссного отчаяния. Он не желал больше различать оттенков и полутонов – пропадать, так с музыкой; выглядеть нищим – так на все сто. «Сегодня утром мы с мамой <Надежды Яковлевны – Верой Яковлевной, приехавшей в Воронеж на время ее очередной отлучки в Москву> пошли искать туфли <…>, – 2 мая 1937 писал Мандельштам жене. – Я купил страшные синие – 25 р. К ним я хотел купить зеленые носки (при коричневых брюках), но мама не позволила» (IV: 194). А вот описание внешности Мандельштама из мемуаров А. Русановой, почти случайно на минутку зашедшей к Осипу Эмильевичу и Надежде Яковлевне зимой 1937 года: «Я открыла дверь и увидела немного сгорбленного, уже немолодого – не поражающего красотой мужчину, одетого скорее небрежно, чем неряшливо, с неправильно застегнутыми пуговицами пиджака, в свитере и в шлепанцах. Он смотрел настороженно и тревожно, был суетлив,

напуган»[862].

Письма поэта последнего периода воронежской ссылки удивительным образом сочетают в себе нешуточный вызов с почти детскими мольбами о помощи.

«…Я сообщаю: я тяжело болен, заброшен всеми и нищ. На днях я еще раз сообщу об этом в наше НКВД и сообщу, если понадобится, правительству. Здесь, в Воронеже, я живу как в лесу. Что люди, что деревья – толк один. Я буквально физически погибаю» (из новогоднего письма к Н.С. Тихонову от 31 декабря 1936 года) (IV: 174). «Узнай следующее: в конечном счете мне предложено жить на средства родных (?) или убраться в любую больницу, откуда меня вышвырнут в дом инвалидов (к бродягам и паралитикам)» (из письма от 8 января 1937 года к брату Евгению, не прислявшему денег) (IV: 175). «…Ты ведешь себя как скверный мальчишка, надеющийся избежать ответственности» (из письма ему же) (IV: 176).

«Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе.

Не ответить мне – легко.

Обосновать воздержание от письма или записки – невозможно» (из письма к Ю.Н. Тынянову от 21 января 1937 года) (IV: 177).

«Вы знаете, что я совсем болен, что жена напрасно искала работы. *Не только не могу лечиться, но жить не могу: не на что. Я прошу вас, хотя мы с вами совсем не близки*» (из письма к К.И. Чуковскому от 9 (?) февраля 1937 года) (IV: 180).

«Жить не на что. Даже простых знакомых в Воронеже у меня почти нет. Абсолютная нужда толкает на обращение к незнакомым, что совершенно недопустимо и бесполезно» (из мартовского письма к Н.С. Тихонову) (IV: 181).

«…Человек, прошедший через тягчайший психоз (точнее, изнурительное и острое сумасшествие), – сразу же после этой болезни, после покушений на самоубийство, физически искалеченный, – стал на работу. Я сказал: правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл. Хорошо. Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали. Создали нравственную пытку. Я все-таки работал. Отказался от самолюбия. Считал чудом, что меня допускают работать. Считал чудом всю нашу жизнь. Через 1 1/2 года я стал инвалидом. К тому времени у меня безо всякой новой вины отняли всё: право на жизнь, на труд, на лечение. Я поставлен в положение собаки, пса» (из письма к К.И. Чуковскому от 17 апреля 1937 года) (IV: 185).

«Повторяю: никто из вас не знает, что делается со мной» (из письма к Н.С. Тихонову от 17 (?) апреля 1937 года) (IV: 186).

«<Брату> Шуре скажи: то, что он *не* ответил на мое письмо – непоправимо, – может больше не тревожиться. Обязательно точно передай» (из письма к жене от 22 апреля 1937 года) (IV: 187).

Таков был психологический фон, на котором, начиная с 6 декабря 1936 года, создавались едва ли не самые совершенные мандельштамовские стихи воронежского периода. Очень высоко оценил эти стихи Борис Пастернак в письме к Мандельштаму, переданном весной 1937 года: «Я рад за вас и страшно Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно матерьялизована в словаре и метафорике и редкой чистоты и благородства <…>. Спасибо за письмо»[863]. Пастернак благодарит Мандельштама за новогоднее поздравление, отправленное 2 января. «Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, – писал Пастернаку Мандельштам, – рвалась дальше к миру, к народу, к детям… Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за всё и за то, что это “всё” – еще не “всё”» (IV: 174).

В уже цитировавшемся нами письме Сергея Рудакова к жене от 24 мая 1935 года приводится следующая его развернутая реплика, обращенная к поэту: «…Кончен цикл *открытых* политических стихов. Теперь вы – вольноотпущенник и не должны, а вольны. Последние вещи живут отдельно, а это сейчас самое главное» [864]. Далее, может быть, не без хвастовства, описана реакция Мандельштама на рудаковские слова: «Он счастлив, поняв это»[865].

Действительно, почти все вещи Мандельштама, писавшиеся в декабре 1936 года, то есть в начале его второго воронежского периода, в отличие от большинства мандельштамовских стихотворений 1935 года, «живут отдельно» от политической злободневности, *вне* газетного контекста (при этом, если судить хотя бы по уже цитировавшемуся письму Мандельштама к Николаю Тихонову от 31 декабря 1936 года, поэт отнюдь не утратил интереса к текущим политическим событиям: «Вам, делегату VIII съезда (я слышал по радио Ваше прекрасное мужественное приветствие съезду), я сообщаю…» и так далее (IV: 174)).

Конечно, мы можем предположить, что, например, в финальных строках одного из вариантов стихотворения Мандельштама «Ночь. Дорога. Сон первичный…», находившегося в работе с 23 по 27 декабря 1936 года, отразились газетные сообщения о смерти Николая Островского[866], в чьем романе «Как закалялась сталь», как и в мандельштамовском

стихотворении, описана:

В гуще воздуха степного
Перекличка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков[867].

А ритмический рисунок и образность этого и еще целого ряда стихотворений декабря 1936 года, возможно, были подсказаны Мандельштаму тем отрывком из поэмы Аделины Адалис «Киров», который был напечатан на первой странице «Литературной газеты» 30 апреля 1935 года[868].

Сравним:

Напишу я, братья, книгу
Про колхозную зарю, –
Ленинградскому обкому
В красной папке подарю!

А. Адалис

Трудодень страны знакомой
Я запомнил навсегда:
Воробьевского райкома
Не забуду никогда!

О. Мандельштам

Однако газетные подтексты и злободневный фон оказываются для процитированного и других стихотворений Мандельштама декабря 1936 года периферийными, то есть лишенными решающей объяснительной силы.

Это справедливо уже в отношении начального стихотворения второго воронежского периода, датированного 6–9 декабря 1936 года[869]:

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов –
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов.

Гуди, старик, дыши сладко́,
Как новгородский гость Садко

Под синим морем глубоко, –
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов[870].

Газетный фон у приведенного мандельштамовского стихотворения такой: 5 декабря 1936 года на том самом чрезвычайном VIII съезде Советов, о котором Мандельштам упоминал в письме к Н. Тихонову, был утвержден текст новой Конституции Советского Союза. 6 декабря вся страна с воодушевлением отмечала это событие, о чем красноречиво свидетельствуют заголовки газетных подборок: «Великий день народного ликования»[871], «Всенародное ликование»[872], «Великий день. 90 000 трудящихся на улицах Воронежа»[873] и многие другие.

Первостепенно важная роль в ритуале принятия и празднования сталинской Конституции была отведена звуковой составляющей, что подметил, в частности, Всеволод Вишневский в своем экспрессивном «правдинском» репортаже «Чудесное расположение духа»: «Из тумана, сквозь туман – со всех сторон шли звуковые и возбуждающие нервные волны и токи»[874]. В этой звуковой составляющей были отчетливо различимы и заводские гудки – символ пролетарского приветствия новой Конституции. Приведем здесь только два примера, выбранные почти наудачу из воронежской «Коммуны»: «Заводской гудок. Рабочие, стахановцы, инженеры и техники 2-го механического цеха воронежского завода им. Сталина спешат на митинг, посвященный докладу товарища Сталина» о проекте новой Конституции[875]; «Гудок возвестил об окончании работы. Ворота цехов Острожского завода им. Тельмана распахнулись, и сотни людей – рабочие, работницы, инженеры, техники, конторщицы, пробираясь между пахнущих свежей краской вагонов, вереницей потянулись к клубу, потоком влились в его просторный и нарядный зал»[876].

В намеченный ряд без натяжки встраивается финал мандельштамовского стихотворения («Гуди протяжно в глубь веков, / Гудок советских городов»)[877], а также синтаксически и фонетически объединенная пара («заводов и садов») из его четвертой строки: отработавшие «за власть ночных трудов» стахановцы – в садах, парках и в заводских цехах радостно отмечают всенародный праздник[878].

10 декабря 1936 года, на исходе конституционных торжеств, московский Большой театр показал оперу Н.А. Римского-Корсакова «Садко»[879].

Подсвеченное всеми этими газетными подтекстами,

стихотворение Мандельштама может быть прочитано как звуковой привет новой Конституции из глубины былинной, оперной русской древности.

Тем не менее нужно признать, что злободневная газетная тема в стихотворении «Из-за домов, из-за лесов…» затушевана. Не знай мы о том, что Мандельштам работал над ним 6–9 декабря 1936 года, приурочить стихотворение ко дню принятия сталинской Конституции было бы весьма затруднительно. Еще труднее с помощью отсылок к газетному материалу прояснить остальные мандельштамовские стихотворения декабря 1936 года – января 1937 года.

Интенсивное возвращение «газетной», «гражданской» образности в стихи Мандельштама пришлось на вторую половину января – первые числа февраля 1937 года. И связано это было с работой поэта над большим благодарственным стихотворением о Сталине «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…», в домашнем обиходе получившем заглавие «Ода».

К 1937 году в советской поэзии уже успел сложиться определенный, хотя и негласный канон, с которым сверялся любой автор, бравшийся за стихотворение или поэму о Сталине. Можно даже сказать, что все стихотворные строки о вожде этого времени в совокупности развертываются в удивительно цельный, внутренне непротиворечивый текст. Сталин предстает в нем *богочеловеком*: дозированное перечисление реальных (и/или считавшихся в 1937 году реальными) обстоятельств биографии «кремлевского горца» соседствует в интересующем нас коллективном тексте с воспеванием сталинских сверхъестественных дарований и свойств.

Ключевыми событиями биографии отца народов советские предвоенные поэты, судя по их стихам, считали:

– *детство на Кавказе*: «Для веселых птенцов, / Для растущих бойцов / Наша песня о горном орле! / Это было в далеком грузинском селе, / Там, где крепость стоит на скале… / Невелик городок, / Веет с гор холодок, / Тополя разместились в рядок; / Луг блестит от росы, / И во время грозы / Листья падают в горный поток… / Эту землю порой / Бьет подземный прибой – / Вулканической силы раскат… / Но земля, чтоб не сдать, / Расцветает опять, / Наливает огнем виноград! / Там домишко стоит, / Неказистый на вид, / Где семья трудовая жила. / Этот каменный кров / Был и прост и суров, / Как должно быть гнездо у орла. / Там ты – маленький – рос, / Задал первый вопрос, / Там ты первую книжку открыл, – / И над всею землей / Свежий ветер шумит / От твоих развернувшихся крыл!» (А. Адалис)[880]; «Любо помнить: Сталин… Он с Кавказа… / И тихонько петь аульный

стих» (Я. Городской)[881]; «Припоминая отрочества годы, / хотел понять я, как в такой глуши / образовался действием природы / первоначальный строй его души, – / как он смотрел в небес огромный купол, / как гладил буйвола, как свой твердил урок, / как в тайниках души своей баюкал / то, что еще и высказать не мог» (Н. Заболоцкий)[882].

– *аресты, тюрьмы и ссылки*: «Метелью Сибирь заровняла / Дороги пройденные им» (В. Гаприндашвили)[883]; «И сколько, сколько раз бежал ты из неволи» (И. Гачечиладзе)[884]; «Злая Сибирь им исхожена» (Грузинская народная песня)[885].

– *клятву над телом Ленина*: «Тобою говорит трудящийся народ, / Громовый голос ты земли освобожденной, / И потрясет столетий ровный ход / Сталь клятвы Сталина, борьбою закаленной» (Ш. Абхаидзе)[886]; «В день смерти Ленина сердца, на миг остановясь, / Рванулись к солнцу твоему, к железной клятве той» (Н. Зарьян)[887]; «Такую же стальную, как и сам ты, / Ты клятву дал у ленинского гроба, / Не нарушил ты ее и не нарушишь, / Пускай врага задушит яда злоба» (С. Шаншиашвили)[888].

– *создание конституции СССР, принятой VIII внеочередным съездом Советов 5 декабря 1936 года*: «Движимая Сталинским законом, / Сильная, веселая страна» (Н. Асеев)[889]; «И до самой глубокой вечности / будет миру всему знаком – / подымающий человечество / ясный Сталинский наш закон!» (С. Кирсанов)[890]; «Он дал для народов / Высокий Закон, / Сроднил их великою / Дружбою он» (Я. Купала)[891].

Функцию едва ли не главного атрибута Сталина-человека долгое время выполняла в стихах советских поэтов *солдатская шинель*. К 1937 году этот образ накопил целый набор значений. Вот некоторые из них: Сталин прост – он заботится обо всех советских людях – он гениальный военачальник – он готовит нас к войне: «Спокойный человек в простой шинели» (А. Адалис)[892]; «Стоит человек в звездоносном Кремле, / Стоит он в походной военной шинели» (М. Бажан)[893]; «Ты наш стяг, ведешь нас в битву, / шелестят шинели крылья» (Грузинская народная песня)[894]; «Не забыть вовеки, как Иосиф Сталин / Собственной шинелью укрывал бойца» (О. Колычев)[895]; «Вышел в сиянии новых лучей. / Гений в шинели простой» (Г. Леонидзе)[896]; «Человек выходит из Кремля / В памятной шинели боевой» (А. Решетов)[897]; «Свинцовые тучи висели / В тяжелом дыму и огне. / В широкой военной шинели / Он шел по гремящей стране» (Е. Рывина)[898]; «Тогда я вижу, как подходит он, / В шинели серой и в варяжском шлеме, / В красноармейских старых сапогах…» (В. Саянов)[899].

Весьма характерно, впрочем, что в верноподданническом стихотворении Паоло Яшвили солдатская шинель Сталина прямо на глазах читателя затвердевает, преображается из суконной в бронзовую, а сам он, таким образом, превращается в памятник самому себе – в бронзовое божество:

> Открылся Кремль, и ты в шинели серой.
> Массивность бронзы обрело сукно[900].

Явными признаками божества Сталин наделен почти во всех советских стихотворениях, опубликованных в книгах и сборниках 1937 года.

Он из Кремля видит все, что происходит в окружающем мире – и в настоящем, и в прошлом, и в будущем; и днем и ночью (поэтому Сталин никогда не спит): «Махни мне веткой на разлуку / Увешанный плодами сад! / За нашу дружбу, в знак наград, / Положь мне яблоко на руку. / Я отвезу его туда, / В столицу красную далеко, / Где Сталин бодрствует всегда / И озирает мир широко. / И на тебе его следы. / Так созревай скорее к сроку. / Пусть видятся твои сады / Его недремлющему оку» (В. Аврущенко)[901]; «Цветенье жизни радостно и пестро, / Над ним простерт воздушно-синий зонт, / Но опытен наш вождь и смотрит остро, / Обозревая горизонт» (Демьян Бедный)[902]; «Словно с башни все ты видишь: / с мира дымка сна сползает. / Ум твой глубже телескопов / Вдаль столетий проникает» (А. Машашвили)[903].

Взгляд Сталина проникает сквозь все преграды, его глаза светятся целебной лаской и прозревают будущее: «Утро! Утро заревое, / Шелк твоих златых лучей / Так не светит всем на свете, / Как лучи его очей, / Столь любимых, столь хранимых, / Столь нигде не повторимых, / Полных сил, огня и ласк / Сталинских премудрых глаз» (В. Каменский)[904]; «На века дорогу видишь / Ты орлиными глазами» (А. Машашвили)[905]; «Видишь ты зори сквозь сумрак! Упорный / Взор достигает озерного дна» (С. Чиковани)[906].

Голос Сталина творит чудеса: «И ныне ты в Кремле. С неутолимой страстью / Набатом голос твой таранит небеса» (Д. Гачечиладзе)[907]; «Голос твой звучит спасеньем / или громом оглушает» (А. Машашвили)[908].

Улыбка Сталина вселяет в людей бодрость: «Одною своею улыбкой / Без меры он радует нас» (В. Гаприндашвили)[909]; «Озарен твоей улыбкой / лик великого народа!» (А. Машашвили)[910]; «Это Сталин, мудрый, несравненный, / Вождь и друг с улыбкою отца» (С. Родионов)[911].

Рука Сталина заботлива и наделена сверхчеловеческой силой: «А у руля рука верна / Твоя, великий Сталин!» (А. Будаев) [912]; «Тебя привел к невиданным победам, / Наш большевистский вождь рукой стальной» (А. Ерикеев)[913]; «И план, начертанный рукою исполина, / перед народами открыт» (Н. Заболоцкий)[914].

Само имя вождя сакрально – оно материально как сталь, без промаха разит врага (как стрела со стальным наконечником) и поддерживает угнетаемый пролетариат во всех уголках земного шара: «Мы имя твое понесем на устах. / Звенит оно, как литье, / Добытое в нежных людских сердцах – / Сталин, имя твое!» (С. Васильев)[915]; «Сто народов имя славят. / Жизнь берет его красу. / Поезда бегут на Славянск – / Имя Сталина несут» (С. Гордеев) [916]; «Как знамя, подымаем мы высоко / Стальное имя нашего вождя» (А. Ерикеев)[917].

Сталин вмещает в себя образы всех советских людей: «Как имя мильонов звучит это имя» (М. Бажан)[918]; «Соединились в этом человеке / Все высшие дерзания людей» (А. Ерикеев)[919]; «Когда б сердца мильонов слить в одно, / Твое родное сердце было б, Сталин!» (В. Сосюра)[920]; «Сталина сердце огромно, как мир» (И. Шаповалов)[921]. Верно и обратное – в каждом из советских людей есть частичка вождя, а все они вместе, как мозаика, складываются в образ коллективного Сталина: «Сталина я вижу в глубине Полесья, / Сталина в крестьянской хате я встречал, / Сталина в народной услыхал я песне, / Сталина в дороге сердцем отыскал» (А. Александрович)[922]; «Знаком этот образ, вошедший в века, / Несомый в людском величавом потоке» (М. Бажан)[923].

Отсюда уже совсем недалеко до утверждения: Сталин растворен во всем – весь мир, вся природа есть отражение тех или иных его черт и свойств: «В каждой завязи, в каждом стебле / Имя Сталина мы прочли» (Г. Леонидзе)[924]; «Человек, проснувшись, взглянет в синеву / И увидит образ твой любимый» (И. Мосашвили)[925].

Разнообразные уподобления Сталина явлениям природы – очень часто встречающийся в стихотворениях советских поэтов 1930-х годов прием: «Он, как ветер с далеких широт» (Д. Алтаузен)[926]; «С ним дружат и Лена и Волга» (В. Гаприндашвили)[927]; «Того великого, простого человека, / Чье имя, как гроза во всей вселенной, / Дыханье жизни спертой очищает / И радость будит в сердце подневольном» (Д. Гофштейн)[928].

Впрочем, в большинстве стихотворений Сталин предстает не столько явлением, сколько повелителем природы, управляющим ею по своему божественному усмотрению: «Пред тобою тают /

Ледяные горы / И молчит прибой» (Я. Колас)[929]; «Покорны тебе гора и река, / Сильней ты всех рек и гор» (Г. Леонидзе)[930]; «Воздухом синим, течением рек / Помощь пришлет тебе тот человек!» (С. Михалков)[931].

Неудивительно, что во многих стихотворениях Сталин косвенно или прямо сопоставляется с садовником (или, может быть, лучше сказать – с Садовником):

> Раздвинул он горы крутые,
> Пути проложил в облаках.
> По слову его молодому,
> Сады зашумели густые,
> Забила вода ключевая
> В сыпучих горючих песках.
>
> *М. Исаковский*[932]

Образ Сталина-Садовника позволял советским поэтам неброско совмещать в портрете вождя социальное с сакральным: «Ходит за каждым цветком, за каждой былинкой простой / Сталин – великий садовник нашей страны родной» (Я. Виртанен); [933] «Земля казахстанская в пышном цвету, / И я, возрожденный, со степью цвету – / Взрастил нам цветы эти Сталин» (Орымбай); [934] «Глядит с мавзолея садовник, слегка улыбаясь» (Е. Полонская)[935]. В функции частной разновидности образа садовника предстает в стихах о Сталине жнец: «Ты высушил топи и дал урожай нам» (В. Кипиани)[936].

Можно привести очень много примеров из стихотворений поэтов 1930-х годов, в которых Сталин сопоставляется с солнцем. Такие уподобления, как и некоторые другие наши примеры, идеально вписывающие сталинский коллективный текст в многовековую традицию изображения властителя, были весьма удобны для использования в панегирических произведениях о вожде. Они предоставляли удобную возможность сервильным стихотворцам воспеть: а) животворящие тепло и свет, которые Сталин несет человечеству; б) сталинскую сверхчеловеческую способность пребывать одновременно во многих местах; в) его особое, высшее положение в ряду людей и явлений природы.

Многочисленные величания Сталина в качестве садовника, как и уподобления его разнообразным явлениям природы (в первую очередь солнцу), позволяли советским поэтам 1930-х годов избегать прямого называния руководителя государства Богом, что кричаще противоречило бы атеизму, агрессивно насаждаемому тогда в СССР. Однако некоторые стихотворцы,

особенно те, которые могли себе позволить прикрыться пышными национальными традициями, почти прямо восхваляли Сталина как божество, прибегая к посредничеству перифраз, сравнений и метафор. Поэтому, хотя, разумеется, не только поэтому, столь большая роль в освоении сталинской темы в 1930-е годы была отведена представителям народов СССР. К уже приведенным выше примерам прибавим еще три, взятых из стихотворений соотечественников вождя: «Ты нас выковал» (В. Горгадзе)[937]; «И ты недостижимого достиг: / Ты пересоздал ум людей и душу» (Н. Мицишвили)[938]; «Спаяны мы, словно звенья, / Волей вождя непреклонной» (П. Яшвили)[939].

Чуть более тонкий вариант этого же льстивого приема заключался в отождествлении Сталина с едва ли не самым главным в античной мифологии богоборцем – Прометеем: «Он Прометеевым огнем согрел / Тебя, и ты, по старой сказки слову, / Из зуб дракона нижешь тучи стрел, / Орфей, с рабов сдвигающий оковы» (Н. Мицишвили)[940]; «Новые всходы лелея, / Соединяя народы, / С новым огнем Прометея / Стал ты на страже свободы» (П. Яшвили)[941].

Конечно же, стихи о Сталине-богочеловеке 1930-х годов не могли обойтись без мотива смерти за вождя и героической смерти по приказу вождя: «За тебя, любимый Сталин, / Жизнь отдам без колебанья» (Грузинская народная песня)[942]; «И те, кого несут в пожар зари / Наполненные газом пузыри, / И те, кто в Арктике, – они умрут, / Лишь скажешь ты: “За родину умри!”» (С. Сейфуллин)[943]; «Отец наш, мы жизни свои отдадим, / Умрем если нужно, но мы победим!» (И. Шаповалов)[944].

Одной из ключевых тем сталинского коллективного поэтического текста 1930-х годов была тема чрезвычайно затрудненной в реальности коммуникации с вождем. О личной встрече со Сталиным мечтали, как о любовном свидании: «Оробел, не знаю, / Как вождю сказать мне про любовь свою» (А. Александрович)[945]. Визуальный контакт со Сталиным-божеством описывался как едва ли не самая заветная мечта: «Ласточкой быть желал бы, / Ласточкой быстрокрылой, / Легкой и стройной телом, / Чтоб побывать в Кремле, / Чтобы хоть раз увидеть, / Как улыбнется Сталин, / Слушая речи новых, / Созданных им людей» (М. Муртазали)[946].

Отсюда особая функция в поэтической сталиниане 1930-х годов мотива *рукопожатия*, устанавливающего и удостоверяющего тактильную связь простого советского человека с богом: «Стахановцам помнится долго / Пожатие сильной руки» (В. Гаприндашвили)[947]; «В стороне, где звезды ярки, / Где обилие машин, / Где Великий Вождь – доярке / Руку жмет от всей

души» (С. Гордеев)[948]; «Товарищ Сталин улыбнулся тоже / И подошел. Рукопожатьем молча / Они лишь обменялись, и тогда / Впервые в жизни комиссар заплакал» (В. Саянов)[949]; «Сам Сталин принял нас в Кремле, / Мы говорили там с вождем… / Кто мог мечтать у нас в селе, / Что руку мы ему пожмем!» (Н. Шубоссинни)[950].

Однако вожделенный контакт с вождем мог осуществляться не только прямо, но и через посредничество чудесных помощников, в первую очередь через повсюду развешанные и расставленные портреты Сталина (как через иконы). Такой способ описан, например, в одном из стихотворений Аделины Адалис:

> И два знакомых сердцу человека,
> С которыми, как говорится, «лично»
> Знаком я не был, – но не в этом суть…
> Подняв к седеющим вискам ладони,
> Приветствуют меня, проводят взглядом –
> Спокойный человек в простой шинели,
> А рядышком – родной Луганский Слесарь
> С суровым, но мечтательным лицом…[951]

Иногда Сталин приходил к советским людям в качестве героя стихов и песен: «Мы именем твоим полны, как песней. Вот она / Летит, взывая к доблести, восторгом окрылив» (Н. Зарьян)[952]; «Песни о нем молоды и счастливы» (Е. Рывина)[953]; «О Сталине мудром, родном и любимом / Прекрасную песню слагает народ» (Народная песня о Сталине)[954].

Еще один способ контакта «простого человека» со Сталиным – аудиальный – описан в по-своему выразительном стихотворении Александра Жарова:

> В этот час раздвинулись, исчезли
> Стены комнаты моей,
> Полной торжества такого, если б
> Съезд Советов открывался в ней.
>
> Впрочем так оно и было. Помню:
> Пел вначале радиоприемник.
> Он гремел «Интернационалом».
> А потом – приемника не стало.
>
> Тишина слилась в моей квартире
> С всесоюзной тишиной.
> Я назвал бы первым чудом в мире

То, что Сталин говорил со мной.

Не со мной одним. Пришли к беседе
Мой сынишка, мать, моя жена,
Все знакомые и все соседи,
Все товарищи и вся страна[955].

Но самый простой и удобный способ решения проблемы контакта со Сталиным-божеством заключался в культивировании в себе вполне религиозного ощущения незримого присутствия вождя во всех явлениях окружающего мира. Именно таким образом проблему личной коммуникации со Сталиным разрешил в своем стихотворении абхазский поэт Леварса Квициниа:

Гасли закаты, и зори вставали,
Морозы сменяли зной…
Ни разу в жизни товарищ Сталин
Не говорил со мной.

Я видел только его портреты,
А он меня – никогда.
Мне было больно думать об этом, –
Мечтал я о встрече всегда.
<…>
Но вдруг я понял, что ошибаюсь,
Только мечтая о нем:
Ведь я каждый день, каждый час встречаюсь
И говорю с вождем.

Я вырос уже, я молод, силен,
Мозг до мельчайших деталей
Лучами созвездия озарен.
И это созвездие – Сталин.
<…>
В Минске, в Киеве Сталин живет.
Бакинскими промыслами идет.
Табачных плантаций душистым ковром
Шагает мой Сталин в Сухуме моем[956].

Приведем также строки, как всегда, чрезвычайно чуткого к социальному заказу Сергея Михалкова, объединившего в своем стихотворении тактильный мотив рукопожатия с мотивом архетипического присутствия личности Сталина в личности

каждого советского человека: «Знай, что в пожатиях тысячи рук… / Лучший товарищ – твой вождь и твой друг!»[957]

Востребованность сталинских портретов, а также стихов и песен об отце народов послужила причиной формирования еще одного, если так можно выразиться, *профессионального* тематического узла в предвоенной поэзии о вожде. Авторы произведений о Сталине обсуждали в своих стихотворениях саму возможность адекватного живописного, скульптурного или словесного портрета богоподобного брата Ленина: «Все, что сделано тобою, / Передать бессильна речь» (Грузинская народная песня)[958]; «Опять Гомер и Фирдуси возьмутся горячо, – / Но песням их не исчерпать ваш непомерный свет» (Н. Зарьян)[959] – стихотворение обращено к Ленину и Сталину; «Кто твое величье, Сталин, / Дать нам сможет в песнях звучных?» (С. Чиковани)[960]; «Не вылепить сравненьями твой образ, / Скульптурней он стиха любого, зорче» (С. Шаншиашвили)[961].

С этой магистральной для стихотворений 1930-х годов темой органично увязываются и некоторые другие поэтические произведения того времени, в которых трактовалась тема трудности написания портрета современного советского человека.

Таков, например, зачин стихотворения Николая Брауна «Рождение портрета»:

> В последний раз он осмотрел подрамник,
> Он постучал рукой, как браковщик,
> В натянутое чуть ли не до треска,
> Певучее, как бубен, полотно.
>
> И он вошел, как в облако, где вещи
> В туманной влаге тонут без лица.
> Он двинулся на них – и уголь свистом
> Березовым запел на полотне.
>
> Он уголь тряс и щупал очертанья,
> И щурил глаз и подымал из тьмы
> Углов и ромбов и кругов обломки,
> И выносил и в новый сноп вязал[962].

Мы наметили фон, на котором чрезвычайно удобно рассматривать мандельштамовское славословие Сталину:

> Когда б я уголь взял для высшей похвалы –
> Для радости рисунка непреложной, –

Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно, и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок
И поднял вновь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголек, –
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Я б несколько гремучих линий взял,
Все моложавое его тысячелетье,
И мужество улыбкою связал
И развязал в ненапряженном свете,
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого, не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, – вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.

И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили!

Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором,
Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит.
Не я и не другой – ему народ родной –
Народ-Гомер хвалу утроит.
Художник, береги и охраняй бойца:
Лес человечества за ним поет, густея,
Само грядущее – дружина мудреца
И слушает его все чаще, все смелее.

Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко,
И я хотел бы стрелкой указать
На твердость рта – отца речей упрямых,

Лепное, сложное, крутое веко – знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь – откровенность, весь – признанья медь,
И зоркий слух, не терпящий сурдинки,
На всех готовых жить и умереть
Бегут, играя, хмурые морщинки.

Сжимая уголек, в котором все сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною – ловить лишь сходства ось –
Я уголь искрошу, ища его обличья.
Я у него учусь, не для себя учась.
Я у него учусь – к себе не знать пощады,
Несчастья скроют ли большого плана часть,
Я разыщу его в случайностях их чада…
Пусть недостоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,
Он все мне чудится в шинели, в картузе,
На чудной площади с счастливыми глазами.

Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера –
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
И каждое гумно, и каждая копна
Сильна, убориста, умна – добро живое –
Чудо народное! Да будет жизнь крупна.
Ворочается счастье стержневое.

И шестикратно я в сознаньи берегу,
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,
Его огромный путь – через тайгу
И ленинский октябрь – до выполненной клятвы.
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сжатых губ чтеца –

Его мы слышали и мы его застали.

Легко заметить, что в этом стихотворении используются почти все типовые для поэтических портретов Сталина 1930-х годов мотивы.

В нем упоминаются и/ или подразумеваются: *детство на Кавказе* («И я хочу благодарить холмы, / Что эту кость и эту кисть развили: / Он родился в горах…»); *аресты, тюрьмы и ссылки* («…и горечь знал тюрьмы»; «Его огромный путь – через тайгу»); *клятва над телом Ленина* («На шестиклятвенном просторе»; «И ленинский октябрь – до выполненной клятвы»); *создание конституции СССР* («Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось, / Ста сорока народов чтя обычай»).

Возникает у Мандельштама образ Сталина *в шинели на Красной площади* («Он все мне чудится в шинели, в картузе, / На чудной площади с счастливыми глазами»).

Используются мотивы: *мудрого сталинского взгляда* («И в дружбе мудрых глаз»; «Могучие глаза решительно добры», «Лепное, сложное, крутое веко»; «Глазами Сталина раздвинута гора»); его *голоса* («И я хотел бы стрелкой указать / На твердость рта – отца речей упрямых»); *могучей руки Сталина* («Что эту кость и эту кисть развили»); *его стального имени* («Для чести и любви, для доблести и стали / Есть имя славное для сжатых губ чтеца – / Его мы слышали и мы его застали»); и *ободряющей улыбки вождя*.

Отметим, кстати, что последняя из перечисленных деталей облика Сталина окончательно закрепилась в реестре канонических примет советского изображения отца народов после его речи на VIII съезде Советов. В этой речи, напомним, прозвучала знаменитая сталинская шутка о буржуазных критиках новой Конституции, немедленно и с умилением подхваченная советскими средствами массовой информации. Приведем здесь лишь небольшую подборку цитат, показывающую, как отлаженно реагировала советская пресса на малейшее изменение выражения сталинского лица, на самое крохотное оживление его речи: «Ну и смеху же было в зале, когда товарищ Сталин давал этим “критикам” отповедь. Все смеялись. И товарищ Сталин смеялся»[963]. «В черных волосах седина, тень от усов прикрывает улыбающийся рот»[964]. «Медленно приближается громадный портрет. Кто не знает этого прекрасного лица? Оно приветливо улыбается знакомой мудрой и доброй улыбкой»[965]. Сравним у Мандельштама: «И мужество улыбкою связал», а также: «Он улыбается улыбкою жнеца / Рукопожатий в разговоре».

Это был новый и важный оттенок, с понятным ожиданием

уловленный Мандельштамом: развернутое печатью после VIII съезда Советов тиражирование образа шутящего Сталина, улыбающегося Сталина, доброго Сталина внушало робкую надежду на скорое потепление нравов. «Взгляд у него такой милый, приятный – будто каждому хочет руку пожать», – рассказывала своим слушателям делегатка съезда М. Журавлева[966], и это ее впечатление знаменательно перекликается с «Одой». В этом стихотворении используются мотивы *личного рукопожатия* («Он улыбается улыбкою жнеца / Рукопожатий в разговоре»), *визуального контакта с вождем* («Могучие глаза решительно добры, / Густая бровь кому-то светит близко»)[967] и *воздействия Сталина на советских людей через портреты* («Лепное, сложное, крутое веко – знать, / Работает из миллионов рамок»).

Намечается в «Оде» и тема *близости Сталина со всеми советскими людьми* («Ста сорока народов чтя обычай»; «И каждое гумно, и каждая копна / Сильна, убориста, умна – добро живое – / Чудо народное!») и *готовности каждого советского человека к самопожертвованию ради победы сталинского дела* («На всех готовых жить и умереть…»).

Сталин изображается в стихотворении Мандельштама *повелителем природных явлений, в том числе, осторожно, и солнца* («Глазами Сталина раздвинута гора / И вдаль прищурилась равнина. / Как море без морщин, как завтра из вчера – / До солнца борозды от плуга-исполина»; «Воскресну я сказать, что солнце светит»). Также вождь *уподобляется жнецу* («Он улыбается улыбкою жнеца»; «И каждое гумно, и каждая копна / Сильна, убориста, умна – добро живое»).

В стихотворении Мандельштама употребляются *значимые для сталинской мифологии 1930-х годов имена Прометея* («Знать, Прометей раздул свой уголек») и *Гомера – воплощения народной любви к вождю* («Не я и не другой – ему народ родной – / Народ-Гомер хвалу утроит»).

Что же касается *проблемы взаимоотношений Сталина и изображающего его художника*, то она в мандельштамовском стихотворении ставится едва ли не как основная. Интересными и характерными кажутся типологические переклички зачина «оды» Мандельштама с приведенными выше начальными строками стихотворения Николая Брауна «Рождение портрета».

То есть *не*задействованным у Мандельштама остается лишь образ никогда не спящего вождя.

Из всего этого следует, что читателю-современнику, для которого мандельштамовское стихотворение и предназначалось, расшифровать его смысл было гораздо легче, чем нам, читателям

послесталинской эпохи, на свое счастье, плохо разбирающимся в поэтическом сталинском каноне.

Современнику автора «оды» достаточно было прочесть строки Мандельштама: «Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось, / Ста сорока народов чтя обычай», чтобы понять: в них подразумевается, в первую очередь, сталинская конституция; ему достаточно было встретить в стихотворении упоминание о Прометее, чтобы связать его с воспевающими Сталина-богоборца и Сталина-бога строками других произведений о вожде; читателю-современнику достаточно было прочесть строки: «Лепное, сложное, крутое веко – знать, / Работает из миллиона рамок», чтобы вспомнить о портрете Сталина у себя на столе или на стене своей комнаты; достаточно было дойти до строки: «Глазами Сталина раздвинута гора», чтобы присоединить ее к десяткам стихотворных строк, воспевающих сталинское управление природой; достаточно было прочесть у Мандельштама о «шестиклятвенном просторе», чтобы без запинки перечислить шесть клятв Сталина над гробом Ленина и т. д.

При этом, конечно же, нужно принимать во внимание то обстоятельство, что Мандельштам зачастую переформатировал детали типового поэтического портрета Сталина почти до неузнаваемости. «Он улыбается улыбкою жнеца / Рукопожатий в разговоре» – это стилистически, разумеется, нечто совершенно иное, чем: «В ответ, улыбкой просияв, / Вождь крепко руку стиснул мне» (Н. Шубоссинни)[968].

Целый ряд канонических деталей поэтического сталинского портрета Мандельштам дополнил собственными, глубоко личными оттенками. Скажем, ни один из поэтов, напечатавших в 1937 году стихи о кавказском периоде биографии вождя, не упоминает его подлинную фамилию, меж тем как автор стихотворения «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» признается: «Хочу назвать его – не Сталин – Джугашвили». Это был смелый ход, сознательно претендующий на спор с каноном: псевдоним отца народов настолько слился в сознании советских людей с его носителем, что превратился в знак вождя, в его субститут. Привести рядом с этим псевдонимом подлинную сталинскую фамилию не решились даже авторы сборника «Грузинские стихи и песни о Сталине», вышедшего в Тбилиси[969].

Но и многие другие ключевые мотивы стихотворения Мандельштама «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» у остальных создателей советской поэтической сталинианы 1930-х годов были бы просто непредставимы.

Таков автобиографический мотив *личной вины* лирического героя «оды» («Пусть недостоин я еще иметь друзей, / Пусть не

насыщен я и желчью и слезами»), очень дальняя параллель к которому при сквозном чтении стихов советских поэтов, изданных в 1937 году, обнаруживается разве что в книге Петра Орешина «Под счастливым небом»:

Да, я отстал
В мечтаниях моих.
Мой слабый ум
Не предвосхитил срока.
О, родина
Рябины и гречих,
Я виноват перед тобой
Жестоко![970]

С мотивом вины у Мандельштама тесно переплетен мотив *самоумаления лирического героя перед величием совершающихся в СССР событий*: «Уходят вдаль людских голов бугры: / Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят», который советскими поэтами конца 1930-х годов тоже почти не использовался. «Почти», потому что слабую вариацию этого мотива мы находим в одном из опубликованных в 1937 году стихотворений Михаила Светлова:

Республика встала
Во весь свой рост
Глухой Кремлевской стеной,
И я перед нею –
Совсем малыш,
С наперсток величиной[971].

Понятно, что в стихах о Сталине 1930-х годов не могло найтись места критике каких бы то ни было сталинских начинаний, даже такой мягкой и с оговорками критике, как в мандельштамовской «оде»: «Несчастья скроют ли большого плана часть, / Я разыщу его в случайности их чада».

Но, пожалуй, самый неожиданный стратегический ход, который Мандельштам делает в стихотворении «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» – это выворачивание наизнанку типовой для советской поэзии 1930-х годов ситуации – *бойцы Красной армии во главе со Сталиным охраняют покой всех советских граждан*. У очень и очень многих советских поэтов изображается «бойцов стальная стая», которые «хранят границу, Родину любя» (Адалис)[972].

У Мандельштама же не боец должен охранять художника, а, напротив, художник – беречь и охранять не только бойца, но и самого Сталина:

> Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
> Кто мыслит, чувствует и строит.
> Не я и не другой – ему народ родной –
> Народ-Гомер хвалу утроит.
> Художник, береги и охраняй бойца:
> Лес человечества за ним поет, густея,
> Само грядущее – дружина мудреца
> И слушает его все чаще, все смелее.

Закончив работу над одой Сталину, Мандельштам повсюду – в Воронеже и в Москве – читал свое стихотворение. Наверное, поэт надеялся, что «Ода» спасет его. Напрасно. Реакция на мандельштамовское произведение у большинства его чиновных слушателей и читателей была приблизительно такой же, как у воронежского следователя НКВД, которого поэт пытался знакомить со всеми своими новыми стихами по телефону. Из отзыва-доноса П. Павленко: «Есть хорошие строки в “Стихах о Сталине”, стихотворении, проникнутом большим чувством, что выделяет его из остальных. В целом же это стихотворение хуже своих отдельных строф. В нем много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине»[973]. В этом отзыве отразилось и опознавание автором доноса в мандельштамовском тексте типовых мотивов поэтической сталинианы конца 1930-х годов и его возмущение мандельштамовскими нарушениями канона.

Сколь эфемерными были оптимистические надежды поэта и его современников на потепление климата в стране («Он улыбается улыбкою жнеца / Рукопожатий в разговоре»), стало ясно очень скоро после принятия сталинской Конституции: 23–30 января 1937 года в Москве состоялся широко освещавшийся в печати процесс по делу так называемого «Параллельного антисоветского троцкистского центра». 30 января было оглашено решение суда. Тринадцать человек приговорили к расстрелу, троим дали десять лет, одному – восемь. В этот же день «<б>олее 200 тысяч трудящихся Москвы собрались на митинг, чтобы приветствовать приговор Верховного суда и выразить свою преданность партии Ленина – Сталина»[974].

В первых рядах «приветствующих» оказались советские писатели. 26 января 1937 года «Литературная газета» поместила большую редакционную статью «Нет пощады изменникам». Еще четыре страницы газета в этот день отвела под призывы

прозаиков и поэтов стереть с лица земли Ю.Л. Пятакова, К.Б. Радека, Л.П. Серебрякова и их соратников. Среди авторов отметились И. Бабель, Д. Мирский, Ю. Олеша, А. Платонов, Н. Тихонов, А. Толстой, К. Федин, М. Шагинян, В. Шкловский. Из выступления Ю. Олеши: «Ничто не помешает нашему народу жить, побеждать, добиваться счастья! Все враги его будут уничтожены!»[975]

Сразу после вынесения приговора состоялось Общемосковское собрание писателей, на котором с лютыми речами выступили Вс. Иванов, В. Ставский, А. Фадеев, К. Федин… В Ленинграде участников «Параллельного антисоветского троцкистского центра» клеймили М. Зощенко, В. Лидин, Ю. Тынянов…

По предположению М.Л. Гаспарова[976], именно на этот процесс Мандельштам откликнулся стихотворением, датируемым февралем 1937 года:

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери,
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит,
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б –
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И, разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом –
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земли очи,
И, в легион братских очей сжатый,
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы, –
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

Легко заметить, что многие строки этого стихотворения идеально вписываются в соответствующий газетный контекст. Сравним хотя бы мандельштамовский зачин («Если б меня наши

враги взяли») с заглавием редакционной передовицы, напечатанной на первой странице «Коммуны» 27 января 1937 года («Наши заклятые враги»), а также строку Мандельштама «И разбудив *вражеской тьмы* угол» со следующими фрагментами из речей А. Платонова и В. Ставского: «…Враг не сдастся, он будет заострять свое оружие против нас. Поэтому надо попытаться осветить точным светом искусства самую “середину тьмы” – тогда мы будем иметь еще один способ предвидения наиболее опасных врагов» (А. Платонов)[977]; «У нас с вами дочери и сыновья – какое будущее готовили им эти враги народа? Тьму кромешную, всю адскую тьму капиталистического строя – вот что готовили для наших детей» (В. Ставский)[978].

Однако Мандельштам и в данном случае, как обычно, выступил наособицу. Если авторы газетных заметок и отчетов о процессе по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» исходили из реального положения вещей (*мы судим врагов*), автор стихотворения «Если б меня наши враги взяли…», как и в «Оде», вывернул ситуацию наизнанку (*что было бы, если бы враги захватили меня*). Взгляд на события с точки зрения унижаемого пленника позволил Мандельштаму избежать сервильного прославления a priori сильнейшей стороны, кровожадно добивавшей поверженного противника. Важно, вслед за М.Л. Гаспаровым, напомнить, что 27 февраля 1937 года был арестован единственный высокопоставленный партийный покровитель Мандельштама Н.И. Бухарин[979].

Активная публичная травля Бухарина и его ближайших соратников, начатая советской печатью на волне «пятаковского» процесса в конце января 1937 года, по-видимому, послужила одним из ситуативных поводов к написанию мандельштамовского стихотворения «Куда мне деться в этом январе…»[980]:

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок…
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? –
И хочется мычать от всех замков и скрепок…

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы –
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы…

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,

И разлетаются грачи в горячке, –

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

М.Л. Гаспаров выявил важный подтекст этого стихотворения. «Слова “…выбегают из углов угланы”, – писал он, – неминуемо напоминают имя давно устраненного Н.А. Угланова, который был партийным начальником Москвы, когда в 1928 году Мандельштам через Бухарина спасал от расстрела приговоренных по делу Общества взаимного кредита»[981]. К сказанному обязательно нужно прибавить, что фамилии Бухарина, Рыкова и арестованного еще в августе 1936 года Угланова подряд перечислены в речи В. Ставского на Общемосковском собрании писателей. Эта уже цитировавшаяся нами речь была напечатана «Литературной газетой» 1 февраля 1937 года, в тот самый день, каким датировано мандельштамовское стихотворение «Куда мне деться в этом январе…»: «С чувством облегчения и радости переживаешь: нанесен еще удар, удар нанесен крепкий. Но надо помнить: враг – главный враг народа – он еще на свободе: это Троцкий, это правые – Бухарин, Рыков, Угланов, тоже злейшие заклятые враги народа, это те, которые еще не разоблачены, которые хотят пускать поезда под откос, чтобы вновь пылали во тьме ночей цистерны, озаряя ночное небо и снег, чтобы вновь крошились вагоны, чтобы вновь в глухих степях стонали раненые, изувеченные стахановцы и защитники-бойцы нашей великой родины. Об этом не надо забывать»[982].

Понятно, что арест Бухарина (и уже только во вторую очередь метонимически заместившего его в стихотворении «Куда мне деться в этом январе…» Угланова) окончательно лишал Мандельштама надежды на действенную помощь сверху и потому был для поэта равносилен соскальзыванию в воронежскую «бородавчатую темь», в смерть.

Тема внутренних врагов, готовых по дешевке продать Советский Союз внешним врагам, раздутая советской пропагандой во время процесса над участниками «Параллельного антисоветского троцкистского центра», превратила из актуальной в сверхактуальную тему обороны страны и с неизбежностью надвигающейся большой войны[983]. У Мандельштама эта тема впервые отчетливо прозвучала в отколовшемся от основного текста «Оды» стихотворении «Обороняет сон мою донскую

сонь…» (3–11 февраля 1937):

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры –
Их быстроходная, взволнованная бронь
И любопытные ковры людского говора…

И в бой меня ведут понятные слова –
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова…
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.

Необоримые кремлевские слова –
В них оборона обороны;
И брони боевой – и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.

И слушает земля – другие страны – бой,
Из хорового падающий короба:
– Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, –
И хор поет с часами рука об руку.

Непосредственным подтекстом второй – третьей строф этого стихотворения, возможно, послужило произнесенное в декабре 1936 года «Заключительное слово Народного Комиссара Обороны маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова на Всесоюзном совещании жен командного и начальствующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии» в Кремле: «Ваша оборонная работа, товарищи, дорога́, и мы ее высоко ценим потому, что вы облегчаете жизнь, деятельность, напряженную работу ваших мужей, отцов и братьев. Чем больше и лучше вы будете заниматься общественной и непосредственно оборонной работой, тем легче будет нашим командирам и начальникам делать свое непосредственное дело – повышать боевую подготовку Красной армии, тем легче будет им готовиться к тому, чтобы в нужную минуту выйти против врага во всеоружии, выставить против него могучую силу, не только физически и технически хорошо сколоченную, но также и духовно по-сталински подготовленную»[984].

Советских поэтов и прозаиков больше писать о надвигающейся войне призвала Вера Инбер в своем выступлении на Общемосковском собрании писателей 1 февраля 1937 года: «В чем заключается наша задача, задача советской литературы? Превратить всю нашу литературу в оборонную секцию,

озабоченную тематикой будущей войны. Сейчас, перед лицом грозной военной опасности, надвигающейся извне, мы, писатели, должны сделать всю литературу оборонной. Мы должны много, действенно и сильно писать о войне»[985].

17 февраля сходный заказ всем советским литераторам сделал В. Ставский в своем выступлении на специально созванном собрании оборонных писателей. «Вчера в Москве открылось совещание актива писателей-оборонников, работающих над произведениями о Красной армии… – писала 18 февраля “Правда”. – Во вступительном слове тов. Ставский говорил о большом значении оборонной литературы, особенно теперь, в период бешеной подготовки империалистов к войне против СССР»[986].

В этом же номере «Правды» был приведен пример удачного и оперативного исполнения социального заказа, спущенного сверху советским писателям. Газета поместила рецензию Б. Резникова на постановку пьесы В. Киршона «Большой день» в Центральном театре Красной Армии: «Новая пьеса В. Киршона написана на очень серьезную и актуальную тему. В этом – первое, но не единственное ее достоинство. В “Большом дне” речь идет о советской авиации. Наши славные летчики являются действующими лицами пьесы. Киршона интересует в данном случае не только среда летчиков, их жизнь и быт, хотя с этого и начинается пьеса. Он хочет заглянуть вперед, показать тот страшный для наших врагов момент, когда они попытаются напасть на Советский Союз. Тогда, говорит пьеса, наступит Большой день расплаты с поджигателями войны»[987].

23 февраля 1937 года, в день Красной армии, редакционные статьи о скорой войне с буржуазным агрессором напечатали на своих первых страницах все советские газеты (Мандельштам, напомним, сделал для «Московского комсомольца» «громадный монтаж о Кр<асной> армии (23 февраля)» (IV: 134) еще в 1930 году).

А 26 февраля «Правда» опубликовала отчет об очередном Пленуме правления Союза писателей, где сообщалось, что делегатам был роздан «Полевой устав Красной армии, вводную главу которого писал лично нарком тов. К.Е. Ворошилов»[988].

Мандельштам не остался в стороне от движения «писателей-оборонников». 1 марта 1937 датирован его первый подступ к грандиозным «Стихам о неизвестном солдате».

Современники поэта хорошо помнили то страшное и символическое впечатление, которое на все человечество произвело появление в небе аэропланов в годы Первой мировой войны. Теперь и Небо воспринималось не как утешитель и

свидетель, а как активный участник кровопролитных сражений. Соответственно, новый смысл в мандельштамовских «Стихах о неизвестном солдате» обрела привычная для описания войны метафора Апокалипсиса – кары Неба человечеству за его грехи.

Попробуем теперь построфно откомментировать одно из главных мандельштамовских стихотворений.

(I) Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках, всеядный и деятельный,
Океан без окна – вещество…

Под «воздухом» здесь, очевидно, подразумевается *небо* в двух его воплощениях: а) небо над полем битвы со стучащим «сердцем» – военным аэропланом в эпицентре (в которое, возможно, целится дальнобойное орудие, и которое само может выступить в роли дальнобойного орудия) и: б) небо («воздушный океан»), заполняющее собой окопы и землянки (в землянках, в отличие от обыкновенных домов, нет окон, поэтому и небесное «вещество» изображается у Мандельштама «без окна»).

Почему окопный «воздух» тоже описывается как небо? Потому что смерть теперь правит бал и на небе, и на земле, и под землей, следовательно, разница между «воздухом» *над* землей и *под* землей утрачивается. Соответственно, оба неба призываются в свидетели на грядущем Страшном суде (сравните идиому: «Призываю небо в свидетели!»).

(II) До чего эти звезды изветливы!
Всё им нужно глядеть – для чего? –
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество…

«Судебная» тема развивается. Картина дополняется образом звезд-доносчиц («изветливы» от «навет»). Доносят они Богу на небо, которое раньше выступало в роли «судьи» над воюющими людьми или величественного «свидетеля» кровопролитных битв (ср., например, соответствующие сцены «Войны и мира»), а теперь само оказалось втянутым в мясорубку войны и потому «осуждается».

(III) Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили

Океан или клин боевой.

Начнем с попытки объяснения 3–4 строк этой строфы: словосочетание «клин боевой» наводит на мысль, что «крестики», метящие воздушный «океан» – это аэропланы с деревянными («лесистыми») крыльями и фрагментами корпуса. Но «лесистые крестики» – это, без сомнения, и деревянные могильные кресты. Таким образом, небо и земля как место гибели и даже возможного упокоения сражающихся солдат вновь и уже более явственно предстают в стихотворении отраженными друг в друге (еще более прямо об этом будет сказано в V строфе). Если принять эту интерпретацию, то «дождь» из первой строки третьей строфы без насилия над текстом превратится в «неприветливого сеятеля» сбрасываемых с аэроплана бомб, без разбора дарующих свою страшную «безымянную манну» находящимся внизу солдатам. Тогда эпитет «безымянная» (смерть) из второй строки этой строфы встает в один ряд с эпитетом «неизвестный» (солдат) из заглавия всего стихотворения.

(IV) Будут люди холодные, хилые,
Убивать, холодать, голодать.
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

В этой строфе для нас самое интересное – соотношение прошедшего и будущего времен. Ничто не мешало Мандельштаму начать третью строку со слова «хоть», и тогда бы смысл высказывания был предельно ясным: люди всё равно будут убивать друг друга, хотя трагический символ прошедшей войны (могила неизвестного солдата), казалось бы, мог послужить для сражающихся предостережением.

Но у Мандельштама, кажется, речь идет о другом: люди *еще* только «будут» убивать друг друга на полях сражений, а «неизвестный солдат» *уже* «положен» в своей «знаменитой могиле». Подобно тому, как одно пространство (земля) в стихотворении отражается в другом (небе), а небо – в земле, будущее в «Стихах о неизвестном солдате» отражается в прошлом, а прошлое – в будущем (ср. далее в финальной строфе стихотворения: «…и столетья / Окружают меня огнем» – и предшествующие, и грядущие).

(V) Научи меня, ласточка, хилая,
Разучившаяся летать,

Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.

В этой строфе (где впервые в стихотворении появляется «я») план укрупняется: перед нами уже не обобщенные поле битвы, звезды, дождь и люди, а конкретный падающий самолет и погибающий в нем летчик. Особое внимание обратим на словосочетание «воздушной могилы» из 3-й строки этой строфы, в котором сконденсировано намеченное ранее со(противо) – поставление земли и неба. Поскольку теперь убивают и в небе, прямо там можно хоронить, как раньше хоронили в земле (к которой неуклонно приближается «ласточка»-аэроплан). Не обойтись в данном случае и без указания на многократно отмеченный подтекст – «Демон» Лермонтова с его строками: «На воздушном океане / Без руля и без ветрил / Тихо плавают в тумане / Хоры стройные светил».

(VI) И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как горбатого учит могила
И воздушная яма влечет.

Еще один крупный план. Цитата из «Демона» ассоциативно притягивает в стихотворение упоминание о Лермонтове – поэте и воине, за судьбу которого автор (тоже поэт) готов дать «строгий отчет» погибающей ласточке-аэроплану (или читателю? или богу на Страшном суде?) Здесь впервые в «Стихах о неизвестном солдате» намечается собственное местоположение Мандельштама относительно участников всех прошлых и будущих войн. Он – рассказчик о трагических событиях. Авиационный термин уже и того времени «воздушная яма» перекликается в строфе с «воздушной могилой» из предыдущего четверостишия.

(VII) Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры,
Золотые созвездий жиры…

Здесь – возвращение общего плана. Изображаются звезды –

символ карающего неба, доносчики на Страшном суде («ябеды») и, возможно, – похожие на падающие звезды, сбрасываемые с аэропланов бомбы. Кроме того, поэт развивает возникшую еще в зачине стихотворения тему еды и голода на войне («всеядный» (I) – «манна» (III) – «голодать» (IV) – «виноградинами», «ягодами», «жиры» (VII)). Но, наверное, самое главное для нас – это отметить впервые заявленную в комментируемом фрагменте тему *губительного* света, падающего на землю с неба, не света жизни (традиционная интерпретация этого мотива в поэзии), а света смерти. В VII фрагменте содержится ответ на вопрос II строфы: «для чего» звездам «нужно глядеть» на поле боя? Для того чтобы угрожать человечеству карой небесной.

(VIII) Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

В строфе развивается тема смертоносного света, в 1–2 строках освещающего давние наполеоновские кровопролитные битвы в Египте и добивающего (в 3–4 строках) до современности, бьющего в глаза современному поэту-рассказчику.

(IX) Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте, –
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей!

В строфе, во-первых, возобновляется со(противо)поставление неба (как «пустоты») и земли («землянки» здесь это и окопы на поле боя, и могилы) и, во-вторых (в 3–4 строках), вводится тема милосердной ночной (и земляночной) тьмы, неброско противопоставленной жестокому свету. В первой строке IX строфы начинает разворачиваться циническая тема коммерческой выгоды войны («задешево»), которая будет продолжена в X, XIV и XVI строфах.

(X и XI) Неподкупное небо окопное —
Небо крупных оптовых смертей, –
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте –

За воронки, за насыпи, осыпи,

По которым он медлил и мглил, –
Развороченных – пасмурный, оспенный
И придымленный гений могил.

Попробуем прочитать эти две, на первый взгляд, очень темные строфы, опираясь на нашу интерпретацию предыдущих фрагментов «Стихов о неизвестном солдате» и, тем самым, проверяя их на убедительность.

«Небо окопное» – это «воздух» из «землянок» (ср. в I строфе), который образует нерасчленимую целокупность с подлинно небесным «воздухом» (ср. в том же I четверостишии). Целокупность эта складывается потому, что в небе теперь, как и на земле, убивают («небо смертей»).

Эпитеты «неподкупное» и «крупных оптовых» продолжают коммерческую тему, начатую в IX строфе.

Строки «За тобой, от тебя, целокупное, / Я губами несусь в темноте» развивают автометаописательную тему поэта, рассказывающего о войне (ср. в VI строфе) в спасительной тьме (ср. в IX строфе), сменившей апокалипсическую вспышку света (ср. в VII и VIII строфах). А в целом образ несущегося в темном небе над полем битвы поэта, обрамленный мотивами, уже встречавшимися нам в VI, «лермонтовской» строфе «Стихов о неизвестном солдате», как представляется, провоцирует читателя вообразить себе главного героя произведения, цитировавшегося в этой строфе – демона.

(XII) Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружи́т с человеком калека –
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка –
Эй, товарищество, – шар земной!

В зачине строфы ратный труд солдат-пехотинцев сопоставляется с пением погребального хора (в том числе и хора ночных светил?) и тем самым – с «трудовой деятельностью» поэта, поющего скорбную песнь «*над*» телами погибших ранее воинов (и, одновременно, знаковых персонажей истории мировой литературы). Эти воины перечисляются в неслучайном порядке:

от новейшего времени (Швейк) к Возрождению (Дон-Кихот) и Средневековью (рыцарь). Во второй половине комментируемого фрагмента литературные ассоциации, как представляется, дополняются живописными в духе Босха или Брейгеля-старшего. В финальной строке впервые в стихотворении возникает граждански окрашенная («товарищество») и по сути своей – оптимистическая тема взаимовыручки людьми друг друга.

(XIII) Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится –
Чаша чаш и отчизна отчизне –
Звездным рубчиком шитый чепец –
Чепчик счастья – Шекспира отец…

Перевод с темного языка стихотворения на общечеловеческий: для того ль человечество тысячелетиями развивало свой интеллект, чтобы он послужил созданию смертоносного оружия? Нет! Интеллект развивается от служения жизни, а не смерти, и тогда вмещающий его череп становится похожим на храм, вырастая до звезд и порождая таких титанов мысли, как Шекспир.

(XIV) Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Ясень и явор – это деревья. То есть Мандельштам возвращается к образности III строфы, где изображались аэропланы с деревянными деталями корпуса, и V строфы, в которой описывалось падение аэроплана на землю (хотя, разумеется, детали аэропланов *не* делались из ясеня и явора). По-видимому, и в комментируемой строфе речь идет о том, как подбитый аэроплан «мчится» к земле, к месту, где его изготовили («в свой дом»), «чуть-чуть» красный от стыда за то, что был использован в военных целях. «Обмороками» (смертями)

«затовариваются» (опять слово из коммерческого лексикона) «оба неба», читай – и земля, и небо, в котором теперь тоже идет война. «Тусклый огонь» здесь – символ тлеющего огня войны, всегда готового разгореться в яркое пламя (о губительном свете см. в VII и VIII фрагментах).

(XV) Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный –
Эта слава другим не в пример.

Вероятно, имеется в виду борьба прогрессивной, разумной части человечества (Советского Союза? – ср. «союзно» в первой строке разбираемой строфы) против войны – за «воздух прожиточный», за «мирное небо над головой». В этом небе будут летать не военные бомбардировщики и истребители, а самолеты, перевозящие мирных пассажиров, пусть даже это будет избыточной роскошью в сравнении, например, с железнодорожным передвижением. Такая миролюбивая политика достойна прославления, и только она способна превратить маячащий у человечества впереди «провал» («воздушную яму», «воздушную могилу») в «промер» – четко просчитанный путь (вторая строка строфы).

(XVI) И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

От разговора о выборе целой страны Мандельштам переходит к разговору о личном выборе конкретного человека. У него теперь появилась возможность жить не в вечном страхе ожидания войны и не губить свой драгоценный интеллект (мозг, «голову») в окопах (или в размышлениях над созданием нового оружия). Строфа завершает страшную тему голода на войне, начатую еще в зачине «Стихов о неизвестном солдате».

(XVII) Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчатся в свой дом?

Чуешь, мачеха звездного табора,

Ночь, – что будет сейчас и потом?

Для того ли небо было создано таким прекрасным и мирным, чтобы стать еще одной ареной войны, чтобы с него падали на землю, там же и изготовленные самолеты (и бомбы)? Хоть ты, темная ночь, не мать, но мачеха испускающих яркий губительный свет звезд, подобно гадающей цыганке, ответь: что ждет человечество в ближайшем и отдаленном будущем?

(XVIII) Напрягаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом…
– Я рожден в девяносто втором…
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья, с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

Как и итоговый вариант «Высокой болезни» Бориса Пастернака, страшно темное стихотворение Мандельштама завершается чрезвычайно внятным, прозрачным фрагментом. «Я» утрачивает индивидуальные черты, перестает быть поэтом и вливается в ряды призывников на грядущей мировой войне.

Непосредственным стимулирующим источником для Мандельштама, возможно, послужило длинное антивоенное стихотворение Николая Заболоцкого «Война – войне», напечатанное в «Известиях» 23 февраля 1937 года. Рьяным поклонником поэзии Заболоцкого был Сергей Рудаков, упорно пытавшийся приобщить к творчеству автора «Столбцов» своего старшего друга. Приведем здесь несколько выразительных выдержек из писем Рудакова к жене: «О Заболоцком он молчит, а потом мрачно ругается»[989]; «…Он сделал умный вид и стал многословно ругать. Ругань такая – “Обращение к читателю как к идиоту, поучение (“и мы должны понять”) – тоже Тютчев нашелся… Многословие… Подробности… Все на нездоровой основе. И стихи это *не Заболоцкого, а ваши*”. Я сказал, что они из “Известий”. Надин <Надежда Яковлевна Мандельштам> вспомнила об этом»[990]. И, наконец: «Говорили о Заболоцком, Ходасевиче и Цветаевой – он (и я) очень хочет их перечесть»[991]. Неудивительно, если в марте 1937 года Мандельштам решил

вступить в заочное соревнование с не так давно подвергнутым зловещей газетной травле поэтом.

Помимо всего прочего, мандельштамовские «Стихи о неизвестном солдате», по-видимому, правомерно счесть серьезным ответом поэта на свой же, не так давно заданный Якову Рогинскому, шуточный вопрос о памятнике. Как и в «Оде», Мандельштам предстает в «Стихах о неизвестном солдате» в окружении бесчисленного количества людей – традиционная горацианская оппозиция «поэт» / «народ» разрушается. Памятника достоин не он – Осип Мандельштам, а – «неизвестный солдат», представитель миллионов, «убитых задешево» на всех прошедших и будущих войнах. О том, что «Памятник» Пушкина – юбиляра 1937 года Мандельштам держал в голове, работая над своими «Стихами о неизвестном солдате», отчетливо свидетельствует их отброшенный финал. Здесь присутствует легко распознаваемая цитата из пушкинского шедевра:

Я – дичок, испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все кто жить и воскреснуть должны.
И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет
И вселенной ее семьянином
Всяк живущий меня назовет…[992]

6

Срок воронежской ссылки истек 16 мая 1937 года. Из «Воспоминаний» Н.Я. Мандельштам: «Без всякой веры и надежды мы простояли с полчаса в жидкой очереди <в комендатуре воронежского МГБ>: “Какой-то нас ждет сюрприз?” – шепнул мне О. М., подходя к окошку. Там он назвал свою фамилию и спросил, нет ли для него чего-нибудь, поскольку срок его высылки кончился. Ему протянули бумажку. В первую минуту он не мог разобрать, что там написано, потом ахнул и вернулся к дежурному в окошке. “Значит, я могу ехать куда хочу?” – спросил он. Дежурный рявкнул – они всегда рявкали, это был их способ разговаривать с посетителями – и мы поняли, что О. М. вернули свободу»[993].

Мандельштамы спешно упаковали пожитки и уехали в Москву. Здесь их ждала встреча с Анной Ахматовой, гостившей у

семьи Ардовых в писательском доме в Нащокинском переулке. «Осип был уже больным, много лежал, – вспоминала поэтесса. – Прочел мне свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Много говорил о Наташе (Штемпель), с которой дружил в Воронеже <…>. Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы <речь идет об очеркисте Николае Костареве, подселенном в квартиру Мандельштамов в их отсутствие>, и скоро им стало нельзя показываться в этой квартире»[994]. Тем не менее, первоначально настроение четы Мандельштамов было приподнятым.

Лиля (Еликонида) Попова, с которой Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна об эту пору общались почти ежедневно, в начале июня 1937 года писала Владимиру Яхонтову: «Как я провожу время? Большую часть времени у Мандельштамов. Союз <писателей> их поддерживает, дает деньги, Осипа Эм<ильевича> лечат врачи, на днях стихи его будут заслушаны в Союзе, на специальном собрании <…>. Они очень привязались ко мне (“всеми любимой, всеми уважаемой”). Осип Эмильевич, если не ошибаюсь, вздумал “открыть” меня. Но об этом поговорим по приезде, в этом я еще плохо разбираюсь, но кажется, в ссылке он помолодел лет на двадцать, выглядит хулиганистым мальчишкой и написал мне стихи, которые прячет от Надежды Яковлевны (!!). Если там вековые устои рушатся, то я об одном молю, чтоб не на мою голову»[995].

Читая эти оптимистические строки, необходимо принимать в расчет, что красавица Лиля Попова была фанатической поклонницей Сталина и всех его начинаний. «Сталинисткой умильного типа» спустя годы назовет ее Надежда Яковлевна[996]. А Осип Мандельштам завершил стихи, о которых Попова упоминает в письме к Яхонтову, таким ее портретом:

Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, с лаской.

4–5 июля 1937 года датировано еще одно стихотворение, обращенное к Лиле Поповой, «Стансы». Оно состоит из десяти строф. Каждая из первых четырех строф вводит новый «газетный» мотив. Два из них уже выявлены нашими предшественниками; на два попробуем указать мы:

Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.

Комментаторами уже замечено, что в строке «Вот с приговором полоса» из зачина «Стансов» подразумевается номер «Правды» от 12 июня 1937 года. На первой странице этого номера газеты большими буквами сообщалось о смертном приговоре по делу Тухачевского, Уборевича, Якира и других крупных советских военачальников: «Вчера Верховный суд Союза ССР приговорил к расстрелу восемь шпионов, находившихся на службе у военной разведки одного из иностранных государств. Разгром военно-шпионского ядра – признак силы великого Советского государства и большой удар по поджигателям войны и их планам расчленения СССР и восстановления власти помещиков и капиталистов»[997].

Дорога к Сталину – не сказка,
Но только – жизнь без укоризн:
Футбол – для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь.

В двух заключительных строках второй строфы «Стансов» (как тоже отмечалось комментаторами) речь идет о сборной команде Страны Басков, «в которой были 9 бойцов-республиканцев», приехавшей «в Москву в июне 1937» года[998], а, если точнее – 8 бойцов, приехавших 16 июня[999]. Сборная Страны Басков провела с ведущими московскими и ленинградскими футбольными командами несколько матчей; 5 июля, то есть в тот день, каким датированы мандельштамовские «Стансы», состоялся матч сборной Страны Басков с московским «Динамо», о чем «Правда» поместила специальную заметку[1000]. Пафосом, сходным с мандельштамовским, окрашен, например, следующий фрагмент отчета Льва Кассиля о матче сборная Страны Басков – «Локомотив»: «У наших гостей двойная слава. Восемь из них были игроками знаменитой национальной сборной команды, защищавшей цвета Испании в самых ответственных международных матчах. Но есть еще одно обстоятельство, и вот оно-то делает баскских товарищей близкими, родными, знакомыми нам, – все они дрались на фронтах республики. И если в команде Страны Басков не хватает 2–3 прославленных игроков, то это потому, что славные бойцы футбольного зеленого

поля сложили свои смелые головы на поле битвы»[1001].

В третьей строфе «Стансов» специального комментария требует не очень понятная первая строка:

Москва повто́рится в Париже,
Дозреют новые плоды,
Но я скажу о том, что ближе,
Нужнее хлеба и воды…

Загадка отгадывается просто и предельно конкретно: подразумевается вовсе не грядущая Мировая революция, как это может показаться без чтения прессы соответствующего периода, а советский павильон на международной выставке «Искусство и техника в современной жизни», открывшейся в Париже 24 мая 1937 года. 1 июля павильон посетил Ромен Роллан, о чем «Правда» бравурно писала в номерах от 2 и 3 числа[1002]. Приведем также фрагмент из репортажа И. Маньэна, напечатанного в «Правде» 1 июля. В этом репортаже особое внимание было уделено скульптуре В. Мухиной «Рабочий и колхозница», изготовленной специально для советского павильона парижской выставки: «По общему мнению, СССР оказался на высоте науки и цивилизации. Советский павильон, находящийся у входа на большую трассу Трокадеро, приковывает внимание посетителей монументальной группой, возвышающейся над ним. Группа в радостном порыве стремится вперед»[1003].

В четвертой строфе «Стансов» с помощью привлечения газетного материала должно быть прокомментировано одно, но ключевое слово последней строки:

О том, как вырвалось однажды:
– Я не отдам его! – и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его *обороним*…

Тут подразумевается опять же не абстрактная коллективная защита Сталина от гипотетических врагов, а вполне конкретная акция Сталиным инициированная: 2 июля 1937 года «Правда» напечатала правительственное постановление «О выпуске “Займа Укрепления *Обороны* Союза ССР”»[1004], которое затем в течение нескольких дней обсуждалось и восхвалялось на страницах всех советских газет. В частности, 4 июля «Правда» опубликовала большую подборку материалов «Подписка на заем развертывается по всей стране»[1005].

Мы видим, что в «Стансах» Мандельштам отреферировал новости текущей политической и общественной жизнь весьма оперативно, хотя и не везде со скоростью репортера. С понятными оговорками его стихотворение правомерно было бы сравнить с обзором знаковых событий в стране приблизительно за месяц, выполненным по главной государственной газете – «Правде».

На короткое время мандельштамовское чувство к возлюбленной оказалось почти неотделимым от чувства к диктатору – подобное опьянение Сталиным поэт разделил со многими своими современниками. Так, вполне здравомыслящий Корней Иванович Чуковский 22 апреля 1936 года внес в свой дневник следующую восторженную запись: «ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами <колхозница-ударница> Демченко. И мы все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства <…>. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: “Ах, эта Демченко, заслоняет его!” (на минуту). Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью…»[1006].

У Мандельштама отрезвление, как обычно, наступило несколько быстрее, чем у остальных. Уже 17 июля 1937 года жена Яхонтова в раздражении записала в дневнике: «Расстроили меня, обозлили два звонка М<андельштама>, даже три. Это непроходимый, капризный эгоизм. Требование у всех, буквально, безграничного внимания к себе, к своим бедам и болям.

В их воздухе всегда делается “мировая история” – не меньше, – и “мировая история” – это их личная судьба, это их биография.

В основном постыдная, безотрадная, бессобытийная, замкнутая судьба двух людей, один из которых на роли премьера, а другая – вековечная классическая плакальщица над ним. Его защитница от внешнего мира, а внешне это уже нечто такое, что заслуживает оскала зубов.

Итак, в вечном конфликте (интересно, существовал ли этот конфликт до Октябрьской революции. Похоже, что нет)»[1007].

В описываемый период Мандельштамы уже больше двух недель жили в приволжском городке Савелове: в начале июня 1937 года милиция потребовала от Осипа Эмильевича и Надежды

Яковлевны в 24 часа покинуть столицу. Оказывается, после ссылки поэт и его жена не имели права проживать в Москве.

В середине июля стало ясно, что выступление в Союзе писателей, о котором Попова торжественно сообщала Яхонтову, не состоится. Тогда же в Савелово навестить Мандельштамов приехала Наталья Штемпель. «Нашла нужную улицу и дом; в окне увидела Осипа Эмильевича. Он таинственно поднес палец к губам, молча вышел ко мне, поцеловал и ввел в дом. Надежда Яковлевна тоже мне обрадовалась.

В бревенчатом доме они снимали полупустую комнату, но в этом была какая-то дачная прелесть, казалось, больше воздуха»[1008].

Как-то сводить концы с концами Мандельштамам помогали Валентин Катаев и Евгений Петров, Соломон Михоэлс и Владимир Яхонтов, Семен Кирсанов и Всеволод Вишневский. Чтобы раздобыть немного денег на жизнь, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна съездили в Ленинград. Михаил Леонидович Лозинский дал 500 рублей – это позволило оплатить дачу в Савелове до конца лета. Деньгами помогли также Юрий Тынянов, Корней Чуковский, Михаил Зощенко, Валентин Стенич. Ночевали Мандельштамы в Фонтанном доме, у Пуниных. Из воспоминаний Анны Ахматовой: «В это время в Шереметьевском доме был так называемый «Дом занимательной науки». Проходить к нам надо было через это сомнительное заведение. Осип озабоченно спросил меня: “А, может быть, есть другой занимательный выход?”»[1009]. «Так они прожили год, – продолжает Анна Андреевна. – Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен <на 15 октября 1937 года>, но, по-видимому, “забыли” послать повестки, и никто не пришел. О.Э. по телефону пригласил <Николая> Асеева. Тот ответил: “Я иду на “Снегурочку” <в Большой театр>”, а <поэт Илья> Сельвинский, когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал три рубля»[1010].

С ноября 1937 года Мандельштамы поселились в Калинине. «<Н>и на кого не похожий человек в кожаном пальто с сильно оттопыренными ушами. Казалось, он ни секунды не может усидеть на месте. Все время ходил, чуть ли не бегал по двору. Со стороны мне это казалось очень смешным»[1011]. Таким Осип Эмильевич запомнился школьнице-соседке.

«Мы живем сейчас в избе на окраине города, – рассказывала Надежда Яковлевна в письме к сосланному Борису Кузину от 30 ноября. – Под окнами – огороды, огороды, огороды. Сейчас выпал снег и пейзаж облагообразился <…>. Сам Калинин – хороший

городок, но в центре не найти комнату»[1012]. В более раннем письме – от 6 ноября – Надежда Яковлевна сообщила Кузину неутешительные и утешительные новости о Мандельштаме: «Плохо, что Ося болен – склероз аорты, плохо с сердцем. Хорошо, что он исключительно жизнеспособен и массу работал»[1013]. «Жена за эти годы очень устала, но духом крепка, – в тот же день писал Кузину сам поэт. – Когда выпадает период покоя – она совсем молодая. Сейчас наш старый воронежский быт уже не существует, а новый еще не сложился. Все зависит от решения Союза писателей, подошедшего к этому делу очень серьезно. <… > Мы забегаем в музеи, жадно смотрим живопись, ведем очень подвижный и несколько утомительный образ жизни»[1014]. В декабре 1937 года Осип Эмильевич в письме к Кузину так рассказывал о своем отношении к современности: «Стариной заниматься не хочу. Хочу двигать язык, учиться и вообще быть с людьми, учиться у них»[1015].

Новый, 1938 год Мандельштамы встретили в Калинине. «Вчера мы ходили по улицам и увидали мальчишку с девчонкой, которые везли на санках довольно густую елочку, – писала Надежда Яковлевна Борису Сергеевичу. – И хотя весь город завален елками и хотя мы уже порешили елку не покупать, мы все же не выдержали и повернули санки с елочками к нашему дому.

На елке оказалось девять свечек – десятый подсвечник сломался. Ося побрился ровно в одиннадцать часов – в пол-одиннадцатого вернулись домой: ездили в аптеку за лезвием для “жилета” <Еще 7 ноября 1935 года, когда отмечался совсем другой праздник, Сергей Рудаков писал жене: “О<сип> побрился – я ему сказал, что есть два человека, О<сип> Э<мильевич> бритый и О<сип> Э<мильевич> небритый. А он добавил, что у них разная идеология”>[1016].

Вино было кислое, но благородное, – продолжает Надежда Яковлевна. – Встретили Новый год честь честью – с хозяйкой, выпили вина, закусили и легли спать <…>. Я очень дохлая. Не знаю, чего я не переношу, но все мне делается дурно. Оська – ничего, но душевное состояние тяжелое <…>. Ходит он, как кот в сапогах, в лже-валенках – валенки трудно достать – в коричневых матерчатых сапогах, которые называются в магазинах “чулки”… Ступает мягко и тяжело и целый день бегает по комнате. Иногда от усталости валится на кровать. К вечеру устает, как после большой экскурсии»[1017].

К началу весны дела вроде бы чуть-чуть поправились: 2 марта Литфонд выделил Мандельштамам путевки в дом отдыха «Саматиха» и пособие на их приобретение. Между 3 и 5 марта Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна съездили в Ленинград, где

в последний раз Мандельштам увиделся с Ахматовой. «Беда ходила по пятам за всеми нами, – пишет Ахматова в «Листках из дневника». – Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню, куда. Все было как в страшном сне. Кто-то пришедший после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у “деда”) нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу»[1018].

И все-таки пребывание в санатории «Саматиха» взбодрило Мандельштама. 10 марта 1938 года он отправил жизнерадостное письмо Борису Кузину. 16 апреля – отцу, Эмилю Вениаминовичу. Из письма к Борису Кузину: «Вчера я схватил бубен из реквизита Дома отдыха и, потрясая им и бия в него, плясал у себя в комнате: так на меня повлияла новая обстановка. “Имею право бить в бубен с бубенцами”» (IV: 199). Из письма к отцу: «Здесь очень простое, скромное и глухое место. 4 1/2 часа по Казанской дороге. Потом 24 километра на лошадях. Мы приехали, еще снег лежал <…>. Так или иначе – мы получили глубокий отдых, покой на 2 месяца. Этого отдыха осталось еще 3 недели. Мое здоровье лучше <…>. Главное: работа и быть вместе» (IV: 200).

В промежутке между этими двумя посланиями – 16 марта – было отправлено еще одно, определяющее для судьбы Мандельштама, письмо. Письмо-донос Ставского наркому внутренних дел СССР Ежову.

Осип Эмильевич еще с воронежских времен забрасывал Ставского жалобами на неправильное к себе отношение и просьбами о материальной и моральной поддержке. Способ, с помощью которого Ставский решил раз и навсегда положить конец мандельштамовским притязаниям, нельзя не признать весьма действенным. «Уважаемый Николай Иванович! – обращался он к Ежову. – В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос об Осипе Мандельштаме.

Как известно – за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию О. Мандельштам был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами “зоны”).

Но на деле – он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом – литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него “страдальца” – гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы, выступали остро.

С целью разрядить обстановку О. Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не

решает всего вопроса о Мандельштаме.

Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь.

За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют – по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко, отзыв которого прилагаю при сем).

Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об О. Мандельштаме.

С коммунистическим приветом

В. Ставский»[1019].

К письму Ставского был приложен уже цитировавшийся нами отзыв о стихах Мандельштама, составленный Петром Павленко, из которого здесь приведем небольшой фрагмент: «Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи»[1020].

Выходит, что Осип Эмильевич не ошибался в своей провидческой ненависти к писательскому племени – именно братья-писатели в итоге погубили Мандельштама. Ранним утром 2 мая 1938 года поэт был арестован в доме отдыха «Саматиха». Из «Воспоминаний» Надежды Яковлевны: «Очнувшись, я начала собирать вещи и услышала обычное: “Что даете так много вещей – думаете он долго у нас пробудет? Спросят и выпустят…” Никакого обыска не было: просто вывернули чемодан в заранее заготовленный мешок. Больше ничего <…>. “Проводи меня на грузовике до Черусти”, – попросил О. М. “Нельзя”, – сказал военный, и они ушли. Все это продолжалось минут двадцать, а то и меньше»[1021].

Со следственными формальностями на этот раз тоже не особенно церемонились – аресты давно приняли столь массовый характер, что дело Мандельштама рассматривалось как рутинное, среди сотен других, ему подобных. Сохранился лишь один протокол допроса поэта – от 17 мая 1938 года. Вел допрос следователь Шилкин.

«*Вопрос*: Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя виновным?

Ответ: Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю.

<…>

Вопрос: Следствию известно, что вы, бывая в Москве, вели антисоветскую деятельность, о которой вы умалчиваете. Дайте правдивые показания.

Ответ: Никакой антисоветской деятельности я не вел»[1022].

24 июня Мандельштам был освидетельствован психиатрической комиссией: «…душевной болезнью не страдает, а является личностью психопатического склада со склонностью к навязчивым мыслям и фантазированию. Как душевнобольной – ВМЕНЯЕМ»[1023].

20 июля 1938 года было утверждено обвинительное заключение. 2-м августа датировано Постановление ОСО по делу «о Мандельштаме Осипе Эмильевиче, 1891 года рождения, сыне купца, эсере. Постановили:

Мандельштама Осипа Эмильевича за к.-р. <контрреволюционную> деятельность заключить в И<справительно> Т<рудовой> Л<агерь> сроком на пять лет, считая срок с 30 апреля 1938 г. Дело сдать в архив»[1024].

На обороте – помета: «Объявлено 8/8 – 38 г.», и далее – рукой поэта: «Постановление ОСО читал. О.Э. Мандельштам»[1025].

16 августа мандельштамовские документы были переданы в Бутырскую тюрьму для отправки на Колыму. 23 августа он получил денежную передачу от Надежды Яковлевны – 48 рублей. А в начале сентября 1938 года поэт в столыпинском вагоне отправился в свое последнее путешествие по стране – в пересыльный лагерь 3/10 Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.

7

В 1949 году эмигрант Сергей Константинович Маковский, в «Аполлоне» которого Мандельштам когда-то дебютировал, внес в свой блокнот полученную от доброжелателя-слависта информацию о пореволюционной биографии Осипа Эмильевича: «После “Tristia” была выпущена еще книга его, куда вошли стихи из “Камня”, “Tristia” и новые стихи, написанные уже после революции <…>. Этот последний сборник вышел в 1927 году. Но поэт продолжал печатать стихи в разных советских журналах и позже, вплоть до 36 или 37 года, когда с ним стряслась беда. А именно, он написал эпиграмму на Сталина (три четырехстишия) и прочел ее своим друзьям-поэтам: Пастернаку, на дому у которого это было, и трем другим. ГПУ, однако, тотчас было осведомлено об этой политической шалости Мандельштама. Он

был арестован. Тогда начались за него хлопоты. Дело дошло до Сталина. Ходатаи за Мандельштама ссылались на то, что он, хоть и немного написал, но является самым гениальным из современных поэтов. Сталин, будто бы, лично звонил по телефону Пастернаку и спросил его, правда ли это? Пастернак так опешил от звонка самого “отца народов”, что не сумел защитить репутацию Мандельштама… Его выслали на юг России (может быть, в Эривань, которой посвящено одно из его поздних стихотворений?) Он оставался в этой ссылке до <19>39 года, когда ему разрешили вернуться в Москву. В этот приезд свой он читал какие-то свои стихи, будто бы всех поразившие блеском. Затем поэт опять оказался где-то в провинции, там и застала его война. При наступлении германских войск он с перепугу собирался бежать куда глаза глядят, выскочил во двор дома, где проживал, и сломал себе ногу. Как раз в это время оказались у дома немцы и пристрелили его»[1026].

Кривое эмигрантское зеркало, пусть причудливо, но отразило обстоятельства реальной мандельштамовской биографии 1930-х годов. И только сведения о гибели поэта ни в какой мере не соответствуют действительности. Впрочем, всевозможные легенды о смерти Мандельштама циркулировали и в советском самиздате. Можно сослаться, например, на известный рассказ Варлама Шаламова «Шерри-бренди» 1965 года: «…Он не спеша думал о великом однообразии предсмертных движений, о том, что поняли и описали врачи раньше, чем художники и поэты. Гиппократово лицо – предсмертная маска человека – известно всякому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейду поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение – вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты. Приятно было сознавать, что он еще может думать. Голодная тошнота стала давно привычной. И все было равноправно – Гиппократ, дневальный с родимым пятном и его собственный грязный ноготь»[1027].

На самом деле все было гораздо проще. И гораздо страшнее.

Во Владивосток, в лагерь на Вторую речку Осип Эмильевич Мандельштам прибыл 12 октября 1938 года. Свидетельство Ю. Моисеенко: «Где-то 2–3 ноября в честь Октябрьской революции объявили “день письма”: заключенным разрешили написать домой. <…> После завтрака, часов около одиннадцати, явился представитель культурно-воспитательной части. Роздали по половинке школьного тетрадного листа в линейку, карандаши – шесть штук на барак <…> Осип Эмильевич тоже письмо оставил. Писал сидя, согнувшись на нарах»[1028].

Поскольку Мандельштам ничего не знал о судьбе Надежды Яковлевны, свое письмо он адресовал брату:

> «Дорогой Шура!
>
> Я нахожусь – Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак. Получил 5 лет за к.р.д. по решению ОСО. Из Москвы из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое, истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.
>
> Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.
>
> Родные мои, целую вас.
>
> Ося.
>
> Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение. Из лагеря нашего, как транзитного, отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в “отсев”, и надо готовиться к зимовке.
>
> И я прошу: пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом» (IV: 201).

Ослабленный физически и морально, Осип Эмильевич не был готов к страшной лагерной жизни, к страшной лагерной зиме. Когда-то в юности он почти риторически вопрошал: «За радость тихую дышать и жить / Кого, скажите, мне благодарить?» В 1920-е годы поэт повторил и развил эти строки в одной из своих статей: «Ребенок кричит оттого, что он *дышит и живет*, затем крик обрывается – начинается лепет, но внутренний крик не стихает и взрослый человек внутренне кричит немым криком новорожденного. Общественные приличия заглушают этот крик – он сплошное зияние <…> это вечное “я живу, я хочу, мне больно”» (II: 341). Законы лагеря были устроены таким образом, чтобы внутренний крик человека прорвался наружу, чтобы «мне больно» возобладало над тихой радостью «дышать и жить».

Свидетельство В. Меркулова: «С Мандельштама сыпались вши. Пальто он выменял на несколько горстей сахару. Мы собрали для Мандельштама кто что мог: резиновые тапочки, еще что-то. Он тут же продал все это и купил сахару»[1029]. Свидетельство Д. Злотинского: «Мы стали (очень быстро) замечать странности за ним: он доверительно говорил нам, что опасается смерти – администрация лагеря его хочет отравить. Тщетно мы его разубеждали – на наших глазах он сходил с

ума»[1030]. Свидетельство Д. Маторина: «Я говорил Мандельштаму: “Ося, делай зарядку – раз; дели пайку на три части – два”. А он пищу не по-человечески ел, глотал все сразу, а это, хоть и мало, все же 400 граммов! Я ему: “Ося, сохрани”. А он мне: “Митя, украдут” <…>. Было и еще одно: он пал духом, а значит – все потерял»[1031].

Развязка наступила 27 декабря 1938 года. Из воспоминаний Ю. Моисеенко: «В ноябре нас стали заедать породистые белые вши <…>. Сыпной тиф проник, конечно, и к нам. Больных уводили, и больше мы их не видели. В конце декабря, за несколько дней до Нового года, нас утром повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения в одевалку, где было еще холодней. Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии: “Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58 (10), срок 10 лет”. И москвич Моранц, кажется, Моисей Ильич, с теми же данными»[1032]. Свидетельство Д. Маторина: «А дальше за дело принялись урки с клещами, меня они быстро выгнали. Прежде чем покойника похоронить, у них вырывали коронки, золотые зубы. Снимали с помощью мыла кольца, если кольца не поддавались, отрубали палец. У Мандельштама, я знаю, были золотые коронки… И только потом хоронили: в нательной рубахе, кальсонах, оборачивали простыней и отвозили на кладбище без гроба. На Второй Речке за первой зоной рыли траншеи – глубиной 50–70 см и рядами укладывали»[1033].

Так окончил свой земной путь Осип Эмильевич Мандельштам. Впереди ожидали долгие годы почти полного забвения на родине.

Эпилог
Надежда Яковлевна

1

На Западе в 1940–1950-е годы время от времени появлялись отдельные публикации и републикации стихов Мандельштама, а также воспоминания о нем. СССР хранил ледяное молчание вплоть до 1957 года, когда малотиражная специализированная газета «Московский литератор» в номере от 16 июня напечатала крохотную заметку без подписи о создании, 28 февраля 1957 года, комиссии по литературному наследию поэта.

Еще четыре года спустя, в первом номере «Нового мира» за 1961 год, активный член этой комиссии, Илья Григорьевич Эренбург, поместил очередные главы своих мемуаров «Люди, годы, жизнь». О Мандельштаме здесь говорилось подробно и восторженно и даже полностью приводилось его «крамольное» четверостишие 1935 года:

> Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
> Уронишь ты меня иль проворонишь,
> Ты выронишь меня или вернешь,
> Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож…

Потом последовали скупые публикации поздних стихов Мандельштама в московском альманахе «День поэзии» (1962) и в № 8 журнала «Москва» за 1964 год. В 1967 году в издательстве «Искусство» вышел мандельштамовский «Разговор о Данте», с содержательным послесловием Л.Е. Пинского и примечаниями подвижника мандельштамоведения А.А. Морозова.

Однако более или менее полноценного советского издания книги стихотворений Мандельштама любителям поэзии пришлось дожидаться вплоть до 1973 года, хотя в издательский план она была включена еще в 1959 году. И то книгу обезобразило отсутствие «Стихов о неизвестном солдате», а еще больше – трусливое и лживое предисловие Александра Дымшица[1034].

Фрагменты о Мандельштаме в подцензурных советских мемуарах в лучшем случае (как у того же Эренбурга) сводились к изображению трогательного поэта-чудака; в худшем (как,

например, у Александра Коваленкова) – читателю предлагается портрет слегка замаскировавшегося идеологического врага: «…За каждой строкой этого оказавшего настолько заметное влияние на литературные течения тридцатых годов поэта, что даже появился термин “мандельштамп”, стоял призрак буржуазной цивилизации Запада. Сергей Есенин однажды даже пытался бить Мандельштама. И было за что»[1035].

В интеллигентской среде циркулировали разнообразные, порою – фантастические слухи о поэте и о его последних годах, свидетельством чего может послужить куплет, приписанный кем-то к известной песне Юза Алешковского «Товарищ Сталин, Вы большой ученый…»:

Для Вас в Москве открыт музей подарков.
Сам Исаковский пишет песни Вам.
А нам читает у костра Петрарку
Фартовый парень Ося Мандельштам.

Информативным источником для этого куплета послужили мемуары Эренбурга.

Кардинально важным событием стал выход в США, в 1955 году, однотомного «Собрания сочинений» Мандельштама под редакцией Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Впоследствии состав и нумерация томов менялись. В итоге их, за четверть века, было издано четыре.

До вдовы поэта, Надежды Яковлевны, экземпляры этого собрания зачастую добирались весьма извилистыми путями. Из рассказа Алексея Аренса: «Однажды мне позвонили. Женский голос: “Альоша? Аренс?” Я говорю: “Да” <…>. Женский голос: “Нам надо встретиться, у меня для Надежды подарок от Мариолины <Ронкале – итальянской славистки>” <…>. Женщина сказала, что будет в шубе. Она оказалась похожей на Буратино, с длинным носом, такая смешная, и в шубе расклешенной – наверное, ондатра или что-нибудь в этом роде. Короткий такой мех, блестящий, красивый. Мы поехали на метро к Надежде Яковлевне <…>. И когда мы приехали, то эта итальянка сказала: “Надежда Яковлевна, у Вас есть ножницы?” Потом она разрезала подкладку, достала три экземпляра первого тома Мандельштама, проговорив: “Видите, как я легко обманула ваших таможенников”»[1036].

«У вдовы Осипа Мандельштама светлые ведьминские глаза, мелкие кошачьи зубы и детская улыбка с легкой приправкой яда, – вспоминает тогдашний облик Надежды Яковлевны Эллендея Проффер Тисли. – Ей шестьдесят девять лет, выглядит

она гораздо старше, но хрупкость ее обманчива»[1037].

Только после появления многотомного американского Мандельштама Надежда Яковлевна смогла вздохнуть относительно спокойно. Казавшаяся ей почти безнадежной миссия была вопреки всему выполнена – мандельштамовские стихи 30-х годов обрели читателя, и с этим уже никто, ничего и никогда не смог бы поделать.

2

22 октября 1938 года, отчаявшаяся, изверившаяся Надежда Яковлевна написала Осипу Эмильевичу. Это было ее прощание с мужем:

> «Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.
>
> Осюша – наша детская с тобой жизнь – какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?
>
> Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже, наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды – это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.
>
> Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка – тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь…
>
> Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье – и как мы всегда знали, что именно это счастье.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному – одной. Для нас ли – неразлучных – эта участь? Мы ли – щенята, дети – ты ли – ангел – ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все, и каждый день твой и час, как в бреду, – мне очевиден и ясен.

Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал.

Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, где ты.

Проснувшись сказала <мандельштамовскому брату> Шуре: Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе… Ты всегда со мной, и я – дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, – я плачу, я плачу, я плачу.

Это я – Надя. Где ты?

Прощай, Надя»[1038].

Уже в феврале 1939 года Надежда Яковлевна твердо знала, что Мандельштам в лагере погиб. Отныне и на два следующих десятилетия едва ли не единственным смыслом ее существования станет сбережение неопубликованных произведений мужа. «Со мной живут стихи… Это тоже много. У других и этого нет», – писала Надежда Яковлевна Борису Кузину 8 июля 1938 года[1039]. «Стихи и прозу она твердила наизусть, не доверяя своим тайным хранениям, а некоторые – как стихотворение о Сталине, но не только его – не смея даже записать»[1040]. Поэтому не должны удивлять панические строки из письма Надежды Яковлевны к Кузину от 14 января 1940 года: «Борис, я начинаю забывать стихи. Последние дни я их как раз вспоминала. Очень мучительно. А некоторых я не могу вспомнить. И счет не сходится – нескольких просто не хватает – выпали»[1041].

Два предвоенных года Надежда Мандельштам вместе с матерью, Верой Яковлевной, обреталась в Калинине, зарабатывая себе и ей на существование преподаванием языков в школе, а также расписыванием деревянных игрушек. «Работаю я невероятно много. Читать не успеваю. Две школы <№ 1 и № 26>, игрушки. Около 400 учеников и т. д. А зарабатываю (на руки) рублей 400 в месяц. Жить очень трудно. Дров есть (чудом) шесть метров» (Из письма к Кузину, отправленного в октябре 1940 года)[1042].

Большую часть войны Надежда Яковлевна провела в эвакуации, в Средней Азии, вместе с Анной Ахматовой. «Вывезла маму. Она и сейчас жива. Крошечная старушка. Совсем ничего не понимает. Но такая старушка очень привязывает к жизни» (из письма Надежды Яковлевны к Борису Пастернаку от 22 апреля 1943 года)[1043].

В Ташкенте вдова Мандельштама руководила кружком английского языка при Центральном доме художественного воспитания детей. «Уроки у нее были ни на что не похожие, – вспоминал Эдуард Бабаев. – Она, не говоря лишних слов, принялась читать с нами стихи Эдгара По <…>. Успех оказался необычайным. Мы бредили стихами об Аннабель Ли, о колоколе, о вороне»[1044]. Из мемуаров Валентина Берестова: «“– Чтобы усвоить английское произношение, – продолжила она <…>, – надо на время потерять всякий стыд. Каждую букву старайтесь произносить не по-людски, лайте, блейте, шипите, высовывайте язык! Потом этого делать будет не нужно. А пока – хау-хау! уай-уай!” Мы радостно лаяли вместе с ней и узнали, что при этом произносим “как? как? почему? почему?” Потом мы принялись блеять: “Бэ-эк!” Оказалось, мы говорим слово “назад”»[1045].

В Ташкенте, в сентябре 1943 года, умерла Вера Яковлевна.

Архив Осипа Эмильевича оставался постоянной и неослабевающей заботой Надежды Мандельштам. Из мемуаров Э. Бабаева: «Среди всех тревог и ужасов, которые окружали Надежду Яковлевну, самой большой был “рукописный чемодан” под тахтой у двери. В нем хранилось все, что можно было увезти с собой в эвакуацию, в скитания. Самая мысль о возможности исчезновения этого чемодана приводила ее в отчаяние»[1046].

Августом 1946 года датировано печально известное Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», где на Анну Андреевну Ахматову и ее сотоварищей по акмеизму, в том числе Мандельштама, была обрушена площадная брань. Чувствуя за плечами грозную опасность, Надежда Яковлевна разумно сочла за лучшее временно передать архив мужа на хранение более твердо стоящему на ногах человеку из своего ближнего окружения. Выбор пал на лингвиста Сергея Игнатьевича Бернштейна.

У Бернштейна мандельштамовские бумаги пролежали до осени 1957 года (хранителями архива в трудные годы были также Евгений Яковлевич Хазин, Эмма Григорьевна Герштейн, Игнатий Игнатьевич Бернштейн, Николай Иванович Харджиев).

Разумеется, Надежда Яковлевна никогда, насколько это было возможно, не выпускала архив Осипа Эмильевича из поля зрения. Как вспоминает дочь Игнатия Игнатьевича и племянница Сергея

Игнатьевича Бернштейна, Софья Богатырева: «Память Надежды Мандельштам служила не только хранилищем ненапечатанных стихов ее мужа. Это был еще и центр мандельштамоведения – там шла постоянная исследовательская работа. Отыскивались – в глубине памяти, а, может быть, в глубине подсознания – варианты, отвергнутые редакции, они сравнивались, оценивались, из них выбирались и утверждались окончательные. Самодельная книжечка – не книжка даже, стопка листков – на нашем дачном столе, думаю, была для Надежды Мандельштам прообразом будущего академического собрания сочинений. Там следовало учесть все»[1047].

Между тем, скитания мандельштамовской вдовы по городам и весям Советского Союза продолжались. Вскоре после смерти Сталина, в 1953 году, ей удалось устроиться на место старшего преподавателя в Читинский государственный педагогический институт. Сослуживице Надежды Яковлевны по кафедре, Лидии Острой, запомнилось, что дома она, как правило, «лежала на своей маленькой кровати, покрытой старым пледом, с книгой в руках и обязательно с дымящейся сигаретой <на самом деле, разумеется, папиросой>. Книги, табак и кофе были ее неразлучными спутниками <…>. Ее гардероб был однообразным, но необычным. В течение двух лет она носила неизменное черное платье и синий шарф. Когда становилось холодно, Надежда Яковлевна облачалась в шубу своеобразного модного покроя с широкими рукавами, каких в Чите в то время еще не видели»[1048].

Только после XX съезда изготовленные Надеждой Яковлевной списки стихов Мандельштама 30-х годов наконец нашли своего читателя. Бессчетное число раз переписанные от руки и перепечатанные на машинке сотнями безымянных энтузиастов, эти стихи пошли широко гулять по стране, а вскоре и за ее пределами: представительные подборки стихотворений позднего Мандельштама по спискам, снятым со списков Надежды Яковлевны, были напечатаны в 1961 году, в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути», а затем в 1963 году в мюнхенском альманахе «Мосты».

Саму Надежду Мандельштам все эти благоприятные перемены долгое время почти не затрагивали (*почти*, потому что в июне 1956 года ей, при поддержке В.М. Жирмунского, удалось защитить кандидатскую диссертацию по английскому языкознанию в Ленинградском государственном педагогическом институте).

«Зимой 1962 года я подбил <Иосифа> Бродского на поездку во Псков, – вспоминает поэт Анатолий Найман, – Накануне

отъезда Ахматова предложила нам навестить преподававшую в тамошнем пединституте Надежду Яковлевну Мандельштам <…>. Она снимала комнатку в коммунальной квартире у хозяйки по фамилии Нецветаева, что прозвучало в той ситуации не так забавно, как зловеще <…>. Пауз было больше, чем слов, явственно ощущалось, что усталость, недомогание, лежание на застеленной кровати, лампочка без абажура – не сиюминутность, а такая жизнь, десятилетие за десятилетием, безысходная, по чужим углам, по чужим городам»[1049].

В Пскове Надежда Яковлевна начала работать над первой книгой своих мемуаров. В 1970 году, в Нью-Йорке, она вышла под заглавием «Воспоминания». В 1972 году, в Париже, была издана «Вторая книга» Надежды Мандельштам, переданная на Запад через Пьетро Сормани, московского корреспондента итальянской газеты «Corriere Della Sera». В 1987 году, уже после смерти Надежды Яковлевны вышла собранная Н.А. Струве из разрозненных очерков «Книга третья».

3

Кажется, никому еще не приходило в голову оспаривать решающую и героическую роль Надежды Яковлевны в деле сохранения литературного наследия Осипа Эмильевича Мандельштама. Хотя это, понятно, не означает, что корректному текстологическому и литературоведческому анализу не могут быть подвергнуты предложенные ею варианты отдельных мандельштамовских строк или, скажем, отстаиваемая Надеждой Яковлевной композиция воронежских стихов поэта: уникальность бытования текстов Осипа Эмильевича в последние годы его жизни и особенно – после его гибели – чрезвычайно усложняет проблему адекватного издания собрания сочинений Мандельштама, но отнюдь не отменяет ее.

Значительная роль Надежды Яковлевны как летописца мандельштамовской жизни и советской действительности в целом, безусловно, признанная ее прижизненными читателями, в обход цензуры перепечатывавшими и распространявшими ее книги, время от времени яростно оспаривалась, особенно часто – в последнее десятилетие.

И всегда как-то так незаметно получалось, что роль Надежды Мандельштам-«хранительницы» в итоге заслонялась в глазах негодующих оппонентов ее ролью «сказительницы». Только этим можно объяснить, например, гневную отповедь, которую обратила к вдове Мандельштама Лидия Корнеевна Чуковская:

«Достоинство человека измеряется тем, в какой мере он не заразился бесчеловечьем, устоял против него. Надежда Яковлевна ни в какой степени против него не устояла»[1050]. Или следующее категорическое высказывание Эммы Григорьевны Герштейн: «… Если мы будем судить о поэте по книгам его вдовы, вместо того, чтобы судить о его жизни по его книгам и высказываниям, мы никогда не доберемся до истины»[1051].

Действительно, во «Второй книге» и особенно в «Книге третьей» Надежда Мандельштам зло и не всегда справедливо высказалась о некоторых своих современниках. Впрочем, она и сама – «человек донельзя страстный и пристрастный»[1052] – ясно сознавала, что быть всегда объективной и доброжелательной – не ее удел. Вспомним автохарактеристику из последнего письма Надежды Яковлевны к Осипу Эмильевичу («…я – дикая и злая…») или, например, – фрагмент ее покаянного письма к Борису Кузину от 26 апреля 1939 года: «Я, конечно, никогда не скрывала от вас, что я невыносима. Теперь вы окончательно в этом убедились»[1053].

Единственная возможность, которая предоставляется современному читателю и исследователю – это дотошное сопоставление фактов и событий, как они приводятся Надеждой Яковлевной, с версиями ее оппонентов и с подтверждающими или опровергающими эти версии документами эпохи. Возможно, в итоге выяснится, что это – книги не столько мемуарного, сколько художественно-публицистического жанра. Будущему комментатору академического издания мемуарной трилогии Надежды Яковлевны Мандельштам еще предстоит погрузиться «в гущу отношений, сложнейших, часто непонятных, требующих серьезного исторического и нравственного изучения», как писал по сходному поводу несравненный мастер подобного рода реконструкций Натан Эйдельман[1054]. Жаль, конечно, что полемика большинства критиков Надежды Мандельштам с автором «Воспоминаний» и «Второй книги» получилась заочной. Так, талантливый мемуарист и литературовед Эмма Григорьевна Герштейн опубликовала свои инвективы в адрес Надежды Яковлевны много лет спустя после смерти вдовы поэта и рассчитывать на ее ответ не могла.

При этом современному читателю очень важно сознательно удерживаться от соблазнительной идентификации себя с той или иной спорящей стороной. «Вы понимаете – там, в тот час они были вместе; а нас там не было <…>. И я, тогда еще не родившийся, кто я такой, чтобы принимать сторону одной из них *против* другой? От души прилагаю к себе самому ахматовскую формулу: “Его здесь не стояло”»[1055]. К этим рассуждениям С.С.

Аверинцева стоит прислушаться всем нам, читателям и филологам нового поколения.

4

В 1964 году, при деятельном участии Анны Ахматовой, Фриды Вигдоровой, Натальи Столяровой и семьи Шкловских, Надежде Яковлевне удалось восстановить свою московскую прописку. В 1965 году у вдовы Мандельштама появилась собственная кооперативная однокомнатная квартира в столице, на первом этаже, по адресу: Большая Черемушкинская улица, д. 14. Здесь вокруг Надежды Мандельштам постепенно сплачивается «свита» ее младших друзей и помощников. Кроме того, «один за другим появляются иностранцы-литературоведы, уже понявшие значение поэзии Мандельштама. В один из вечеров Надежда Яковлевна знакомится со священником Александром Менем, который становится ее духовным отцом» (Ю. Табак)[1056].

5 марта 1966 года умерла Анна Андреевна Ахматова, так и не успевшая, как собиралась, посвятить Надежде Яковлевне отдельный очерк – «Нищенка-подруга» – в своей давно задуманной мемуарной книге «Пестрые заметки»[1057]. «Наде, то есть почти самой себе». Так надписала Ахматова вдове Мандельштама свой поэтический сборник «Бег времени»[1058]. А Надежда Яковлевна писала Ахматовой 8 мая 1963 года из Пскова: «Мне нечего говорить о том, как я Вас люблю, как я счастлива, что у Оси есть такой несравненный друг, и о том, какую жизненную силу я получила от Вас»[1059].

Воспоминаниям об Ахматовой и размышлениям над феноменом ее личности был посвящен первоначальный вариант «Второй книги» Надежды Мандельштам, писавшийся в том же, 1966 году.

Вспоминает Ю.Л. Фрейдин: «Последнее десятилетие Н.Я. жила в ожидании ареста и в надежде, что ее возраст и громкая известность удержат власти от этого шага»[1060].

«Бесконечно работоспособная Надежда Яковлевна, получив напечатанные в Париже воспоминания, легла в постель и заявила, что свой долг выполнила и хочет “к Оське”. С тех пор и до самой смерти она почти не вставала с кровати», – свидетельствует Ю. Табак[1061]. «Помню, что как-то, когда мы приехали к Надежде Яковлевне в гости, она сказала: “Теперь я могу умереть спокойно. Архив Оси далеко и в надежных руках”», – дополняет А. Аренс[1062].

Архив поэта, тайными дипломатическими каналами, в 1973

году, через Париж был переправлен в США, в Принстонский университет. «…страх за архив оставался, она хранила его с теми же предосторожностями, что и прежде, – вспоминает Ю.Л. Фрейдин. – Мы – люди другого поколения – были куда более легкомысленны и доверчивы. Поэтому твердое решение Н.Я. не оставлять бумаги на родине, а передать их в Америку, которое она приняла в начале 70-х годов, многим казалось неверным»[1063]. Со временем правота вдовы поэта стала очевидной – 1 июня 1983 года та часть мандельштамовского архива, которая оставалась в СССР, была незаконно изъята органами КГБ у душеприказчика Надежды Яковлевны, Юрия Львовича Фрейдина.

29 декабря 1980 года у постели восьмидесятиоднолетней Надежды Мандельштам дежурила ее молодая подруга Вера Иосифовна Лашкова. «Надежда Яковлевна обычно просыпалась поздно. Соответственно, и засыпала поздно – порой в три-четыре утра. Я вошла к ней. Она очень тихо и спокойно спала совершенно обыкновенным человеческим сном. Я даже не могу сказать блаженным – нет, обычным. Но в какой-то момент, когда я снова вошла, это, может быть, было где-то около одиннадцати, я вдруг увидела, что Надежда Яковлевна дышит очень часто, но спит. Я ее взяла за руку, у нее стало меняться дыхание. И я поняла, что она умирает, потому что она выдыхала и потом долго не вдыхала. У меня не было мысли что-то делать с ней. Для меня было очевидно, что она умирает. Я просто встала на колени рядом с ней, и, может быть, я не права была, не знаю, но я понимала, что она уходит, и понимала, что это святой, таинственный процесс. Очень быстро все произошло. Может быть, минут пять или десять. Я совершенно спокойно на это смотрела, и когда поняла, что она уже не дышит, перекрестила ее. Глаз она так и не открыла. Не стонала, не мучилась»[1064].

Похоронили Надежду Мандельштам на Старокунцевском кладбище. «За высоко поднятым гробом шли сотни людей и пели “Святый Боже…”. У меня возникло ощущение, что мы не только провожаем Надежду Яковлевну, но и отдаем дань памяти Осипа Эмильевича. Я поделилась своими мыслями с идущими рядом и мне ответили, что у них такое же чувство, что это действительно так и есть»[1065].

Рядом с могильным дубовым крестом Надежды Яковлевны скульптор Дмитрий Шаховской поместил прямоугольной формы гранитный знак-камень в память Осипа Мандельштама.

Избранная библиография

1. *Аверинцев С.С.* Судьба и весть Осипа Мандельштама // *Мандельштам О.* Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990.

2. *Бухштаб Б.Я.* Поэзия Мандельштама <1929> [1066] // Вопросы литературы. 1989. № 1.

3. *Гаспаров Б.М.* Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М., 1994.

4. *Гаспаров М.Л.* Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // *Мандельштам О.Э.* Полное собрание стихотворений / вступ. ст. М.Л. Гаспарова и А.Г. Меца; сост., подгот. текста и примеч. А.Г. Меца. СПб., 1995.

5. *Гаспаров М.Л.* О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М., 1996.

6. *Гинзбург Л.Я.* Поэтика Осипа Мандельштама <1966> // О старом и новом. Статьи и очерки. Л., 1982.

7. *Жолковский А.К.* «Я пью за военные астры…» – поэтический автопортрет Мандельштама // *Жолковский А.К., Щеглов Ю.К.* Работы по поэтике выразительности. Инварианты – Тема – Приемы – Текст. М., 1996.

8. *Кантор Е.* В теплокрылатом воздухе картин: Искусство и архитектура в творчестве О.Э. Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 1.

9. *Кац Б.А.* Защитник и подзащитный музыки // *Мандельштам О.* «Полон музыки, музы и муки…». Стихи и проза. Л., 1991.

10. *Кацис Л.Ф.* И.-В. Гёте и Р. Штейнер в поэтическом диалоге Андрей Белый – Осип Мандельштам // Русская эсхатология и русская литература. М., 2000.

11. *Левин Ю.И.* Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998.

12. *Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В.* Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма <1974> // Смерть и бессмертие поэта. Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня гибели О.Э. Мандельштама (Москва, 28–29 декабря 1998 г.). М., 2001.

13. *Левинтон Г.А.* «На каменных отрогах Пиэрии» Мандельштама: материалы к анализу // Russian Literature. 1977. Vol. 2–3.

14. *Лекманов О.А.* Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000.

15. *Морозов А.А.* [Осип Эмильевич Мандельштам] // Русские

писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т.3. М., 1994.

16. *Паперно И.А.* О природе поэтического слова: Богословские источники спора Мандельштама с символизмом // Литературное обозрение. 1991. № 1.

17. *Ронен О.* Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002.

18. *Сегал Д.М.* Осип Мандельштам. История и поэтика. Иерусалим, 1998.

19. *Семенко И.М.* Поэтика позднего Мандельштама. М., 1997.

20. *Тарановский К.Ф.* О поэзии и поэтике. М., 2000.

21. *Тоддес Е.А.* Поэтическая идеология // Литературное обозрение. 1991. № 3.

22. *Топоров В.Н.* О «психофизиологическом» компоненте поэзии Мандельштама // Осип Мандельштам: К 100-летию со дня рождения. М., 1991.

23. *Тынянов Ю.Н.* Промежуток <1924> // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

24. *Успенский Б.А.* Анатомия метафоры у Мандельштама // Новое литературное обозрение. № 7.

25. *Фрейдин Ю.Л.* Заметки о хронотопе московских стихов Мандельштама // Лотмановский сборник. Вып. 2. М., 1997.

26. *Broyde S.* Osip Mandelstam and His Age: A Commentary on the Themes of War and Revolution in the Poetry 1913–1923. Cambridge, 1975.

27. *Brown C.* Mandelstam. Cambridge, 1973.

28. *Dutli R.* Ossip Mandelstam – “Als riefe man mich bei meinem Namen”. Dialog mit Frankreich. Ein Essay über Dichtung und Kultur. Zürich, 1985.

29. *Freidin G.* A coat of many colors: O. Mandelstam and Mythologies of Self-Presentation. Berkeley; L.A.; L., 1987.

30. *Nillson N.* Osip Mandelstam: Five Poems. Uppsala, 1974.

31. *Ronen O.* An Approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983.

Иллюстрации

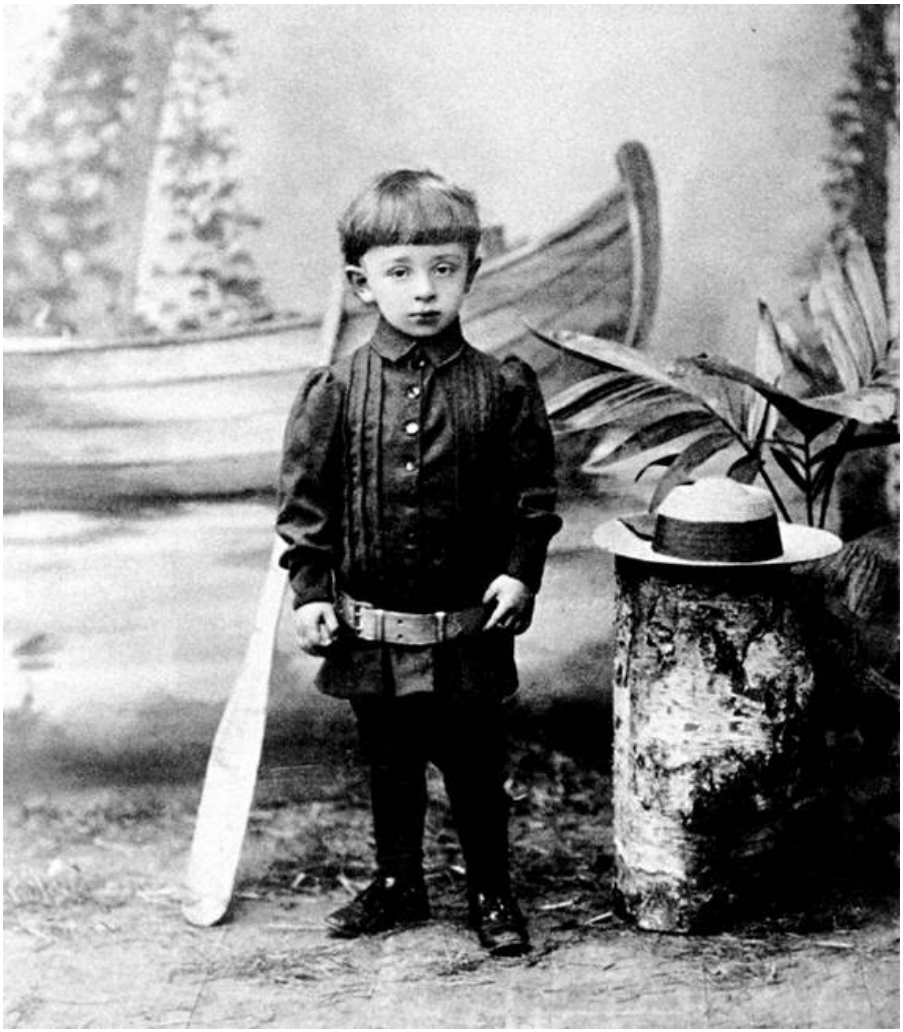
Осип Мандельштам. Москва. 1923 г.

Мать – Флора Вербловская. Вильно. 1890-е гг.

«Со временем Осип до конца понял, чем ей обязан, что она сделала для него…» (Е. Мандельштам)

Отец – Эмиль Мандельштам. 1890-е гг.

«Я все более убеждаюсь, что между нами очень много общего в интеллектуальном отношении…»



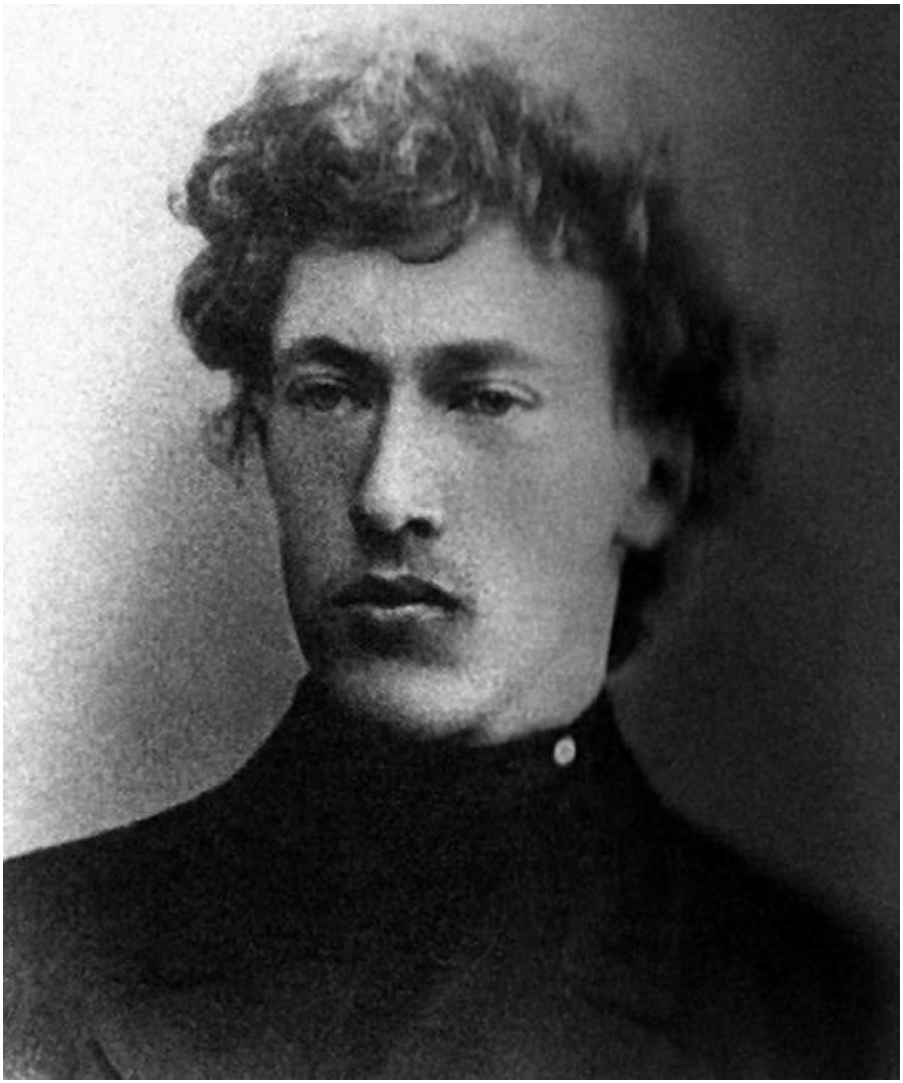
Осип Мандельштам. Павловск. 1894 г.

Братья Осип (слева) и Александр Мандельштамы. Санкт-Петербург. 1898 г.

Осип Мандельштам. [1910 г.]

Недоволен стою и тих
Я, создатель миров моих…

Осип Мандельштам. 1907 г.



Борис Синани. Конец 1900-х гг.

«Он вызвался быть моим учителем, и я не покидал его, покуда он был жив»

Тенишевское училище в Санкт-Петербурге

В «Шуме времени» О. Мандельштам, пусть иронически, сравнил Тенишевское училище – «самую тепличную, самую выкипяченную русскую школу» – с «пушкинским Лицеем»

Иннокентий Анненский. 1900-е гг.

«Первый учитель психологической остроты в новой русской лирике»

Валерий Брюсов. 1900-е гг.
«Брюсов научил русских поэтов уважать тему как таковую»

Вячеслав Иванов. 1910-е гг.

«Иванов в своем уборе из старых слов точно пышный ассирийский царь»

Александр Блок. 1913 г.

«О Блоке можно сказать – поэт Незнакомки и русской культуры»

Анне Ахматовой – вспышки сознания в беспамятстве дней, почтительно. Автор. 12 апр. 1913.

О. МАНДЕЛЬШТАМЪ.

КАМЕНЬ

СТИХИ.

АКМЭ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1913.

Первое издание сборника стихов «Камень». 1913 г.

На титульном листе: «Анне Ахматовой – вспышки сознания в беспамятстве дней, почтительно. Автор. 12 апреля 1913»

Георгий Иванов. Портрет работы П. Митурича. 1914 г.

Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

Осип Мандельштам. 1910-е гг.

Слева направо: Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Бенедикт Лившиц, Юрий Анненков. 1914 г.

Михаил Зенкевич. 1910-е гг.

Владимир Нарбут. [1913 г.]

Николай Гумилев. 1912 г.

Но в Петербурге акмеист мне ближе,
Чем романтический Пьеро в Париже.

Анна Ахматова. 1924 г.

«Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется»

Надежда Мандельштам. 1923 г.

«Я радуюсь и Бога благодарю за то, что он дал мне тебя. Мне с тобой ничего не будет страшно, ничего не тяжело…»

Осип Мандельштам. 1919 г.

Ольга Ваксель. 1925 г.

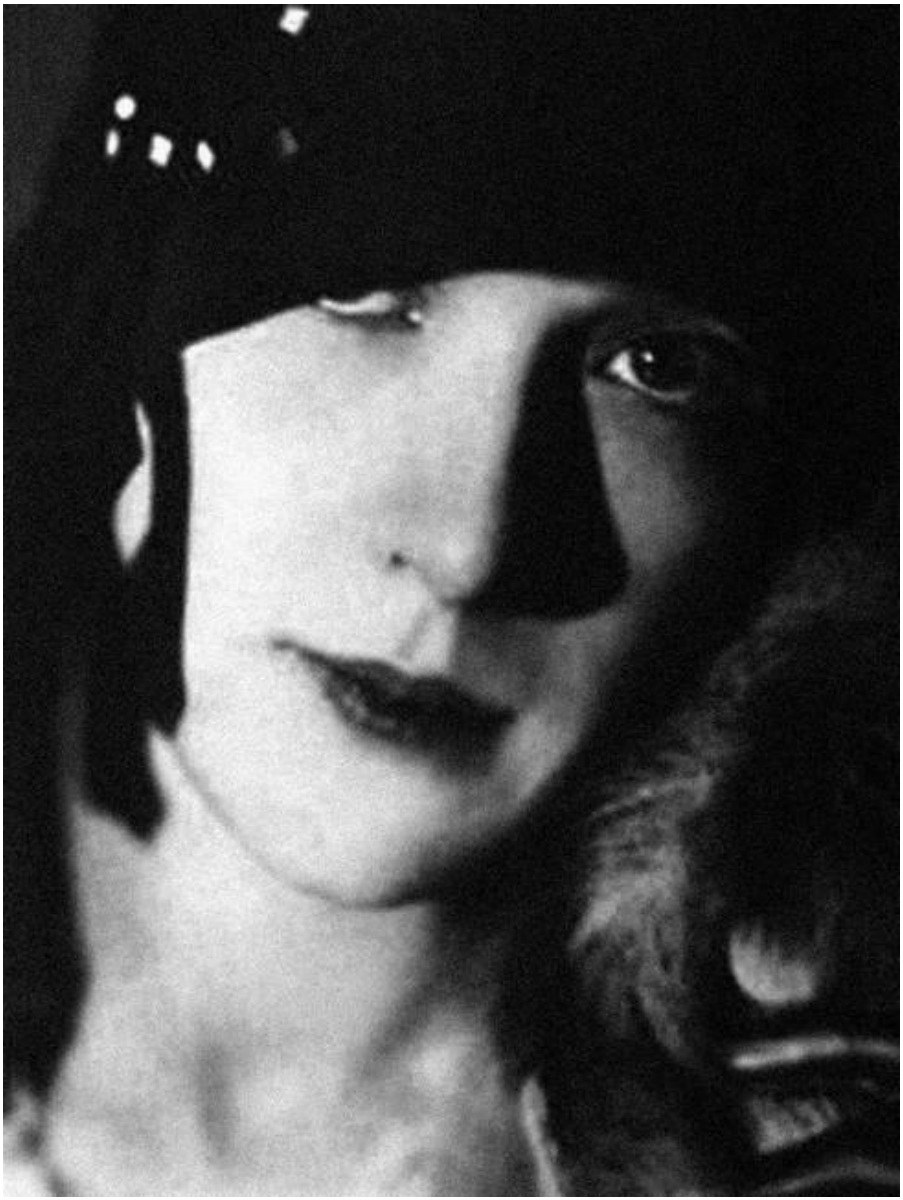
«То была какая-то беззащитная принцесса из волшебной сказки, потерявшаяся в этом мире…» (Н. Мандельштам)

Саломея Андроникова

Соломка звонкая, соломинка сухая…

Марина Цветаева. 1914 г.

С такой монашкою туманной
Остаться – значит быть беде.



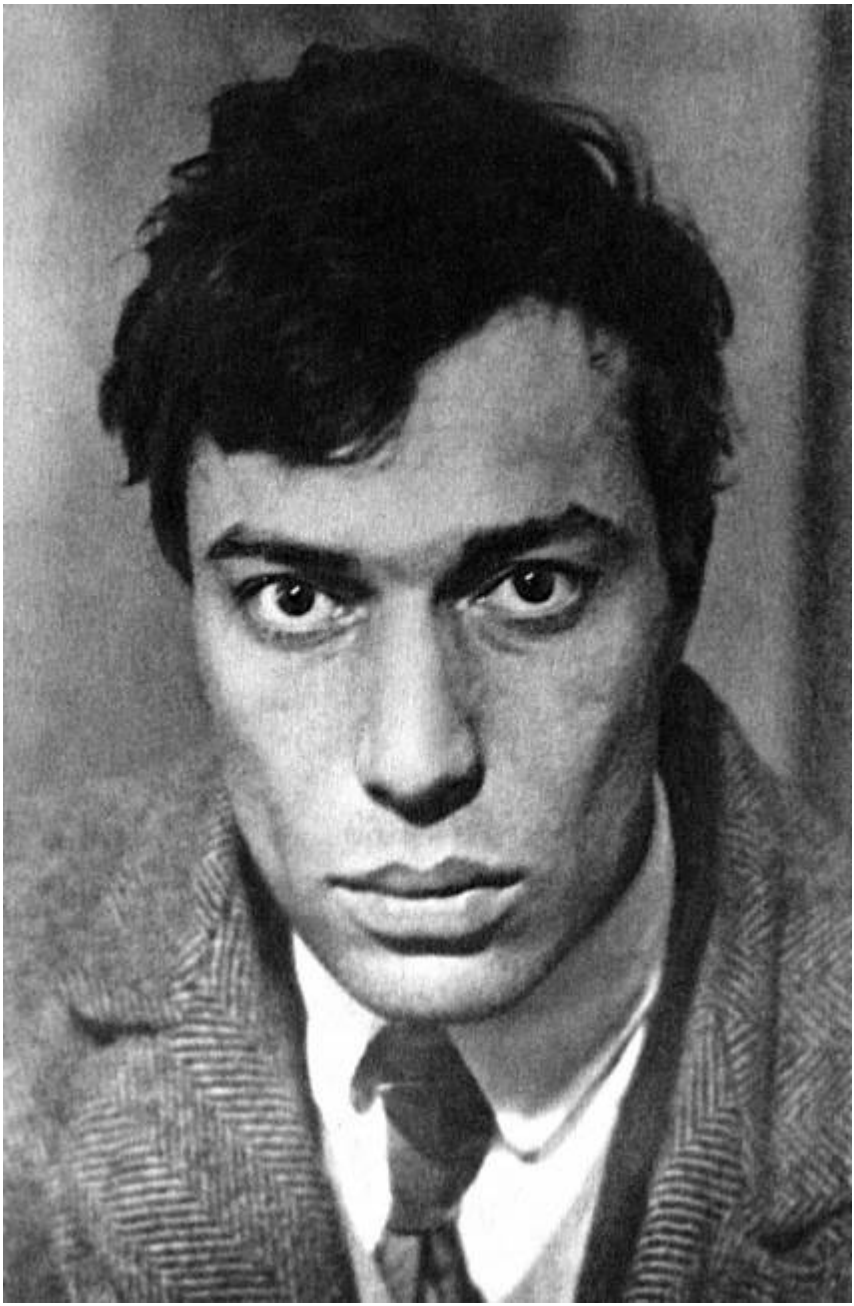
Ольга Арбенина-Гильдебрандт. 1920-е гг. Фотография М. Наппельбаума.

И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.

Осип Мандельштам. Шарж Н. Радлова. Конец 1920-х – начало 1930-х гг.

Обложка книги стихов «Tristia» работы М. Добужинского. Петербург – Берлин. 1922 г.

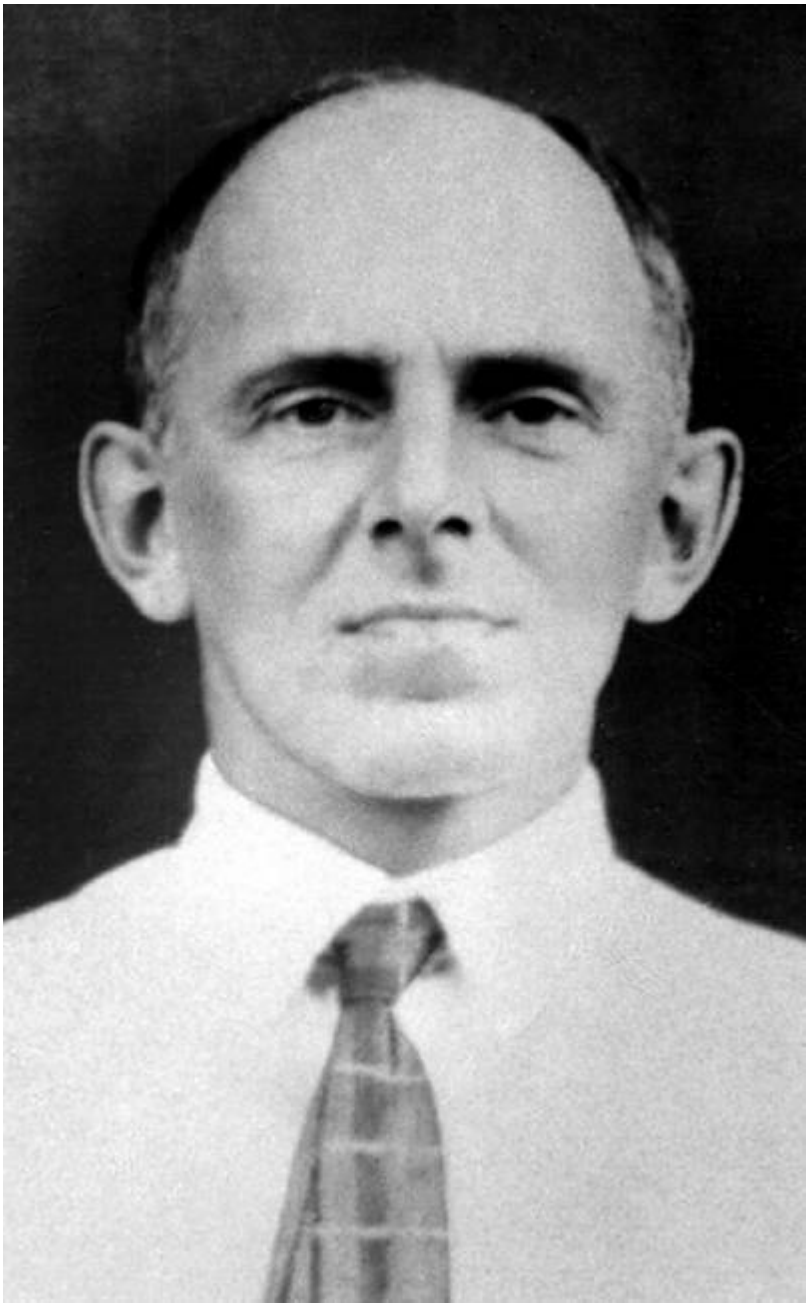
Обложка книги «Шум времени» работы Е. Килюшевой. Ленинград. 1925 г.



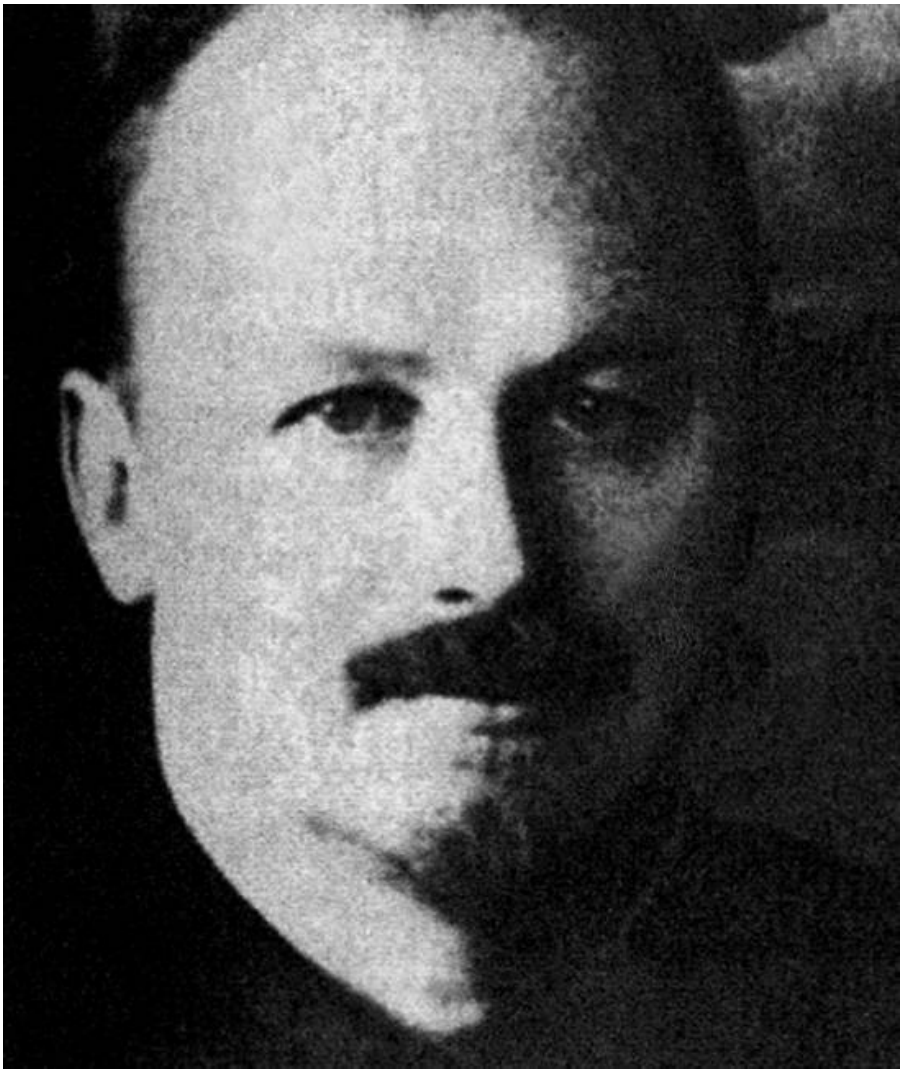
Борис Пастернак. 1924 г.

«Стихи Пастернака прочитать – горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны для туберкулеза»

Осип Мандельштам. Около 1925 г. Фотография М. Наппельбаума



Осип Мандельштам. 1934 г.



Николай Бухарин. Начало 1930-х гг.

«Всеми просветами в своей жизни О. М. обязан Бухарину» (Н. Мандельштам)

О. Мандельштам (третий справа в нижнем ряду) среди сотрудников газеты «Московский комсомолец». Москва. 1929 г.

Правый флигель Дома Герцена (Тверской бульвар, 25). Здесь О.Э. и Н.Я. Мандельштамы жили в 1932–1933 гг.

«…Его раздражали писатели, постоянно мелькавшие во дворе. Он становился у открытого окна своей комнаты, руки в карманах, и кричал вслед кому-нибудь из них: “Вот идет подлец NN!”» (Э. Герштейн)

Дом М. Волошина. В среднем ряду справа крайние: Осип Мандельштам и Надежда Мандельштам, слева – Клавдия Бугаева и Андрей Белый. Коктебель. Май – июнь 1933 г.

Надежда Мандельштам. Москва. 1925–1927 гг.

Дом 2/9 на углу Гранатного переулка и Спиридоновки в Москве, где жила Мария Петровых

«Он приходил к нам на Гранатный по 3 раза в день. Прислонялся к двери, открывавшейся вовнутрь, и мы оказывались как бы взаперти» (Е.Петровых)

Мария Петровых. 1930-е гг.

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!

Борис Кузин. 1930-е гг.

«Ему, и только ему, я обязан тем, что внес в литературу период так называемого “зрелого Мандельштама”»

Ереван. 1930-е гг. Здание обсерватории. Фотография П. Клепикова

Возле храма Авана. Крайний справа в нижнем ряду Осип Мандельштам, слева от него чуть выше сидит Надежда Мандельштам. Армения. 1930 г.

Орущих камней государство –
Армения, Армения!

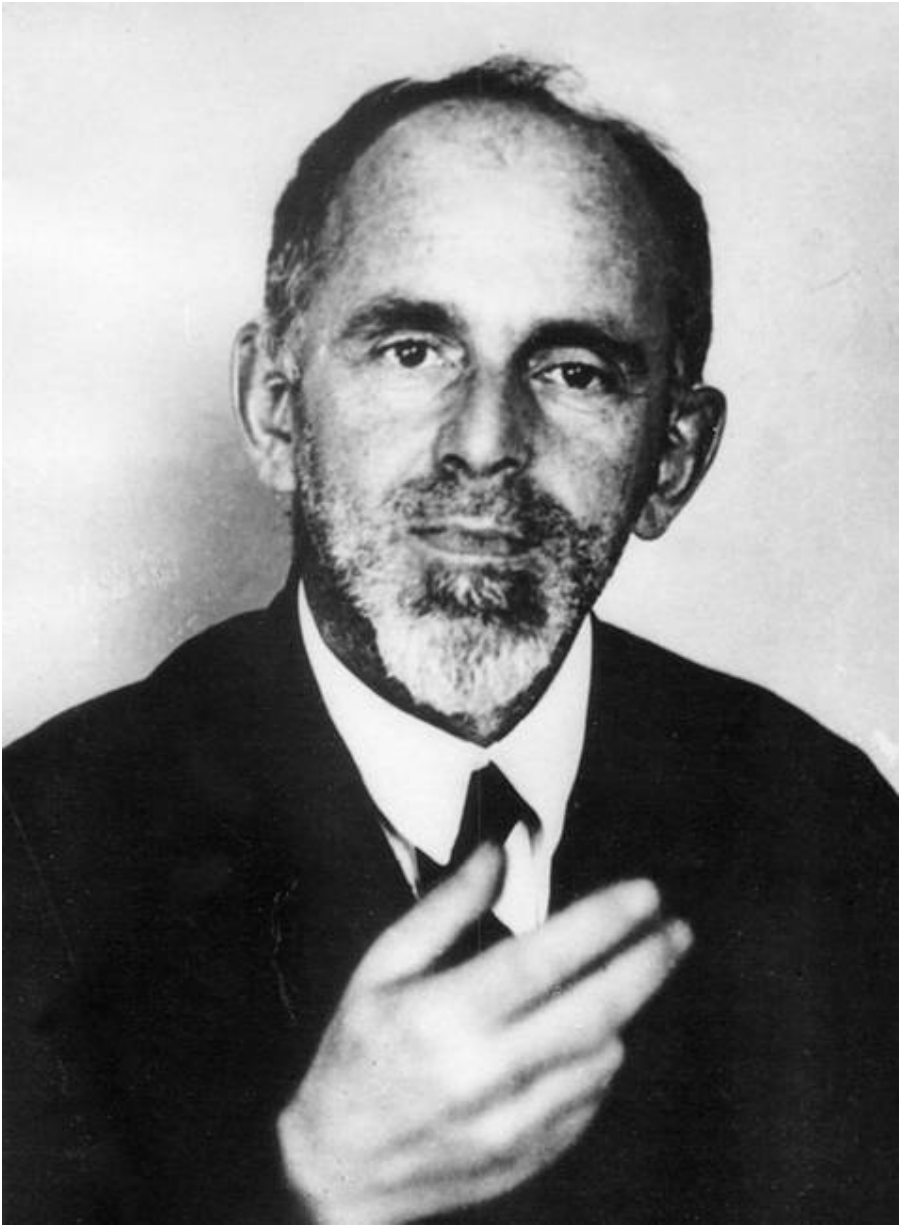
Слева направо: Александр Мандельштам (стоит), Мария Петровых, Эмиль Мандельштам, Надежда Мандельштам, Осип Мандельштам, Анна Ахматова. Москва. Февраль 1934 г.

Дом № 3/5 в Нащокинском переулке в Москве (не сохранился), где находилась последняя квартира О.Э. и Н.Я. Мандельштамов в Москве

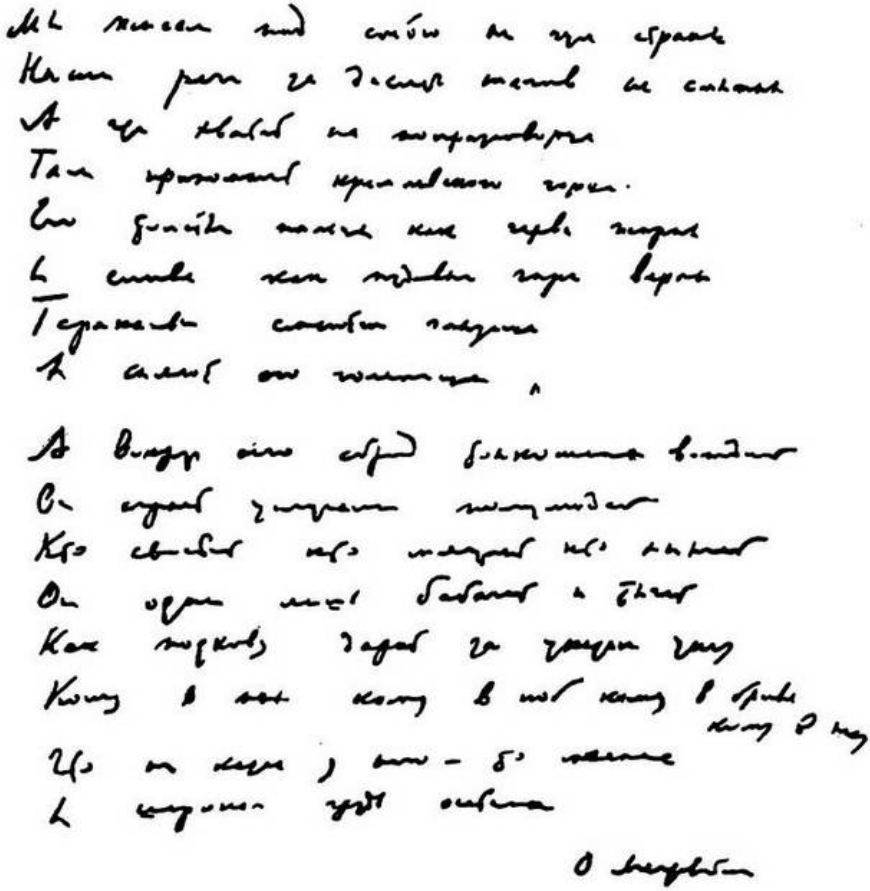
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать…

Осип и Надежда Мандельштамы. Москва. 1931 г.

Шапка, купленная в ГУМе
Десять лет тому назад,
Под тобою, как игумен,
Я гляжу стариковат.



Осип Мандельштам. 1934 г.



Автограф стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…». 1934 г.

И.В. Сталин пожимает руки членам делегации женщин – инженерно-технических работников легкой промышленности, присутствовавших на Всесоюзном совещании жен командиров Рабоче-крестьянской Красной армии. Фотография Н. Кулешова. Декабрь 1936 г.

Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко…

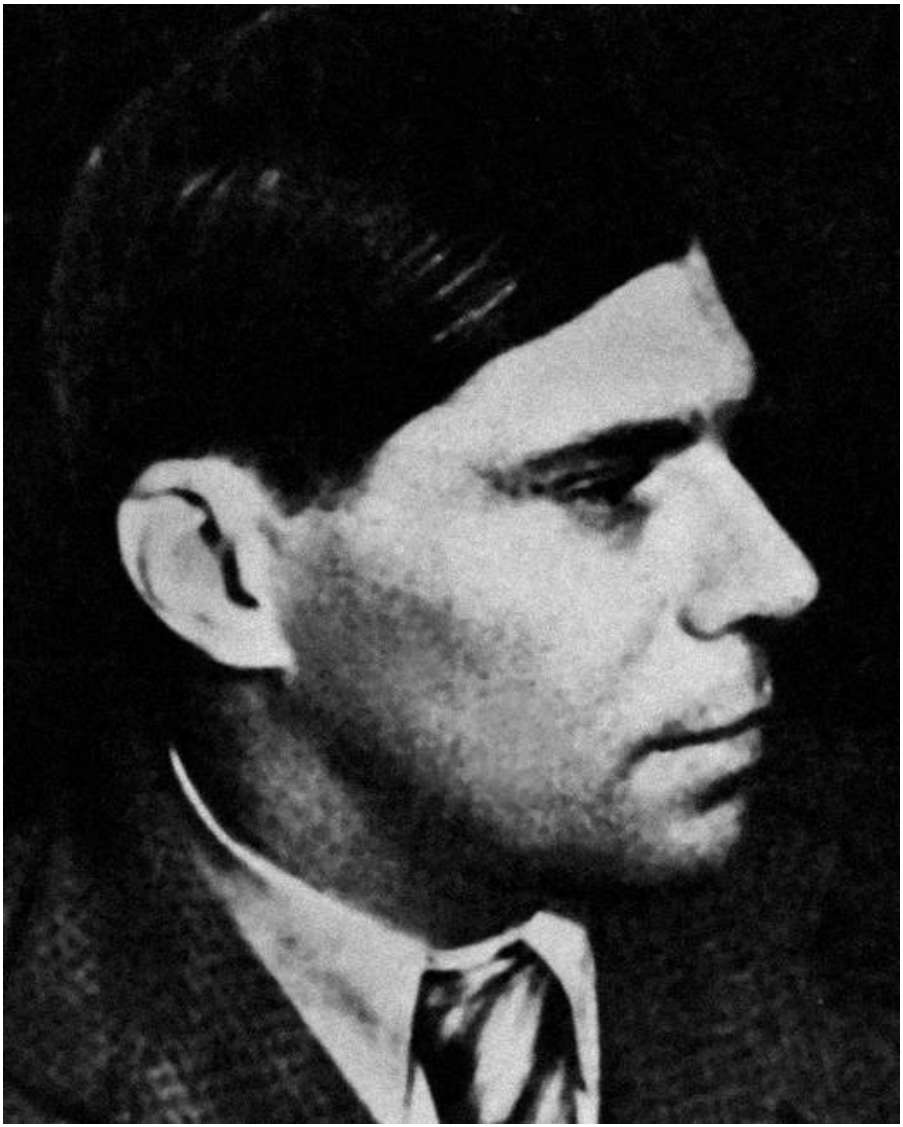
Надежда Мандельштам, Наталья Штемпель, Осип Мандельштам, Марина Ярцева. Воронеж. Май 1937 г.

Воронеж. Дом № 2 по улице Линейной, где жили О.Э. и Н.Я. Мандельштамы. Фотография В. Гордина.

И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама…

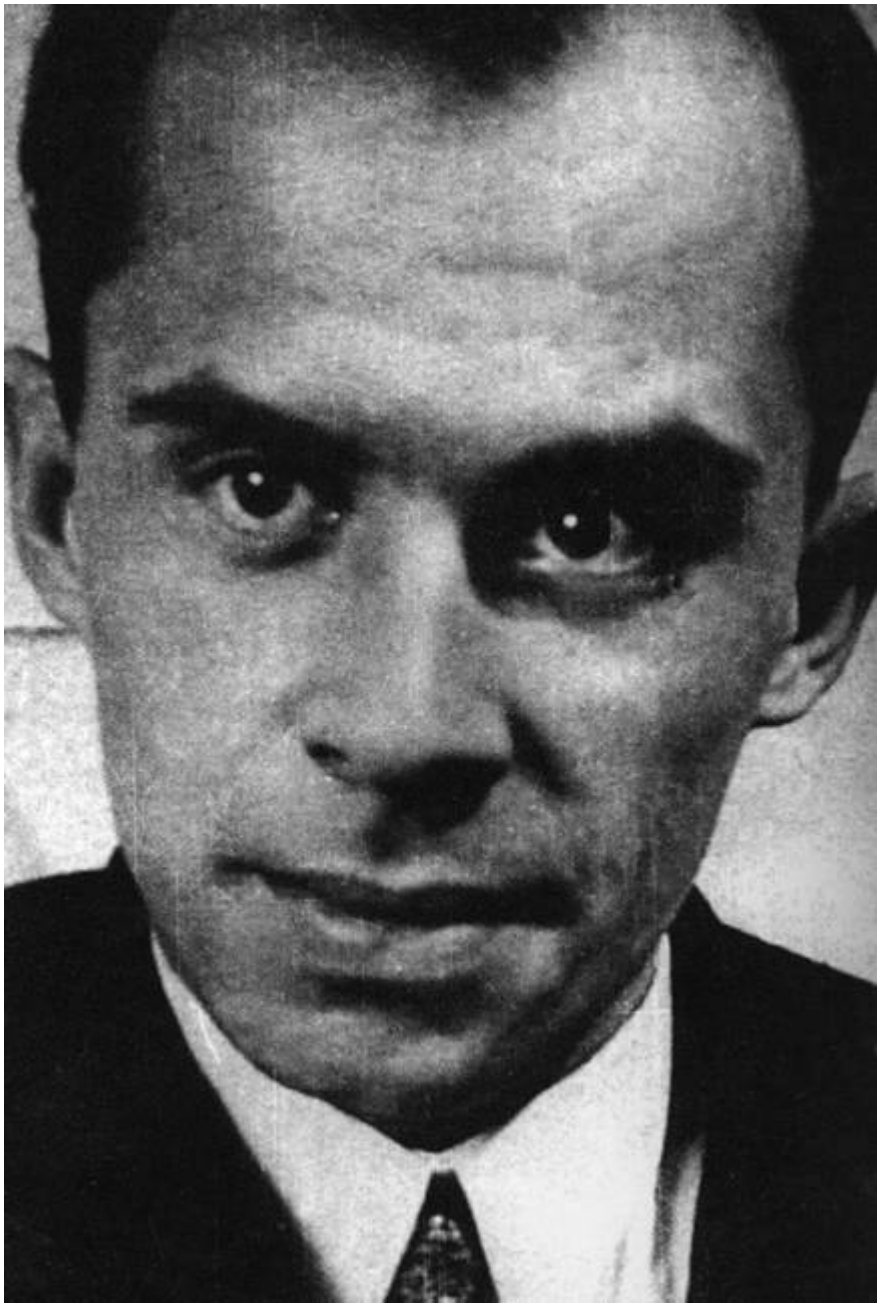
Еликонида Попова. 1928 г. Фотография В. Шаровского.

А в Москве ты, чернобровая,
Выше голову закинь.

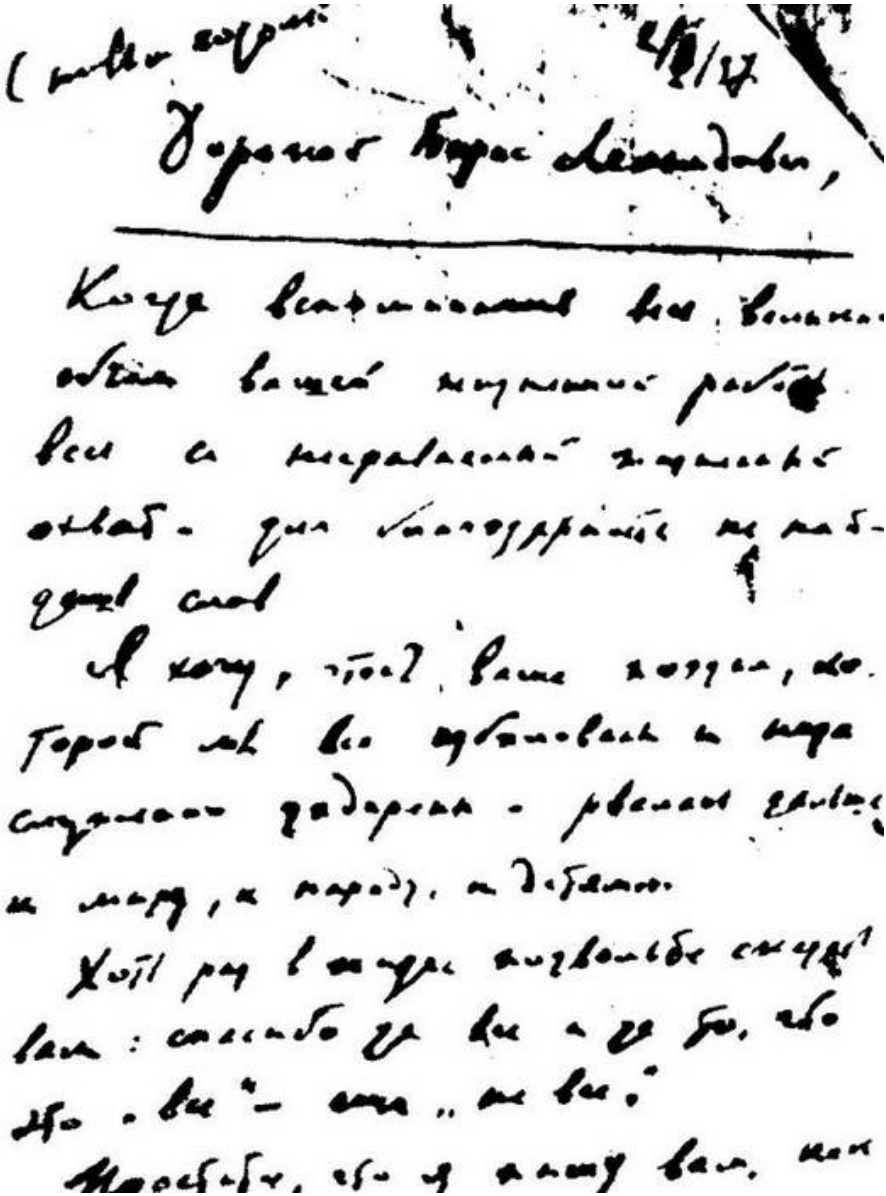


Владимир Яхонтов. 1930-е гг.

«Яхонтов – не чтец, не истолкователь текста. Он – живой читатель, равноправный с автором, спорящий с ним, несогласный, борющийся»



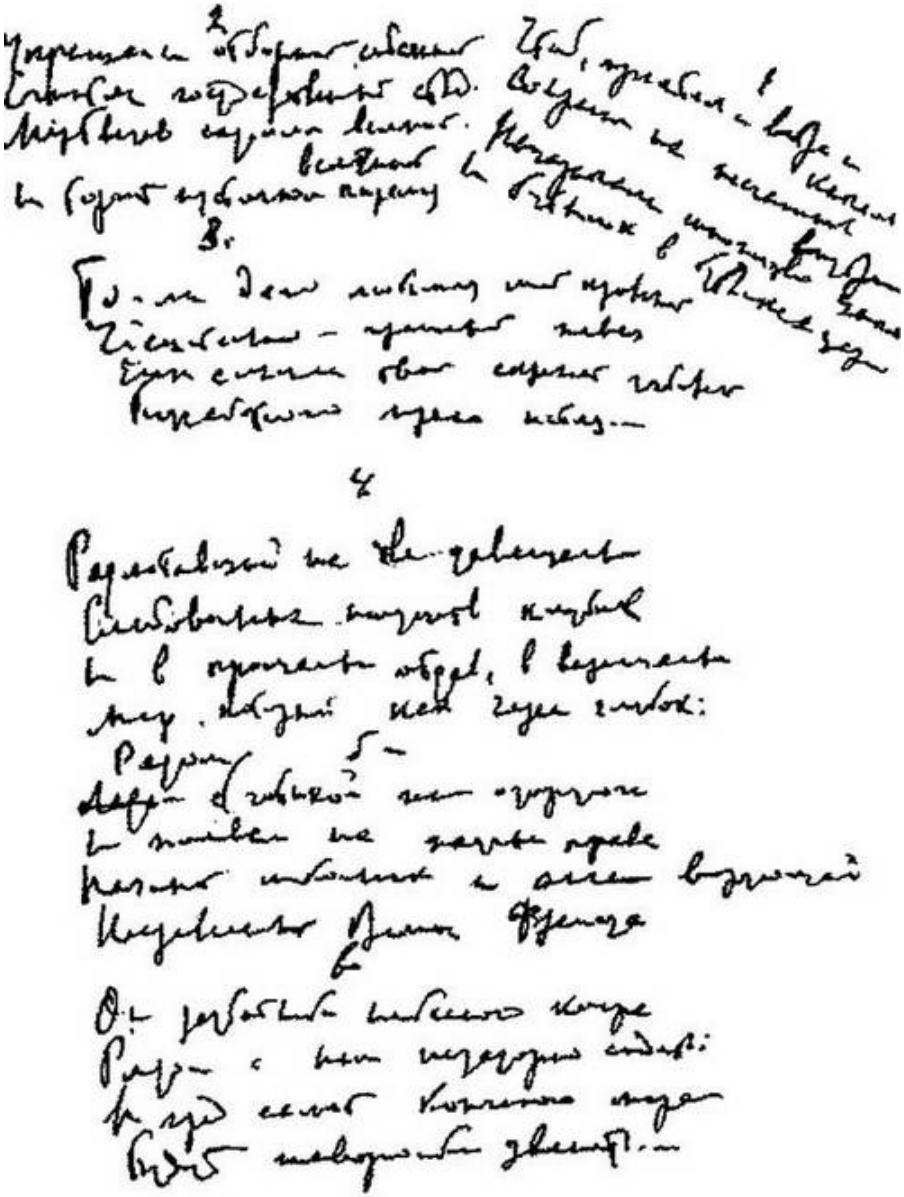
Сергей Рудаков. 1930-е гг.
«Без вас ничего делать не хочется, вся жизнь переменилась»



Письмо Осипа Мандельштама Борису Пастернаку от 2 января 1937 г.

«Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за всё и за то, что это “всё” – еще не “всё”»

Осип Мандельштам. Рисунок В. Милашевского. 1934 г.



Автограф стихотворения «Чтоб приятель и ветра и капель…». 1937 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Особого совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР

от 2 августа 1938 г.

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
7. Дело № 19390/ц о МАНДЕЛЬШТАМ Осипе Эмильевиче, 1891 г.р. сын купца, эсер.	МАНДЕЛЬШТАМ Осипа Эмильевича за к.-р. деятельность заключить в исправтрудлагерь сроком на ПЯТЬ лет, сч. срок с 30/IУ-38г. Дело сдать в архив.

Отв. секретарь Особого совещания

Осип Мандельштам. Фотография из второго следственного дела. 1938 г.

Осип Мандельштам. 1934 г.

Надежда Мандельштам. Калинин. 1938 г.

Памятник Осипу Мандельштаму в Воронеже. Скульптор Л. Гадаев.

«Как вы думаете, а будет ли поставлен когда-нибудь памятник мне в Воронеже?»

notes

Примечания

1

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого // Слово и судьба. Осип Мандельштам. М., 1991. С. 128.

2

Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М., 1996. С. 18.

3

Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. М., 1992. С. 27.

4

Цит. по: Гардзонио С. Статьи по русской поэзии и культуре XX века. М., 2006. С. 132.

5

Иванов Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. М., 1994. С. 223.

Ивнев Рюрик. С Осипом Мандельштамом на Украине // «Сохрани мою речь…». Вып. 4/1. М., 2008. С. 120.

7

Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний. М., 1968. С. 83.

Шкловский В. «Еще ничего не кончилось…». М., 2002. С. 231.

Седых А. Далекие, близкие. М., 1995. С. 45.

10

Эренбург И. Люди, годы, жизнь // Эренбург И. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 8. М., 1966. С. 311.

11

Чуковский Н. О Мандельштаме // Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 153.

12

Смирнов Н. Первые годы «Нового мира» // Новый мир. 1964. № 7. С. 191.

13

Цит. по: Шумихин С.В. «Мандельштам был не по плечу современникам…». Письма Надежды Мандельштам к Александру Гладкову // Русская мысль. Париж. 1997. 12–18 июня. С. 10.

14

Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 415.

15

Проза, переводы и письма Мандельштама в этой книге цитируются по изданию: Мандельштам О. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1993–1997, с указанием номера тома римской цифрой и номера страницы – арабской в круглых скобках.

16

Из переписки Н.Я. Мандельштам с Н.А. Струве // Вестник русского христианского движения. № 133. Париж; Нью-Йорк; М., 1981. С. 154.

17

Слепян Д. Что я вспомнила о Н.С. Гумилеве // Жизнь Н. Гумилева. Воспоминания современников. Л., 1991. С. 196–197.

18

Чему свидетели мы были. Женские судьбы. XX век. СПб., 2007. С. 146.

19

Мандельштам Н. Вторая книга. М., 1999. С. 91.

20

Пришвин М. Сопка Маира (фрагмент) // Мандельштам О. «И ты, Москва, сестра моя, легка…». Стихи, проза, воспоминания, материалы к биографии. Венок Мандельштаму. М., 1990. С. 265.

21

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 335.

22

Гонта М. Из воспоминаний о Пастернаке // Громова Н. Узел. Поэты: дружбы и разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов. М., 2006. С. 538.

23

Там же. С. 542.

24

Гонта М. Из воспоминаний о Пастернаке. С. 542.

25

Если только не подразумеваются «две прелестных комнаты на Морской» улице в Ленинграде, в которых Мандельштамы временно жили в 1925 году (Мандельштам Н. Вторая книга. С. 215). Но на них у Мандельштама никакого официального ордера не было. Далее нам все время придется иметь в виду, что мемуары могут быть не только истинными или ложными, но и просто путаными, а то и сложно путанными.

26

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936) // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. 1993. Материалы об О.Э. Мандельштаме. СПб., 1997. С. 99.

27

Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. М., 2000. С. 309.

28

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова // Мандельштам О. Камень (Литературные памятники) / изд. подгот. Л.Я. Гинзбург, А.Г. Мец, С.В. Василенко, Ю.Л. Фрейдин. Л., 1990. С. 248.

29

Литературный еженедельник. Пг., 1923. № 39. С. 17. Исправляем явную опечатку во второй строке.

30

Адамович Г. <О. Мандельштам> // Адамович Г. Критическая проза. М., 1996. С. 35. Выше в заметке Адамовичем были названы имена Блока, Анненского и Ахматовой.

31

Ахматова А. Листки из дневника // Ахматова А. Requiem / предисл. Р.Д. Тименчика, сост. и примеч. Р.Д. Тименчика при участии К.М. Поливанова. М., 1989. С. 145.

32

Цит. по: Дутли Р. «Век мой, зверь мой». Осип Мандельштам. Биография / пер. с нем. К. Азадовского. СПб., 2005. С. 411. Здесь же см. высказывания о Мандельштаме П. Целана, И. Бродского, Д. Уолкотта, Ф. Жакоте, Б. Тротциг, Ч. Эспмарка, Ш. Хини, Р. Шора, А. Загаевского, Д. Грюнбайна.

См.: Brown C. Mandelstam. Cambridge, 1973.

См.: Морозов А.А. Мандельштам Осип Эмильевич // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 3., М., 1994. С. 505–510. Из более ранних опытов в этом роде отметим составленную Д.С. Усовым со слов самого Мандельштама статью в издании: Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1 / под ред. Б.П. Козьмина. М., 1992 (Репринтное издание) и блестящий биографический очерк О. Ронена 1986 года. См. его русский перевод: Ронен О. Осип Мандельштам // Литературное обозрение. 1991. № 1.

35

См.: Струве Н.А. Осип Мандельштам. Лондон, 1988; Harris J.G. Osip Mandelstam. Boston, 1988.

См.: Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Мандельштам О.Э. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 5–64.

37

См.: Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О.Э. Полное собрание стихотворений / вступ. статьи М.Л. Гаспарова и А.Г. Меца; сост., подгот. текста и примеч. А.Г. Меца. СПб., 1995. С. 5–64. В этом, самом надежном на сегодняшний день, издании мандельштамовских стихов гаспаровская статья соседствует с ценным биографическим очерком о поэте, написанным А.Г. Мецем (с. 65–86). Стоит также упомянуть весьма полезную хронику «Даты жизни и творчества», составленную П.М. Нерлером и помещенную в качестве приложения к четвертому тому собрания сочинений Мандельштама (<Нерлер П.М.> Даты жизни и творчества // Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. С. 428–470). См. также: Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. Приложение. Летопись жизни и творчества / сост. А.Г. Мец при участии С.В. Василенко, А.М. Видгофа, Д.И. Зубарева, Е.И. Лубянниковой. М., 2014.

Это издание упоминается далее как Летопись.

38

Дутли Р. «Век мой, зверь мой». Осип Мандельштам. Биография. См. рецензию А.Г. Меца на эту книгу: Вопросы литературы. 2007. № 3.

39

См.: Лекманов О. Жизнь Осипа Мандельштама. Документальное повествование. СПб., 2003; Лекманов О. Мандельштам. М., 2004 (ЖЗЛ); Лекманов О. Осип Мандельштам. Жизнь поэта. М., 2009 (ЖЗЛ). Вариант этой книги на английском языке вышел в США: Lekma-nov O. Mandelstam / trans. Tatiana Retivov, ed. Lazar Fleishman. Boston, 2010.

Не умолчим и о многочисленных рецензиях на первые три издания этой биографии Мандельштама. Перечислим некоторые из них: Бак Д. <Книжная полка> // Новый мир. 2003. № 12; <Без подписи>. Мандельштам: вышла первая биография поэта // Полит. ру. 2004. 18 мая. Режим доступа: http://www.polit.ru/news/2004/05/18/mandelshtam.html; Дзядко Ф. [Рецензия] // Русский журнал. Шведская лавка. № 121. Режим доступа: http://old.russ.ru/krug/vybor/20030718.html; Золотоносов М. Поэт эпохи Москвошвея (вышла биография Осипа Мандельштама) // Московские новости. 2004. 15 октября; Качалкина Ю. Лавр цветущий Мандельштам // Ex libris. 2003. 23 октября; Магомедова Д. [Рецензия] // Вопросы литературы. 2004. № 6; Немзер А. Правда поэта // Время новостей. 2003. 29 мая; Свердлов М. Сто́ит многих томов // Еженедельный журнал. 2005. 13 января; Шубинский В. Неуязвимый // Новое литературное обозрение. 2006. № 82.; Эдельштейн М. [Рецензия] // Знамя. 2005. № 3.

Ронен О. Осип Мандельштам // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 6.

42

Мандельштам Е. Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. С. 121.

43

Мандельштам Е. Воспоминания. С. 128.

Мандельштам Е. Воспоминания. С. 175.

45

Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Собрание сочинений. Т. 1. М., [1900]. С. 110.

Соловьев В. Литературная критика. М., 1990. С. 275.

47

О «Концерте на вокзале» см., например: Гаспаров Б.М. Еще раз о функции подтекста в поэтическом тексте («Концерт на вокзале») // Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М., 1994. С. 162–186. (Эта работа содержит и подробный обзор литературы вопроса.)

Мандельштам Е. Воспоминания. С. 123.

49

Цит. по: Мандельштам Е. Воспоминания. С. 175.

Там же. С. 123.

51

Записные книжки Анны Ахматовой. М.; Torino, 1996. С. 20.

Герштейн Э. Мемуары. С. 13.

Мандельштам Е. Воспоминания. С. 125.

Подробнее о Тенишевском училище см. также: Мец А.Г. Тенишевское училище. Взгляд на архив сквозь стекла «Шума времени» // Мец А.Г. Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 7–50.

55

Рубакин А. Над рекою времени. М., 1966. С. 12. Еще см. цитируемые ниже исследования М.Г. Сальман.

56

Цит. по: Лекманов О. Жизнь Осипа Мандельштама. Документальное повествование. С. 18.

Крепс Е. О прожитом и пережитом. М., 1989. С. 10.

Рубакин А. Над рекою времени. С. 12.

59

Цит. по: Лекманов О. Жизнь Осипа Мандельштама. Документальное повествование. С. 19.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 32.

61

Рубакин А. Над рекою времени. С. 13.

Цит. по: Мец А.Г. Осип Мандельштам и его время. С. 14.

Там же. С. 15.

Сальман М.Г. Из школьных лет О.Э. Мандельштама. 2. Одноклассники // Русская литература. 2013. № 4. С. 206.

65

См.: Сальман М.Г. Из школьных лет О.Э. Мандельштама. 1. Религиозный вопрос в Тенишевском училище // Русская литература. 2013. № 3. С. 175–176, 181.

Набоков В. Другие берега // Набоков В. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М., 1990. С. 240–241.

67

Цит. по: Лавров А.В. <Гиппиус Владимир Васильевич> // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т.1. М., 1989. С. 565.

Цит. по: Лавров А.В. <Гиппиус Владимир Васильевич>. С. 565.

Гиппиус Влад. Ничтожные слова о ничтожных делах // На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия А.В. Лаврова. М., 2009. С. 430.

70

ИРЛИ. Ф. 77, № 150, Л. 48–48 ОБ. Этот фрагмент расшифровала и предоставила в мое распоряжение Ю. Рыкунина, которой приношу за это глубокую благодарность.

71

Там же.

72

Цит. по: Линдеберг О. Воспоминания Вл. Гиппиуса об А. Блоке (по архивным источникам) // Александр Блок и мировая культура. Материалы научной конференции 14–17 марта 2000 года. Великий Новгород, 2000. С. 254.

Подробнее о первых поэтических опытах Мандельштама см., например: Фролов Д.В. О ранних стихах Осипа Мандельштама. М., 2009.

Цит. по: Синани И. Психиатр Борис Наумович Синани // «Сохрани мою речь…». Вып. 3/2. М., 2000. С. 184.

75

Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1. С. 176.

Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. СПб.; Париж, 1993. С. 88.

Мец А.Г. Осип Мандельштам и его время. С. 47–48.

78

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 241.

Карпович М. Мое знакомство с Мандельштамом // Осип Мандельштам и его время. С. 41. Цитируя здесь и далее этот единственный пока сборник воспоминаний о Мандельштаме, мы должны предупредить читателя о низком качестве подготовки текста и примечаний в нем. Подробнее см.: Лекманов О.А. [Рецензия] //Новое литературное обозрение. 1996. № 18. С. 426–427. Об увлечении юного Мандельштама революционной деятельностью см. также: Сальман М.Г. О разных смыслах автобиографичности у О.Э. Мандельштама: на примере «Шума времени» // AvtobiografiЯ. 2013. № 2.

80

Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1. С. 176.

Тенишевец. 1907. № 1. С. 30.

82

Цит. по: Купченко В.П. Осип Мандельштам в Киммерии // Вопросы литературы. 1987. № 7. С. 186–187.

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. С. 60.

Карпович М. Мое знакомство с Мандельштамом. С. 41.

85

О Мандельштаме и Брюсове см., например, в монографии: Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. С. 97–102.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 33.

Герцык Е. Воспоминания. Париж, 1973. С. 60.

88

См.: Гаспаров М.Л. Лекции Вяч. Иванова о стихе в Поэтической Академии 1909 года // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 90.

Пяст В. Встречи. М., 1997. С. 101.

Одоевцева И. На берегах Невы // Звезда. 1988. № 3. С. 147.

91

См.: Тименчик Р.Д. Еврейские мотивы в русской поэзии начала XX века (Три предварительных заметки) // Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Рига; М., 1994. С. 179.

92

Тименчик Р.Д. <«Камень», 1913> // Памятные книжные даты – 1988. М., 1988. С. 187.

93

О раннем Мандельштаме и Иванове см. также: Malmstad J. Mandelstam's «Silentium»: A Poet's Response to Ivanov // V. Ivanov: Poet, Critic and Philosopher. New Haven, 1986.

Гаспаров М.Л. Поэтика «Серебряного века» // Русская поэзия Серебряного века. 1890–1917. Антология. М., 1993. С. 9–10.

Минц З.Г. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 467.

Брюсов В.Я. Дневники. 1891–1910. М., 1927. С. 142.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 86.

Маковский С. Осип Мандельштам (фрагмент) // Осип Мандельштам и его время. С. 44–45.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 34.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 33.

101

Гиппиус З. Живые лица. Кн. 2. Л., 1991. С. 59.

102

Кузмин М. Дневник. 1908–1915. СПб., 2005. С. 110.

103

Ахматова А. Листки из дневника. С. 127.

104

Цит. по: Нерлер П.М. Осип Мандельштам в Гейдельберге. М., 1994. С. 13.

105

Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1. С. 176–177.

106

О стихах раннего Мандельштама см. также, например: Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. С. 12–21.

107

Иванов Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. С. 88.

Андреев В. Возвращение в жизнь // Звезда. 1969. № 5. С. 141.

109

Цит. по: Мец А.Г. Осип Мандельштам и его время. С. 14.

Мандельштам Е. Воспоминания. С. 135.

111

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 33.

112

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 245.

113

Там же. С. 241.

Там же. С. 242.

115

Цит. по: Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 359.

116

Лавров А.В. Русские символисты. Этюды и разыскания. М., 2007. С. 42. В антологию включены три стихотворения Мандельштама: «Образ твой, мучительный и зыбкий…» (с. 13), «В огромном омуте прозрачно и темно…» (с. 67) и «О временах простых и грубых…» (с. 80).

117

Блок А. Дневник. М., 1989. С. 72.

118

Блок А. Дневник. С. 89.

119

Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903–1919. М., 2001. С. 406.

120

Ахматова А. Листки из дневника. С. 123. Анализ этого эпизода см. в заметке: Тименчик Р.Д. Еще раз о поэтическом диалоге Ахматовой и Мандельштама // Корни, побеги, плоды… Мандельштамовские дни в Варшаве. М., 2015. С. 328–350.

121

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 244–245.

Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой // Звезда. 1989. № 6. С. 51.

123

Цит. по: Парнис А.Е. Мандельштам в Петрограде в 1915–1916 годах. Материалы к иконографии поэта // Литературное обозрение. 1991. № 6. С. 28.

Мандельштам Н. Об Ахматовой. М., 2007. С. 133.

125

Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. С. 168.

126

См.: Дарственные надписи А.А. Ахматовой на книгах и фотографиях // Н. Гумилев. А. Ахматова. По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. СПб., 2005. С. 124.

127

Цит. по: Двинятина Т.М. Коллекция П.Н. Лукницкого: история и состав // Н. Гумилев. А. Ахматова. По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. С. 11.

Тышлер А. Я помню Анну Ахматову // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 401. Детальное сопоставление поэтики Ахматовой и Мандельштама проведено в работе: Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Смерть и бессмертие поэта. М., 2001. С. 282–316.

129

Иванов Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. С. 618. О Мандельштаме и Гумилеве см., например: Левинтон Г.А. Мандельштам и Гумилев. Предварительные заметки // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. Tenafly, 1994. С. 30–43.

130

Мандельштам Е. Воспоминания. С. 136. Важные аргументы в пользу такой точки зрения суммированы в исследовании: Кацис Л. Ф. Протестантское крещение евреев в Финляндии в 1911–1913 гг. и судьба Осипа Мандельштама // Русская почта. Белград. 2008. № 1. С. 55–76.

131

Кузмин М. Дневник. 1908–1915. С. 283.

132

Тютчев (авторское подстрочное примечание, чрезвычайно редкое у О. Мандельштама).

133

Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. С. 29–30. См. также специальную работу: Аверинцев С.С. Конфессиональные типы христианства у раннего Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам. С. 287–298. Кардинально иную точку зрения см. в книге: Кацис Л.Ф. Осип Мандельштам: мускус иудейства. М., 2002.

Чудовский В. Литературная жизнь. Собрания и доклады // Русская художественная летопись. 1911. № 20. С. 321.

135

Ахматова А. Автобиографическая проза // Литературное обозрение. 1989. № 5. С. 11.

Ивич И. Цех поэтов // Вестник литературы. 1912. № 4. С. 90.

137

Рославлев А. Бумажные цветы // Воскресная вечерняя газета. 1912. 12 августа. С. 3.

138

Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой. С. 51. Подробнее о «Цехе поэтов» см. прежде всего: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7/8.

139

Янтарев Е.Л. [Рец. на кн.: Гумилев Н. Жемчуга] // Столичная молва. 1910. 24 мая. С. 3., подп.: Е. Я.

140

Игнатьев И.В. Литературные тени. О «поэзии дня». О «цехе поэтов» // Нижегородец. 1913. 4 января. С. 2.

141

Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006. С. 54.

Ахматова А. Листки из дневника. С. 126.

143

Некий еврей Мандельштам. По документам департамента полиции // «Сохрани мою речь…». Вып. 3/2. С. 117.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 31.

145

Карпович М. Мое знакомство с Мандельштамом. С. 42.

146

О стихотворении «Казино» см. также: Гаспаров М.Л. Сонеты Мандельштама 1912 г.: от символизма к акмеизму // Europa orientalis. 1999. Vol. XVIII. № 1.

147

Северные записки. 1916. № 7–8. С. 238.

148

Осип Мандельштам в «Мемуарах» Рюрика Ивнева // «Сохрани мою речь…». Мандельштамовский сборник. М., 1991. С. 41.

149

Зенкевич М. Беседа с Л. Шиловым и Г. Левиным // ГЛМ. Прозой и поэзией Кузмина Мандельштам восхищался и в юношеские, и в более зрелые годы. 18 апреля 1922 года И.Н. Розанов записал в дневнике следующее мандельштамовское высказывание: «Тургенев – плохой писатель, а Кузьмин <так! – О. Л.> – первоклассный <…>. Нельзя спрашивать, нравится ли нам Кузьмин, а надо наоборот: нравимся ли мы Кузьмину» (цит. по: Галушкин А.Ю. Из разысканий об О.Э. Мандельштаме // «Сохрани мою речь…». Вып. 4/1. С. 175).

150

Адамович Г. Георгий Иванов // Новое русское слово. 1958. 2 ноября. С. 8.

151

Подробнее об этом стихотворении см.: Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. С. 490–495.

152

Лопатто М. [Письма В. Эджертону от 30 января и 14 июня 1972 года] // Пятые Тыняновские чтения: тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 228.

153

Ахматова А. Листки из дневника. С. 122–123.

154

Иванов Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. С. 86.

155

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 133.

156

Подробнее о «Бродячей собаке» см. прежде всего: Парнис А.Е., Тименчик Р.Д. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Л., 1985.

Харджиев Н.И. «В Хлебникове есть всё!» // Харджиев Н.И. От Маяковского до Крученых. Избранные работы о русском футуризме. М., 2006. С. 334.

Там же. Подробнее об этом конфликте см. также: Кобринский А.А. Дуэльные истории Серебряного века. Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб., 2007. С. 266–273.

159

Северянин Игорь. Соловей. Поэмы. Берлин; М., 1923. С. 132.

Суждения современников об акмеизме теперь собраны в антологии: Акмеизм в критике. 1913–1917. СПб., 2014.

Эткинд Е.Г. Память и верность (Вместо предисловия) // Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. С. 7.

162

Неизвестные письма Н.С. Гумилева (публикация Р.Д. Тименчика) // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1987. Т. 46. № 1. С. 75.

163

Акмеизм в критике. С. 447.

164

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Духовные и интеллектуальные движения. М., 2014. С. 23–24. Интересно, что Бенеш был почти современником акмеистов.

165

Там же. С. 13.

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. С. 25.

167

Акмеизм в критике. С. 60.

Акмеизм в критике. С. 54–56.

169

Там же. С. 54.

Там же. С. 68.

171

Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 20–21.

Цит. по: Гумилев Н. Сочинения: в 3 т. Т. 3. М., 1990. С. 19.

173

Об этом стихотворении см. также: Баевский В.С. Не луна, а циферблат (Из наблюдений над поэтикой О. Мандельштама) // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 314–323.

Тоддес Е.А. Поэтическая идеология // Литературное обозрение. 1991. № 3. С. 32.

175

Гиппиус Вас. Цех поэтов // Ахматова А. Десятые годы. М., 1989. С. 85.

176

Цит. по: Парнис А.Е. Штрихи к футуристическому портрету О.Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам. С. 187.

177

Цит. по: Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898–1921) // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. М., 1982. С. 410.

178

Цит. по: Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. М., 1990. С. 376.

179

Подробнее об этом стихотворении Мандельштама см. также: Steiner P. Poem as Manifesto: Mandelstam's «Notre Dame» // Russian Literature. 1977. T. 5. Vol. 3.

180

Пруст М. По направлению к Свану / пер. Н. Любимова. М., 1973. С. 92.

181

Цит. по: Гумилев Н. Сочинения: в 3 т. Т. 3. С. 131.

182

Цит. по: Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 220.

183

Цит. по: Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 214.

184

О первой книге Мандельштама см. также: Мец А.Г. «Камень» (к творческой истории книги) // Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 277–285.

185

Нарбут В. [Рец. на кн.: Иванов Вяч. Cor Ardens. М., 1911] // Новый журнал для всех. 1912. № 9. С. 122.

Крученых А. К истории русского футуризма. Воспоминания и документы. М., 2006. С. 410.

187

Мандельштам Е. Воспоминания. С. 136.

Ахматова А. Листки из дневника. С. 123.

189

Акмеизм в критике. С. 286.

Там же. С. 217.

191

Там же. С. 297.

Там же. С. 324.

193

Там же. С. 245.

Там же. С. 250–251.

195

Акмеизм в критике. С. 264.

Цит. по: Гумилев Н. Сочинения: в 3 т. Т. 3. С. 217.

197

Там же.

Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. С. 30.

199

Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 516.

200

Цит. по первой публикации: Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. С. 569.

201

Владимир Нарбут: 16 писем к Михаилу Зенкевичу / публикация и подгот. текста М. Котовой и О. Лекманова; прим. О. Лекманова // «Сохрани мою речь…». Вып. 4/1. С. 86.

Иванов Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т.3. С. 619.

203

Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания. С. 521.

Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания. С. 520.

205

Ахматова А. Листки из дневника. С. 127.

Цит. по: Мандельштам О. Сочинения: в 2 т. Т. 1. С. 591.

Иванов В. Вселенское дело // Русская мысль. 1914. Кн. 12. С. 106.

Цит. по: Борис Пастернак. Пожизненная привязанность. Переписка с О.М. Фрейденберг. М., 2000. С. 11.

209

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 249.

О влиянии этого поэта на Мандельштама см. прежде всего: Тоддес Е.А. Мандельштам и Тютчев // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1974. № 17.

211

Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1. С. 177.

О Мандельштаме и Чаадаеве см. также: Cavanagh J. Synthetic Nationality: Mandelstam and Chaadaev // Slavic Review. 1990. Vol. 49. P. 597–610.

213

Об этом стихотворении подробнее см. также: Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 175–176.

Ахматова А. Листки из дневника. С. 133.

215

Пушкин А. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. Л., 1978. С. 378.

216

Цит. по: Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. М., 2002. С. 122. Об этом издании подробнее см.: Горенко Анна. Бей Герштейн, спасай Надежду Яковлевну! // Режим доступа: http://old.russ.ru/krug/kniga/20020110-pr.html. О Пушкине и Мандельштаме подробнее см., например: Сурат И.З. Опыты о Мандельштаме. М., 2005.

217

См. сборник статей отечественных и зарубежных мандельштамоведов: Мандельштам и античность / сост. О.А. Лекманов. М., 1995.

Вейдле В. Певчие ямбы // Вейдле В. Умирание искусства. М., 2001. С. 361.

Мочульский К. О.Э. Мандельштам // Осип Мандельштам и его время. С. 65–66.

Там же. С. 66.

221

Цит. по: Ходасевич В. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. М., 1997. С. 280.

Каверин В. Встречи с Мандельштамом // Каверин В. Счастье таланта. Воспоминания и встречи, портреты и размышления. М., 1989. С. 300–301.

223

Там же. С. 301.

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 251.

225

См.: Малеин А.И. Пушкин и Овидий (отрывочные замечания). Пг., 1915.

226

Присутствие Овидия в этом стихотворении отмечено в работе, впервые напечатанной по-английски, а впоследствии переведенной и на русский: Террас В.И. Классические мотивы в поэзии О. Мандельштама // Мандельштам и античность. Сборник статей. С. 18.

227

Ср. в стихотворении акмеиста М. Зенкевича (о декабристах): «Чрез столетье снова mortiruri» и у акмеистки А. Ахматовой (в стихотворении о Пушкине): «И столетие мы лелеем…». Ср. в одной из лучших работ о поэтике Мандельштама и Ахматовой: «…Столетняя дистанция не случайна: в ней можно видеть осознанный специфический вариант мифа “вечного возвращения”, присутствующий у обоих поэтов» (Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма. С. 283).

228

Подробнее об этом стихотворении см., например: Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. С. 526–534.

229

Летопись. С. 98.

Там же. С. 99.

231

Кац Б.А., Тименчик Р.Д. Анна Ахматова и музыка. Исследовательские очерки. Л., 1989. С. 54.

232

Кац Б.А. Защитник и подзащитный музыки // Мандельштам О. «Полон музыки, музы и муки…». Стихи и проза. Л., 1991. С. 42. Эта статья представляет собой лучшее на сегодняшний день исследование о Мандельштаме и музыке.

233

Цит. по: Летопись. С. 325.

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. СПб., 1999. С. 216.

235

Лурье А. Осип Мандельштам // Осип Мандельштам и его время. С. 196.

Ахматова А. Листки из дневника. С. 122.

237

Который был для Мандельштама идеалом композитора, на что указывают следующие строки из стихотворения поэта «Ламарк» (1932): «Он сказал: довольно полнозвучья, / Ты напрасно Моцарта любил, / Наступает глухота паучья, / Здесь провал сильнее наших сил».

238

Чаще всего упоминающийся в произведениях Мандельштама композитор. Ему, в частности, посвящены два стихотворения: 1918 года («В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа, / Нам пели Шуберта – родная колыбель! / Шумела мельница, и в песнях урагана / Смеялся музыки голубоглазый хмель. / Старинной песни мир – коричневый, зеленый, / Но только вечно молодой, / Где соловьиных лип рокочущие кроны / С безумной яростью качает царь лесной») и 1931 года («Жил Александр Герцович, / Еврейский музыкант, – / Он Шуберта наверчивал, / Как чистый бриллиант, / И всласть, с утра до вечера, / Затверженную вхруст, / Одну сонату вечную / Играл он наизусть…»).

Ему поэт посвятил свою «Оду Бетховену» (1914): «С кем можно глубже и полнее / Всю чашу радости испить; / Кто может, ярче пламенея, / Усилье воли освятить; Кто по-крестьянски, сын фламандца, / Мир пригласил на ритурнель / И до тех пор не кончил танца, / Пока не вышел буйный хмель?»

240

Об этом композиторе Мандельштам написал восторженное стихотворение «Бах» (1913): «А ты ликуешь, как Исайя, / О рассудительнейший Бах! / Высокий спорщик, неужели, / Играя внукам свой хорал, / Опору духа в самом деле / Ты в доказательстве искал?»; ему же посвящены следующие строки в стихотворении «А небо будущим беременно…» (1923): «Давайте слушать грома проповедь, / Как внуки Себастьяна Баха, / И на востоке и на западе / Органные поставим крылья!» и два пассажа в программном мандельштамовском эссе «Утро акмеизма»: «Мы вводим готику в отношения слов, подобно тому как Себастьян Бах утвердил ее в музыке <…>. Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства!» (I: 178, 180).

241

Подробнейший разбор этого эпизода см. в статье: Кац Б.А. Из заметок о «нотном отступлении» в «Египетской марке» Осипа Мандельштама // Русско-французский разговорник, или / Ou les Causeries du 7 Septembre. Сборник в честь В.А. Мильчиной. М., 2015. С. 398–431. См. также комментированное издание: Осип Мандельштам. Египетская марка: Пояснения для читателя /авт.-сост. О. Лекманов, М. Котова, О. Репина, А. Сергеева-Клятис, С. Синельников. М., 2012.

242

См. также в эссе Мандельштама «Разговор о Данте» (1933): «Виолончель задерживает звук, как бы она ни спешила. Спросите у Брамса – он это знает» (III: 247).

243

Цитируется черновая редакция стихотворения.

Городецкий С. Некоторые течения в современной русской поэзии // Аполлон. 1913. № 1. С. 71.

245

Гюнтер И. Жизнь на восточном ветру (из книги) // Наше наследие. 1990. № 6. С. 62.

О символистах и Вагнере подробнее см., например: Гозенпуд А.А. Рихард Вагнер и русская культура. Л., 1990.

247

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 251.

248

Цит. по: Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 229.

249

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 184.

250

Цит. по: Неизвестные письма Н.С. Гумилева. С. 70.

251

Там же.

Ахматова А. Автобиографическая проза. С. 7.

253

Цит. по: Тименчик Р.Д. О трудах и днях Ахматовой // Новое литературное обозрение. № 29. (1998). С. 421.

Ахматова А. Автобиографическая проза. С. 7.

Волошин М. Голоса поэтов // Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 545–547.

Тараховская Е. Осип Эмильевич Мандельштам // «Сохрани мою речь…». Вып. 2. М., 1993. С. 24.

257

Цит. по: Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 280.

Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. М., 1995. С. 210.

259

Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 574.

Подробнее об этом стихотворении см.: Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама. С. 25.

261

Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов. М., 2004. С. 108.

262

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 255.

263

Там же. С. 252.

Там же. С. 256.

265

Цветаева М. Неизданное. Записные книжки: в 2 т. Т. 2. М., 2001. С. 90.

266

Цит. по: Лубянникова Е.И. Осип Мандельштам в Александрове // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. М., 2001. С. 356.

Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 7. С. 139.

Цветаева М. История одного посвящения // Осип Мандельштам и его время. С. 93.

269

Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 90–92.

Подробнее об этом стихотворении см.: Vitins I. Mandelstam's Farewell to Marina Tsvetaeva: «Ne veria voskresenia chudu» // Slavic Review. 1989. Vol. 48. P. 266–280.

Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 92.

Цит. по: Купченко В.П. Осип Мандельштам в Киммерии. С. 191.

273

Осип Мандельштам в Крыму летом 1916 года. Неизвестное письмо Юлии Оболенской // Русская мысль. Париж, 1996. 25 апреля – 1 мая. С. 13.

Подробнее об этом стихотворении см., например: Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама. С. 26–27.

Мандельштам Е. Воспоминания. С. 141.

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 74.

277

См.: Кофейня разбитых сердец. Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О.Э. Мандельштама // Stanford Slavic Studies. Vol. 12. [1997]. С. 11.

Подробнее об этом стихотворении см.: Гаспаров М.Л. «Соломинка» Мандельштама // Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М., 1995. С. 185–197.

См.: Тоддес Е.А. Поэтическая идеология. С. 35.

Подробнее об этом стихотворении см.: Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. С. 496–504.

281

Подробнее об этом стихотворении см., например: Бродский И.А. «С миром державным я был лишь ребячески связан…» // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. С. 9–17.

Ахматова А. Листки из дневника. С. 128.

283

Цит. по: Кофейня разбитых сердец. Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О.Э. Мандельштама. С. 19. Менее романтический вариант: «<О>н ходил взад и вперед возле буфета – не для того, чтобы согреться, а затем, чтобы принюхаться, нет ли там чего съестного» (цит. по: Тименчик Р.Д. Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Toronto, 2005. С. 542).

284

Подробнее об этом стихотворении см., например: Аверинцев С.С. «Золотистого меда струя из бутылки текла…» // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. С. 9—17.

285

Цит. по: Купченко В.П. Осип Мандельштам в Киммерии. С. 193.

286

Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. С. 88–89.

287

Подробнее об этом стихотворении см.: Nilsson N. A. “To Cassandra”: A poem by O. Mandelstam from December 1917 // Poetica Slavica. Ottawa, 1981. P. 105–113.

Ахматова А. Листки из дневника. С. 131.

289

Там же.

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого. С. 115.

291

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 256.

Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. С. 89.

293

Подробнее об этом стихотворении см., например: Nilsson N.A. “Sumerki” Poems // Russian Literature. 1991. № 30. P. 467–480.

Левман С. Октябрь в художественной литературе // Призыв. 1923. № 1. С. 85.

295

Цит. по: Летопись. С. 145.

296

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 77.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 24.

Соколова Н. Кое-что вокруг Мандельштама. Разрозненные странички // «Сохрани мою речь…». Вып. 3/2. С. 77.

299

См.: Ивнев Рюрик. Дневник. 1906–1980. М., 2012. С. 335.

300

Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии. 1917–1921 г. Сборник документов. М., 1958. С. 154.

301

Иванов Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3.С. 95.

302

Цит. по: Нерлер П.М. Осип Мандельштам в Наркомпросе в 1918–1919 годах // Вопросы литературы. 1989. № 9. С. 276.

303

Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. С. 89.

Цит. по: Тименчик Р.Д. Анна Ахматова в 1960-е годы. С. 475.

305

См.: Летопись. С. 150.

306

Осип Мандельштам в «Мемуарах» Рюрика Ивнева. С. 43.

307

Лундберг Е. Записные книжки писателя. 1917–1920. Л., 1930. С. 222.

308

Терапиано Ю. Встречи. Фрагмент // Осип Мандельштам и его время. С. 110.

309

Ивнев Рюрик. С Осипом Мандельштамом на Украине. С. 124–125.

310

Дейч А. Две дневниковые записи // «Сохрани мою речь…». Вып. 3/2. С. 146.

311

Дейч А. Две дневниковые записи. С. 146.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 269.

313

Ахматова А. Листки из дневника. С. 132.

314

Цит. по: Полякова С.В. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб., 1997. С. 171.

315

Гонта М. Из воспоминаний о Пастернаке. С. 538.

Липкин С. Угль, пылающий огнем // Осип Мандельштам и его время. С. 307.

317

Горбачева В. Записи разных лет // Новый мир. 1989. № 9. С. 210.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 145.

319

Цит. по: Нерлер П.М. Комментарий // Мандельштам О. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 402.

320

Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний. С. 81.

321

Цит. по: Купченко В.П. Ссора поэтов (к истории взаимоотношений О. Мандельштама и М. Волошина) // Слово и судьба. Осип Мандельштам. С. 178–179.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 93.

323

Цит. по: Зарубин В. Арест Осипа Мандельштама в Феодосии в 1920 г. // «Сохрани мою речь…». Вып. 4/1. С. 139.

Цит. по: Купченко В.П. Ссора поэтов (к истории взаимоотношений О. Мандельштама и М. Волошина). С. 181.

325

Талов М. Воспоминания. Стихи. Переводы. М., 2006. С. 71.

Мицишвили Н. Пережитое. Тбилиси, 1963. С. 164.

327

Табидзе Н. Память [глава из книги] // Дом под чинарами. Тбилиси, 1976. С. 41.

328

Цит. по: Мандельштам О. Стихи и переводы // Дружба народов. 1987. № 8. С. 133.

329

Цит. по: Тименчик Р.Д. Осип Мандельштам в Батуми в 1920 году // «Сохрани мою речь…». Вып. 3/2. С. 149.

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. С. 321. О Мандельштаме и Эренбурге см., например: Фрезинский Б.Я. Эренбург // О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. М., 2007. С. 149–162.

Одоевцева И. На берегах Невы. С. 132.

Форш О. Сумасшедший корабль. М., 2011. С. 23.

Одоевцева И. На берегах Невы. С. 144.

Мандельштам в архиве Э.Ф. Голлербаха // Слово и судьба. Осип Мандельштам. С. 105.

Минчковский А. Он был таким // Александр Прокофьев: вспоминают друзья. М., 1977. С. 106.

Оношкович-Яцына А. Дневник 1919–1927 // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 13. М.; СПб., 1993. С. 398.

Герштейн Э. Мемуары. С. 12.

338

Цит. по: Парнис А.Е. Штрихи к футуристическому портрету О.Э. Мандельштама. С. 190.

Павлович Н. Воспоминания об Александре Блоке // Прометей. Вып. 11. М., 1977. С. 234.

340

Цит. по: Гришунин А.Л. Блок и Мандельштам // Слово и судьба. Осип Мандельштам. С. 155. Во всех изданиях дневника Блока эта запись купирована.

341

Цит. по: Летопись. С. 225. «Превосходными» в 1921 г. назовет мандельштамовские стихи Михаил Слонимский (Сл[онимский] М. Дракон // Жизнь искусства. 1921. 9–10–11 марта. С. 2). В качестве «свадебного генерала» Мандельштам будет упомянут в одной из рецензий на сборник «Всероссийского Союза поэтов» (Д. В. [Рец. на кн.: Союз поэтов. Сб. 2. М., 1922] // Петербург. 1922. № 2. С. 21.). Ср., впрочем, в другом отзыве чуть более раннего времени: «В стихах О. Мандельштама все более и более утрачивается внутренняя связь между строками, отчего стихотворение превращается в случайный конгломерат рифмованных строк, не слитых воедино ни грамматически, ни логически» (Свентицкий А. Стихомания наших дней // Вестник литературы. 1921. № 6/7. С. 7).

342

Арбенина О. О Мандельштаме // Тыняновский сборник. Шестые – Седьмые – Восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. С. 549. Оценку мандельштамовской «Венеции» см. также в заметке Льва Лунца 1922 года: «Здесь, а не у Андрея Белого, настоящая музыка стиха, – не в симфониях, не в грубых, бросающихся в глаза внутренних рифмах, а в этом, может быть, бессмысленном, но прекрасном сочетании звуков» (цит. по: Лунц Л. Литературное наследие. М., 2007. С. 343).

Арбенина О. О Мандельштаме. С. 549–550.

344

Подробнее об этом стихотворении см.: Лекманов О.А. На подступах к стихотворению О. Мандельштама «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2001. Т. 60. № 1. С. 64–65.

345

Подробнее об этом стихотворении см., например: Malmstad J. A Note on Mandelstam's "V Peterburge my sojdemsia snova" // Russian Literature. 1977. № 5. P. 193–199.

346

Подробнее о стихотворении Мандельштама и эмигрантской поэзии см.: Тименчик Р.Д., Хазан В.И. «На земле была одна столица…» // Петербург в поэзии русской эмиграции. СПб., 2006. С. 55.

347

Ахматова А. Листки из дневника. С. 128–129.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 28.

349

Ходасевич А. Воспоминания о В.Ф. Ходасевиче // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 406.

350

Иванов Г. О новых стихах // Дом искусств. 1921. № 2. С. 98.

351

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 466.

Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 479.

Зайцев П. Воспоминания. М., 2008. С. 296.

354

Цит. по: Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 351.

355

Шершеневич В. Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания 1910–1925 г. // Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 638.

356

Из «Протокола о поведении В. Шершеневича и его секундантов после вызова О. Мандельштамом В. Шершеневича». Цит. по: Кобринский А.А. Дуэльные истории Серебряного века. С. 275.

357

Подробнее об этом эпизоде см.: Дроздков В.А. Dum spiro spero. О Вадиме Шершеневиче и не только. Статьи. Разыскания. Публикации. М., 2014. С. 348–361.

358

Трубецкой Ю. Из записных книжек // Мосты. [Мюнхен]. 1959. № 2. С. 416.

359

Олеша Ю. Книга прощания. М., 2001. С. 125. Речь, по-видимому, идет о 1922 годе, когда на вечере «художественного юмора» Олеша читал свои стихи вперемешку со стихами Мандельштама (см.: Художественная мысль. Харьков, 1922. № 12. С. 20).

Александрова Н. Осип Мандельштам в Ростове // «Сохрани мою речь…». Вып. 4/1. С. 147.

361

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 39.

Альтман М. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 69.

363

Альтман М. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 84.

364

См.: Мандельштам О. О современной поэзии (К выходу «Альманаха муз»); Письмо о русской поэзии // День поэзии. М., 1981. С. 194.

Цветаева М. Неизданное. Записные книжки: в 2 т. Т. 2. С. 169.

Булгаков М. Записки на манжетах. М., 1988. С. 115.

367

Цит. по: Летопись. С. 207.

См. также статью: Чудакова М.О. М. Булгаков и О. Мандельштам: материалы к теме // Корни, побеги, плоды… Мандельштамовские дни в Варшаве. С. 249–280.

369

Русский литературный авангард. Материалы и исследования. Trento, 1990. С. 241. Об уподоблении Мандельштама Хлестакову в этом и других контекстах см. заметку: Лекманов О.А. «Легкость необыкновенная в мыслях» (Андрей Белый и О. Мандельштам) // Вопросы литературы. 2004. Ноябрь – декабрь. С. 262–267.

Ахматова А. Автобиографическая проза. С. 7.

371

Цит. по: Мандельштам О. О природе слова / вступ. ст. и примеч. А.Г. Меца // Русская литература. 2006. № 4. С. 138.

Подробнее об этом стихотворении см., например: Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 9—17.

Цит. по: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 587.

Цит. по: Лукницкая В. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990. С. 125.

Одоевцева И. На берегах Невы. С. 150.

Катаев В. Алмазный мой венец // Катаев В. Трава забвенья. М., 2000. С. 80.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 98.

Харджиев Н.И. «В Хлебникове есть всё!». С. 335.

379

Офросимов О. О Гумилеве, Кузмине, Мандельштаме… (Встреча с издателем) // Новое русское слово. [Нью-Йорк], 1953. 13 декабря. С. 8.

380

Бобров С. [Рец. на кн.: Мандельштам О. Tristia] // Печать и революция. 1923. № 4. С. 259.

381

Там же.

382

Эренбург И. [Рец. на кн.: Мандельштам О. Tristia] // Новая русская книга. [Берлин]. 1922. № 2. С. 19.

383

Ходасевич В. [Рец. на кн.: Мандельштам О. Tristia] // Дни. [Берлин]. 1922. 13 ноября. С. 11.

384

Мочульский К. [Рец. на кн.: Мандельштам О. Tristia] // Последние новости. Париж, 1922. 14 октября. С. 2.

385

Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. С. 3.

386

Цит. по: Нерлер П.М. Комментарий // Мандельштам О. Сочинения: в 2 т. Т. 1. С. 452–453.

387

Там же. С. 153. О поэтике этой книги см., например: Broyde S. Osip Mandelstam's "Tristia" // Russian Poetics. Columbus, 1982. P. 73–88.

388

Цит. по: О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. С. 299.

389

Бюллетень книг. 1923. № 9/10. Стлб. 72.

390

Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. С. 641. Ср. с более ранним и доброжелательным суждением о Мандельштаме будущего упертого лефовца В. Перцова: «Вместо того чтобы толкаться на современной словесной ярмарке, где строится, может быть, великолепная Вавилонская башня, но которая когда еще будет построена, и где царит невероятное смешение языков, – лучше и вернее конструировать по чертежам и из материалов, отмеченных драгоценной пробой времени. Иногда лучше» (Перцов В. Новое в современной русской поэзии: (Письмо из Москвы) // Новый путь. Рига, 1921. 3 июля. С. 4).

391

Подробнее об этом стихотворении см., например: Ronen O. An Approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983 (по «Индексу стихотворений Мандельштама»).

392

Об этом стихотворении см., например: Ronen O. An Approach to Mandelstam (по «Индексу стихотворений Мандельштама»).

393

Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 74.

394

Цит. по: Пастернак Б. Письмо Владимиру Маяковскому // Литературное обозрение. 1990. № 2. С. 42.

395

Тем не менее уже и в 1922 году нашлись советские твердолобые критики, писавшие о поэте как о классовом враге. В «чеканно-холодном воспроизведении давно мертвых образов и идей» обвинил автора «Камня» один из таких критиков (Горбачев Г. Письма из Петербурга // Горн. 1922. № 2. С. 132).

Лившиц Б. В цитадели революционного слова // Пути творчества. Харьков, 1919. № 5. С. 45.

Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 285.

398

Цит. по: Нерлер П.М. Комментарий // Мандельштам О. Сочинения: в 2 т. Т. 1. С. 453.

Крученых А. Сдвигология русского стиха. М., 1922. С. 3.

Там же. С. 9.

401

О Мандельштаме и Пастернаке см., например: Сергеева-Клятис А.Ю. Пастернак // О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. С. 117–128.

Адамович Г. Критическая проза. С. 111.

403

См.: Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. М., 1989. С. 19–20.

Тынянов Ю.Н. Промежуток // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 187.

405

Цит. по: Кац Б.А. «…Музыкой хлынув с дуги бытия». Заметки к теме «Борис Пастернак и музыка» // Литературное обозрение. 1990. № 2. С. 83.

406

Цит. по: Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 219. О Мандельштаме и Ходасевиче см., например: Богомолов Н.А. Мандельштам и Ходасевич: неявные оценки и их следствия // Осип Мандельштам. Поэтика и текстология. М., 1991. С. 49–55.

407

Цит. по: Малмстад Д. Единство противоположностей. История взаимоотношений Ходасевича и Пастернака // Литературное обозрение. 1990. № 2. С. 56.

408

Цит. по: Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. М., 1994. С. 13.

409

Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4. М., 1994. С. 212.

Липкин С. Угль, пылающий огнем. С. 308.

411

Ахматова А. Листки из дневника. С. 135.

Там же. С. 122.

413

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 459.

Горнунг Б. Заметки к биографии О.Э. Мандельштама // «Сохрани мою речь…». Вып. 3/2. С. 157.

415

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 163.

Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1. С. 177.

417

Цит. по: Нешумова Т.Ф. Усов Дмитрий // О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. С. 141.

418

Запровская А. Перевод… бумаги // На литературном посту. 1926. № 3. С. 55.

419

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 203–204.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 209.

421

Подробнее об этом стихотворении см., например: Ronen O. An Approach to Mandelstam (по «Индексу стихотворений Мандельштама»).

Цит. по: Летопись. С. 260.

423

Подробнее об этом стихотворении см., например: Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. С. 18–20.

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого. С. 117.

425

О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. С. 299.

Андрей Белый. Избранная проза. М., 1988. С. 182.

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого. С. 112.

428

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. 1938–1941. Т. 1. М., 1997. С. 198.

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 163.

Гаспаров М. Маршак и время // Даугава. [Рига], 1987. № 11. С. 103.

431

Ср. также у Маяковского: «Шары-колбаски. / Летай без опаски».

432

Покровская А. Основные течения в современной детской литературе. М., 1927. С. 41.

433

Шварц Е. Живу беспокойно… Из дневников. Л., 1990.С. 343.

Пастернак Б. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. М., 1992. С. 155.

435

Лившиц Е. Воспоминания // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 90.

436

Цит. по: Смольевский А. Ольга Ваксель – адресат четырех стихотворений Осипа Мандельштама // Литературная учеба. 1991. № 1. С. 163.

Там же.

438

Цит. по: Нерлер П.М. В поисках концепции: Книга Надежды Мандельштам об Анне Ахматовой на фоне переписки с современниками // Мандельштам Н. Об Ахматовой. С. 35.

439

Цит. по: Полякова С.В. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. С. 172–173.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 216–220.

441

Цит. по: Нерлер П.М. В поисках концепции: Книга Надежды Мандельштам об Анне Ахматовой на фоне переписки с современниками. С. 34–35.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 227.

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого. С. 116.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 230–231.

445

Ахматова А. Листки из дневника. С. 132.

Фиш Г. «Дирижер Галкин в центре мира» // Красная газета. 1925. 30 июня. Вечерний выпуск. С. 5.

447

Лежнев А. Литературные заметки // Печать и революция. 1925. № 4. С. 151.

Фиш Г. «Дирижер Галкин в центре мира». С. 5.

449

Лежнев А. Литературные заметки. С. 152.

450

Лернер Н. [Рец. на кн.: Мандельштам О. Шум времени] // Былое. 1925. № 6. С. 244.

451

Инскрипт Мандельштама Лернеру опубликован в книге: О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. С. 299.

452

Пастернак Б. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. С. 171–172.

453

Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 685.

Елочка, елочка (нем.).

Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 256.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 271.

Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. С. 28.

Ахматова А. Листки из дневника. С. 122.

459

Усов Д. «Мы сведены почти на нет…»: в 2 т. Т. 2. М., 2011. С. 390–391.

460

Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 410.

461

Ахматова А. Листки из дневника. С. 133.

Герштейн Э. Мемуары. С. 19.

463

Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. С. 225.

Эфрос А. Рисунки Пушкина // Русский современник. 1924. Кн. 2. С. 198–199.

Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама. С. 40.

О «Египетской марке» см. также, например: Сегал Д.М. «Сумерки свободы» // Минувшее. 1987. Т. 3. С. 131–196.

Ляндау К. У темной двери. М., 1916. С. 29.

Цит. по: Летопись. С. 325.

469

Каверин В. Встречи с Мандельштамом // Каверин В. Счастье таланта. Воспоминания и встречи, портреты и размышления. С. 303.

Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 23.

471

Цит. по: Галушкин А.Ю. «Вы, вероятно, знаете поэта О.Э. Мандельштама…». Николай Бухарин об Осипе Мандельштаме // Русская мысль. № 4321 (8—14 июня). 2000. С. 13.

Цит. по: Мец А.Г. Комментарий // Мандельштам О. Камень (Литературные памятники). С. 355.

Чуковский К. Дневник. 1901–1929. М., 1991. С. 440.

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого. С. 131.

475

Цит. по: Блок в неизданной переписке и дневниках современников (1898–1921) // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 426.

476

Цит. по: Фрейдин Ю.Л. «Остаток книг»: библиотека О.Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам. С. 236.

Мандельштам в архиве Э.Ф. Голлербаха. С. 105.

Слонимский М. Книга воспоминаний. М.; Л., 1966. С. 61–62.

Там же. С. 62.

Чуковский К. Дневник. 1901–1929. С. 247.

481

Ходасевич В. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4. С. 281.

Там же. С. 279.

483

Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 120.

Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 2001. С. 168.

485

Тименчик Р.Д. Из комментариев к мандельштамовским текстам // Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 131–132. См. также: Новая русская жизнь (Гельсингфорс), 1920, 22 октября (подпись: «Сириус»). Здесь публикация сопровождалась примечанием от редакции: «Слова “Готовься, Петроград” заимствованы из приказа Троцкого в дни наступления Юденича на Петроград»; «На Невском около Городской думы стоит огромный бюст Лассаля, своим безобразием портящий весь вид этой красивой улицы. Бюст этот виден отовсюду. Нас всюду преследует жуткий холод при виде изображения человека, “темя” которого прикрывало идеи, ныне уродливо и страшно воплощенные». Памятник Лассалю был установлен в сентябре 1918 года на Невском проспекте перед входом в здание бывшей Городской думы (убран в середине 1930-х годов.). Пародируется стихотворение Мандельштама 1914 года: «Поговорим о Риме – дивный град! / Он утвердился купола победой. / Послушаем апостольское credo: / Несется пыль, и радуги висят. / На Авентине вечно ждут царя – / Двунадесятых праздников кануны, – / И строго-канонические луны – / Двенадцать слуг его календаря. / На дольный мир глядит сквозь облак хмурый / Над Форумом огромная луна, / И голова моя обнажена – / О, холод католической тонзуры!»

Россия. 1922. № 3. С. 21.

487

Бич. 1928. № 30. С. 6. Пародируется в первую очередь стихотворение Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (1917) с его финалом: «Золотое руно, где же ты, золотое руно? / Всю дорогу шумели морские тяжелый волны, / И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, / Одиссей возвратился, пространством и временем полный».

488

Парнас дыбом. М., 1989. С. 107–108. В финале пародии цитируются заключительные строки стихотворения Мандельштама «Я не слыхал рассказов Оссиана…» (1914) (с заменой одного слова: «бард» вместо «скальд»).

Вопросы литературы. 1974. № 3. С. 297.

Даугава. 1988. № 2. С. 109.

491

«Сохрани мою речь…». Вып. 4/2. М., 2008. С. 723. В пародии обыгрываются мотивы стихотворений Мандельштама конца 1910-х – начала 1920-х годов – «Когда Психея-жизнь спускается к теням…», «Кому зима – арак и пунш голубоглазый…» и др. Сведениями об авторе пародии я обязан Н.А. Богомолову.

492

Аякс. Стихотворная чехарда // Биржевые ведомости. 1910. 29 октября. Утренний выпуск. Пародируется следующее стихотворение из «аполлоновской» подборки Мандельштама: «Истончается тонкий тлен, – / Фиолетовый гобелен, / К нам – на воды и на леса – / Опускаются небеса. / Нерешительная рука / Эти вывела облака, / И, печальный встречает взор / Отуманенный их узор. / Недоволен стою и тих, / Я, создатель миров моих, – / Где искусственны небеса / И хрустальная спит роса».

493

«Стихи были замечены – их приветствовал Вячеслав Иванов и высмеял Буренин» (Иванов Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. С. 201). Приведем также обиженную дневниковую запись Сергия Каблукова: «Нельзя отказать, что составитель этой пародии отличается поэтическим чувством. А вся пародия не доказательство ли того, что действительно “легко писать всякий вздор”» (О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова. С. 243).

Разумеется, поэты этого периода пародировали и раннего Мандельштама. Ср., например: «Дано мне тело. На хрен мне оно, / коль твоего мне тела не дано?» (Т. Кибиров); «Бессонница. Гарем. Тугие телеса» (В. Гандельсман); «Анхель де Куатье, / Харуки Мураками… / Простите, не слыхал, / – я развожу руками. / Акунина и то прочел до середины, / как список кораблей в поэме, столь старинной, / что автора, увы, / не помнят даже греки» (В. Дмитриев) и тому подобное. Мы здесь не говорим о пародиях в узком и точном смысле этого слова, написанных на стихи Мандельштама потомками, вроде двух пародий З. Вальшонка, напечатанных в его книгах «Интербабушка. Книга литературных пародий» (Харьков, 1995. С. 186–187) и «Личное пространство. Стихи и проза». Т. 2. Харьков, 2000. С. 40–41).

495

Одоевцева И. На берегах Невы. С. 256. Ср. у Мандельштама: «Я блуждал в игрушечной чаще / И открыл лазоревый грот… / Неужели я настоящий / И действительно смерть придет?»

496

Цит. с сохранением пунктуации источника по: Красная газета. 1928. 8 сентября. Вечерний выпуск. Пародируется первая строфа стихотворения: «Образ твой, мучительный и зыбкий, / Я не мог в тумане осязать. / “Господи!” – сказал я по ошибке, / Сам того не думая сказать».

Гатов А. Уроки мастерства // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 18.

Отметим, что и стихотворение «Отчего душа так певуча…», пародия на которое приведена выше, тоже написано не самым распространенным размером – 3-иктным дольником.

499

Брик Л. Чужие стихи // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 18. Ср. в классической статье Тынянова «О пародии»: «…Методы пародии могут показаться нам излишне мелочными. Ведь уже древняя теория, широко прививашаяся у теоретиков XVIII и первой половины XIX века, считала пародическим средством перемену одной буквы (звука)» (Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 297).

500

Кофейня разбитых сердец. Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О.Э. Мандельштама. С. 73–74. Вот полный текст стихотворения «Сегодня дурной день»: «Сегодня дурной день: / Кузнечиков хор спит, / И сумрачных скал сень – / Мрачней гробовых плит. / Мелькающих стрел звон / И вещих ворон крик… / Я вижу дурной сон, / За мигом летит миг. / Явлений раздвинь грань, / Земную разрушь клеть, / И яростный гимн грянь – / Бунтующих тайн медь! / О, маятник душ строг – / Качается глух, прям, / И страстно стучит рок / В запретную дверь к нам».

501

Там же. С. 72. Процитируем пародируемые строки Мандельштама: «Дано мне тело – что мне делать с ним, / Таким единым и таким моим? / За радость тихую дышать и жить / Кого, скажите, мне благодарить? / Я и садовник, я же и цветок, / В темнице мира я не одинок…»

502

МТП – издательство тех времен (примечание А. Е. Крученых, записавшего фрагмент пародии П. Васильева).

503

Мандельштам О.Э. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 442–443.

504

Горнунг Б.В. Заметки к биографии О. Э. Мандельштама. С. 154. Пародируется вторая строфа стихотворения Мандельштама «В разноголосице девического хора…» (1916): «И с укрепленного архангелами вала / Я город озирал на чудной высоте. / В стенах акрополя печаль меня снедала / По русском имени и русской красоте».

505

Там же.

506

Цит. по: «Сохрани мою речь…». Вып. 4/2. С. 721–722. Пародируется стихотворение О. М. «Я не увижу знаменитой “Федры”…» (1915).

507

«Псевдомемуарном», если судить по воспоминаниям И.Л. Лиснянской. Здесь рассказывается, как Тарковский признался, что он видел Мандельштама лишь однажды, в квартире у Рюрика Ивнева, а когда Лиснянская процитировала первую строфу нижеследующего стихотворения, ответил своей собеседнице: «– Инна, прекратите. Жизнь и стихи далеко не одно и то же. Пора бы вам это усвоить в пользу вашему же сочинительству» (Лиснянская И. Хвастунья. Воспоминательная проза. М., 2006. С. 359).

508

Манфред А. [Рец. на кн.: Мандельштам О. Стихотворения] // Книга и революция. 1929. № 15/16. С. 22.

509

На литературном посту. 1929. № 9. С. 74.

510

Б. [Рец. на кн.: Мандельштам О. О поэзии] // На литературном посту. 1928. № 23. С. 75.

511

Из письма Мандельштама в редакцию газеты «Вечерняя Москва». Из написанного обо всей этой истории особо выделим главу в книге: Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. Киев, 2000. С. 293–321.

512

Красная газета. Вечерний выпуск. 1928. 13 ноября. № 313 (1983). С. 4.

513

Горнфельд А. Переводческая стряпня // Красная газета. Вечерний выпуск. 1928. 28 ноября. № 328 (1998). С. 4. Далее в книге заметка Горнфельда цитируется по этой публикации.

514

Из письма заведующего литературным отделом «Вечерней Москвы» А. Колесникова Горнфельду от 27 марта 1928 г. (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 584. Л. 22). В книге В.В. Мусатова это письмо процитировано с мелкими неточностями.

Липкин С. Угль, пылающий огнем. С. 298.

516

Петрова М.Г. Блок и народническая демократия // Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. Литературное наследство. Т. 92. М., 1987. С. 107.

517

РО РНБ. Ф. 211. Ед. хр. 267. Л. 2. В книге В.В. Мусатова это письмо процитировано с мелкими неточностями.

518

Письмо от 28 октября 1928 года (ОР РНБ. Ф. 211. Ед. хр. 266. Л. 25).

519

Письмо от 27 ноября 1928 года (ОР РНБ. Ф. 211. Ед. хр. 266. Л. 29). См. также письмо Горнфельда к Шейниной от 18 октября 1928 года, большой фрагмент из которого был опубликован В.В. Мусатовым (Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. С. 295–296). В оценке фигуры Мандельштама критик из «Русского богатства» в целом совпадал с позднее подключившимся к делу Д.И. Заславским, который в письме к Горнфельду от 13 мая 1929 года признавался: «Все же в большой печати я, вероятно, по этому поводу не выступил бы. Слишком мелкой мне казалась личность Мандельштама» (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 316. Л. 1).

520

Согласно интерпретации Горнфельда (прозвучавшей в его письме в «Вечернюю Москву»), Мандельштам, «по существу, предлагал» ему «гонорар» «не за» «перевод», «а за» «молчание» (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 584. Л. 20). Если это было так, непонятно, почему Горнфельд счел нужным сообщить читателям о постыдном мандельштамовском предложении только после опубликования открытого письма Мандельштама, а не в «Переводческой стряпне».

521

РГАЛИ. Ф. 155. Оп. № 1. Ед. хр. № 332. На это письмо мне в свое время указала незабвенная Марина Соколова.

522

РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 584. Л. 20.

523

Ахматова А. Листки из дневника. С. 136.

Волошин М. Воспоминания // Осип Мандельштам и его время. С. 116–117.

525

РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 584. Л. 21.

Горнфельд пренебрежительно не отозвался бы о качестве перевода ни при каких обстоятельствах.

527

Сверка перевода Горнфельда с редактурой Мандельштама осуществлена нами вместе с М.А. Котовой, которой приносим дружескую сердечную благодарность.

Мочульский К. О.Э. Мандельштам // Осип Мандельштам и его время. С. 66.

529

Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама. С. 18.

Отчасти сходным с Мандельштамом подходом к французским и бельгийским топонимам, встречающимся в романе, руководствовался В.Н. Карякин. Примеры двух его оплошностей, не замеченных и сохраненных Мандельштамом, были цепко выловлены Горнфельдом и предъявлены читателю в «Переводческой стряпне»: «Осталась “милая Валлония”, потому что Карякин принял vallon (долина) за несуществующую страну Валлонию, остался город Экс (Aix) там, где идет речь об Ахене». Ср., однако, в письме Д.И. Заславского к Горнфельду от 18 мая 1929 года: «Кстати, два вопроса, совсем частных. Вы говорите в Вашем письме в “Кр<асную> в<ечернюю> г<азету>” о “несуществующей стране Валлонии”. А ведь о Валлонии я не раз встречал в книгах, как о, пусть и неофициальном, названии части Бельгии… Имеете ли Вы в виду, что в данном месте у Костера речь идет не о Валлонии, а о холмах, или Вы полагаете, что нет Валлонии? В одном месте в Вашем же переводе Вы говорите “страна валлонская”. Это во втором томе. И второе – пресловутый Экс. Это, конечно, Ахен. Но такая ли уж безграмотность назвать Ахен Эксом? Немецкая транскрипция необязательна для нас. Во всяком случае, это следовало оговорить» (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 316. Л. 4).

531

Цит. по: Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. С. 301.

Там же.

533

Герштейн Э. Мемуары. С. 7.

Поступальский И. Встречи с Мандельштамом // Тыняновский сборник. Шестые – Седьмые – Восьмые Тыняновские чтения. С. 561.

535

См.: Бэлза И. Встречи с О.Э. Мандельштамом // Наше наследие. 1996. № 38. С. 97.

Одоевцева И. На берегах Невы. С. 140.

Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 124.

538

Цит. по: Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. С. 305.

539

Цит. по: Устинов А.Б. 1929 год в биографии Мандельштама // Новое литературное обозрение. № 58. (2002). С. 125.

Цит. по: Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. С. 308.

541

Там же. С. 307.

542

Цит. по: Мусатов В.В. Лирика Осипа Мандельштама. С. 307–308.

543

Пастернак Б. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. С. 277.

Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов. С. 508–509.

545

РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 316.

Мандельштам в архиве П.Н. Лукницкого. С. 142.

547

Цит. по: Нерлер П.М. Комментарий // Мандельштам О. Сочинения: в 2 т. Т. 2. С. 422.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 539.

549

Цит. по: Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. С. 422.

Кочин Н. Мандельштам в «Московском комсомольце» // Мандельштам О. «И ты, Москва, сестра моя, легка…» Стихи, проза, воспоминания, материалы к биографии. Венок Мандельштаму. С. 319.

551

Глухов-Щуринский А. О.Э. Мандельштам и молодежь // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 20.

Цит. по: Лакшин В. Открытая дверь: Воспоминания и очерки. М., 1989. С. 20.

553

Заславский Д. Жучки и негры // Правда. 1929. 5 июля. С. 6.

Герштейн Э. Мемуары. С. 16.

555

Цит. по: Морозов А.А. Примечания // Мандельштам О. Шум времени. С. 294.

Мандельштам О. Шум времени. С. 276.

Lyons E. Moscow Carrousel. New York, 1935. P. 328.

558

Цит. по: Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневники. Воспоминания. Письма. М., 1991. С. 213.

559

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 180.

Эйхенбаум Б.М. О литературе (Работы разных лет). М., 1987. С. 447.

561

Там же. С. 449.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 465.

563

Гатов А. Уроки мастерства. С. 18.

Крученых А. Наш выход. К истории русского футуризма. М., 1996. С. 150.

Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 407.

Гаспаров Б.М. «Извиняюсь» // Культура русского модернизма. Статьи, эссе и публикации. В приношение Владимиру Федоровичу Маркову. М., 1993. С. 39.

567

Письмо А.Г. Горнфельда к Р.М. Шейниной от 27 мая 1929 года // РНБ. Ф. 211. Ед. хр. 267. Л. 17–17 об.

Соколова Н. Кое-что вокруг Мандельштама. Разрозненные странички. С. 90.

569

Липкин С. Угль, пылающий огнем. С. 309.

Чуковский К. Дневник. 1930–1969. С. 7.

571

Маари Г. <Послесловие к публикации стихов Мандельштама> // Литературная Армения. 1966. № 1. С. 47.

Герштейн Э. Мемуары. С. 22–23.

573

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 165.

Там же. С. 639.

Худавердян А. Встречи с поэтом // Литературная Армения. 1991. № 5. С. 78.

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 165.

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 178.

Там же. С. 166.

Известия. 1930. 1 октября. С. 2–3.

Известия. 1930. 31 октября. С. 1.

581

Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. С. 189.

Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. С. 190.

583

Литературная газета. 1930. 4 октября. С. 1, 3. Публикация этого «Письма» была продолжена в номерах газеты от 9 и 14 октября.

584

[Мапповский кружок рабочей критики «Натиск»]. Против правого уклона внутри РАПП (О книгах и статьях В. Ермилова) // Правда. 1930. 23 октября. С. 5.

585

Ермилов В. За писателя-бойца // Литературная газета. 1930. 24 октября. С. 2.

586

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 годов. // Мандельштам О. Собрание произведений: Стихотворения. М., 1992. С. 397. По понятным причинам, мандельштамовское внимание должны были привлечь оба упоминания о Гумилеве, встречающиеся в только что процитированных отрывках. Строки, которые приводит Ермилов, в свое время были выбраны эпиграфом к эссе Мандельштама «О природе слова» (1922). Нужно заметить, что последующая история противостояния Ермилова и кружка «Натиск» полностью вписывается в картину, набросанную поэтом в стихотворении «На полицейской бумаге верже…». В номере «Правды» от 3 ноября 1930 года, на странице 3, было опубликовано письмо Ермилова в редакцию газеты: «Я считаю необходимым указать, что за 5 лет моей работы в руководстве РАПП я совершил, главным образом на первых этапах моей работы, в 1926–27 годах, ошибки, которые совершенно правильно характеризуются в письме секретариата РАПП о развертывании творческой дискуссии как ошибки правого характера <…>. Признавая указанные ошибки, я, само собою разумеется, не собираюсь ограничиться лишь словесным признанием, а обязуюсь в дальнейшем вести непримиримую борьбу с этими и подобными ошибками». А на странице 5 номера «Правды» от 21 ноября 1930 года было напечатано «Письмо фракции секретариата РАПП по поводу статьи “Против правого уклона внутри РАПП”», берущее Ермилова под защиту от ретивых вапповцев и одновременно признающее, что им были допущены серьезные идеологические просчеты.

587

Подробнее об этом стихотворении см., например: Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. С. 17–23.

588

Цит. по: Фрейдин Ю.Л. «Остаток книг»: библиотека О.Э. Мандельштама. С. 235.

589

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 280–281.

590

Цит. по: Берберова Н. Из петербургских воспоминаний: Три дружбы // Опыты. [Нью-Йорк], 1953. Кн. I. С. 166.

591

Цит. по: Григорьев А., Петрова И. Мандельштам на пороге 30-х годов // Russian Literature. 1977. № 5. С. 181.

592

Подробнее об этом стихотворении см., например: Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. С. 24–27.

593

Сегал Р. Из воспоминаний // «Сохрани мою речь…». Вып. 2. С. 27.

594

Гурвич Э. Что помнится // «Сохрани мою речь…». Вып. 2. С. 40.

595

Правда. 1931. 1 марта. С. 1.

596

Признание виновных: [Редакционная статья] // Известия. 1931. 2 марта. С. 1.

597

Там же.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 548.

599

Фейнберг И. О Мандельштаме // Вопросы литературы. 1991. № 1. С. 70.

600

Подробнее об этом стихотворении см. прежде всего: Жолковский А.К. Тоска по мировой культуре – 1931 («Я пью за военные астры…») // Слово и судьба. Осип Мандельштам. С. 413–427.

601

Подробнее об этом стихотворении см., например: Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама. С. 44–45.

602

Яхонтов В. [Запись из дневника от июля 1931 г.] // Памятные книжные даты – 1991. М., 1991. С. 139.

603

Цит. по: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа // Вопросы литературы. 1990. № 4. С. 239–240.

604

Перевод выполнен Я.С. Линковой по изданию: Oeuvres completes de P. Verlaine. Paris, 1900. Vol. II. P. 75–76.

605

Известия. 1931. 4 апреля. С. 4.

606

Асеев Ник<олай>. Мои часы ушли вперед // Литературная газета. 1931. 9 апреля. С. 2.

607

Сельвинский И. О часах, о времени, об организации ЛОСП. В порядке постановки вопроса // Литературная газета. 1931. 24 апреля. С. 2.

608

См.: Черашняя Д.И. Московские белые стихи как смысловое единство // Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама: субъектный подход. Ижевск, 2004. С. 171.

609

Дека. Бернард Шоу в Москве // Литературная газета. 1931. 25 июля. С. 1.

610

См.: Вечерняя Москва. 1931. 15 мая. С. 4.

611

См.: Вечерняя Москва. 1931. 27 мая. С. 3.

Вермель Ф. Ковш. М., 1997. С. 30. На пушкинский подтекст («Какая ночь! Мороз трескучий…») в обоих стихотворениях мое внимание было любезно обращено Н.Н. Мазур.

613

Зыбин В. На улицах Москвы // Вечерняя Москва. 1931. 27 июня. С. 2.

614

Вечерняя Москва. 1931. 19 сентября. С. 1.

615

Цит. по: Летопись. С. 382–383.

Герштейн Э. Мемуары. С. 26.

617

Глухов-Щуринский А. О.Э. Мандельштам и молодежь. С. 22.

618

Цит. по: Нерлер П.М. Материалы об О.Э. Мандельштаме в американских архивах // Россика в США. 50-летию Бахметьевского архива Колумбийского университета посвящается. М., 2001. С. 98.

619

Цит. по: Румянцева В. «От сырой простыни…»: Осип Мандельштам и кино // «Отдай меня, Воронеж…» Третьи международные Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995. С. 35.

Вольпин Н. Осип Мандельштам // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 86.

621

Цит. по: Шумихин С.В. «Мандельштам был не по плечу современникам…». Письма Надежды Мандельштам к Александру Гладкову. С. 10.

Рождественский В. Страницы жизни. Л., 1962. С. 129.

623

Наппельбаум И. Слепая ласточка // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 88.

Лурье В. Из воспоминаний // Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 191.

625

Герштейн Э. Мемуары. С. 20.

626

Виткович В. Длинные письма. Сто историй в дороге. М., 1967. С. 146.

627

Тихонов Н. Устная книга: двадцатые годы // Тихонов Н. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. М., 1986. С. 18.

Герштейн Э. Мемуары. С. 29–30.

629

Тэсс Т. 18 мая открываются ворота парка культуры // Вечерняя Москва. 1932. 10 мая. С. 1.

630

См. редакционную заметку в «Вечерней Москве»: Купаться еще рановато. Температура воды 12 градусов // Вечерняя Москва. 1932. 15 мая. С. 3.

631

См. соответствующую газетную информацию: Храбр А. Открылся парк культуры. Все ново в парке // Вечерняя Москва. 1932. 25 мая. С. 2.

632

Молчанов Иван. Поэма о парке // Вечерняя Москва. 1932. 30 мая. С. 3.

633

Цит. по: Тименчик Р.Д. Анна Ахматова в 1960-е годы. С. 386.

634

Гроза над Москвой: [Редакционная заметка] // Вечерняя Москва. 1932. 1 июля. С. 1.

635

Ср. также в первом стихотворении цикла, датированном этими же числами: «Гром живет своим накатом – / Что ему до наших бед? – / И глотками по раскатам / Наслаждается мускатом / На язык, на вкус, на цвет». О мандельштамовских «Стихах о русской поэзии» подробнее см.: Гаспаров Б.М. Сон о русской поэзии (О. Мандельштам, «Стихи о русской поэзии», 1–2) // Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. С. 124–161.

636

Вечерняя Москва. 1932. 3 июля. С. 1.

Ханцын И. О Мандельштаме // «Сохрани мою речь…». Вып. 3/2. С. 68.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 134.

639

Горбачева В. Записи разных лет. С. 210.

640

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 174.

641

Тоддес Е.А. Мандельштам и опоязовская филология // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 89.

642

См. его текст, например: Литературная газета. 1932. 5 мая. С. 1. См. также редакционную статью: На уровень новых задач // Правда. 1932. 9 мая. С. 2. Об атмосфере, царившей в советских литературных кругах в эту эпоху, см., в первую очередь: Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 91–144.

643

Укрепление колхозов и задачи весеннего сева. Доклад т. Л.М. Кагановича на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников 16 февраля 1933 года // Правда. 1933. 17 февраля. С. 1.

Зубакин Б. [Письма В. Пясту] // Филологические записки. [Воронеж], 1994. Вып. 3. С. 161.

645

Герштейн Э. Мемуары. С. 33.

Волькенштейну запомнилась такая сумма.

647

Волькенштейн Ф. Товарищеский суд по иску Осипа Мандельштама // «Сохрани мою речь…». Мандельштамовский сборник. С. 55–56.

648

Цит. по: Левинтон Г.А. Мелочи о Мандельштаме из архива Н.И. Харджиева // Slavica Helsingiensia. 31. Varietals et Concordia. Essays in Honour of Pekka Pesonen. Helsinki, 2007. С. 403.

649

Герштейн Э. Мемуары. С. 39.

О Хлебникове и Мандельштаме см. также: Григорьев В.П. Велимир Хлебников в четырехмерном пространстве языка. Избранные работы. 1958–2000-е годы. М., 2006 (по «Указателю имен»).

651

Об этом стихотворении подробнее см. также: Гаспаров Б.М. Ламарк, Шеллинг, Марр (стихотворение «Ламарк» в контексте «переломной» эпохи) // Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. С. 187–212.

652

Цит. по: Маяковский В. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 12. М., 1959. С. 28.

653

Харджиев Н.И. «В Хлебникове есть всё!» С. 336.

Липкин С. Угль, пылающий огнем. С. 306.

655

Цит. по: Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 480.

656

Подробнее об этом стихотворении см., например: Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., 2004. С. 104–118.

657

Гладков А. Поздние вечера. Воспоминания, статьи, заметки. М., 1986. С. 321.

658

Цит. по: Эйхенбаум Б.М. О литературе (Работы разных лет). С. 532.

659

Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 132.

Батюшков К. Воспоминание мест, сражений и путешествий // Опыты в стихах и прозе. М., 1978. С. 396.

Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 34.

662

Селивановский А. Разговор о поэзии // Литературная газета. 1932. 11 ноября. С. 2.

Фейнберг И. О Мандельштаме. С. 70.

Вечтомова Е. Сотворение мира // Александр Прокофьев: вспоминают друзья. М., 1977. С. 122.

665

Ахматова А. Листки из дневника. С. 136.

666

Басалаев И. Записки для себя // Литературное обозрение. 1989. № 8. С. 108.

Цит. по: Ахматова А. Поэма без героя. М., 1989. С. 136.

Дейч А. День нынешний и день минувший. М., 1969. С. 308.

669

Чернявский В. Первые шаги // Воспоминания о Сергее Есенине. М., 1965. С. 141.

670

Осип Мандельштам в Крыму летом 1916 года. Неизвестное письмо Юлии Оболенской. С. 13.

Арго А. Звучит слово. М., 1968. С. 57.

Соммер Я. Записки // Минувшее: Исторический альманах. Т. 17. М.; СПб., 1994. С. 141.

Цит. по: Мандельштам О. Стихи и переводы. С. 133.

Борисов Л. За круглым столом прошлого: Воспоминания. Л., 1971. С. 135.

675

Горнунг Л. Из воспоминаний об Осипе Мандельштаме // Мандельштам О. «И ты, Москва, сестра моя, легка…». Стихи, проза, воспоминания, материалы к биографии. Венок Мандельштаму. С. 437.

Тагер Е. О Мандельштаме // Осип Мандельштам и его время. С. 239.

677

Цит. по: Летопись. С. 403.

Синельников И. Вечер Мандельштама // Арион. 1995. № 4. С. 69.

679

Розенталь Л. Мандельштам. Бородатый Мандельштам // «Сохрани мою речь…». Мандельштамовский сборник. С. 36.

Осмеркина-Гальперина Е. Мои встречи (фрагменты) // Осип Мандельштам и его время. С. 312.

681

Соколова Н. Кое-что вокруг Мандельштама. Разрозненные странички. С. 92.

Липкин С. Угль, пылающий огнем. С. 309.

683

Герштейн Э. Мемуары. С. 33–34.

Розенталь Л. Мандельштам. Бородатый Мандельштам. С. 37.

685

Герштейн Э. Мемуары. С. 34.

686

Розенталь Л. Мандельштам. Бородатый Мандельштам. С. 36.

687

Соколова Н. Кое-что вокруг Мандельштама. Разрозненные странички. С. 91.

Эйхенбаум Б.М. О литературе (Работы разных лет). С. 449.

689

Липкин С. Угль, пылающий огнем. С. 309.

690

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 155.

691

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 248.

692

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 445.

Пинский Л.Е. Послесловие // Мандельштам О. Разговор о Данте. М., 1967. С. 65. Подробнее об этом эссе Мандельштама см. также, например: Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама. С. 47–49.

Цит. по: Видгоф Л.М. Москва Мандельштама. Книга-экскурсия. М., 1998. С. 273.

695

Из произведений восточных художников Мандельштам упоминает только «гравюру Хокусая» в эссе 1922 года «Девятнадцатый век» (II: 269).

696

О мандельштамовском восприятии живописи см. прежде всего: Кантор Е. В теплокрылатом воздухе картин: Искусство и архитектура в творчестве О.Э. Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 59–68; Доронченков И. «Масло парижских картин». Из искусствоведческих примечаний к прозе и стихам О.Э. Мандельштама // Не музыкальное приношение, или Allegro affettuoso: Сборник статей к 65-летию Бориса Ароновича Каца. СПб., 2013. С. 514–547.

697

«Образ Рима – синтетический: на самом деле микеланджеловские Давид и Ночь (из капеллы Медичи, памятная скорбным четверостишием самого Микеланджело “…О, в этот век преступный и постыдный… отрадно спать, отрадней камнем быть”) находятся не в Риме, а во Флоренции» (Гаспаров М.Л. Комментарии // Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 810).

698

В мемуарах Натальи Штемпель рассказывается о том, что Мандельштам часто «останавливался перед маленькой картиной Дюрера» в воронежском музее изобразительных искусств (Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 41).

699

Подробнее об этом стихотворении см. прежде всего: Лангерак Т. Анализ одного стихотворения Мандельштама («Как светотени мученик Рембрандт») // Russian Literature. 1993. № 33. P. 289–298.

См. также в мемуарах Натальи Штемпель: «Восторгался Осип Эмильевич иллюстрациями Делакруа к гётевскому “Фаусту” (както, будучи у меня, он внимательно их рассматривал)» (Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 42).

701

Подробнее об этом стихотворении см. прежде всего: Langerak T. Mandelstam's "Impressionism" // Voz'mi na radost': To Honor J. v. d. Eng-Liedmeier. Amsterdam, 1980. P. 139–147.

Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 18.

703

Березов Р. Из очерка «В Доме Герцена» // Новое русское слово. [Нью-Йорк], 1950. 3 сентября. С. 8.

Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. С. 90.

705

Мандельштам Н. Комментарий к стихам 1930–1937 годов // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 231.

Пяст В. Встречи. С. 101.

Кузмин М. Дневник. 1908–1915. С. 437–438.

Герштейн Э. Мемуары. С. 27. Об антисемитизме Белого см. также: Безродный М.В. О «юдобоязни» Андрея Белого // Новое литературное обозрение. 1997. № 28. А также в замечательной книге: Спивак М.Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006.

709

Гоголь Н. Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 4. Л., 1951. С. 49.

710

Гоголь Н. Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 6. Л., 1951. С. 14.

711

Цит. по: Спивак М.Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 325.

712

Спивак М.Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель. С. 325.

Там же. С. 438–439.

Мариенгоф А. «Бессмертная трилогия». М., 1999. С. 495.

715

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 52.

716

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 182. О Мандельштаме и Белом см. также две статьи в книге: Полякова С.В. «Олейников об Олейникове» и другие работы по русской литературе.

717

Цит. по: Нерлер П.М. Комментарий // Мандельштам О. Сочинения: в 2 т. Т. 2. С. 421.

718

Ахматова А. Листки из дневника. С. 134.

719

Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 119–120.

Цит. по: Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак. М., 1998. С. 388.

Герштейн Э. Мемуары. С. 40.

Там же.

723

Талов М. Воспоминания. Стихи. Переводы. С. 71.

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 176.

725

Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 117.

Там же. С. 116.

Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 181.

728

Ключ Ипокрены – на греческом Геликоне – символ поэтического вдохновения.

729

Подробнее об этом стихотворении см., например: Кушнер А.С. Мандельштам и Ходасевич // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. С. 48–52.

730

См., например: Ленин и Сталин с исключительной заботливостью выпестовали комсомол. Речь тов. Кагановича на VIII пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 15-летней годовщине Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи // Известия. 1933. 2 ноября. С. 1; О задачах комсомола. Речь тов. Молотова на юбилейном пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 1933 года // Там же.

731

Подробнее об этом стихотворении, см.: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002 (По «Указателю произведений Мандельштама»).

См., например: Правда. 1933. 10 ноября. С. 1; Известия. 1933. 10 ноября. С. 1.

733

Правда. 1930. 3 июля.

Что значит это «вновь» – не совсем понятно.

735

Цит. по: Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 184–185.

Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. С. 91–92.

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 176–177.

Герштейн Э. Мемуары. С. 52.

739

Хелемский Я. Ветви одного ствола // Петровых М. Черта горизонта. Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых. Ереван, 1986. С. 22.

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 164.

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 222.

Ахматова А. Листки из дневника. С. 128.

743

Подробнее об этом стихотворении см., например: Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. С. 35–43.

Герштейн Э. Мемуары. С. 422.

Герштейн Э. Мемуары. С. 421.

Там же. С. 423.

Там же. С. 424.

Там же. С. 426.

749

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 52.

750

О цикле Мандельштама памяти Белого см., например: Спивак М.Л. «Непонятен, понятен, невнятен…»: «темные места» в стихотворениях О.Э. Мандельштама на смерть Андрея Белого // Дело авангарда. The Case of the Avantgarde. Amsterdam, 2008. С. 25–42.

751

Ахматова А. Листки из дневника. С. 136. По наблюдению О. Ронена, эти слова Мандельштама восходят к реплике из четвертого акта пьесы Николая Гумилева «Гондла»: «…Я вином благодати / Опьянился и к смерти готов» (Ronen O. An approach to Mandelstam. P. 302–303).

752

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 62.

753

Тагер Е. О Мандельштаме. С. 241.

754

Волькенштейн Ф. Товарищеский суд по иску Осипа Мандельштама. С. 56–57.

Там же. С. 57.

756

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 167.

Цит. по: Кобринский А.А. Дуэльные истории Серебряного века. С. 294.

758

Арифметические выкладки, с помощью которых А.М. Марченко, споря с нами, пытается отодвинуть на более раннее время приезд Ахматовой к Мандельштамам в Москву (см.: Марченко А. Секрет шкатулки с двойным дном // Новый мир. 2006. № 12), не представляются убедительными. Или поэтесса ждала Мандельштамов в пустой квартире?

759

Ахматова А. Листки из дневника. С. 137.

Ахматова А. Листки из дневника. С. 137.

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 17.

Цит. по: Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. С. 78.

763

Там же.

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 35.

765

Ахматова А. Листки из дневника. С. 138.

Тименчик Р. Карточки // Donum homini universalis. Сборник в честь 70-летия Н.В. Котрелёва. М., 2011. С. 384.

Катанян Г. Главы из книги «Иных уж нет, а те далече…» // «Сохрани мою речь…». Вып. 3/2. С. 225.

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 41.

Там же. С. 39–40.

См.: Пастернак Е.В., Пастернак Е.Б. Координаты лирического пространства // Литературное обозрение. 1990. № 3. С. 95.

771

Герштейн Э. Мемуары. С. 65.

Там же. С. 54.

773

Ахматова А. Листки из дневника. С. 139.

774

Цит. по: Фрейдин Ю.Л. Путь в Воронеж // Мандельштамовские дни в Воронеже. Воронеж, 1994. С. 15.

Цит. по: Фрейдин Ю.Л. Путь в Воронеж. С. 17.

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 112.

777

Цит. по: Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // Вопросы литературы. 2003. Июль – август. С. 239.

Там же. С. 240.

Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 225.

См.: Пастернак Е.В., Пастернак Е.Б. Координаты лирического пространства. С. 95.

781

Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 231.

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 145.

783

Два письма О.Э. и Н.Я. Мандельштам М.С. Шагинян // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 121.

Пименов В. Свидетели живые. М., 1978. С. 19.

785

Цит. по: Нерлер П.М. Он ничему не научился… (О.Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы) // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 92.

Там же.

Цит. по: Нерлер П.М. Он ничему не научился… С. 93.

Там же.

789

Цит. по: Гыдов В.Н. О.Э. Мандельштам и воронежские писатели (по воспоминаниям М.Я. Булавина) // «Сохрани мою речь…». Вып. 2. С. 34.

Подробно о нем см. во вступительной статье Е.А. Тоддеса и А.Г. Меца к публикации: О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 7–31.

Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 24.

792

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 115.

793

Цит. по: Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 678.

794

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 72.

795

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 122.

Там же. С. 62.

Там же. С. 96.

Там же. С. 43.

Там же. С. 124.

800

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 44.

801

Там же. С. 213.

802

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 215.

803

Ахматова А. Листки из дневника. С. 140.

804

Ср. в письме Мандельштама к жене, отправленном в конце мая 1935 года: «Мне сейчас необходима прямая литературная связь с Москвой» (IV: 159).

805

Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 18.

806

Там же.

807

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 54.

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 175.

809

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 248.

810

Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама С. 52.

811

Мец А.Г. Комментарии // Мандельштам О.Э. Полное собрание стихотворений. С. 655.

812

Н<иколай> Б<ухарин>. Железное единство бойцов // Известия. 1935. 4 мая. С. 2. См. также редакционную передовицу «Большевики, партийные и непартийные», напечатанную на первой странице «Правды» от 30 мая 1935 года. Провозглашая свой тост, Сталин руководствовался той логикой, которая была описана и проанализирована М.О. Чудаковой: «Сталин не хочет отделять “действительно” советских от внешне, неискренне советских. Его не интересует степень искренности <…>. Сталин открыл то, до чего никто не додумался, – для того, чтобы все стали советскими, достаточно их таковыми объявить. При этом обратного хода ни для кого нет» (Чудакова М.О. Новые работы. 2003–2006. М., 2007. С. 152).

813

Мец А.Г. Комментарий // Мандельштам О.Э. Полное собрание стихотворений. С. 655.

814

Речь идет об Анатолии Николаевиче Садомове (1884–1942).

815

Коммуна. 1935. 28 апреля. С. 4. Ср. в комментарии М.Л. Гаспарова к разбираемому стихотворению: «На какой случай местной театральной жизни написано шуточное “Тянули жилы, жили-были…” о несовместимости Бетховена и Воронежа – точно не известно» (Гаспаров М.Л. Комментарии // Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. С. 797).

816

Известия. 1935. 1 мая. С. 7.

817

Как шла Москва: [Редакционная статья] // Правда. 1935. 4 мая. С. 2.

818

Садковой Н. В 1937 году… Беседа с гл<авным> дирижером воронежского симфонического оркестра А.В. Дементьевым // Коммуна. 1936. 23 декабря. С. 4.

819

Мец А.Г. Комментарии // Мандельштам О.Э. Полное собрание стихотворений. С. 613. Это постановление опубликовано, например: Известия. 1935. 8 апреля. С. 1.

Правда. 1935. 24 мая. С. 6.

821

Коммуна. 1935. 23 мая. С. 4.

822

Правда. 1935. 24 мая. С. 1. См. также: Известия. 1935. 24 мая. С. 1.

823

Мандельштам Н. Вторая книга. С. 249.

824

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 годов. С. 452.

825

Гаспаров М.Л. Комментарии // Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. С. 797.

826

Литературная газета. 1935. 30 июня. С. 3.

827

Ср. в статье Мандельштама «Борис Пастернак» (1922–1923): «Стихи Пастернака почитать – горло прочистить, дыханье укрепить» (II: 302). О «пастернаковском» сегменте речи Тихонова подробнее см.: Флейшман Л.С. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 331–332.

828

Литературная газета. 1935. 30 июня. С. 3.

829

Там же.

830

Из статьи Мандельштама «Выпад» (1924) (II: 409).

831

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 81–82.

832

Рогинский Я. Встречи в Воронеже // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 43–44.

833

Одним из не самых главных стимулов к написанию этого стихотворения, возможно, послужила беглая цитата из статьи Д.П. Мирского о советской поэзии 1934 года: «…Ленинградец А. Прокофьев писал: <“>Я хочу, чтобы одна из улиц </> Называлась проспектом Маяковского <”>» (Мирский Д. Стихи 1934 года. Статья II // Литературная газета. 1935. 24 апреля. С. 2).

834

Цит. по: Нерлер П.М. Павел Калецкий и Осип Мандельштам // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 67.

835

Ураган над Воронежем: [Редакционная заметка] // Коммуна. 1935. 28 июня. С. 4.

836

Об этом стихотворении см. также: Безродный М.В. Пиши пропало. СПб., 2003. С. 121–124.

837

Ивинг В. «Бахчисарайский фонтан» // Известия. 1935. 22 июня. С. 4.

838

Бояджиева Х. Воспоминания об Осипе Мандельштаме // Альманах «Поэзия». № 57. М., 1990. С. 194–195.

839

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 78.

840

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 80.

841

Цит. по: Нерлер П.М. «Чуть мерцает призрачная сцена…» // Альманах «Поэзия». № 57. М., 1990. С. 187.

842

Садковой Н. «Отелло» (Большой советский театр) // Коммуна. 1936. 1 марта. С. 3.

843

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 166.

844

Цит. по: Тименчик Р.Д. Об одном эпизоде биографии Мандельштама // Toronto Slavic Quarterly. 2014. № 47. С. 226.

845

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 123.

846

Цит. по: Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. Дневники. Воспоминания. Письма. С. 339.

847

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 137.

Там же. С. 145.

849

Герштейн Э. Мемуары. С. 63.

850

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 182.

851

Там же. С. 183.

852

Цит. по: Нерлер П.М. Он ничему не научился… О.Э. Мандельштам в Воронеже: новые материалы. С. 93.

853

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 185.

854

Кретова О. Горькие страницы памяти // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. С. 39.

855

Ярцева М. О моей дружбе с Натальей Евгеньевной Штемпель // Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 114.

Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 26.

857

Там же. С. 46.

Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 57.

859

Там же. С. 27.

860

Там же. С. 29.

861

Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже С. 62–62. О стихах Мандельштама, обращенных к Н. Штемпель, см., например: Рейнольдс Э. «Есть женщины, сырой земле родные…» // Слово и судьба. Осип Мандельштам. С. 454–456.

862

Русанова А., Русанова Т. Встречи с Ахматовой и Мандельштамом. Воронеж, 1991. С. 17.

863

Пастернак Б. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. С. 97.

864

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 54.

865

Там же.

866

См. соответствующие подборки траурных материалов, например: Известия. 1936. 23 декабря. С. 1; Коммуна. 1936. 24 декабря. С. 4.

867

О реминисценциях из «Как закалялась сталь» в другом воронежском стихотворении поэта см.: Алекс де Жонж. Как закалялось стихотворение: Мандельштам и Н. Островский // Русская литература XX века в исследованиях американских ученых. СПб., 1993.

868

Поэма не вошла в книгу Адалис «Власть», которую Мандельштам рецензировал в 1935 году. См.: III: 275–278.

869

Датируем по изданию: Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 251. Согласно другому авторитетному изданию, стихотворение писалось с 6 по 8 декабря. См.: Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. С. 191.

870

Без привлечения газетных подтекстов это стихотворение разобрано в работе: Черашняя Д.И. Гудок, гудки, гудочки… (к семантике единственного и множественного в воронежских стихах Мандельштама) // Смерть и бессмертие поэта.

871

Известия. 1936. 7 декабря. С. 3.

Правда. 1936. 7 декабря. С. 1.

873

Коммуна. 1936. 8 декабря. С. 1.

Вишневский В. Чудесное расположение духа // Правда. 1936. 7 декабря. С. 2. Вишневскому Мандельштам передавал привет в письме к жене от 28 декабря 1936 года (IV: 166).

875

Приятно и радостно иметь такую конституцию: [Редакционная статья] // Коммуна. 1936. 28 ноября. С. 3.

876

Слова горячей любви: [Редакционная статья] // Коммуна. 1936. 29 ноября. С. 3.

877

«В глубь веков» тут, по-видимому, означает – в две стороны, в глубь прошедших и в глубь еще не наступивших веков.

Отметим, впрочем, что, по мнению А.Г. Меца, в третьей строке стихотворения «<п>одразумевается труд поэтический» (Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 615).

См., например: Известия. 1936. 10 декабря. С. 4.

880

Адалис А. Братство: стихи 1936 г. М., 1937. С. 40–41.

881

Городской Я. Июль. Киев, 1937. С. 63.

882

Заболоцкий Н. Вторая книга: стихи. Л., 1937. С. 44–45.

883

Стихи и песни о Сталине. М., 1937. С. 20.

884

Грузинские стихи и песни о Сталине. Тбилиси, 1937. С. 15.

885

Там же. С. 155.

Там же. С. 12.

887

Стихи и песни о Сталине. С. 36.

888

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 78.

889

Родина счастливых. Сборник стихов, посвященных выборам в Верховный Совет СССР. М., 1937. С. 50.

Там же. С. 26–27.

891

Там же. С. 14.

892

Адалис А. Братство: стихи 1936 г. С. 9.

893

Родина. Стихи и переводы ленинградских поэтов. Л., 1937. С. 24.

894

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 172.

895

Колычев О. Песни и стихи. М., 1937. С. 6.

896

Стихи и песни о Сталине. С. 44.

897

Родина. Стихи и переводы ленинградских поэтов. С. 15.

Там же. С. 17.

899

Саянов В. Лирика: стихи. Л., 1937. С. 54. Ср. в классической работе о культуре сталинской эпохи: «Создаваемое культурой не сжигается, не бросается “как падаль”, напротив, оно мгновенно затвердевает, превращаясь в памятники истории, причем этот процесс затвердевания происходит одновременно с созиданием» (Паперный В.З. Культура Два. М., 2011. С. 45–46).

900

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 82.

901

Аврущенко В. Сады. Киев, Одесса, 1937. С. 23–24.

902

Стихи и песни о Сталине. С. 10.

903

Там же. С. 50.

904

Каменский В. Колхозная честь. М., 1937. С. 55.

905

Стихи и песни о Сталине. С. 50.

906

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 75.

Там же. С. 15.

908

Стихи и песни о Сталине. С. 49.

909

Родина. Стихи и переводы ленинградских поэтов. С. 21.

910

Стихи и песни о Сталине. С. 50.

911

Родина. Стихи и переводы ленинградских поэтов. С. 74–75.

912

Стихи и песни о Сталине. С. 12.

Там же. С. 27.

914

Заболоцкий Н. Вторая книга: Стихи. С. 46.

915

Родина счастливых. Сборник стихов, посвященных выборам в Верховный совет СССР. С. 75.

916

Гордеев С. Горячее дыхание. Киев – Харьков, 1937. С. 94.

917

Стихи и песни о Сталине. С. 28.

Там же. С. 9.

919

Там же. С. 28.

920

Родина. Стихи и переводы ленинградских поэтов. С. 25.

921

Шаповалов И. Время близится: стихи. Минск, 1937. С. 20.

922

Стихи и песни о Сталине. С. 6.

923

Там же. С. 9.

924

Творчество народов СССР. Альманах. Вып. 1. М., 1937. С. 45.

925

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 52.

926

Стихи и песни о Сталине. С. 8.

927

Родина. Стихи и переводы ленинградских поэтов. С. 20.

928

Стихи и песни о Сталине. С. 22.

929

Там же. С. 39.

930

Там же. С. 45.

931

Родина счастливых. Сборник стихов, посвященных выборам в Верховный Совет СССР. С. 35.

Там же. С. 137.

933

Стихи и песни о Сталине. С. 16.

934

Родина счастливых. Сборник стихов, посвященных выборам в Верховный Совет СССР. С. 15

935

Полонская Е. Новые стихи: 1932–1936. Л., 1937. С. 89.

936

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 31.

937

Грузинские стихи о Сталине. С. 24.

938

Стихи и песни о Сталине. С. 55.

939

Там же. С. 93.

940

Там же. С. 54. О стихотворении Мицишвили в связи с образом Прометея в стихотворении «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» впервые упомянул А. С. Кушнер. См.: Кушнер А.С. Аполлон в снегу. Заметки на полях. Л., 1991. С. 240–241.

941

Стихи и песни о Сталине. С. 94.

942

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 151.

943

Стихи и песни о Сталине. С. 69.

944

Шаповалов И. Время близится: Стихи. С. 6.

945

Стихи и песни о Сталине. С. 6.

Там же. С. 56.

Там же. С. 19.

948

Гордеев С. Горячее дыхание. С. 94.

949

Саянов В. Лирика: стихи. С. 55.

950

Стихи и песни о Сталине. С. 91.

951

Адалис А. Братство: стихи 1936 г. С. 8–9. «Луганский Слесарь» – К.Е. Ворошилов.

952

Стихи и песни о Сталине. С. 36.

953

Родина. Стихи и переводы ленинградских поэтов. С. 18.

954

Стихи и песни о Сталине. С. 62.

955

Жаров А. Избранная лирика. М., 1937. С. 3.

956

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 29–30.

957

Родина счастливых. Сборник стихов, посвященных выборам в Верховный Совет СССР. С. 36.

958

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 162.

959

Стихи и песни о Сталине. С. 35.

Там же. С. 89.

961

Грузинские стихи и песни о Сталине. С. 78.

962

Браун Н. Звенья: стихи. Л., 1937. С. 73.

963

Рассказ депутата съезда А. Осипова // Известия. 1936. 4 декабря. С. 3.

964

Толстой А. Сталин на трибуне // Известия. 1936. 26 ноября. С. 4. См. также фрагмент уже цитировавшегося выступления Л. Фейхтвангера: «…При этом он не лишен известного, почти добродушного лукавства» (Правда. 1937. 13 января. С. 4; см. также: Коммуна. 1937. 14 января. С. 1). Подтекст из А. Барбюса в мандельштамовских строках о сталинской улыбке выявлен в работе: Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 100.

965

Великий день. 90 000 трудящихся на улицах Воронежа // Коммуна. 1936. 8 декабря. С. 1 – описывается демонстрация в честь принятия новой Конституции. См. также большую статью о речи Сталина на VIII съезде Советов: Ясенский Б. Аплодисменты и смех // Известия. 1935. 27 ноября. С. 5.

966

Отчет делегатки Съезда Советов М.А. Журавлевой // Правда. 1936. 10 декабря. С. 2.

967

В пятой строфе своего стихотворения «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» Мандельштам, кажется, единственный из советских поэтов конца 1930-х годов описывает групповую фотографию корреспондента «Правды» Н. Кулешова «Товарищ Сталин пожимает руки членам делегации женщин – инженерно-технических работников легкой промышленности, присутствовавших на всесоюзном совещании жен командиров Рабоче-крестьянской Красной армии». См. вклейку.

968

Стихи и песни о Сталине. С. 92.

969

Об «опасных» оттенках фамилии «Джугашвили» см.: Тоддес Е.А. Антисталинское стихотворение Мандельштама (к 60-летию текста) // Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. С. 206–207.

Орешин П. Под счастливым небом. М., 1937. С. 19.

971

Светлов М. Стихотворения. М., 1937. С. 94.

Адалис А. Братство: стихи 1936 г. С. 43.

973

Цит. по: Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. М., 1994. С. 14–15.

Известия. 1937. 1 февраля. С. 1. См. также заметки о митингах на Красной площади в Москве и на Никитинской площади в Воронеже, напечатанные в «Коммуне»: Грозный гнев народа // Коммуна. 1937. 1 февраля. С. 1; Слово трудящихся Воронежа // Коммуна. 1937. 1 февраля. С. 1. Ср. в стихотворении Мандельштама «Как дерево и медь Фаворского полет…» (11 февраля 1937 года): «Час, насыщающий бесчисленных друзей, / Час грозных площадей с счастливыми глазами… / Я обведу еще глазами площадь всей, / Всей этой площади с ее знамен лесами».

Литературная газета. 1937. 26 января. С. 4.

Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 106.

977

Литературная газета. 1937. 26 января. С. 5.

Литературная газета. 1937. 1 февраля. С. 3.

979

Ср.: Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 106.

980

О другом важном поводе к написанию этого стихотворения – празднованию столетия со дня смерти Пушкина см.: Рейнольдс Э. Смерть автора или смерть поэта? (Интертекстуальность в стихотворении «Куда мне деться в этом январе?») // «Отдай меня, Воронеж…». Третьи международные Мандельштамовские чтения. С. 200–214.

981

Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 96. Каламбурный подтекст из «Бориса Годунова» в строке «И выбегают из углов угланы» обнаружен в: Ронен О. Шрам. Вторая книга из города Энн. СПб., 2007. С. 99.

982

Сплотим писательские ряды. Из речи В. Ставского <на Общемосковском собрании писателей> // Литературная газета. 1937. 1 февраля. С. 3. См. также редакторскую передовицу: Бухарина, Рыкова, Угланова – на скамью подсудимых // Коммуна. 1937. 28 января. С. 1.

983

Ср.: Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 20.

984

Правда. 1936. 26 декабря. С. 1. Возможно, впрочем, что речь идет о речи того же К.Е. Ворошилова на военном параде 7 ноября 1936 года.

985

Литература – могучее орудие обороны страны. Из речи В. Инбер <на Общемосковском собрании писателей> // Литературная газета. 1937. 1 февраля. С. 4.

986

Совещание писателей по вопросам обороны: [Редакционная заметка] // Правда. 1937. 18 февраля. С. 6. Полный текст речи Ставского см.: Литературная газета. 1937. 20 февраля. С. 6.

987

Правда. 1937. 18 февраля. С. 6.

988

Правда. 1937. 26 февраля. С. 6.

989

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 42.

990

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 70.

Там же. С. 135. О Мандельштаме и Заболоцком см., например: Лощилов И.Е. Заболоцкий // О.Э. Мандельштам, его предшественники и современники. Сборник материалов к Мандельштамовской энциклопедии. С. 71–74.

992

Вот какие актуальные поводы к написанию «Стихов о неизвестном солдате» перечисляет М.Л. Гаспаров в своей работе о гражданских стихотворениях Мандельштама: «Только на фоне испанской войны можно представить себе гражданскую актуальность “Стихов о неизвестном солдате”. 23–26 января 1937 года проходил второй московский процесс – “антисоветского троцкистского центра” (Пятаков, Сокольников, Радек), итоги процесса подвел февральско-мартовский пленум ЦК с речами Жданова, Молотова и Сталина; как обычно, утверждалось, что обвиняемые были агентами германской и японской империалистической военщины и замышляли интервенцию с целью восстановления капитализма и Троцкого. Наконец, в феврале с неслыханной помпой был отмечен столетний юбилей Пушкина, без конца цитировалось стихотворение “Я памятник себе воздвиг нерукотворный” – эта тема “памятника” стала общим знаменателем, связавшим оду Сталину, которая писалась в те дни, и стихи о знаменитой могиле неизвестного солдата, начавшиеся через месяц» (Гаспаров М.Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. С. 20). О газетных и радиоподтекстах мандельштамовских «Стихов о неизвестном солдате» см. также: Морозов А.А. К истории «Стихов о неизвестном солдате» // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2006. С. 427–428.

993

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 258.

994

Ахматова А. Листки из дневника. С. 143.

995

Цит. по: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа // Вопросы литературы. 1990. № 4. С. 236.

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 243.

997

Правда. 1937. 12 июня. С. 1.

Ср., например: Мец А.Г. Комментарии // Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 657.

998

Мец А.Г. Комментарии. С. 657.

999

См.: Испанские футболисты прибыли в СССР: [Редакционная заметка] // Правда. 1937. 16 мая. С. 6.

1000

«Динамо» – Страна Басков. Сегодня на стадионе «Динамо»: [Редакционная заметка] // Правда. 1937. 5 июля. С. 6. См. также: Матч Сборная Басков – «Локомотив»: [Редакционная заметка] // Известия. 1937. 24 июня. С. 4; Соловьев В. Футбольный матч Страна Басков – Ленинград // Правда. 1937. 1 июля. С. 6 и др.

1001

Кассиль Л. Матч с басками // Известия. 1937. 26 июня. С. 4.

1002

Ромен Роллан в советском павильоне: [Редакционная заметка] // Правда. 1937. 2 июля. С. 5; На парижской выставке. Ромен Роллан о советском павильоне: [Редакционная заметка] // Правда. 1937. 3 июля. С. 5.

1003

Маньэн И. На Парижской выставке. Демонстрация труда и мира // Правда. 1937. 1 июля. С. 5.

1004

Правда. 1937. 2 июля. С. 1.

1005

Правда. 1937. 4 июля. С. 1.

1006

Чуковский К. Дневник. 1930–1969. С. 141.

1007

Цит. по: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 252.

1008

Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 15.

1009

Ахматова А. Листки из дневника. С. 144.

1010

Там же.

1011

Цит. по: Колкер М. «Ушастый троцкист» // «Сохрани мою речь…». Вып. 4/1. С. 168.

1012

Цит. по: Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 520.

1013

Там же. С. 518.

1014

Цит. по: Левинтон Г.А. Мелочи о Мандельштаме из архива Н.И. Харджиева. С. 405.

1015

Там же. С. 407.

1016

О.Э. Мандельштам в письмах С.Б. Рудакова к жене (1935–1936). С. 103.

1017

Цит. по: Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 524–525.

1018

Ахматова А. Листки из дневника. С. 143.

1019

Цит. по: Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. С. 13.

1020

Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. С. 13.

1021

Мандельштам Н. Воспоминания. С. 427.

1022

Цит. по: Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. С. 18.

Там же. С. 20.

Там же. С. 22.

1025

Там же.

1026

Маковский С. Об Осипе Мандельштаме // Даугава. 1997. № 2. С. 130–131.

1027

Шаламов В. Колымские рассказы. СПб., 2004. С. 75–76.

1028

Цит. по: Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. С. 30.

1029

Цит. по: Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. С. 37.

Там же. С. 42–43.

1031

Цит. по: Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. С. 49.

1032

Моисеенко Ю. Как умирал Осип Мандельштам // Известия. 1991. 22 февраля. С. 3.

1033

Цит. по: Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом…». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама. С. 50.

1034

Подробнее см.: Швейцер В.А. Дымшиц и Мандельштам // «Сохрани мою речь…». Мандельштамовский сборник. С. 84–96.

1035

Коваленков А. Хорошие, разные… Литературные портреты. М., 1966. С. 12.

1036

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 347.

1037

Проффер Тисли Э. Бродский среди нас. М., 2015. С. 35.

1038

Цит. по: Мандельштам Н. Воспоминания. С. 627–628.

1039

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 540.

Поливанов М. Предисловие // Мандельштам Н. Вторая книга. С. 5.

1041

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 609.

1042

Там же. С. 633.

1043

Цит. по: Пастернак Е. В., Пастернак Е. Б. Координаты лирического пространства. С. 98.

Бабаев Э. Воспоминания. СПб., 2000. С. 128.

1045

Берестов В. Мандельштамовские чтения в Ташкенте во время войны // «Отдай меня, Воронеж…» Третьи международные Мандельштамовские чтения. С. 335.

1046

Бабаев Э. Воспоминания. С. 134.

1047

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 366.

1048

Цит. по: Селина М. Хранящий тайны // Забайкальский рабочий. [Чита]. 2002. 5 декабря. С. 4.

1049

Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. С. 81–82.

1050

Чуковская Л. Дом поэта // Дружба народов. 2001. № 9. С. 200.

1051

Герштейн Э. Мемуары. С. 444.

1052

Аверинцев С.С. «Были очи острее точимой косы…» // Новый мир. 1991. № 1. С. 237.

1053

Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. С. 584.

1054

Эйдельман Н.Я. Быть может за хребтом Кавказа. (Русская литература и общественная мысль первой половины XIX в. Кавказский текст). М., 1990. С. 34.

1055

Аверинцев С.С. «Были очи острее точимой косы…». С. 240.

1056

Табак Ю. К столетию со дня рождения Н.Я. Мандельштам // Смерть и бессмертие поэта. М., 2001. С. 273.

1057

Записные книжки Анны Ахматовой. С. 150.

1058

Цит. по: Мандельштам Н. Вторая книга. С. 697.

1059

«В этой жизни меня удержала только вера в Вас и в Осю…» Письма Н.Я. Мандельштам А.А. Ахматовой // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 102.

1060

Фрейдин Ю.Л. Смысл и цели отчаявшейся Надежды (Надежда Яковлевна Мандельштам – ее книги и жизнь после них // Мандельштам Н. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. Екатеринбург, 2014. С. 10.)

1061

Табак Ю. К столетию со дня рождения Н. Я. Мандельштам. С. 273.

1062

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 353.

1063

Архив Мандельштама // Дом Кино: Пресс-бюллетень центрального Дома кинематографистов. М., 1989. Декабрь. С. 4.

1064

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 504.

1065

Штемпель Н. Мандельштам в Воронеже. С. 81.

1066

В треугольных скобках дан год написания или первой публикации статьи.